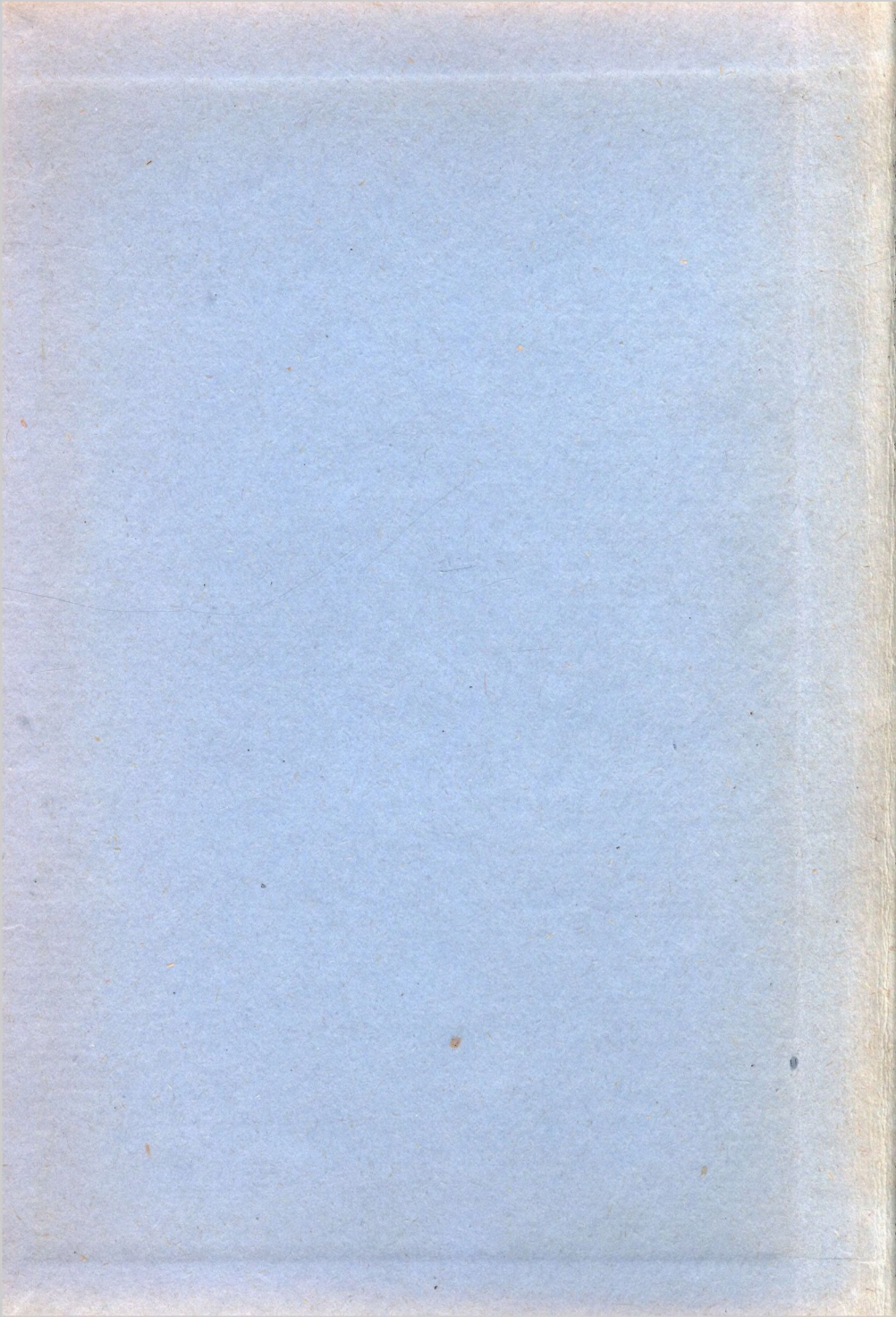


А. ХАРИТАНОВСКИЙ

# СТУПЕНИ

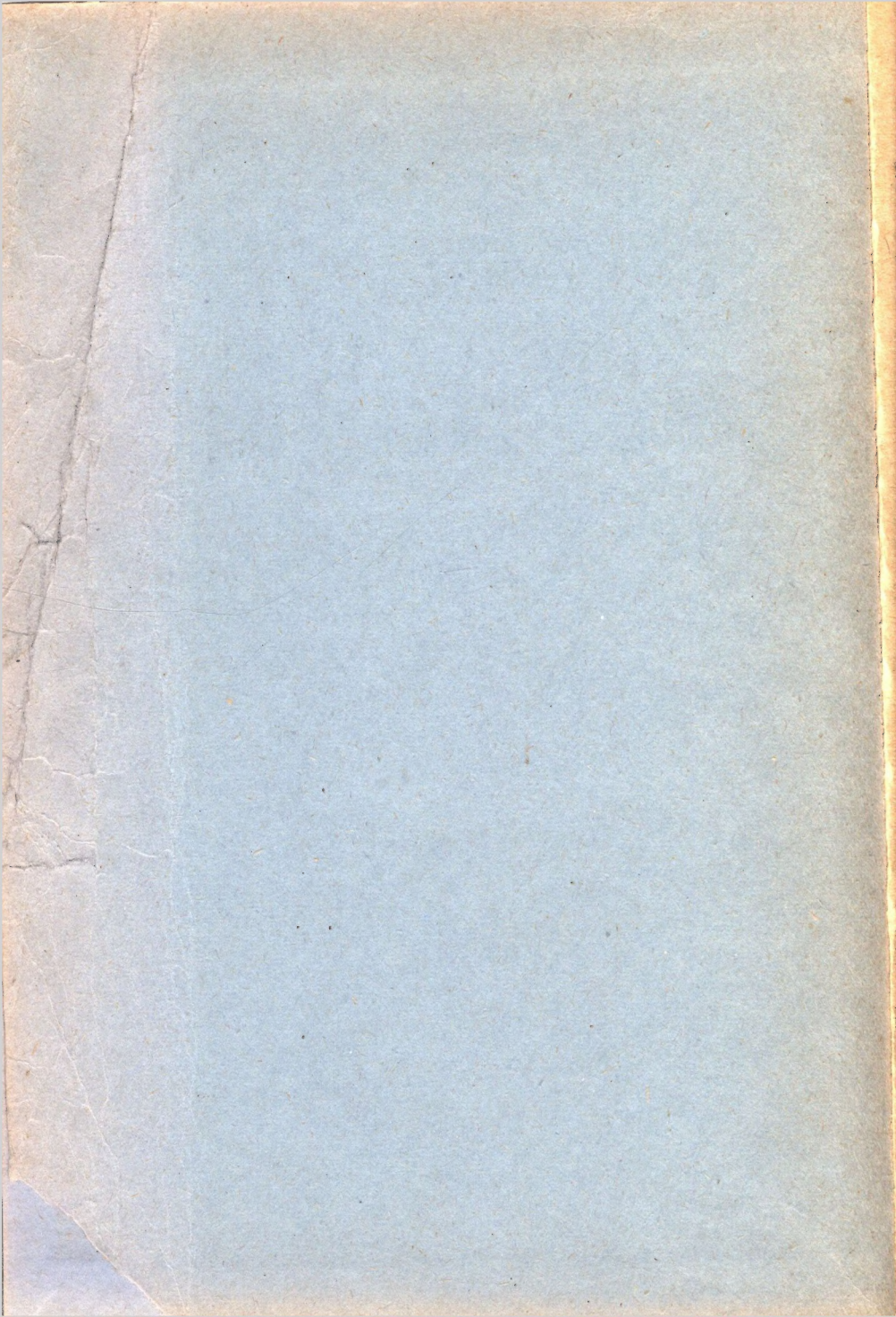














АЛЕКСАНДР  
ХАРИТАНОВСКИЙ

ху-  
ада-  
и и  
су-  
из-  
го

# СТУПЕНИ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
РОМАН

Центрально-Черноземное  
книжное издательство  
Воронеж — 1981





#### ОБ АВТОРЕ

А. Харитановский — автор четырнадцати сборников повестей, рассказов и очерков. Большинство его книг имеет документально-исторический характер: об исследователях, ученых, дипломатах. Повесть «Я рад, что ты живой» — о судьбе корабля «Теодор Нетте» — способствовала молодежной кампании по сбору средств на строительство нового «Нетте». А. Харитановский «открыл» забытого арктического путешественника 30-х годов Глеба Травина (повесть «Человек с железным оленем»), чье имя теперь носит спортивно-туристский клуб в Берлине. Именем исследователя-самородка П. Т. Новограбленова, которого тоже «воскресил» из исторического забвения А. Харитановский (очерк «Выдающийся натуралист Камчатки»), названа премия Камчатского отделения Всесоюзного географического общества.

Сложное историко-литературное исследование проделал автор, чтобы написать роман «Ступени», над которым работал десять лет.

Родился А. Харитановский в 1923 году. Детство и юность писателя прошли на Алтае. Служил он на Тихоокеанском флоте, участвовал в войне с империалистической Японией. После окончания Московского финансового института (факультет международных финансовых отношений) двадцать девять лет проработал в ТАСС — в центральном аппарате и сборком.

А. Харитановский — член Союза писателей СССР с 1963 года.

*Под научной редакцией  
доктора исторических наук  
К. Ф. Шацкиса*



Законы создания научного исследования и художественного произведения не всегда совпадают. Писатель имеет право создавать ситуации и персонажи, которые в реальной жизни не существовали, и было бы бессмысленным педантизмом со стороны историка восставать против этого законного права художника. Однако и историк имеет полное право требовать от писателя, чтобы, во-первых, общая идейная направленность книги и принципиальные оценки людей, фактов и событий соответствовали нашим марксистско-ленинским представлениям, и, во-вторых, чтобы каждый раз, как писатель описывает конкретное историческое лицо, конкретное историческое событие, он не приходил в противоречие с суммой фактов, известных исторической науке.

Жанр исторического романа — труднейшая разновидность художественной литературы. Труднейшая потому, что авторам редко удается найти золотую середину и не впасть в какую-либо из крайностей: сухое наукообразное изложение точных фактов или (что встречается чаще) слишком уж вольную интерпретацию происшедшей, а нередко и «примысленной», исторической действительности.

Международнику по образованию, автору художественных и исследовательских произведений Александру Харитановскому удалось избежать и того и другого, искусно проведя свое повествование между Сциллой наукообразия и Харибдой занимательности. Его исторический роман — точная, интересная и умная книга об одном из ярких эпизодов первой русской революции — поездке по заданию большевиков Максима Горького в США для сбора средств на революцию и пропаганды ее целей.

Автор сталкивает М. Горького и его спутников с широким кругом истинных и кажущихся друзей революции, с ее откровенными и активными врагами. Большое внимание, уделяемое в романе Герберту Уэллсу, одному из известных и страстных правдоискателей, вполне правомерно. А. Харитановский показывает искания Г. Уэллса, искания, которые в дальнейшем привели английского фантаста к встрече с В. И. Лениным. В романе, по сути дела, и идет извечный спор революционеров и либеральных реформистов о предпочтительности того или иного пути исторического развития. Автор не занимает в этом споре позиции бесстрастного наблюдателя: убежденно отстаивает мнение о том, что революция — самый короткий и быстрый путь развития человеческого общества.



Революция 1905—1907 гг. в России наложила свой заметный отпечаток на международное социалистическое движение и на тех многочисленных на Западе попутчиков социализма, которые далее устной критикой отдельных недостатков капиталистической системы не желали да и не могли идти. В той или иной мере влияние 1905 года испытала на себе прогрессивная интеллигенция всех без исключения стран Европы, Азии и Америки. Это признавали и писатели с мировыми именами (А. Франс, Д. Лондон, Г. Уэллс, Б. Шоу, Р. Роллан, Р. Тагор).

Изображение художественными средствами международного аспекта влияния русской революции, первой революции эпохи империализма, — очень важная и почетная задача. Именно эта сторона работы А. Харитановского представляет наибольший интерес, и выполнена она тонко, ненавязчиво, но очень последовательно и исторически правдиво.

Достоверна и авторская оценка значения самой поездки М. Горького за границу, поездки, которая, несмотря на внешнюю неэффективность (значительных средств собрать не удалось), не только была моральной победой большевистского делегата М. Горького и его спутников, но и сыграла значительную роль в ознакомлении прогрессивной американской общественности с положением дел в России. Принципиально важным в этой поездке было то, что едва ли не впервые американцы получили сведения о «русском вопросе» из рук великого пролетарского писателя, свидетеля и активного участника революции, представлявшего большевистское понимание происходивших событий, а не толкование русской революции эмигрантами, покинувшими страну задолго до 1905 года.

Точно выписана автором вся фигура М. Горького, его убеждения, характер дискуссий, которые он ведет как с представителями либеральной и «социалистической» общественности в Америке, так и с российскими противниками большевизма. Исторически достоверны и идейно верны портреты представителей царской бюрократии (посол Розен, охранник Гартинг и др.), нарисованные А. Харитановским. Из описаний этих лиц можно ясно увидеть, какую предварительную работу по сбору материала провел автор романа. Именно эта тщательная, подлинно исследовательская работа позволила А. Харитановскому создать запоминающиеся портреты Герберта Уэллса и целого ряда политических деятелей, от президента Теодора Рузвельта до «узника с Изумрудного острова» — Мак-Квина.

Главному герою этой книги — Максиму Горькому — принадлежат мудрые слова: «...Человека воспитывают факты, а не выводы из фактов. Факт очень похож на человека: если человек подловат, чем его ни украшай, он все-таки останется подлецом»<sup>1</sup>.

Герои А. Харитановского — не выдуманные писателем люди. Они действительно жили, боролись, думали. Одни из них были первыми полномочными представителями за границей революционного народа России, другие — его первыми друзьями, третьи — врагами. Их потомки и сейчас продолжают традиции своих отцов: ненавидят или любят, восхищаются или порочат страну трех революций, народы которой первыми начали необычное в истории дело: планомерное создание коммунистического общества, построенного на разумных научных началах.

Доктор исторических наук **Корнелий Шацлло.**

---

<sup>1</sup> Предисловие М. Горького к книге: А. Е. Бадаев. Большевики в Государственной думе. М., 1941, с. 6.



## ГЛАВА I

**1. ВО ИМЯ ГРЯДУЩЕГО** Они отплыли в Соединенные Штаты Америки почти одновременно, в первую апрельскую неделю 1906 года: Герберт Уэллс — из Саутхемптона, а Максим Горький — из французского Шербурга, расположенного на противоположной стороне Английского канала, как именуют истые британцы пролив Ла-Манш. Тот и другой воспользовались германской линией, избрав пароходы, построенные на стапелях одной и той же «Вулкан-верфи» в Штеттине: Уэллс — «Дойчланд», а Горький — «Кайзер-Вильгельм дер Гроссе». Оба посещали Новый Свет впервые и отправились туда с политическими намерениями. Уэллс надеялся обнаружить в заокеанской федерации, консолидировавшейся из колоний в высокоразвитую мобильную нацию, технико-экономические и моральные факторы будущей социальной реконструкции человечества в единый самоуправляемый коллектив. У Горького задача была конкретнее и оперативнее: разъяснить американцам причины и цели первой народной революции в России, добиться солидарности. Имел он и чисто практическое поручение Центрального Комитета РСДРП — попытаться собрать в США средства для революционной работы и развернуть агитацию против предоставления займа царскому правительству.

Уэллс, прибывший в Нью-Йорк ранее Горького, узнал о приезде русского коллеги 11 апреля из утренних газет, которые ему принесли в номер гостиницы-небоскреба на Парк-авеню. Но еще вчера в каком-то издании он заметил большую фотографию счастливой, судя по улыбающимся лицам, четы с детьми, мальчиком и девочкой, с подписью: «Знаменитый русский писатель Максим Горький сегодня вечером прибывает в Нью-Йорк со своей семьей».

Интервью Горького, данное им на пароходе, тоже сопровождалось портретом гостя и крупным заголовком:



«М. ГОРЬКИЙ И ЕГО СОРАТНИКИ УСТРАИВАЮТ В НЬЮ-ЙОРКЕ  
ШТАБ-КВАРТИРУ ДЛЯ ВЕЛИЧАЙШЕГО УДАРА  
ПО РУССКОЙ ИМПЕРИИ!»

«Уорлд» поместила рисунок — статуя Свободы с протянутой рукой склонилась к Максиму Горькому, будто желала ободрить его и предлагала свое покровительство.

В прессе мелькали сообщения о создании местных комитетов содействия русскому писателю и адресованные ему приветствия. Алиса Блэквелл, известная суфражистка из Бостона, прислала в Нью-Йорк полную горячих чувств телеграмму, журнал «Прогресс» напечатал стихотворение «Максиму Горькому», которое начиналось тоже пылкими словами:

За дело, друг! Призыв твой слышен —  
«Сорвем с народа груз оков!»  
Дворцы и троны он колышет:  
Призыв к Свободе — правый зов!

«Нью-Йорк таймс», «Пост» и другие большие газеты, в чьих сообщениях из-за частокола восклицательных и вопросительных знаков выглядывало недоумение и растерянность, констатировали, что так Америка не встречала даже Гарибальди.

В порту, несмотря на морозящий с утра дождь, гудела тысячная толпа. Как только писатель показался на трапе, ее плотная масса качнулась и разразилась ликующими возгласами. Словно порывом ветра сорвало с голов шляпы, подняло в воздух платки и зонты. Полицейские и служащие порта были оттеснены к самому причальному бруссу и, осаживая людей, рисковали свалиться в воду. Первый ряд принял Максима Горького с трапа прямо на руки. Его обнимали, целовали, пытались что-то сказать. Другие просто смотрели и молча плакали...

Герберт Уэллс, поглаживая короткими пальцами гладко выбритый подбородок, задумался. Откуда такой энтузиазм, горячность в выражении чувств? Зачем понадобилось выпрягать лошадь из поданного писателю экипажа и тянуть его на себе от таможни до парома? Газеты писали, что в большинстве это были русские иммигранты. Хорошо, пусть русские. Ну а делегация американцев? — отправилась на утлом пароходике по штормовому морю навстречу лайнеру, мешала чиновникам иммиграционной службы принимать пассажиров...



Уэллс представил, как верзила врач, выполняющий ритуал медицинского досмотра, загородив выход, без слов прикладывает длинную слуховую трубку поверх одежды к груди приезжего, а другой рукой мгновенно вывертывает веко, чтобы убедиться в отсутствии трахомы, затем пощупает мускулы и, фамильярно заметив: «Никуда не годится», оттолкнет к дверям служебной каюты, чтобы схватить в свои лапы следующего. Прошедший же медицинскую «инспекцию» тут же поступает в распоряжение чиновника-полиглота, совершающего обряд своеобразной конфирмации и уточняющего его финансовое положение: иметь в наличности не менее тридцати долларов, иначе — возвращайся!.. Наконец европейскому недорослю выдадут талон к таможенному инспектору и выпустят на берег «dreamland», оставив в качестве залога стандартную въездную анкету.

Уэллсу запомнились два особенно поразившие его моральной бестолочью вопроса: «Вы не многоженец?», «Вы не анархист?» И там, где он, Уэллс, отвечал коротким «нет», Горький, судя по газетным сообщениям, считал необходимым уточнить. Так, отрицая свою принадлежность к анархистам, русский писатель добавил, что, наоборот, он — боец против организованного анархизма, который в настоящее время представлен в России императорским правительством графа Витте.

Выражение «организованная анархия», несмотря на смысловую парадоксальность, Уэллсу понравилось. То же самое он мог бы сказать обо всем нынешнем человечестве, считая, что в своих футурологических работах «Предвидения» и «Современная утопия» глобально и всесторонне рассмотрел проблему Грядущего и близко подошел к ее рациональному решению.

«Великая страна, а предлагает столь глупые вопросы, — снова подумал об анкете Уэллс. — И отвечай так, чтобы завоевать симпатию одиноко стоящей на островке долговязой француженки в шипастой диадеме».

Каков же этот Максим Горький, противопоставивший себя целой императорской системе? В своем социальном поиске Уэллс хотел бы видеть его союзником.

Размышления прервал звонок: принесли каблогранму из Лондона. Редакция столичной «Трибюн» напоминала писателю, что с нетерпением ждет его первую статью из обещанной американской серии.

В газете верили, что деньги, которые затрачены на коман-



дировку, окупятся. Именно так Уэллс и перевел на деловой язык дружески-изысканный текст каблогаммы.

Он еще в Англии составил обширную программу поездок по городам Соединенных Штатов, посещений университетов и учреждений, визитов к общественным деятелям, ученым, литераторам. Когда посчитал, оказалось, что для выполнения задуманного потребуется не менее полугодия. Ему не только не хватило бы средств, но изобилие впечатлений могло так сильно подействовать на воображение, что художник заслонил бы в нем бесстрастного аналитика. А он даже не хотел иметь спутников, ни, тем более, чичероне, служебная задача которых обращать внимание лишь на фасады. Уэллс-биолог верил, что главные нервные двигательные центры общества, как и в человеческом организме, скрыты в надежной глубине. Снаружи их можно запеленговать лишь суммой наблюдений, проведенных по строго продуманной схеме.

Он с сожалением вычеркнул, например, Калифорнию, размыслив, что это еще очень молодой экономический район с элементами стихии, авантюризма. Словом, пришлось ограничиться северо-востоком, обжитой и наиболее развитой частью страны: Новой Англией, Приозерьем и Вашингтоном. Однако такое географическое ограничение вовсе не означало случайности. Еще пять лет назад в лондонском «Фортнайтли ревью» Уэллс опубликовал один за другим свои социологические очерки, позже сведенные в книгу с претенциозным названием «Предвидения». В книге предполагалось, что густонаселенная и промышленно развитая часть Америки, расположенная между Чикаго и Атлантическим океаном с запада на восток, а с севера на юг — от реки Святого Лаврентия до Мексики, к концу XX века превратится в один из центров Новой республики — утопического всемирного государства. В этой части сосредоточится народ, говорящий на английском языке. Чикаго и Нью-Йорк к тому времени, утверждал автор, станут городами-гигантами, в каждом из которых будет проживать до сорока миллионов человек.

И вот сейчас Уэллсу, отрицавшему частнособственническую мораль и буржуазную демократию, в которой он видел средство политиканства и обмана народа, и вместе с тем не верящему в коллективный разум масс, в их созидательный энтузиазм, хотелось подтвердить свою гипотезу, суметь оценить потенциал интеллектуальной активности молодого аме-



риканского общества — главный, по его мнению, элемент на путях прогресса, технико-экономического и нравственного. Работа предстояла напряженная, так как сроки поездки были сведены к двум месяцам.

\*

Теми же самыми сообщениями американской печати о приезде Максима Горького в Соединенные Штаты, которые удивили Уэллса, заинтересовались в то утро еще в двух местах: в русском генеральном консульстве и в «Реджис-отель», фешенебельной гостинице на 5-й авеню, приобретшей особую популярность с прошлого года, с тех пор, как здесь останавливался глава русской делегации на переговорах с Японией о мире Сергей Витте. В одном из ее номеров для рядовых гостей устроился человек лет сорока, среднего роста, с подстриженными щеточкой светлыми усами. Администратору он назвался журналистом Николаевым, сказал, что прибыл в Нью-Йорк на «Кайзер Вильгельм дер Гроссе». Словоохотливость приезжего, его румяное жизнерадостное лицо, портмоне крокодиловой кожи и даже то, что он плыл на германском судне, — все это расположило к нему пожилого немца, которому претили франко-английские чопорные европейцы, обычные постояльцы отеля.

Сейчас этот гость зарылся в своем номере в газетах. Его глаза быстро пробегали строчки, задерживаясь на фамилиях. Некоторые из них он четким почерком, напоминающим чертежный шрифт, вносил в записную книжку. Последней была — «Генри Уилшайр».

Покончив с газетами, Николаев достал из кожаной папки два исписанных листка тонкой индийской бумаги и приписал: «Максим Горький и сопровождающие его лица остановились в отеле «Бельклер». На конверте, куда вложил листок, вывел: «Его превосходительству Аркадию Михайловичу фон Гартингу». Этот конверт поместил в другой, побольше, с адресом: «Париж. Рю де Гренель, 72».

Человек, назвавшийся Николаевым, то насвистывая, то покусывая твердо очерченные губы, покрутился перед зеркалом и, сдвинув чуть набок котелок, тросточкой толкнул дверь. А двадцать минут спустя на перекрестке Бродвея и 77-й он так же шаловливо, только уже ручкой трости, попытался открыть парадную дверь четырехэтажного углового здания с вывеской «Belle Claire». Однако портье опередил его, распахнул зеркальные половинки.



— «Красавица Клара», — перевел вслух Николаев название гостиницы.

В вестибюле оказалось много народа. Возле администратора непрерывно звонил телефон. Николаев, нырнув в толпу, через минуту уже знал, что эти люди пришли приветствовать Максима Горького и что его апартаменты находятся на девятом этаже. Не дожидаясь лифта, он поднялся по лестнице в общую гостиную этажа, уселся в кресло под финиковой пальмой, выражая всем видом полнейшую беззаботность. Его добродушная улыбка привлекла внимание расположившегося напротив пожилого человека с обрюзгшим лицом, который отрекомендовался Ричардом Греем, судьей из Нового Орлеана. Представился и Николаев.

— Вы не находите, что Америка, — судья кивнул на толпившихся, — терпеливо ждет пробуждения России? — и показал на двери, ведущие в помещение, занимаемое Максимом Горьким. — Я, честно говоря, с удовольствием взглянул бы еще разок на супругу писателя. Такая красавица кого угодно в великие выведет, будь то литература, философия, финансы, и в стране с любым режимом. А?! — и подмигнул.

Николаев тоже подмигнул и, улыбаясь, заметил:

— Жена, взятая напрокат.

— То есть? — спросил судья, медленно проводя по лицу ладонью.

— Настоящая супруга Максима Горького ни капли не походит на обворожившую вас актрису Марию Андрееву, по законному мужу — Желябужскую...

Судья, лицо которого вдруг стало свекольным, буркнув «всего доброго», покинул кресло.

Из салона, примыкавшего к номеру Максима Горького, вышел курчавый юноша. Придерживая на носу пенсне, он обратился ко всем:

— Алексей Максимович Горький просит извинения за то, что не может сейчас уделить хоть сколько-то времени для серьезной беседы, так как спешит на прием, который дают в его честь американские писатели.

— Где же?!

— В клубе университетского сеттельмена.

— Кто будет?

— Марк Твен...

Толпа репортеров поредела. Представители общественных организаций, профсоюзов, различных клубов и, наконец,



просто почитатели Горького, поняв, что писатель действительно очень занят, доставали визитные карточки и просили передать их Алексею Максимовичу.

Николаев тоже промывал сквозь зубы сожаление и, по-свистывая, отправился к выходу.

Минуя гостиную, он увидел в своем кресле под пальмой новоорлеанского судью, который оживленно разговаривал с двумя пожилыми матронами, смотревшими на него с выражением ужаса на лицах. Ричард Грей хотел остановить Николаева, но тот, любезно поклонившись дамам, провел ребром ладони по горлу, давая понять, что не имеет ни единой свободной минуты. И действительно, оказавшись на крутых мраморных ступенях крыльца гостиницы, он будто сбросил маску фатовства и озабоченно помчался по Бродвею.

## 2. ВСТРЕЧА В МОРЕ

Американские встречи у Максима Горького начались еще в Шербурге, сразу как только он ночью шестого апреля ступил на борт четырехтрубного гиганта. Пассажиру вместе с билетом, красочным и немислимым размеров — хоть пристегивай в качестве манжет на сорочку, выдавался проспект, из которого явствовало, что «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» — самое быстроходное судно Атлантики, удерживавшее за собой шесть лет подряд «Голубую ленту» — приз за скоростное пересечение океана.

Этим же рейсом отправлялась в Соединенные Штаты в поисках лучшей доли почти тысяча иммигрантов. Ехали они в особом классе — смрадном и темном помещении, оборудованном в верхнем этаже трюма и называвшемся «Zwischendeck». На обратном пути этот «класс» заполняли товарами американского экспорта. Придумала такой выгодный метод компания «Германский Ллойд», которая особенно широко занималась перевозкой переселенцев из Восточной Европы в Америку, организовав сеть агентур для продажи единых транзитных билетов «По земле — по воде». Только через Гамбург за год переваливало до ста тысяч человек!

Алексей Максимович издала, из окон крытой галереи верхней палубы, наблюдал, как по широкому, освещенному прожекторами трапу поднимался пестрый человеческий поток, над которым качались на плечах и головах узлы, сундуки, затейливо обитые полосками блестящей жести. По ним-то, а также по зипунам из домотканого сукна и по бородам он



отличал славян и, когда в пять часов вечера пароход снялся с якоря, спустился в «Zwischendeck».

— Здравствуйте, братья! Выходит, навсегда покидаете родину, — не то спросил, не то утвердительно отметил Алексей Максимович.

По круто выговариваемому «о» русским пассажирам сразу стало ясно, что этот с Волги. Один из них, тоже упирая на «о», ответил:

— Ведь она, землячок, кому родина, а кому, выходит, мачеха, — и, метнув из-под густых бровей не очень добрый взгляд на нового костюм писателя, спросил: — Вот тебе, ваше благородие, она кто?

И как будто неосторожно бросили с баржи пятипудовый куль на плечи, как когда-то на Казанской пристани, на то же левое плечо, под которым возле самого сердца кровоточила в легких pistolетная рана.

— Только мать! И всегда — на пасху и в беде. Мать, ее ведь не выбирают.

Какой-то круглолицый румяный мужчина, протиснувшись к Горькому, упрекнул спорщика:

— Какой же он тебе «благородие»? Алексей Максимович Горький — знаменитый писатель. Он за таких, как ты, бедняков в тюрьмах сидел. И всю Волгу бурлаком прошел.

— Бурлаком-то я, положим, не был, — поправил Алексей Максимович.

— Ну, ежели прозвище «Горький», выходит, что и впрямь тебе без меда довелось в нашей матушке Рассее, — возразил волжанин и, уточняя сказанное, показал на троих ребятшек, приткнувшихся к красивой и, видно, сильной, хотя и с испитым лицом, женщине. — Покидаем-то мы не родину, а нищету и злобу...

— Так-то верней, — подтвердил неожиданный посредник и, обращаясь к писателю, торопливо представился: — Каспэ. Я учитель, естественник. Из Ярославля... Мне-то легче — английский знаю, а каково этим достанется! Уверен, значительно хуже, чем героям короленковского рассказа «Без языка»...

Когда на следующий день к Алексею Максимовичу пришли с приглашением на торжественный ужин, который решил дать в его честь капитан парохода Кюппер, он вспомнил об учителе из Ярославля и попросил его побыть на банкете в качестве переводчика.

Пассажир — представился он только по фамилии —



Каспэ, — не скрывая радости, согласился и, воспользовавшись случаем, тут же продолжил рассказ о себе. Оказалось, что в Америку он отправляется уже второй раз, — сейчас из-за погрома, устроенного черносотенцами. Ранее участвовал в социалистическом движении эмигрантов в США, читал в русском рабочем обществе саморазвития — такое было организовано в начале 90-х годов — просветительные лекции, в частности об отношении биологии к социологии, выступал за восьмичасовой рабочий день.

Алексей Максимович, который был доволен кандидатурой переводчика, не мешал ему выговориться. Препятствие возникло с неожиданной стороны. Во время беседы, когда ярославец рассказывал, как русские революционные эмигранты пытались наладить выпуск в Нью-Йорке газеты «Знамя», в которой не только бы разоблачались злодеяния царизма, но и велась пропаганда за политическую и экономическую свободу человека вообще, в каюту вошел дежурный офицер и очень вежливо, но категорично предупредил, что по правилам компании «Норддейтчер Ллойд» — владелицы парохода — пассажирам нижней палубы не разрешается появляться в помещениях первого класса.

Алексей Максимович, хмуро взглянув на дежурного, спросил:

— Ну, а если пароходу придется тонуть, то тем, кто сейчас находится на третьей палубе или еще ниже — возле паровых котлов, им будет позволено спасать верхних пассажиров? — Не обращая внимания на замешательство офицера, продолжил: — Мне все равно нужен переводчик в течение рейса. Пожалуйста, предоставьте этому человеку место во втором или первом классе, а разницу в цене билета запишите на мой счет. Если, конечно, вы не возражаете? — Алексей Максимович обернулся к ярославцу.

— Нет, я не буду поднимать бунт на море, то есть готов переселиться, — последовал веселый ответ на русском, а затем и повтор на английском: переводчик, явно радуясь заступничеству писателя, приступил к выполнению своих обязанностей.

Однако в течение ужина его помощь была самой малой, так как разговор за столом велся в основном на немецком. Капитан Кюппер после того, как все расселись, желая сказать приятное знаменитости, заметил, что на этом же пароходе в прошлом году плыла в Соединенные Штаты русская делегация во главе с Сергеем Витте, нынешним председате-



лем совета министров Российской империи, для заключения Портсмутского мирного договора.

— Узнай я об этом несколько раньше, то есть на берегу, наша столь приятная встреча могла бы и не состояться.

За столом как будто не заметили резкости ответа писателя. Вслух выразил свое неодобрение только капитан, да и то косвенно: сообщил, что их судно оснащено замечательным аппаратом — воздушным телеграфом. С его помощью, подчеркнул он, в Европу было передано интервью Сергея Витте с представителем лондонской «Дейли телеграф» профессором Диллоном о существе предстоящих переговоров.

— Витте заявил чрезвычайно умно, — подхватил кто-то из гостей. — «Я совершенно не могу входить в обсуждение требований, которые основаны на предполагаемых в будущем успехах японцев».

Алексей Максимович помнил это интервью, перепечатанное в «Новом времени», знал и фамилию корреспондента. И вот почему. Года два назад ему попался сборник статей иностранных критиков, посвященный творчеству Максима Горького. Так этот самый Диллон в статье «Искусство и этика Максима Горького» объявил его Степаном Разиным в русской литературе.

— ...Приехав в Соединенные Штаты представителем русского правительства, в Петербург он уже вернулся его главой и еще графом.

— Полусахалинским, — коротко возразил Алексей Максимович на очередной панегирик Витте.

— То есть?..

— То есть в Портсмуте японцам была отдана половина Сахалина.

Замечание писателя было принято за остроумную шутку и прекратило диалог. Начались тосты. Все они сводились к тому, что пребывание на борту парохода русского писателя и его супруги Марии Андреевой, замечательной актрисы, таллантом которой совсем недавно наслаждался Берлин, является выдающимся событием.

Каждый раз, когда упоминалось имя «Мария», взгляды присутствующих, одетых предельно торжественно — морские офицеры в парадных, шитых золотом мундирах, — обращались на сидевшую между капитаном и Максимом Горьким молодую, ослепительно красивую женщину в светло-сером, тонкого сукна платье, оттенявшем темно-каштановые волосы. Рядом с замысловатыми вечерними туалетами, обнажен-



ностью, мехами, выставками драгоценностей других дам ее гладкое закрытое платье с единственным украшением — усыпанными мелкими бриллиантами эмалевыми часами-медальоном в виде ромбика — выглядело вызывающе скромно. Голову Мария Андреева держала склоненной, будто испытывала неловкость перед откровенностью восхищения. В действительности же так ей было удобнее прислушиваться к речам и, оставаясь вполоборота к Алексею Максимовичу, переводить их для него. На себя Мария Андреева взяла и ответный спич.

Негромкая речь актрисы текла замедленно, даже по-светски холодно, холодным казалось и выражение лица, но во внимательных орехового цвета глазах ощущались внутренняя энергия, затаенность. Сказав несколько любезных, приличествовавших случаю фраз, женщина словно бы оттаяла. Это стало заметно по изменившемуся рисунку бровей, по метнувшимся в глазах искоркам, по голосу, в который будто добавили серебра.

— ...И я, и Алексей Максимович Горький впервые пересекаем Атлантику. Мы оказались меж двух прекраснейших из стихий — небом и морем, которые, как известно, всегда вдохновляли искусство. И в первую очередь, наверное, потому, что они свободны. Искусство тоже служит свободе человека, размыкает замки на его душе. Оно целеустремленно движет людей к обетованным берегам братства. Наш многоуважаемый капитан сказал, что этот корабль — средоточие новейших достижений техники. И все-таки не машинам, а его мореходному искусству навигатора все мы тут бестрепетно вверили наши жизни. — Мария Андреева склонила сияющую бронзу своей тяжелой прически к плечу капитана. Старый моряк, скрывая смущение и удовольствие, которые испытал от внимания красавицы, провел рукой по лопатообразной бороде, поблагодарил поклоном. — Поэтому мы рады близкому знакомству с людьми, которые выбрали себе в товарищи на всю жизнь море.

Мария Андреева, широко улыбнувшись, воскликнула:

О море!  
Мать красоты, рожденной из пены!

Молодые офицеры, услышав стихи Генриха Гейне, встали из-за стола и с криками «гип, гип, ура» высоко подняли бокалы, не спуская восхищенных глаз с актрисы.

Предположение Алексея Максимовича, что в пути удасться хорошо поработать, с самого начала рейса не сбывалось. Правда, каюта была удобная: светлый кабинет, спальня с ванной комнатой, — и помещалась на второй палубе, в центре парохода, где меньше ощущается качка. Последнее достоинство оказалось не лишним: на следующий после торжественного ужина день море загудело. И хотя моряки говорили, что шторм задел только краем, а волны не настоящие — всего-навсего зыбь, больше половины пассажиров слегло. Слегла и Мария Федоровна.

Алексей Максимович в тревоге ждал, когда и ему станет плохо. Наконец обнаружил, что невосприимчив к морской болезни: не потерял ни работоспособности, ни аппетита. Даже наоборот, его тянуло есть! Тревожась за состояние жены, он время от времени заходил к ней в спальню, даже пытался рассмешить ее, показывая, как ловил за едой прыгающее по тарелке желе.

— Но почему так плохо тебе, а не мне, Маша?!

— Это наследственное, — печально, с жалкой улыбкой поясняла Мария Федоровна, старавшаяся лежать навзничь. — Мой отец кончал морской корпус, но не смог служить на кораблях: совсем не переносил, как он выражался, «болтанки». Вышел в отставку, остался без положения, без средств. Когда женился, то все свое имущество перенес на руках — связку книг и зеленую настольную лампу... Выручило его призвание, театральная сцена. Так что, не будь морской болезни, не было бы сейчас в Александринском императорском театре режиссера Федорова-Юрковского. Вот только любовь дочки-первенца к некоему нижегородскому драматургу не одобрил, не благословил.

— Вероятно, потому, что этого нижегородца морская болезнь не берет, впрочем, нож и пуля — тоже, — ответил Алексей Максимович.

— Ступай, Алеша, — попросила Мария Федоровна. — Думаешь, приятно женщине, чтобы ее видели в таком вот состоянии? Правда, по российским законам жена обязана пребывать в любви, почтении и неограниченном послушании, — она слабо улыбнулась. — Уйди, пожалуйста! Мне стыдно быть такой беспомощной. — Последние слова Мария Федоровна сказала странно серьезно, отвернувшись к стене.



Алексей Максимович, накинув темно-серый плащ с пелериной, который в России называли «ветряком», и надев кепку с маленьким козырьком, вышел на качающуюся палубу, на спардек. Скользя по мокрым доскам, балансируя руками, добрался до борта, приник к сырой от брызг шлюпбалке. И вот уж совсем неожиданно на него вместе со штормом опрокинулась лавина образов. Руку будто подтолкнуло к перу. Он так обрадовался этому чувству, что захотел побегать его, чуть продлить, и уже нарочно пробыл лишние полчаса на уходящей из-под ног палубе, наблюдая за громаздящимися в свете прожектора волнами, за колышущимся в высоте белым фонарем клотика...

Десятого апреля с утра по судну объявили, что к вечеру придут в Нью-Йорк. И пароходное чрево зашевелилось. Палубы заполнились принарядившимися людьми. Администрация парохода бесплатно роздала множество миниатюрных американских флажков. Женщины втыкали эти флажки-эмблемы в прически на манер гребней, а мужчины прикалывали к лацканам пиджаков.

Даже «верхние» пассажиры, ранее торчавшие в салонах и барах, где тянули коктейли или играли в карты, выбрались на спардек. Одни гуляли со своими разряженными и раскрашенными дамами, другие устроились в шезлонгах, попыхивая сигарами.

По беспроводному телеграфу для Максима Горького поступило приветствие с американской земли. Приближение этой земли уже чувствовалось, все чаще попадались встречные суда. Одно, приземистое и тупоносое, с огромными белыми буквами на широких бортах — «ГУДЗОН», коротко и требовательно прогудев, повернуло к «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» и дало сигнал застопорить машины.

Опять раскрылся в борту лайнера люк, через который на рейде Шербурга сажали иммигрантов. В него с пришвартованного пароходика по колеблющемуся трапу прошло несколько чиновных фигур — работники таможенной и иммиграционной служб, а за ними ринулась целая толпа. Люди улыбались, махали шляпами, выкрикивая: «Горький!»

Прежде чем Алексей Максимович и его спутники успели опомниться и принять оборонительные меры, каюта была уже полна. В писателя нацелились сизые объективы «кодаков», посыпалась дробь вопросов.

Подросла и вторая группа — солидных. Из нее вырвался молодой человек, узкоплечий, невысокого роста, в пенсне,

за которыми сверкали карие глаза, кинулся к Максиму Горькому на шею. Он выглядел подростком, не доставал и до плеча писателя. Алексей Максимович добродушно принял его порыв, потрепал за смоляные выющиеся волосы, говоря что-то успокаивающее.

Опять защелкали затворы десятка фотоаппаратов — сцена заинтриговала: парень оказался крестником Горького, эмигрировавшим два года назад из России.

— Зиновий Пешков. У меня в журнале работает, — на ходу пояснил репортерам человек с узким носом и тонкими, вытянутыми вперед губами, отчего его рот походил на клюв. Он тоже пытался пробиться через живой заслон к писателю, но на присмотренное место встал полный, с округлым лицом мужчина, обратился на русском к Горькому:

— Дорогой Алексей Максимович! Мы, представители нью-йоркских социалистических организаций и изданий, — показал он на своих спутников, прибывших в арьергарде, — рады вас приветствовать на свободной американской земле, которая для некоторых здесь присутствующих стала второй родиной. Прошу обратить внимание — второй. Та, первая, — оратор сделал жест пухлой ладонью в сторону океана и плавной дугой опустил ее к сердцу, — та, далекая, всегда тут! И считайте нас в рядах борцов за ее освобождение.

В секундную паузу, которая появилась в момент перемещения руки, Зиновий успел сообщить Горькому:

— Абрам Каган, писатель и редактор социалистической газеты «Форварст». Тираж — двести тысяч!

Приветствие послужило началом дальнейших знакомств. Каган отрекомендовал председателя социалистической партии Мориса Хилквита, который оказался тоже выходцем из России, затем молодых писателей Роберта Хантера и Лероя Скотта. Дошла очередь и до человека с клювообразным ртом, Генри Уилшайра, редактора и издателя социалистического журнала «Уилшайрс мэгэзин».

Алексею Максимовичу называли все новых лиц. При каждом имени он кивал головой и чувствовал себя явно неловко. Он обрадовался, когда высокий репортер с деревянным лицом, которое оживляли круглые голубые глаза, бесцеремонно перебил эту торжественную монотонность:

— Карл Декер. «Джорнэл». Вопрос, мистер Горький. Не думаете ли вы, что русская революция может осуществиться без применения оружия? — И поставил вечное перо на лист раскрытого блокнота.



Его примеру последовали и коллеги.

— Разве история вашей Северо-Американской республики не свидетельствует, что колонизаторы и рабовладельцы добровольно власти не отдают? — возразил Алексей Максимович. — Могла прогрессивная часть американского народа победить без оружия в революции 1776 года?

— Но в России сейчас октябрьский конституционный манифест, — полемически подхватил тему другой молодой корреспондент в огромных черепаховых очках. Сверкая золотым рядом верхних зубов, он представился лишь по названию газеты: — Я из «Уорлд». В Петербурге скоро открывается парламент — Государственная дума. Разве это не окажет решающего влияния на дело освобождения русского народа?

— Парламент из помещиков освобождает сам себя от земли, от доходов — так хотите сказать?

— Творцы новой программы смотрели в будущее, полагаю. Среди них есть передовые умные люди, такие, как Сергей Витте. Его политической дальновидности, демократизму отдала должное вся Америка, — продолжал спорить журналист.

— Думаю, далеко не вся Америка, — ответил Максим Горький. — Витте — демагог, человек без чести. Он один из виновников убийства тысяч безоружных рабочих, их детей и жен 9 января. За день до Кровавого воскресенья я сам был у него с делегацией интеллигенции Петербурга. Мы предупреждали о неизбежности кровопролития, просили принять меры...

Алексей Максимович вдруг представил кабинет Витте и его самого — тучного, с лобастой, но маленькой головой, и себя, сказавшего: «Если завтра прольется кровь, правящие сферы дорого заплатят за это».

Алексей Максимович, взглянув на притихшую толпу гостей и репортеров, подтвердил:

— Да, двуличный подлец!

— О?! — только и сказал корреспондент из «Джорнэл» и в знак полного недоумения покачал головой. Это была, конечно, игра, так как удивить Карла Декера, одного из наиболее ловких херстовских репортеров, невозможно. Прославился он накануне испано-американской войны. Чтобы подтолкнуть отечественную военщину к захвату Кубы и создать необходимое «общественное мнение», Декер, следуя указанию шефа, выкрал в Гаване у испанских властей арестованную ими кубинскую девушку, сумел тайно доставить ее на

корабле в Нью-Йорк и сразу же организовал на Мэдисонсквер гарден массовый митинг протеста против глумления испанцев над женщинами-патриотками. Он понимал, что шеф при этом руководствовался не столько сочувствием или заботой о женской чести, сколько стремлением раздуть у слушателей военную истерию, перевести народное восстание на Кубе в выгодное для Соединенных Штатов русло.

Карл Декер и сейчас строго выполнял предписание редакции — добыть сенсационное заявление Максима Горького, опередив главного соперника — пулитцеровскую «Уорлд».

Интервью началось. Если спрашивали на английском, переводили Зиновий или Каган, но в основном беседа велась на французском языке. В этом случае в качестве переводчика выступали тоже двое — Мария Федоровна и появившийся как-то незаметно возле Горького коренастый человек среднего роста, с интеллигентным лицом, обрамленным русой окладистой бородкой. Невозмутимостью, твердым и внимательным взглядом, неторопливой речью он несколько успокоил репортерскую суету. Из сыпавшихся вопросов он первоочередно выбирал для Алексея Максимовича те, которые носили политический характер. Было замечено, что к писателю переводчик обращается на «ты» — свидетельство большой близости.

Мария Федоровна, воспользовавшись кратким перерывом, представила его как секретаря Максима Горького, петербургского общественного деятеля, музыканта Николая Буренина, после чего перевод интервью продолжала уже сама, точно и кратко формулируя вопросы и ответы.

— Красивая женщина и умница! — с восхищением произнес очкастый из «Уорлд».

— Любовниц среди некрасивых редко выбирают, — возразил ему сосед и улыбнулся, ершистые пшеничные усы тронули румяные щеки.

— Разве не жена?!

— Гм...

Репортер, поймав коммивояжерское выражение в глазах собеседника, поспешил вручить визитную карточку.

— Простите, а вы...

— Я журналист, русский. Мое имя ничего не значит. Но если угодно, Николаев. Могу зайти к вам в редакцию. А сейчас позвольте откланяться — пора собираться.

Собираться действительно было пора. Город, который час назад поднимался из воды плоским темным контуром,



приобрел земное основание, объемность и краски. Пароход, войдя в устье Гудзона, двигался медленно. По берегам появилось множество причалов, за которыми виднелись галереи гигантских складов и дороги на железных колоннах.

## ГЛАВА II

### 1. КРЕСТНИК

Алексей Максимович в свое первое утро на американской земле проснулся чуть свет: не применился к смещению времени дня и ночи. Он, правда, не испытывал сонливости, попросту не мог нормально спать, без конца пробуждался. Поднявшись, хотел отправиться к Марии Федоровне, которая занимала соседнюю комнату, выходящую в общий салон номера, но раздумал будить ее, пожалел: она сильно утомилась за вчерашний заполошный день.

Алексей Максимович вздохнул, посмотрел в окно на ступенчатый пирамидальный фасад высокого здания напротив и вспомнил, что дополнительно к бессоннице ему мешал еще и прыгающий электросвет рекламы. Но то, что отель находился на Бродвее — «сопернике» Млечного Пути, считалось его большим достоинством. Эту гостиницу, предназначенную для семейных, рекомендовал Уилшайр. Сюда из порта они приехали на его автомобиле. Заказанный номер одобрил и Буренин: из салона был виден зеленый краешек массива Центрального парка, ширь Гудзона и гавань; меньше доносился и грохот надземной железной дороги, проходившей близ здания гостиницы на уровне третьего этажа. Для себя он снял комнату подешевле, с окном во двор — узкий и темный, похожий на шахту.

Центральный Комитет РСДРП не случайно в эту ответственную поездку выбрал в товарищи Максиму Горькому Николая Евгеньевича Буренина. Предлагались и другие кандидатуры — Воровский и Литвинов. Оба знали языки и, что называется, обладали представительностью, но очень уж были приметны для охраны: Литвинов в 1902 году совершил дерзкий побег из киевской тюрьмы и с тех пор разыскивался, а Воровский, дважды отбывавший ссылку, находился под гласным надзором. Буренин же ни разу не подвергался серьезным преследованиям, жил под своим именем. О его работе

в Боевой технической группе при ЦК по переброске транспортов с литературой и оружием через границу знали только посвященные. Знали и Горький с Андреевой. Вчера на встрече с журналистами, рекомендуя Буренина «петербургским общественным деятелем, музыкантом», Мария Федоровна заботилась о конспирации. И в то же время эта характеристика отражала действительное: Буренин со студенческих лет увлекался устройством литературно-музыкальных вечеров, концертов. Его административный опыт тоже мог пригодиться в американской поездке. Как преимущество было оценено и личное дружеское знакомство Буренина с Горьким. Словом, после рассмотрения всех «за» и «против» в ЦК остановились на кандидатуре Германа — Виктора — Тома — за этими партийными псевдонимами скрывался Николай Евгеньевич Буренин.

...Алексей Максимович зря тревожился, что своим ранним пробуждением мог кого-то побеспокоить, — поднялись все. Первым пришел Зиновий, румяный, улыбающийся. Потряса газетой, воскликнул:

— Америка объясняется в любви с первого взгляда! — и, сунувшись в полосу, прочел: — «На великолепном лице Горького написана Свобода!»

— Хватит, хватит, — остановил Зиновия Алексей Максимович, подумав: «Уже двадцать два, а так мало изменился с арзамасских времен».

В Арзамас, где в 1902 году Максим Горький отбывал административную ссылку, этого юношу, аптекарского ученика, выслали из Нижнего за распространение революционных листовок и за связь с Максимом Горьким, — их в одну ночь и арестовали. Вот таким же, как сейчас, шумным Зиновий после отсижки заявился тогда на арзамасскую квартиру к Алексею Максимовичу. С порога сообщил:

— В этом забытом богом городке я насчитал более тридцати церковных куполов, столько же трактирных вывесок, но ни одной библиотеки.

Арзамасский протонерей отец Владимирский, который первым из местной интеллигенции нанес визит опальному писателю, укорил:

— Ну и выкажите благородную энергию к просветительским деяниям.

— Выказывал. Только не поняли их превосходительства нижегородские, — пояснил Зиновий и театрально сник: — И вот я здесь, у арзамасских ног.



— Не ног, а вод. — Горький, ухмыляясь в усы, взглянул на священника, который только что рассказывал о своих безуспешных попытках провести в город водопровод от подземных источников, обнаруженных им в окрестных лесах: губернские и городские власти посчитали это блажью.

Горький относился с симпатией к протоиерею-водоискателю, знал, что его сын-врач — революционер, в прошлом году был вынужден эмигрировать. Совсем неожиданно отец Федор принял участие в судьбе Зиновия, которого Горький оставил жить у себя. Получилось это так. В середине августа в Арзамас приехал из Москвы Владимир Иванович Немирович-Данченко, один из блистательных основателей Художественного театра. Прибыл он затем, чтобы взять у Горького только что законченную им пьесу «На дне жизни». В театре ее ждали с нетерпением, — с замыслом произведения актеры познакомились еще весной 1900 года, когда Алексей Максимович приезжал в Крым, где гастролировал театр, даже отложили уже начатую работу над ибсеновскими «Столпами общества».

Алексей Максимович прочитал гостю пьесу, которая привела того в восторженное состояние. Они до полуночи бродили по заснувшему городу, разговаривали. Зашла речь и о Зиновии, по мнению Алексея Максимовича, очень способном парне, обладавшем серьезными артистическими данными.

— Возможно ему поступить в ваше филармоническое училище? Вдруг и окажется нечто? — спросил Алексей Максимович. — Я бы дал ему стипендию, рублей сорок в месяц.

Немирович-Данченко, который уже десять лет руководил драматическим отделением театрального училища Московского филармонического общества и достаточно насмотрелся на несостоявшиеся таланты, ответил осторожно:

— Почему не попробовать? Но Зиновий — еврей, власти не разрешат ему поселиться в Москве.

И вот тут-то отец Федор, который тоже посчитал Зиновия «человеком с плюсом», как он называл людей, думающих не только о спасении души, но и о смысле земного бытия, оказал серьезную помощь. Чтобы обойти юдофобские ограничения, установленные царскими законами, священник помог перевести парня в православие. Согласно желанию Зиновия ему были присвоены отчество и фамилия приемника — Алексея Пешкова.

Договорились, что Зиновий Алексеевич Пешков немедленно

но займется самообразованием, подготовится к экстерну, чтобы получить аттестат зрелости, необходимый для поступления в училище. Однако вышло так, что через некоторое время Алексей Максимович был вынужден написать Немировичу-Данченко о крестнике:

«...А сын мой не выдержал. Целое лето готовился на зрелость и решил возвратиться в театр. Ну что же? Пускай его! Мне все равно. Обещает работать вовсю. Посмотрим. Вы ему, между прочим, внушите, что это необходимо, работать-то».

В родном городе Зиновию поработать и поучиться тоже не удалось. Губернские мирские и духовные власти заметили что-то неладное в богоугодном деле, затеянном отъявленным безбожником Максимом Горьким. Им было известно, что сей «крестный отец» в 1887 году не пожелал раскаяться после попытки самоубийства. Более того, во время допроса насмеялся над духовными судьями и написал на них издевательские стихи.

В итоге нижегородская духовная консистория строго указала причту Троицкой церкви в Арзамасе на самовольство с переменной фамилии у политического поднадзорного и предписала исправить запись в метрической книге, уничтожив присвоенную фамилию Пешков, оставив родовую. Но Зиновий, имевший на руках новые документы, полученные с помощью Федора Владимирского, исчез: сначала уехал вслед Горькому в Москву, затем — в Петербург, а осенью 1904 года эмигрировал. В сентябре от него пришла телеграмма из Швейцарии, в октябре — уже из Канады.

В стране кленового листа он оказался довольно случайно. Отчаявшись найти работу в Нью-Йорке, решил попробовать счастья в Канаде и отправился туда через Буффало вдвоем с товарищем, тоже русским горемыкой, в придачу не понимавшим ни слова по-английски. Экспресс для таких невольных кочевников всегда под парами — первый попавшийся в нужном направлении товарняк. Комфорта, конечно, ожидать не приходится, однако на этот раз очень уж не повезло: вагон, в который они прокрались, оказался груженым водопроводными трубами. Не посидишь, не полежишь — тело будто на катках раскатывают. Под ребра, кроме собственных рук, подложить нечего — все имущество на себе.

Отправились под самую пасху, в страстную субботу. Смакуя, как кулич, черствый хлеб — истратили последние пять центов, путешественники старались поддерживать настроение



взаимным подтруниванием: свои грехи, мол, они в эту ночь, наверное, не приумножат — не спят и говеют, как и положено добрым христианам перед пасхой. Шутили, хотя остроумие на голодный желудок — вроде смеха сквозь слезы.

В Буффало, большой город на берегу Эри, прибыли утром. Разбитые, перемазанные с ног до головы, с одеревенелой походкой, они обращали на себя внимание каждого, пока добирались до пристани. Но тут повезло. Чиновник иммиграционного бюро, не дослушав их, торопясь, вероятно, к праздничному столу, в качестве пасхального подаяния сунул им бесплатные билеты на пароход.

— ...Мы спешили на ту сторону Эри, в Торонто, — Зиновий решил воспользоваться случаем, чтобы поведать крестному о своей одиссее. — И всматривались в приближающийся холмистый берег с трепетом невесты, жаждущей желанных объятий. Вотще! Нас снова облапили костлявые руки нужды, неудач. Наконец удалось устроиться на меховую фабрику. Тут я попробовал выделывать бобровые шкуры и попутно дубил собственную. В доказательство тому даже выслал вам в Москву открытку из кожи — канадский пергамент — с дарственной надписью.

— Отлично помню, — подтвердил Алексей Максимович. — «Катюше и Максиму Пешковым от З. Пешкова».

— Но вскоре я решил переменить «бизнес» и в поисках новой работы избегал и Торонто и Монреаль, пока не прислонился к журналу Уилшайра. Бегать там весело — тротуары деревянные, танцующие, как в Нижнем или в Арзамасе. Бежишь — доски поскрипывают, постукивают, а где поломаны, так и норовят, тоже по-русийски, еще и по лбу хлопнуть, напоминая: «Куда же тебя к черту, дурака, занесло?!»

Зиновий спешил воспользоваться случаем хотя бы поэтапно сообщить о своем житье-бытье в Америке. Когда вспомнил, как у него на пароходе украли деньги, которые ему перевел Алексей Максимович, последовал вопрос:

— Ну и как же, был глас с неба: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение»?..

— Не могу, крестный отец, ответить, ибо не знаю, где в Америке небеса. Вам это лучше пояснит мистер Уилшайр, мой социалистический босс. Он, кстати сказать, отпустил меня сегодня, чтобы я предупредил знаменитого писателя о том, что вечером в его честь дается прием, на котором будут финансовые и литературные светила, в частности Герберт Уэллс.

— Англичанин Уэллс?! Он в Нью-Йорке?..

— Да. Он тоже гость Уилшайра, видный социалист!

Вошла Мария Федоровна, протянула мужу пачку визитных карточек.

Зиновий перехватил их и, листая, заметил:

— Не придавайте значения этой макулатуре. Спекуляция на выражении чувств! В Америке все — купля-продажа. Я порой думаю: а есть ли тут они, высокие идеи-то?.. Во всяком случае, нижегородский жандарм, который меня допрашивал, выглядит отсюда куда более просвещенным и деликатным, чем некоторые из социалистов, приветствовавших вас вчера на пароходе.

Алексей Максимович и Мария Федоровна переглянулись: слова и тон Зиновия так не походили на его прежние ораторствования. А молодой человек, тасуя визитные карточки, смотрел вызывающе, будто ожидал возражения.

— Ты что, в «тетку» или в очко предлагаешь перебраться? — Алексей Максимович пытался шуткой смягчить вызов. — Помнишь, как у Чехова?..

— А тут всегда будет недобор, — буркнул Зиновий. — Эта колода мечена — политикины.

— Как же мы поспеем на прием к Уилшайру, если уже приглашены к писателям? — недоумевал Горький. — Я вчера дал слово этому симпатичному Лерою Скотту.

Выход нашел Буренин. Николай Евгеньевич появился в гостиной тщательно выбритым, надушенным, в превосходно сидящем на его плечистой фигуре сюртуке. Он посоветовал:

— Придется проявить деловитость по-американски, то есть побывать в один день на двух приемах: в обед, как договорились, в клубе писателей, а вечером — у Уилшайра.

— А как быть с репортерами? — спросил Зиновий. — Полон вестибюль и гостиная.

— Николай Евгеньевич возьмет заботу о посетителях на себя, — вмешалась Мария Федоровна. — Зиновий, конечно, поможет: на двух языках извиняться — это, пожалуй, вежливее, — обернулась она с улыбкой к мужу.

## 2. «ГАПОНАДА» «ДЖОНА ГРАФТОНА»

И все-таки одного посетителя пришлось принять, высокого седого соотечественника. Его представительный вид, требовательный тон смутили Зиновия.

— Алексей Максимович знает обо мне. Доложите.

— Хорошо, — согласился Зиновий, направляясь в номер. —



Какой-то русский американец категорически требует свидания. Утверждает, что вы его ждете, непременно обратитесь.

— Одну минуту, — попросил Буренин и хотел сам выйти в салон. Но высокий уже находился в дверях. Глядя поверх головы Буренина, он сделал несколько шагов в глубь комнаты.

По тому, как вразнобой поднялись и изогнулись у Алексея Максимовича светлые брови, Зиновий понял, что он знает этого человека, удивлен и недоволен визитом.

— Здравствуй, Алексей Максимович. Я конфиденциально, по поручению ЦК эсеров, — заговорил гость, игнорируя присутствующих. — Понимаю, что не совсем ко времени. Но свободного времени в Америке и не бывает, тут оно всегда — деньги. — Усмехнувшись, уточнил: — Даже более — доллары! Вы, как известно, приехали для их сбора на наше общее дело. Пользуясь случаем, я и зашел, чтобы договориться о совместных выступлениях, митингах, то есть повторить предложение, которое, как помните, сделал еще в январе в Финляндии.

— И разве тогда не получили ясного ответа? — спросил Горький, который, по-видимому, не собирался выходить на встречу, только встал из-за стола.

— Опять! — Гость поморщился. — Эсеры, большевики, анархисты. Это в конце концов распри на внутрироссийской политической кухне. А революция одна! И деньги, на которые будет закупаться оружие, — им служить только ей одной.

— Представляете, — обратился Горький к Буренину, — лебедь, рак и щука, вопреки мнению дедушки Крылова, могут, оказывается, тянуть пушку на общую позицию.

— Лебеди в вашем представлении, надо полагать, большевики? — не удержался от колкости гость. — А Азеф, Брешко-Брешковская, Перовская, Каляев и другие — это в некотором роде рако-щуки?

— Лучше все же начинать список с Софьи Перовской, а не с Евно Азефа, — серьезно заметил Горький, неприятно вспоминая щекастое желто-смуглое лицо главы боевой организации эсеров, с которым виделся летом 1905 года в Куоккале в компании Репина, Гарина-Михайловского и гапоновца Петра Рутенберга. — И вообще вы зря сваливаете этих людей в кучу: одни — герои, другие — всего лишь эпигоны.

— Разве тот, кто подхватывает знамя из рук павшего в бою, именуется эпигоном?!

— Например, Георгий Гапон, — добавил стоявший позади со скрещенными на груди руками Буренин.

Гость живо обернулся, глаза его округлились от удивления.

— Здравствуйте. Вот уж неисповедимы... — Он распротер как будто бы для объятия длинные руки.

— Взаимно рад, — поклонившись, ответил Буренин, ожидая, когда гость опустит руки. — Какими судьбами?

— Вы предупреждаете мой вопрос. После Лондона мы ведь не виделись... Простите, я забыл ваше имя.

— Естественно, мы тогда и не познакомились.

— Да?! Разве вам не сказали мое, когда везли на конспиративную квартиру? Я Чайковский!

Зиновий, услышав фамилию видного деятеля народнического движения 70-х годов, товарища Степняка-Кравчинского и Кропоткина, почувствовал себя неловко из-за того, что не проявил к этому человеку должного уважения, задержав в приемной. Он не понимал причины холодного отношения к нему со стороны Алексея Максимовича и Буренина.

— Нет. Гапон держал ваше имя, надо полагать, в тайне.

При повторном упоминании Бурениным фамилии пора Чайковский тяжело вздохнул. Его широкое бородатое лицо покраснело.

— Вы, наверное, знаете, что наш общий знакомый, — продолжал Николай Евгеньевич, — недавно, точнее в феврале, обратился с покаянным письмом к прокурору Петербургской судебной палаты и открыто признался, что получил от графа Витте предложение вступить с ним в переговоры по поводу материального состояния петербургских рабочих организаций и согласился. Гапон сообщал об этом как о важной заслуге перед троном. Даже всплакнул по поводу своего невыносимого положения и просил легализовать его либо судить. Судить — это, конечно, для красного словца...

Чайковский пробубнил, выражая явное недовольство темой:

— За «гапонаду» социалисты-революционеры не могут нести ответственность.

— Но ведь в лондонской истории Гапон был вашим представителем, доверенным лицом... Столько рисковало людей. Алексей Максимович в их числе...

— Оружие-то, лондонское, закупили, кстати сказать, на



деньги, собранные тоже здесь, в Штатах, — Чайковский снова обратился к Алексею Максимовичу, уходя от разговора о Гапоне. — Не случись нелепой аварии с кораблем...

— Скорее предательство, чем нелепость, — не согласился Горький.

— Именно, — подтвердил Буренин. Николай Евгеньевич уже не раз анализировал загадочную лондонскую «гапонаду», из-за которой боевая техническая группа потеряла много времени и сил.

В середине прошлого года его срочно вызвал член ЦК РСДРП, руководитель этой группы Красин и командировал в Женеву к Ленину. Дело, по его словам, было важности чрезвычайной.

Оказалось, что эсеры совместно с гапоновцами закупили за границей много оружия, патронов, взрывчатки. В Лондоне все это погрузили на зафрахтованный ими небольшой пароход «Джон Графтон». Команду для корабля сформировали из надежных людей, латышей-политэмигрантов. «Джон Графтон» вышел в море под американским флагом, чтобы нелегально доставить это оружие в Россию, снабдить им организации революционеров, а также гапоновцев. Но в условленном месте под Выборгом транспорт никто не ожидал. Эсеры Азеф и Рутенберг, которые должны были организовать перевозку оружия в Петербург, вдруг исчезли. Стало ясно, что о грузе проводили жандармы. Пароход спешно покинул Финский залив.

Тогда-то Гапон и обратился к большевикам с просьбой о помощи. Буренин, прибыв в Женеву, встретился с ним в одном из кабачков. Священник, одетый по-мирскому, очень худощавый, с выразительным смуглым лицом пророка, окаймленным волнистыми черными волосами, утверждал, что если его сторонники в Петербурге получат оружие, то немедленно восстанут против царя-убийцы. Он и сам будет драться в их рядах за свободу, за Учредительное собрание и призывает к этому все социалистические партии.

— ...Угнетателям — мое пастырское проклятие, тем же, кто поможет народу, — благословение! — Гапон, постукивая по столу глиняной пивной кружкой, повторял выпренные слова из воззвания, которое написал вечером в Кровавое воскресенье.

Уследить за его мыслями было трудно. То он рассказывал, как вместе с Брешко-Брешковской образовал в Париже комитет для закупки оружия во Франции, Бельгии, Швей-

царии, то сетовал на газеты, распустившие слухи, будто он в Ницце посещал рулеточные залы. Ну и что? Это была всего лишь неудачная попытка пополнить революционную кассу. Да и играл на свои: получил в Лондоне тысячу фунтов стерлингов за то, что продиктовал историю собственной жизни, а в Париже брал деньги с газетчиков — по луидору за каждый автограф...

В Женеве договорились, что Буренин и Гапон немедленно отправятся в Лондон для уточнения операции с оружием. Соблюдая конспирацию, они в дороге не узнавали друг друга. В Лондоне остановились в разных гостиницах, а на явку, которой оказалась квартира Чайковского, ехали в закрытых экипажах. Буренин назвал себя Виктором Павловичем, а Гапона — Николовым.

Чайковский, державшийся с представителем большевиков свысока, подтвердил все, что рассказал Гапон, добавив, что пароход стоит в Копенгагене и надо спешить.

28 июля 1905 года Буренин был уже в Петербурге, докладывал ЦК РСДРП о переговорах. Он предупредил, что надеяться на помощь гапоновцев не следует, так как сейчас у них нет ничего существенного как в организационном, так и в техническом отношении. Хотя Гапон и утверждал, что в Петербурге осталась его центральная группа, практически же это был ноль: ни программы, ни руководства, ни сил. «Ввиду этого, — записали в протоколе заседания ЦК, — товарищ Герман предлагает взять в свои руки всю боевую организацию и лишь использовать гапоновцев и социалистов-революционеров, так как первые могут дать средства, а вторые помочь в технической стороне дела. Это предложение принято».

Тут же договорились просить Максима Горького воздействовать на Гапона, чтобы священник передал все связи по пароходу большевикам. Почему Максима Горького? Он лично знал Гапона. Правда, это знакомство укладывалось в одни сутки: 9 января, после расстрела рабочего шествия, Горький укрыл Гапона у себя на квартире, спасая от ареста, помог изменить ему внешность — обрезать волосы, загримироваться. На квартире Горького Гапон написал и свое воззвание, в котором проклял царя и армию. С тех пор они больше не виделись. Алексей Максимович на следующее утро уехал в Ригу: пришла телеграмма, что Мария Федоровна, выступавшая там с театром Незлобина, внезапно заболела. Гапона в эти дни переправили за границу.



Буренин сразу же после заседания ЦК переговорил с Алексеем Максимовичем. Встречу с Гапоном решили устроить в Финляндии. Подыскивали и место для выгрузки оружия — необитаемый остров Нарген близ Ревеля. Операцию поручили Максиму Литвинову.

И вот, когда Литвинов с группой студентов и рабочих рыл ямы-хранилища на острове, поджидая пароход, который должен был подойти к острову с погашенными огнями, из Териок солнечным утром выехала коляска с двумя девушками и женщиной. Веселую компанию изображали Максим Горький и сестры адвоката Лансберга, соседа Буренина по даче. Вблизи станции Тюрсева их остановил человек, одетый в охотничий костюм. Это был Буренин. Такую же одежду он приготовил и для Алексея Максимовича. Теперь уже в качестве охотников, с двустволками и сеттером, они уехали в курьерский поезд. Чтобы надежнее «профильтроваться», сошли, не доежая Гельсингфорса. И еще двадцать пять верст добирались по лесной дороге до назначенного места встречи — загородного дома, принадлежавшего видному ученому Тернгрёну, в усадьбе которого был устроен один из транспортных пунктов по переброске оружия в Россию. Чуть позже другой дорогой сюда прибыли и Красин.

А Гапон не явился. Исчез! Буренин попробовал отыскать его следы в Гельсингфорсе, но вскоре оставил попытки: до него дошел слух, будто Гапона в Финляндии обложили шпики, а выдал его охранке... Буренин. Опять сработала провокация!

Исчез и транспорт с оружием. Но через неделю газеты затрубили, что в финских шхерах, неподалеку от Якобстада, обнаружен полузатонувший пароход «Джон Графтон». Посланные на него солдаты и водолазы сняли девяносто восемь ящиков с патронами и динамитом и шестьсот пятьдесят девять винтовок. Затем последовало уточнение: пароход сел на мель 26 августа, в тот же день был покинут командой.

Апофеозом всей этой загадочной истории стал выход в Петербурге, в издательстве Суворина, брошюры под названием «Изнанка революции. Вооруженное восстание в России на японские средства». Автор, пожелавший остаться неизвестным, спешил уведомить читателей, что операция с «Джоном Графтоном» разрабатывалась и выполнялась русскими революционерами под руководством... бывшего японского атташе в Петербурге Акаши. Для правдоподобия в брошюре

приводились даже денежные квитанции и точная сумма затрат — двести шестьдесят тысяч рублей, то есть около семисот тысяч франков.

Для царских властей провокация с «Джоном Графтоном» явилась отличным поводом для того, чтобы в «самостоятельной» Финляндии вчетверо (!) увеличить численность береговой и морской охраны и направить туда на случай революционных выступлений дополнительные войска.

Сейчас в отеле «Бельклер» Чайковскому, конечно, обо всем этом не хотелось вспоминать: «гапонада» с оружием свидетельствовала об эсеровской и его личной близорукости. Поэтому он подал подходящую к случаю дипломатическую реплику:

— История «Джона Графтона» очень напоминает произошедшую в 1863 году: тоже на Балтике, тоже английский зафрахтованный пароход «Ворд Джексон», тоже команда из отважных политэмигрантов-литовцев и тоже рейс из Лондона с грузом оружия в Россию, чтобы поддержать утопавшее в крови восстание. Но на родном, так сказать, берегу смельчаков уже ждали царские роты. Экспедицию кто-то предал еще в Лондоне.

Чайковский, заметив на лицах присутствующих заинтересованность, продолжал:

— «Ворд Джексон», как и «Джон Графтон», вынужден был уйти в Копенгаген. Там отряд пересел на шхуну и на ней снова направился к русским берегам. На этот раз тайна была сохранена. Но рок преследовал революционеров: из-за шторма шлюпки при высадке перевернулись и люди потонули... Замечаете, как все похоже: тоже Копенгаген и авария возле родных берегов. Да и команда, как в нашем случае, вернулась в Англию.

Алексей Максимович заметил:

— Ну, вот видите, как опасно отправлять оружие через Лондон. Оно всегда попадает не в те руки. Вероятно, для экспедиции 1863 года тоже нашелся свой Гапон и подручные провокаторы.

— Ошибаетесь. На «Ворд Джексон» вместе с повстанцами плыл сам Михаил Александрович Бакунин!.. — Ответив, Чайковский повернулся к Буренину, заговорил с обидой: — Когда вы прибыли ко мне в Лондон, с вами говорили серьезно. Так почему же теперь, когда я пришел к вам, вы отделяетесь шуточками и упреками, будто я этого Гапона выдумал?..



...Рассуждали о Гапоне, и никто из присутствующих еще не знал, что в это самое время на бревенчатой стене двухэтажной дачи в местечке Озерки, на русско-финской границе, висит на железном стенном крюке с петлей на шее, прикрытый собственной шубой, бывший глава «Собрания фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга» священник Георгий Гапон.

Революционный суд над ним состоялся 28 марта, а по новому стилю 10 апреля, то есть в тот день, когда Горький ступил на американскую землю. Казнили Гапона рабочие, бывшие его горячие сторонники. Доказательства о связях их вожака с охранкой, о его предательстве предоставил инженер Рутенберг, тот самый, который в день 9 января тоже находился в квартире Горького...

Тягостное молчание нарушил Николай Евгеньевич:

— Дело вовсе не в личном уважении или неуважении к вам, вашим соратникам, среди которых много достойных людей, — начал он, поглаживая бородку. — Все куда серьезнее: большевики совсем за другую революцию, то есть в марксистском ее понимании, за революцию, в которой должен главенствовать пролетариат. И методы борьбы у нас разные.

После слов Буренина «в марксистском понимании» Чайковский простер руки и бросил их с высоты, как плети.

— Вы — за героев-одиночек, — продолжал Буренин, — мы — за дисциплинированную революционную армию. Какой же деловой смысл объединять наши средства, наши арсеналы?.. Во имя демагогической демонстрации единства перед зарубежными либеральными зрителями или жертвователями?

— К числу таковых, получается, большевики относят и Марка Твена, с которым я третьего дня разговаривал о будущей русской республике. Он обещал нам полное содействие в сборе средств. Взгляните! — Чайковский вытянул из кармана «Нью-Йорк таймс» и прочел вслух: — «Мои симпатии безусловно на стороне русской революции. Я надеюсь, что она увенчается успехом. Быть может, многие из нас, даже и старики, еще доживут до того благословенного дня, когда цари и великие князья станут на земле такой же редкостью, какой, я полагаю, они всегда были на небесах...»

— В прогрессивности взглядов Марка Твена никто не сомневается. Но речь-то идет о нас с вами, Николай Васильевич, — Горький впервые обратился к гостю по имени-отче-

ству. — Оттого, что большевики и эсеры оказались от родины на расстоянии в половину земного экватора, их взгляды от этого не сблизились ничуть. По-моему, дело в том, что вы, уехавший из России более трех десятков лет назад... Я не ошибаюсь?

— Нет, нет, — угрюмо подтвердил Чайковский, — эмигрировал я ровно тридцать два года назад.

— ...Вы за это время просто забыли Россию. Просидели, если угодно, проспали на старом идейном багаже, как пассажир на уездной станции все попутные поезда. И вот теперь носитесь по платформе, потрясаете узлами и кошелками. Попройтесь в них, оцените честно...

— В таком случае о чем говорить с политическим старьевщиком?! До свидания.

— Нет уж, лучше — прощайте.

— Помните, Горький, — Чайковский картинно тряхнул лысеющей головой, — мы сумеем обойтись без вашей помощи. Создается комитет из знаменитых американцев. Так что вы просчитаетесь, пожалеете...

— Прощайте, прощайте, — не дал ему договорить Алексей Максимович. Когда гость скрылся за дверью, добавил с досадой: — Эсеры еще зимой перетерли мне шею переговорами. И как только пронюхали, что собирался в Америку?

— Наверное, так же, как о «Джоне Графтоне», — заметил Буренин.

— Когда я отказался сотрудничать, пригрозили послать со своей стороны «бабушку», Брешко-Брешковскую: ее-де Америка знает давно.

— Да, она тут находилась с осени 1904-го, — подтвердил Зиновий. — Выступала в Нью-Йорке, в Бостоне и Чикаго. После 9 января Каган напечатал даже листовку о ней — с портретом. Двадцать тысяч экземпляров!

— Эсеры отправили Чайковского в феврале, то есть с явным расчетом опередить нас, — сделал вывод Горький. — Успел уже и со знаменитостями встретиться!..

— Это, пожалуй, не последняя подножка, — предположил Буренин. Он вытянул из жилетного кармана плоские черные часы с серебряным брелоком в виде книги. — Пора собираться к писателям.

— У меня обыкновенный пиджак, — сказал Алексей Максимович, вопросительно взглянул на Николая Евгеньевича. — Может быть, так?

— Нет, лучше пиджачная пара, — «администратор» кри-



тически осмотрел костюм Горького: суконная гимнастерка, поверх нее узкий кавказский ремешок и грубого сукна брюки. — Учтите еще и то, что клуб писателей, как предупредил вчера Лерой Скотт, мужской.

— Ну и что?

— А то, чтобы мы не брали с собой дам, так как компания предполагается холостая. — Почувствовав, что Алексею Максимовичу такое ограничение не по душе, Буренин пояснил: — Ничего обидного — традиция.

Мария Федоровна «традицию» клуба приняла спокойно.

— И отлично! Без вас я просмотрю почту. А то уже совершили ошибку.

— Какую?! — воскликнул Зиновий.

— Не приняли Оскара Штрауса.

— Подумаешь, банкира...

— Нет, председателя Нью-Йоркского клуба писателей, — Мария Федоровна показала визитную карточку. — Ему надо послать извинение.

— Пожалуй, — согласился Алексей Максимович, пытаясь вспомнить, где слышал эту фамилию.

### 3. ПЕРВЫЙ ВИЗИТ

Клуб университетского сеттельмена, названный по первой букве алфавита — «А», оказался в нескольких минутах ходьбы — Пятая авеню, 3, в старинном особняке. Подъезд выглядел респектабельно. Двери распахнул швейцар-японец. Приветствуя гостей, он отступил на шаг и несколько раз поклонился, деревянно прижимая к бокам негнувшиеся и с вытянутыми ладонями руки.

Горького ждали. Его вместе с товарищами — Бурениным и Зиновием Пешковым — встретил Лерой Скотт и провел в гостиную, в которой уже собралось человек пятнадцать — одни мужчины. Из дальней группы сразу отделился и широким шагом пронесся через всю комнату высокий красивый старик с гривой волнистых седых волос, с вислыми густыми усами под орлиным носом.

«Усами мы похожи», — успел юмористически отметить Алексей Максимович и шагнул навстречу, догадавшись, что это Марк Твен.

Впрочем, никто даже и не подумал представлять их друг другу. Они вглядывались, как давно расставшиеся товарищи, улыбались. Улыбались и остальные. Марк Твен знал, что русский писатель Максим Горький — отважный борец

с монархическим режимом, что его с трудом вызволили из царской крепости, — это было достаточно высокой идейной характеристикой человека.

Буренину, остановившемуся вместе с Зиновием позади Горького, пришла в голову аналогия: Максим Горький — волжский грузчик, Марк Твен — лоцман с Миссисипи, то есть оба пришли в литературу с берегов великих рек-символов, олицетворяющих характеры наций.

Марк Твен был почти вдвое старше Горького, но по виду ему никак нельзя дать семьдесят — по живости движений, по блестящим глазам, по крепкой длинной шее с большим кадыком. Правда, он уже взял за правило отказываться от поздних застолий, приемов — они его утомляли. Поэтому организаторы нынешней встречи и приурочили ее к обеденному времени.

Алексей Максимович пожал руку Роберту Хантеру, которого запомнил со вчерашней встречи на пароходе, и стал знакомиться с другими гостями. Последним к нему подвели мужчину малого роста и неопределенного возраста. Выражение его серого лица было замкнутым, хотя бесцветные выпуклые глаза смотрели зорко, пронизательно. Держался он с преувеличенным достоинством, свойственным самолюбивым людям.

— Артур Брисбен, ведущий редактор херстовских изданий, — сказал Лерой Скотт.

— Сейчас мистер Скотт добавит, что я сын одного из первых американских социалистов, ученика самого Фурье и первого пропагандиста его идей в Америке, — Брисбен усмехнулся. — Представляете, каково носить бремя высоко нравственного, ортодоксального, будто данного тебе взаймы наследства, которое даже растратить невозможно.

Разговаривая, все стали усаживаться за большим овальным столом, накрытым упруго накрахмаленной скатертью. Матово поблескивало старое серебро вилок и ножей, аккуратно уложенных возле тарелок китайского фарфора. На середине стола ярким радостным пятном выделялся букет бархатно-алых гвоздик.

Алексей Максимович, садясь на кожаное сиденье дубового, с резной спинкой стула, успел заметить, что таким же черным полированным дубом инкрустированы стенные панели и шашки паркета. Стиль столовой восходил к пионерскому времени Новой Англии. Старину подчеркивало полное отсутствие электричества: со стен мягко светили в хру-



стальных бра свечи. На столе горел тройной канделябр. Максим Горький и Марк Твен сели рядом.

Лерой Скотт похлопал в ладоши, требуя внимания.

— Господа, прежде чем наполнить бокалы, я предлагаю сфотографироваться.

Все согласились и, шумно отодвинув тяжелые стулья, стоя сгруппировались возле Горького и Марка Твена. Фотограф переставил канделябр, который ему мешал, встал за аппарат.

...Скульптурно-каменеющие лица перед глазом объектива: робость души и внешняя бравада. Не может человек быть равнодушным перед вечностью, беспристрастное присутствие которой ощущает за зорким выпуклым стеклом. Будто чудится ему, что сквозь глубину лет на него оценивающе смотрит сама История...

Сиренево-огненная вспышка возвратила людей к самим себе, к возбуждающему запаху блюд.

По знаку Лероя Скотта, который председательствовал как выборный глава сеттельмена, поднялся Роберт Хантер. Он, поприветствовав от имени молодых американских литераторов-социалистов Максима Горького и его соотечественников-революционеров, предупредил, что намерен сразу же перейти к деловой части.

— Помочь русским добиться такой же свободы, за которую сражались наши отцы и деды: свободной печати, собраний, голосований и совести, — в этом должна заключаться основная идея нашей практической деятельности. Им нужна вдохновляющая поддержка не только словом, но и, конечно, деньгами, — Хантер посмотрел в сторону Алексея Максимовича, который кивнул головой, выражая согласие, правда, с некоторой задержкой: Зиновий запаздывал переводить из-за быстрой речи оратора. — Поэтому я предлагаю создать комитет содействия.

Вспыхнувшие аплодисменты прервал голос Марка Твена:

— Овацией, по-моему, следует завершать дело, а начинать с нее — это потешать авансом. Не так ли? — И, не ожидая подтверждения, уже стоя, продолжал: — Если мы поможем создать в России республику, которая принесла бы угнетенному народу царской империи ту степень свободы, какой пользуемся мы, то давайте возьмемся за это и поможем. Незачем обсуждать методы, которыми можно достичь этой цели. Хорошо, если вооруженная борьба на некоторое время будет отсрочена или предотвращена, но если она раз-

вернется, я всей душой ей сочувствую. Я уверен, что она увенчается успехом. Всякое такое движение заслуживает одобрения и единодушного содействия с нашей стороны.

Марк Твен, говоря, одной рукой опирался на спинку стула, а другой жестом подчеркивал заключительные слова.

— Воззвание о сборе средств, о котором говорил нам мистер Хантер, воззвание, исполненное справедливого и глубокого смысла, должно получить от всех нас и от каждого в отдельности безоговорочную поддержку. Всякий, чьи предки жили в Америке, когда ее народ стремился сбросить иго королевской тирании, должен сочувствовать тем, кто сейчас стремится совершить то же самое в России.

Люди, в жилах которых течет красная горячая кровь, не могут мириться с тиранией и всегда стремятся ее сбросить. И если мы станем всей душой поддерживать это дело, Россия будет свободной.

По тому, как ходили брови Алексея Максимовича, склонившегося к Зиновию, чтобы лучше слышать перевод, Буренин пришел к выводу, что тот не со всем согласен. В самом деле, поднявшись, чтобы ответить, Горький после слов благодарности за сердечный прием и сочувственное понимание положения русского народа уточнил:

— Я прибыл в Америку, рассчитывая найти среди американцев верных и горячих сторонников моих страдающих соотечественников, которые так упорно и мужественно борются за свободу. — Алексей Максимович, переждав, пока Зиновий переводил, категорически отверг предложение Марка Твена о возможности отсрочки вооруженной борьбы: — Время революции — сейчас! Сейчас можно свергнуть царское правительство. Но нам нужны деньги на оружие и патроны. Цель моего приезда в Америку — найти отзывчивые сердца, которые смогут так же глубоко, как я, прочувствовать страдания моего народа. Дайте нам серебра для пороха и стали!

Буренин всматривался в лицо Горького, в котором всё было устремлено вперед, — граненый квадратный лоб, рельефные, туго обтянутые сухой кожей скулы, подбородок, оттененный твердым белым воротничком. Обострились все черты, фигура стала еще выше и еще угловатее.

Побледнел от волнения Зиновий, не зная, сесть ему или продолжать стоять. Горький, даже не пытаясь спорить, внес в размягчающую барскую обстановку столовой громкое слово, пахнувшее порохом и кровью, — «революция» вместо



«движения за освобождение», столь мило и прочувствованно звучавшее под едва слышный аккомпанемент мелодичного перезвона хрусталя и фарфора.

— Я рад встретиться с вами, Горький, — поднял бокал Марк Твен. — И тоже считаю, что сейчас самое время для свержения деспотов, конечно, и вашего царя — его-то, пожалуй, в первую очередь.

Алексей Максимович вежливо и искренне ответил как старшему, глубокоуважаемому другу:

— Спасибо, мистер Марк Твен. В России человек не считает себя культурным, если не читал Марка Твена, — он у нас самый известный американец! Он из тех, кто не гладит, а наносит удары.

После шумных возгласов одобрения Марк Твен придвинулся к Горькому.

— Я сегодня читал ваше интервью о Витте, об одном из главных авторов Портсмутского договора. Готов разделить точку зрения, что он политический ловчила и двуличный человек. Вы могли бы, правда, с успехом сказать то же самое и о нашем президенте Рузвельте, пожелавшем выступить ангелом мира в тот момент, когда, казалось, еще одно поражение царских войск — и с миллионов русских спали бы цепи. Благо, принесенное этим договором, не может и отдаленно сравниться с причиненным им злом. Рузвельт в союзе с Витте нанесли смертельный удар в спину русской революции.

— Нет, все-таки не смертельный, мистер Марк Твен! — Это вмешался Буренин. Николай Евгеньевич, обратив внимание на то, что журналист Брисбен буквально следит за каждым словом Марка Твена, решил внести ясность. — Революция жива. Поражение царских войск в войне с Японией было бы ей, конечно, подспорьем, но не больше. Главное условие нашей победы — единый натиск миллионов угнетенных на самодержавие, классовая их сознательность и монолитность политического руководителя — партии социал-демократов.

— Япония и сама стояла перед крахом, — дополнил Алексей Максимович, который тоже не разделял пессимизма Марка Твена. — Ее мукденовская победа почти пиррова: японская военщина выдохлась, значит, усложнилась и внутренняя обстановка в стране... Так что Рузвельт разом спасал и царя и микадо. Русская революция рассчитывает на благоприятную международную обстановку, на интернациональ-

ное содействие, но прежде всего — на свои силы, на народную армию революционеров.

Марк Твен, склонив голову и почти скрыв под тяжелыми веками серые глаза, внимательно выслушал возражения русских, ответил, растягивая слова:

— И все же, когда я узнал, что царский флот потоплен возле Цусимы, я закричал: «Да здравствует адмирал Того! Настало самое время отправить на дно и царя!» — Марк Твен помолчал. — Ваш Витте и наш Рузвельт — вот его спасители. Каковы ловкачи и циники?! Несмотря на мое письмо в бостонскую «Глоб», в котором я прямо назвал портсмутский мир величайшей катастрофой, ответили мне знаете чем?.. Приглашением на торжественный обед по случаю заключения этого договора как важного события для дела прогресса.

— Да, ловкач, — подтвердил Горький о Витте. — Европейская и американская буржуазия очарована демократическими манерами новоявленного графа. Кое-кто из царского окружения после 17 октября даже стал называть его социалистом. Но если Витте — социалист, представляете, каков у нас уровень свободомыслия?

— Представляю, — ответил Марк Твен. — Всякая монархия восходит к той степени культуры, когда восхищались кольцом, продетым в нос, головным убором из перьев и синей татуировкой на животе.

— И изощренным канибализмом, продолжая вашу аналогию.

— Конечно, чрево империализма алчно, ненасытно! — воскликнул Марк Твен. — Бельгийский Леопольд в Конго из двадцати миллионов негров убил или превратил в калек уже одну треть... Но я уверен в скорой безработице среди монархов и надеюсь еще увидеть объявление о вербовке их в полицейские.

— Вот последнего-то никак нельзя допускать, — возразил Максим Горький, испытывая удовольствие от горячности Марка Твена. — Вооружать бывших палачей?! В России решается задача как раз противоположная: навсегда выбить оружие из рук главного полицейского — Николая II.

— Возможно, возможно, что я в чем-то и ошибаюсь, — согласился Марк Твен. — Впрочем, я никогда и не считал себя непогрешимым. Сознаюсь, что еще сорок лет назад имел превосходный случай высказать все это в лицо одному из богоподобных, но ведь не высказал. Хуже того! — хотя



в ряду предков со стороны отца у нас упоминается некий Клеменс, член суда при Кромвеле, приговоривший к смертной казни Карла I, я при встрече с коронованным бездельником не то что проявил решимость прародителя, а совсем наоборот — поддался гипнозу деспотичной власти. — Писатель, сделав паузу, вдруг заговорил другим, тягучим голосом: — «Мы, горсточка честных частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения, и поэтому ничто не оправдывает нашего появления перед лицом вашего величества». Догадываетесь, о ком речь? — спросил рассказчик уже обыкновенным тоном. — Об Александре II! Летом 1867 года ваш покорный слуга в качестве газетного корреспондента отправился на пароходе «Квакер-Сити» в туристический вояж по странам Средиземноморья. Зашли и в Черное море, в три русских города — в Севастополь, Одессу и Ялту. В Ялте-то и встретились с царем, даже преподнесли ему приветственный адрес. В числе авторов этого, с позволения сказать, произведения, начало которого вы только что слышали, числился и я. Не буду цитировать далее — там следовали высокие слова, которые, подобно колесам «Квакер-Сити», поднимались над бортами, то есть выше наших ушей, и шлепали по воздуху впустую, как плицы на морской мели...

Всю глупость и низость этого визита мы поняли сразу же после отплытия из Ялты. Матросы приготовили для господ туристов представление. — Марк Твен поднялся, отодвинул стул и, скособолившись, продолжал насмешливо и непринужденно: — Первым на палубе появился пароходный кок, задрапированный в кусок парусины и с кастрюлей-коронной на голове. Он изображал русского императора. Вокруг него толпились «туристы» — матросы, одетые нарочито нелепо. «За каким чертом пожаловали?» — громко обратился к ним «император». В ответ один из моряков писклявым и дрожащим голосом зачитал: «Мы, горсточка частных, путешествующих...», словом, наш адрес. Остальные при этом строили уморительные рожи и выкрикивали соленые острооты. «Эй, казначей, — окликнул «император» матроса в холщовой, вымазанной смолой робе, — накорми этих «частных» и пусть убираются. Да не забудь, — добавил он, потрясая скалкой-скипетром, — пересчитать после серебряные ложки!» Над палубой гроыхал хохот, от которого «путешест-

вующих ради собственного удовольствия» пробирал озноб.

— А сейчас озноб с предсмертным потом пробирает внука Александра II, Николая, — добавил Максим Горький. — И тут уж палубным спектаклем дело не окончится. Уверяю вас!

— Мне кажется, мистер Горький совершенно не принимает в расчет будущий парламент — Думу, — осторожно заметил Лерой Скотт.

— Отнюдь: потребуются дополнительные усилия, чтобы нейтрализовать ее расслабляющее демагогическое влияние. Дума — гнуснейшая пародия на народное представительство. Манифест силой вырван у царя. Но сейчас и эти мизерные свободы хоронят. Полное беззаконие — вот нынешний главный закон в России. После семнадцатого октября десятки тысяч человек арестованы и сосланы в Сибирь, сотни казнены. Наше правительство лишено моральной связи с народом, враждебно ему. Народ, и в первую очередь пролетариат, вооружается. Он будет драться и победит!

Артур Брисбен, подперев рукой подбородок, смотрел прямо в лицо Горькому. В его глазах светилась явная заинтересованность. Когда оратор закончил, он живо продолжил, обращаясь к Скотту:

— Все это логично, если вспомнить, что история Соединенных Штатов тоже начиналась с революции... Уважаемый гость, Максим Горький, наше издательство готово подписать с вами контракт на цикл статей о России, на десять — пятнадцать. Вы согласны?

— Пятнадцать снарядов по царской крепости через океан! — резюмировал Марк Твен.

— Я это сделаю, — согласился Горький. — Мы приехали сюда, рассчитывая на солидарность американцев, на то, что они, конечно, не забыли, с чего начиналась их республика. — Алексей Максимович чуть поклонился в сторону Брисбена.

В эту минуту раздалось предложение Роберта Хантера перейти в библиотеку. Ему, председателю собрания, показалось, что у кое-кого из гостей после речей Горького спадает маска спесивого доброжелательства. Пытаясь направить беседу в чисто литературное русло, Хантер восторженно высказался о своей любви к Толстому, чьи произведения в значительной степени повлияли на формирование его социального мировоззрения.

Все расселись возле громадного камина, задымили сига-



рами. Горький и Марк Твен устроились возле самой решетки, у огня.

— Но Толстой никогда не был социалистом, — возразил Хантеру Максим Горький. — Скорее уж анархистом во Христе.

Марк Твен, покуривая, промолчал: он плохо понимал социальные теории Льва Толстого. Во всяком случае публично не высказывался о них. Чтобы не показаться невежливым, стал вспоминать о своих встречах с русскими: с Тургеневым в Лондоне, а в Соединенных Штатах — со Степняком-Кравчинским, с которым переписывался и даже подарил ему свой портрет. Вдруг он спросил у Алексея Максимовича:

— Вы хорошо знаете Николая Чайковского? — и в ответ на утвердительный кивок Горького продолжал: — Это Везувий по темпераменту. Но я откровенно плеснул ковш воды в его кипящий кратер и отказался присутствовать на митинге, написал лишь несколько слов для «Нью-Йорк таймс».

— Я приглашал Николая Чайковского на нашу встречу, он обещал и вот почему-то не пришел, — заметил Лерой Скотт и добавил, обращаясь к Максиму Горькому: — Чайковский говорил, что ему совершенно необходимо повидаться с вами.

— Мы уже повидались, — нахмурясь, ответил Горький.

И ему, и Буренину стала понятна цель внезапного визита Чайковского в гостиницу: видно, дела эсеров шли неважно и после отказа в активном содействии Марка Твена они решили попробовать договориться с Максимом Горьким в надежде, что присутствие всемирно известного писателя-революционера на митингах поднимет и их престиж.

От размышлений Буренина оторвала знакомая фамилия «Штраус», произнесенная Алексеем Максимовичем, который рассказал о недоразумении с визитной карточкой, о том, как отказал человеку в приеме, случайно перепутав Штраус-литератора с его однофамильцем-банкиром.

Сразу же после слова «однофамильцем» Марк Твен расхохотался, а за ним, переглянувшись, и остальные.

— Ничего вы не перепутали: это все тот же Оскар Штраус — богач, глава департамента торговли и труда и председатель клуба писателей, — пояснил Марк Твен, глядя на Горького лукавым взглядом, в котором мелькало что-то от Тома Сойера. — Штраус — влиятельный человек и злой, с хорошей памятью на обиды... Можно вот так: Штраус знаком с профессором Феликсом Адлером, старым членом об-

щества «Друзей русской свободы». Я попрошу профессора объясниться с ним.

— Ваш Адлер не очень-то храбрый, — усомнился Брисбен, собрав мелкие морщинки вокруг глаз.

— Адлер умел спорить, — не согласился Марк Твен. — Он, правда, раздобыл. Но это только внешне делает человека миролюбивым. Вспомните, как Адлер повел себя после первомайской истории со взрывом на Хеймаркет в Чикаго... Впрочем, тут не все могут помнить это, — Марк Твен посмотрел из-под тяжелых век на двадцатисемилетнего, выглядевшего юношей Скотта. — Ввязался в спор даже с Верховным судом, когда был подтвержден смертный приговор шестерке организаторов рабочего шествия.

— ...Обвиненных в подстрекательстве к бунту! Будто бы по их приказу во время митинга была брошена бомба в полицейских, — начал пояснять Скотт специально для русских.

— В России хорошо знают об этой чикагской демонстрации 1886 года, — остановил пояснения Максим Горький. — 1 Мая у нас отмечается как день солидарности трудового люда.

Брисбен, хохотнув, заметил:

— Но для мистера Клеменса 1 мая — счастливый день! 1 мая 1867 года, как раз перед его отплытием в страны Средиземноморья, о чем мистер Клеменс сейчас нам живописал, с кончика его пера спрыгнула, а точнее, вспрыгнула, «Лягушка из Калаверса». Прыжок был такой силы, что вознес не только ее, но и автора сразу на вершину Олимпа! Не так ли?

Марк Твен нарочито громко «гмыкнул», показав тем самым на неуместность аналогии. Лерой Скотт, в свою очередь, вроде бы ничего не расслышав, продолжал:

— История, подобная чикагской, произошла месяц назад с вожаками забастовки рудокопов в Колорадо — Хейвудом и Мойером. Этих, тоже бездоказательно, обвинили в убийстве губернатора штата Стюненберга.

— Бывшего губернатора, — уточнил Хантер, — так как к тому времени он уже успел пересест в кресло президента банка... Бомба была привязана к калитке. Стюненберг, возвращаясь домой, дернул за ручку — и на глазах домочадцев в самый канун нового, 1906 года взлетел, полагая, прямо в ад.

— Легкая смерть для негодяя, — холодно сказал Марк Твен. — Вызванные им федеральные войска столько про-



лили крови стачечников, что было бы справедливее утопить его в ней.

— Расчет властей ясен, — вставил Скотт, — арестом руководителей Западной федерации горнорабочих обезглавить эту мощную профсоюзную организацию, а судебным процессом еще и дискредитировать как террористическую.

— Конечно, это предлог для расправы, и только, — подтвердил Хантер. — Хейвуда и Мойера арестовали по доносу подкупленного мерзавца. Даже Верховный суд вынужден признать, что арест совершен незаконно, без предъявления ордера.

— Признать-то признал неправомерность действий властей штата, — снова вмешался Скотт, — да тут же сделал оговорку, что освобождать арестованных не следует: нет, видите ли, смысла, раз уж началось следствие...

Помрачневшее лицо Горького выдавало чувства, которые он испытывал, слушая рассказ о забастовщиках.

— Жаль, что я не в состоянии пожать руки этим достойным представителям рабочего класса Америки, — сказал писатель. — Но будьте уверены, мы сумеем им высказать наше уважение, нашу солидарность...

Привратник-японец, тот самый, который встречал русских, неслышно подошел к Лерою Скотту и прошептал ему что-то на ухо, Скотт, в свою очередь, — Зиновию, а Зиновий — Буренину. Оказалось, что за Горьким прибыл автомобиль, посланный, как договаривались, Уилшайром.

— Алексей Максимович, опаздываем, — предупредил Буренин.

— Да, да, — согласился Горький и попросил Зиновия объяснить, что им, к сожалению, пора уходить.

Впрочем, все уже это поняли, поднялись — по стенам, по стеклам книжных шкафов метнулись огромные тени. Поблескивали атласные отвороты смокингов, фраков, лакированная обувь. Гости, не прибегая к помощи переводчика, спешили высказать писателю свои чувства, пожелания.

Руки Максима Горького и Марка Твена снова задержались дольше, чем принято для обычного рукопожатия. Говоря «до свидания, до скорой встречи», Марк Твен ощутил в себе тревогу, будто чувствовал, что смотрит в синие глаза русскому собрату по перу в последний раз...

1. ГЕРБЕРТ  
ДЖОРДЖ УЭЛЛС

«Америка — великая страна, сэр!» Эту фразу Герберт Уэллс слышал до десятка раз в день—

в гостинице, в редакциях газет, на улице...

В то самое время, когда Максим Горький отправился в клуб «А», Уэллс заканчивал знакомство с Эллис-Айленд. Островок близ устья Гудзона представлял карантинный пункт для иммигрантов: сюда их ссаживали с парохода, проверяли документы, проводили специальный медицинский осмотр. И когда иммиграционный чиновник желал высказать окончательную удовлетворенность благонадежностью, а также здоровыми зубами и крепкими руками прибывшего, он вещал:

— Америка — великая страна! — и показывал на четко видную с Эллис-Айленд статую Свободы.

— За год в США прибывает более миллиона новоселов, — любезно сообщили Уэллсу в канцелярии комиссара по делам иммиграции. — В прошлом году только из России приехало сто восемьдесят пять тысяч человек. Вчера, например, с пароходом «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» — восемьсот пятьдесят три... Америка — страна великих возможностей, сэр! — и пожелали писателю приятной прогулки по острову.

Из переполненных белёных бараков, внутри перегороденных железными решетками на ряды-клетки, — в этот день на острове содержалось двадцать тысяч эмигрантов, — неся многоязыкий говор, прерываемый воплями, плачем. Из окон выглядывали лица итальянцев, славян, евреев, скандинавов и его рыжих соотечественников — ирландцев.

Уэллсу тяжело и трогательно было видеть, как детишки, носясь по бетонированным дорожкам, размахивали звездными флажками своего будущего отечества, радуясь новизне впечатлений. В одном из мальчишек — русоволосом, большеголовом, бежавшем вприпрыжку — Уэллс будто узнал себя — двенадцатилетнего. И ждал: вот сейчас поднимется решетчатая створка окна, из нее выглянет матрона со строгим лицом и прикрикнет:

— Джордж Герберт, ведите себя прилично!

И он далее пойдет — пристойно, прилично, поглядывая



на отца, который за обочиной садовой дороги подрезает ветки у яблонь и с лестницы подмигнет ему, кивая на мать: опять, мол, разошлась. Они всегда держались союзниками — отец Джозеф Уэллс и сын. Тот и другой, по мнению Сары, были неудачниками: старший не сумел справиться со своей посудной лавчонкой и разорился, а младшего уволили из мануфактурной лавки, так как владелец заметил, что он не столько занимается уборкой и учится торговать, сколько укрادкой читает книжки, прячась между тюками сукна и ситца.

Упреки матери всегда выслушивались молча. Мальчишка по опыту знал, что его возражения послужат только поводом для новых укоров, возможно, самого обличительного: «Герберт сразу после рождения проявлял неприличие и даже безбожие!» Этим мать хотела напомнить очень давнюю, ставшую семейной легендой историю. Когда его, месячного, священник окропил водой, он закричал благим матом и принялся так вертеться, что перепугал прихожан, присутствовавших при церемонии крещения. Кое-кому это показалось плохим предзнаменованием...

Семья держалась на матери, очень гордившейся и дорожившей своим положением экономки в родовом аристократическом имении Ап-Парк, имевшей возможность досыта кормить мужчин. Когда они садились за стол, ей нравилось вопрошать себя вслух: «Ну почему я вышла замуж за шалопа, который единственно что умеет порядочно делать — это играть в крикет?» (На этой фразе отец обычно подмигивал сыну — ничего, мол, терпи.) Сара продолжала: «Ради чего я погубила с ним свою молодость?» (Тут супруг опять подмигивал, ибо молодой Сару Нил не знали — ни он, ни дети: она вышла замуж, когда к ее неудовлетворенному сердцу уже подкатывалось тридцатилетие. И, конечно, строгое выражение на лице, вечная обеспокоенность не добавляли ей очарования.)

Джозеф Уэллс был заботливым мужем, зарабатывал даже на своей спортивной страсти — крикете, пытал счастья в профессиональной игре, пока не сломал ногу. Он тщетно старался изменить судьбу к лучшему, решился было переселиться за океан, в Соединенные Штаты. Достал деньги на проезд, смастерил дубовый сундук для вещей, обшил его медными полосами. Но в тот самый день, когда Джозеф собрался объявить хозяевам, что вынужден будет лишиться их экономки, то есть Сары Нил, о чем очень сожалеет, — в тот

самый день Сара тяжело заболела. Она, правда, через силу все же выполняла обязанности в господском доме, но, возвращаясь, ложилась в постель и стонала. А через неделю, когда наступило выздоровление, первой ее деловой фразой было сообщение, что они никуда не поедут.

Сара считала, что само провидение помешало ее супругу совершить еще один необдуманный шаг. С того времени отец уже не пытался изменить что-то в своей судьбе. Дубовый сундук, в котором он стал хранить принадлежности для игры в крикет, теперь находился в доме Герберта Уэллса, в Спейд-хаус, берегся как память о несбывшемся...

Мальчишка с флажком проскакал на одной ножке мимо Уэллса, оглядываясь на стоявший на якоре неподалеку от острова пароход. Уэллс тоже скользнул взглядом по четырехтрубной громадине, по надписи на носу — «Kaiser Wilhelm Der Grosse» — и снова посмотрел на мальчика, сошедшего, возможно, с этого морского монстра.

«Нет, он не похож на меня, — решил Уэллс. — Я выглядел все же посытее и не таким бледным».

Он хотел расспросить мальчика о родителях, но тот пролепетал что-то непонятное на чужом языке.

Перед отъездом с Эллис-Айленд Уэллс поинтересовался в канцелярии:

— Как вы организуете общение со столь большой безъязычной массой людей?

Карантинный инспектор, перекатив во рту табачную жвачку, не торопясь ответил:

— Это временная немота. Дети будут учиться только на английском. Ну а первую фразу — основную — они уже запомнили: «Америка — великая страна!», вторую: «Спешите делать деньги!» — скоро уяснят. Пожалуйста, читайте, — чиновник показал на щит, на котором белела крупная размашистая надпись: «Мир должен тебе миллион долларов! Иди же, возьми их!»

«Великая страна — и такой примитив, завернутый в пропагандистскую фольгу», — подумал Уэллс, направляясь к рейсовому катеру. Он испытывал чувство, будто не мальчишку, а его самого пытаются надуть вывеской лотерейного зазывалы. И даже окруженная пушками у подножия статуя Свободы, прикрывавшая своей спиной со стороны океана остров Эллис, показалась ему молоденькой эмигранткой, удравшей из вонючего карантинного барака на этот двенадцатикровый риф Бедлоу, чтобы послать хотя бы взмахом руки



привет родному Нанси и своему отцу Бартольди,— она не могла знать, что скульптора вот уже два года нет на свете...

С таким неважным настроением Уэллс переправился через гавань. Катер пришвартовался к одной из бесчисленных пристаней Южного Манхаттана, вблизи огромного океанского аквариума Баттери-парка.

Уэллс, обменявшись взглядом с акулой, неподвижной, будто прилипшей своей зубастой пастью к зеленоватому стеклу, вдруг сказал, обращаясь к ней:

— Америка — великая страна, сэр! — и подмигнул.

Оглянувшись: не заметил ли кто-нибудь его легкомысленной выходки, и отправился пешком по узкой набережной, затем по Бродвею ближним путем к своей гостинице на Парк-авеню. Прогулка освежила его — это было очень кстати, так как предстоял визит к издателю Уилшайру, его старому лондонскому знакомому.

## **2. РУКОПОЖАТИЕ И НАСТОРОЖЕННОСТЬ...**

— Мой хозяин уже построил социализм, — громко сказал Зиновий, когда машина остановилась возле серого особняка на 106-й стрит.

И опять ни Горький, ни Буренин не отреагировали на его слова. Только шофер, с которым рядом сидел Зиновий, чуть обернулся, проскрипев блестящим костюмом из желтой кожи. По его беглому взгляду нельзя было понять, одобряет он или нет сентенцию молодого человека.

В гостиной Уилшайра к Горькому первым подошел Абрам Каган.

— Добрый вечер, Алексей Максимович. Мистер Уилшайр срочно говорит по телефону, — начал скороговоркой Каган. — Позвольте, я представлю вам гостей.

В большой, холодно обставленной комнате, полной разодетых дам и мужчин, это оказалось не так-то просто. Алексей Максимович кому-то жал руки, кому-то кланялся.

Абрам Каган называл должности, имена-фамилии по-русски, но с малороссийским выговором: сказывались детство и юность. Зиновий повторял их для Буренина, который шел позади Горького.

— Феликс Адлер. Профессор политической и социальной этики Колумбийского университета.

Горькому слегка поклонился человек с лицом, напоминавшим «Натана Мудрого» работы Антокольского. Адлер

разговаривал с молодым или очень моложавым человеком, который представился сам, по-русски:

— Владимир Георгиевич Симкович, адъюнкт-профессор Колумбии.

Каган, воспользовавшись тем, что Алексей Максимович на минуту задержался возле Симковича, дополнил, поясняя:

— Владимир Георгиевич учился в Петербургском университете. Самый крупный в Америке специалист по истории русской деревенской общины.

— За или против нее? — с улыбкой обратился Горький к профессору.

— Против, но не по Плеханову.

— То есть еще более решительно! — прокомментировал Горький и, тряхнув руку ученого, направился далее за Каганом.

...С огромного, в стиле ампира дивана с высокой спинкой, сбоку которой сияла золотая чаша, украшенная глубоко врезаным орнаментом из переплетенных тел гурий, поднялся коротконогий блондин.

— Рад чести познакомиться Максима Горького с Гербертом Уэллсом, — почти торжественно произнес Абрам Каган.

Горький улыбался в свисающие рыжие усы, пропуская сквозь них лишь одну фразу: «Очень рад, очень рад», будто от повторения она становилась понятнее. А Уэллс, тоже на родном языке, словно переводил ее: «Ай'м глэд, ай'м глэд!»

Алексей Максимович отметил, что у англичанина неестественно высокий для мужчины голос, а Уэллс, тоже мимоходом, нашел, что у русского коллеги странно маленькие ступни ног.

«При таком высоком росте, — подумал Уэллс, — ему, вероятно, тяжело ходить».

«Глаза-то у них почти одинаковые, — обратил внимание Абрам Каган, — темно-голубые, почти синие, а взгляд — совсем разный: у Горького доброжелательный, открытый, у Герберта Уэллса пылкий, оценивающий».

О том, что Горький будет вечером в доме Уилшайра, Уэллс узнал во время обеда, устроенного издателем в его честь. Предложение дожидаться русского писателя, познакомиться с ним он принял с внутренней радостью. Англичанину хотелось увидеть этого бунтаря, заключение которого в крепость вызвало протест в европейских столицах, в Лондоне — тоже: его немедленного освобождения потребовал сам престарелый Томас Гарди! Горький импонировал Уэллсу тем,



что презирал своего царя, близкого родственника недалекого Эдуарда VII, они кузены, но царь, пожалуй, еще глупее: превратил Дворцовую площадь, на которую пришли со скромной просьбой — петицией, с иконами его темные подданные, в кровавый эшафот...

— Считаю счастливым случайное совпадение наших визитов в Соединенные Штаты, — сказал Уэллс, приглашая Максима Горького к разговору, и продолжал: — Я прочел о ваших письмах-обращениях к иностранным кредиторам русского правительства. Думаю, вы напрасно пытались убеждать их, взывая к совести. — Это место Каган перевел как «метать бисер», пытаясь усилить остроту сказанного. — Вы не учили психологию французских рантье и английских «зонтиков».

— Нет, учел, — не согласился Горький. — Деньги, которыми спекулируют банкиры и капиталисты, — это ведь и обычные трудовые деньги. Их выдирают — порой вместе с совестью — из карманов скромных людей, обольщающихся сверхвысокими процентами. К ним-то, к их разуму и совести, я и обращаюсь в первую очередь. А банкирам говорю прямо, на их любимом коммерческом языке: «Плакали ваши денежки. Вы их кредитовали на подавление революции, а она непременно победит! И конечно же народ России не подумает возвращать займы союзникам царских жандармов. Уверяю, не вернет — ни французским рантье, ни Сити, ни Уолл-стриту».

«Глаза-то у него не такие уж добрые», — передумал Каган, слушавший диалог писателей, и повторил вопрос Горького к Уэллсу:

— Вы давно в Нью-Йорке?

— Я сказал «до свидания» Англии в конце марта. Он у нас был ветреный, дождливый, совсем не по сезону.

— Русская примета: уезжать в дождь — это к хорошему, к удаче, — заметил Горький, и морщины на лбу разгладились.

Писатели устроились по углам дивана; закурили, на минуту укрывшись занавесами ароматного дыма.

Горького поразила ординарная внешность английского фантаста, которого широко печатали в России, больше даже, чем Киплинга. Романы «Машина времени», «Война миров», «Пища богов», «Первые люди на луне» и социологические эссе вроде «Предвидения» за какой-то десяток лет всемирно прославили автора, перешедшего в литературу из универси-

тетской лаборатории так же просто, как будто из дверей в двери смежных комнат.

Напротив Горького сидел, глубоко утонув в подушке дивана, по виду типичный самоуверенный буржуа, что-то ищущий в республиканской Америке для своей старой милой Англии, монархизм которой — всего лишь историческая декорация.

Алексею Максимовичу вспомнилось, как из ссылки, из Арзамаса, он просил Пятницкого прислать ему новинки Уэллса и подобрать комплект за 1901 год «Нового журнала иностранной литературы». Этот журнал и открыл русскому читателю Уэллса, которого вначале переводчики называли «Велс», опубликовав в 1898 году «Борьбу миров». Но, пожалуй, самым урожайным для англичанина был 1901 год: его напечатало большинство солидных русских журналов, даже начали выпускать собрание сочинений. Критики, которые прежде сходились на том, что буйное воображение фантаста уводило его в мир отчаяния, вдруг узрели в нем пророка, воспевающего богочеловека. Уэллс стал популярнейшим писателем русской либеральной интеллигенции, жаждущей поднять на шпиле технического прогресса флаг социальной свободы, вознести его на эту высоту без боя, без жертв. Это были люди, которых он, Максим Горький, ненавидел, разоблачал, выворачивал нутро их ужиной психологии в «Дачниках», «Мещанах», «Детях солнца»...

В этом же, 1901 году слово русского буревестника тоже прорвало российские границы, его начала печатать вся Европа, от Скандинавии до Пиренеев, и Америка. По широте популярности Горького ставили сразу за Толстым. Серьезный, не спешащий с выводами английский журнал «Академия» даже утверждал, что Горький сейчас является в России единственным продолжателем традиций Льва Толстого. Правда, ученый-публицист Эмиль Диллон полемически доказывал, что популярность Максима Горького не по заслугам и более связана с его происхождением из низов и оригинальным образом жизни, презрением к общепринятой морали, а также с тем, что он поэт грубых и порочных людей, мятежных духом. Но через два года в своей книге «Максим Горький. Его жизнь и творчество», вышедшей в Лондоне, Диллон называл Горького уже Ломоносовым русской литературы, в котором люди чествуют пророка, предвещающего наступление новой эры, одного из политических вождей русского общества.



«Точь-в-точь как с Уитменом» — подумал Уэллс, припомнив писания своих соотечественников о Горьком, — Уитмена тоже называли певцом пьяных моряков и портовых девок, а позже сравнивали с тем же Львом Толстым. Здесь, в Америке, в родном доме Уитмена, его поэзию посчитали аморальной. «Листья травы» открыла для всего света Англия. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: пирамиду Хеопса тоже не разглядишь, стоя у ее подножия».

— Ну вот они! — раздался сбоку возглас.

Алексей Максимович, приветствуя хозяина дома — Уилшайра, встал. У издателя был растерянный вид. Он улыбался, пожимая руку Горькому.

Буренину, с которым Уилшайр тоже поздоровался, пришли на память первые слова Кагана о том, что хозяина дома срочно позвали к телефону, и он связал его испорченное настроение с телефонным разговором. Николай Евгеньевич успел также заметить, что из гостиной исчезло несколько мужчин, по виду репортеров, которые толклись в дверях. Лицо одного из них, румяное, с небольшими светлыми усами, который очень вежливо раскланялся с хозяином, показалось знакомым. Когда справился у Уилшайра, тот ответил, что впервые встретил этого человека только вчера на пароходе.

«А, вот где я его видел», — вспомнил Буренин. Он испытывал неприязнь к такой легкости завязывания знакомства. Неприязнь вызывали у него и хлопавшие без конца двери, и холодно-серые стены гостиной, и эта толчея, и кричаще-дорогие вечерние платья женщин, блеск драгоценных камней, сладкий аромат духов и теснящаяся возле Горького толпа фраков. Прием напомнил светское сборище, какое ему приходилось наблюдать в салоне его красавицы-сестры, вышедшей замуж за кутилу — петербургского гвардейского офицера.

«Только вот офицеров здесь и не хватает, — подумал он. — Жандармских».

— Каков капитал у вашего хозяина? — поинтересовался Буренин у Зиновия, который окончательно уступил роль переводчика Абраму Кагану.

— Богач он! — коротко ответил Зиновий.

— Благодаря журналу?

— Нет, не только. Он директор «Бивер нэшнл бэнк», вернее, один из директоров, и еще основной пайщик золотодобывающей компании в Британской Гвиане.

— Вот как! — Буренин скользнул взглядом по узкому лицу издателя, искренне недоумевая, как тот сочетает деятельность золотопромышленника в английской колонии, бизнесмена и активиста социалистической партии.

— Если это социализм, — хмуро продолжал Зиновий, будто отвечал Буренину, — то стоило ли Максиму Горькому изучать небо через решетки Метехского замка и нижегородской тюрьмы, прозябать в Арзамасе и так далее. Стою я в типографии возле дурацкой машины — она, кстати сказать, без моей помощи даже лучше работает, — гляжу, как вылетают листы «Уилшайрс мэгэзин», на каждом из которых такие слова, что хоть в иконостас вставляй — о равенстве, о братстве, о социалистическом будущем! Попробовали бы читатели пощупать карманы издателя, попросили бы его поделиться доходами, он бы им показал равенство и братство...

— Выходит...

— Выходит так, что о социализме в Америке я как-то стал меньше думать, — хмуро резюмировал Зиновий. — Тянет заниматься искусством. В нем больше правды, чем в политике.

Буренин, который слушал сетования молодого человека рассеянно, при последних словах так посмотрел ему в лицо, что тот смутился, но продолжал еще более вызывающе:

— Взгляните на этого гладкого и самодовольного типа, представляющего Горькому свою даму. Это Морис Хилквит. Помните, вместе с Уилшайром встречал вас на «Кайзере Вильгельме», тоже богач-социалист, процветающий юрист с Бродвея и глава партии. Недавно опубликовал толстенную книгу «История социализма в Соединенных Штатах». Он готовится в конгрессмены... Вы думаете, все они, — Зиновий сорвал с носа пенсне, которое держалось на черном шнурке, пристегнутом к пуговице куртки, и провел им, как указкой, по воздуху, — пришли сюда, чтобы помочь русской революции? Черта с два! Одни — поглазеть на зверей-анархистов, другие — чтобы завтра увидеть свои фамилии в газетах, а третьи — поднять личные политические акции. Я тут не верю ни единому человеку!

Зиновия подмывало желание увидеть вставшего Максима Горького, бросающего в благонравно жужжавший зал слова, которые заставили бы эти лица вытянуться и пожелтеть от злости, как случилось когда-то в ресторанном зале в Нижнем во время его проводов в Крым. На лебезящие слова либералов он тогда ответил ясно: «Ну много ли среди вас на-



стоящих людей? Может быть, человек пять на тысячу найдется таких, которые страстно верят, что человек есть творец и владыка жизни, а право его свободно думать, говорить, ходить — святое право; может быть, только пять из тысячи способны бороться за это право, без страха погибнуть в борьбе за него... И вот смотрю в ваши тусклые и робкие глаза и со страхом вижу, как мало среди вас смелых, как мало честных!..»

Зиновий увлекся и, мысленно декламируя текст рассказа «О писателе, который зазнался» — этот рассказ-памфлет и читал на том прощальном банкете Максим Горький, — даже зашевелил губами. Поймав удивленный взгляд Буренина, смутился и, чтобы скрыть смущение, просунулся в группу людей, окружавших Максима Горького, услышал высокий голос Герберта Уэллса:

— ...Все мои фантазии — застольные гипотезы, то есть пока что это всего лишь художественная мазня. Теория — она склонна к расплывчатости, а художественность и вовсе размывает ее берега. — Уэллс, не заметив на лицах слушателя и переводчика какой-либо реакции, уточнил: — Например, Нью-Йорк — это реальное техническое чудо, которое более уже принадлежит будущему. Вложить бы в его душу побольше духа свободы, в голову — воображения, в сердце — добра...

— Но социализм тоже пока мечта, фантазия, кою вы, на мой взгляд, несправедливо принизили. Мечта о светлом будущем людей и наука революционного преобразования несправедливого общества — они в одной упряжке. Мечта вызывает к сердцу, наука — к разуму.

— А Роберту Оуэну вы что же, в социализме отказываете: он ведь, критикуя, взывал только к разуму.

— Революция и есть высшая форма критики.

— Да! — Уэллс высоко поднял брови, внимательно посмотрел на Кагана, будто подозревая его в неточности перевода.

— Да, — подтвердил Максим Горький. — Не надо путать функции администраторов — калифов на час с вечным, то есть с законами общественного развития. Революция — она тоже в развитии. Кое-кто уже похоронил нашу, русскую, но она грядет, она выбирает места для новых баррикад, она копит силы. Именно русская революция — я, социал-демократ, марксист, в это верю — теперь поведет мир вперед!

— И все-таки надо быть осторожнее с этим перекаленным

словом — «революция», — возразил Уэллс. — Мне думается, что всеобщим интеллектуальным усилием человечеству удастся добиться большего, чем восстаниями, после которых всегда следует дезорганизация: слишком много страстей. Только разум несет моральный прогресс, без которого, кстати сказать, и материальный — ничто.

— Мистер Уэллс, вы будто отказываете революции в разуме. Но ведь один человек полагает разумным создавать вещи, трудиться, а другой — их присваивать, потому что владеет фабрикой, где работает первый. Такая «разумность» называется эксплуатацией. Задача социалистической революции, к которой в итоге стремится русская социал-демократия, как раз освобождение труда от эксплуатации. Разум у революции — коллективный...

Каган эту фразу Горького переводил как-то очень медленно. Тут была, как говорится, его тема: еще в 1898 году он в популярном изложении перевел работу Карла Маркса «Наемный труд и капитал». Ему хотелось вмешаться в полемику писателей, но он позволил себе только заметить, и то в виде шутки, что пока и сам разум, по-кантовски, «вещь в себе».

— Ну а по Круппу или Ротшильду — «для себя», — продолжил в его же тоне Максим Горький.

— А в общем-то «для нас», — добавил Уэллс.

— Должно «для нас», то есть для общества, — согласился Горький. — Но для этого требуется коренное изменение самого образа мышления.

Тон спора, нарочито дружественный, вероятно, ободрил двух дам, которые подошли вплотную к Алексею Максимовичу вместе с Морисом Хилквитом, держа его под руки. Одна из дам, помоложе, оказалась супругой Хилквита, Верой Павловной. Она заговорила на русском языке о своем желании побывать на родине — собственной и мужа — в Риге и тут же отрекомендовала свою подругу, жгучую брюнетку лет сорока, выдвинув ее чуть вперед:

— Мэри, миссис Симкович. Адъюнкт-профессор Бернард-колледжа. Мэри может стать посредником в вашем споре: она преподает политэкономии.

— И страдает словорасточительством, — перебил Хилквит супругу.

Несколько вольная реплика Мориса Хилквита объяснялась тем, что супруг Мэри Владимир Симкович приходился ему кузеном. Золовку свою он не любил: будучи на целых семь



лет старше мужа, она, по его мнению, оказывала отрицательное влияние: Владимир в своих исторических воззрениях уходил постепенно от социализма. Сейчас Морису Хилквиту совсем не хотелось, чтобы Мэри ввязалась в спор по социальным вопросам. Ее скепсис мог бы скомпрометировать его как руководителя социалистической партии. Поэтому-то он и пытался обратить разговор в шутку. И Мэри, проявляя понимание, показала деверю, что готова выступить союзником на час:

— Вера преувеличивает мои познания. Я уверена только в одном, что мужчинам путь до разумного общества значительно дольше, чем женщинам: им требуется масса жизненных излишеств, ну хотя бы в пище. У бегемота, например, длина кишечника шестьдесят метров. Представляете?!

— При чем тут бегемот? — удивился Хилквит.

— Потому что по своему толстокожию это животное наиболее близко к кое-кому из *Homo sapiens* в мужском варианте. — Говоря, миссис Симкович поглядывала на деверя.

В тот момент, когда гости вежливо улыбались пустоватым островам ученой дамы, из толпы громко прозвучал вопрос:

— Мистер Горький, как вы смотрите на роль крестьянства в русской революции?

Вопрос был задан человеком, который, судя по раскрытому блокноту, принадлежал к племени журналистов. Горький поднял на него глаза.

— «Телеграмм», Камден, — последовало представление.

— Город в соседнем штате Нью-Джерси, там жил Уитмен, — пояснил Абрам Каган и начал переводить ответ писателя: — Крестьянство — самый массовый трудящийся класс России. Оно не раз в прошлом поднимало восстания против царя, но то были стихийные протесты, которые жестоко подавлялись. Теперь народом движет уже не слепое отчаяние, а сознание...

— Но Сергей Витте утверждал...

Горький нетерпеливо махнул ладонью и продолжал:

— Витте утверждал, что русский народ темен, не готов к самоуправлению. Сей новоявленный граф — клеветник. В борьбе с революцией он рассчитывает на иностранную помощь, в том числе и на американскую. Помогать палачам?!

Герберт Уэллс, откинувшись на валик дивана, склонив светловолосую голову, слушал вроде бы не переводчика, а самого оратора. Он с тревожной радостью почувствовал, как

из добродушного и простоватого на первый взгляд облика русского писателя выглянул яростный, убежденный в правоте своего дела пропагандист. И таким он сразу стал как-то ближе ему, тоже умевшему драться за то, что считал справедливым.

Уэллса заинтересовала и характеристика, данная Горьким самому популярному за границей русскому государственному деятелю — Сергею Витте. Официальный Лондон внимательно следил за поездкой Витте в Америку, за ходом его переговоров с японцами в Портсмуте. Профессор Диллон, который в качестве корреспондента «Дейли телеграф» сопровождал Витте в этой поездке от самого Петербурга, подробно, с возрастающей симпатией освещал каждый деловой шаг главы делегации России.

Уэллсу тут же пришла на память статья о Витте, написанная тоже русским — революционером Кропоткиным, известным своей научной добросовестностью. Кропоткин был настолько авторитетен, что сам Томас Гексли, заболев, рекомендовал журналу «XIX век» этого человека в качестве научного обозревателя. И вот, совсем недавно, в этом же издании Кропоткин, живший в Бромли, в городке, где счастливо родился он, Герберт Уэллс, охарактеризовал Сергея Витте как меркантилиста с ограниченным кругозором, похожим на Жака Неккера. Известно, что глава финансового ведомства Франции пытался путем реформ предотвратить революцию, но она все-таки переместила Людовика XVI с трона на эшафот. Витте, тоже бывший министр финансов, подобно Неккеру пробует ставить плотину перед поднимающейся революцией. При этом он рассчитывает играть в стране роль Бисмарка. Но Кропоткин предсказывал ему судьбу Неккера. Последняя фраза Уэллсу особенно запомнилась: «Витте человек смелый, необычайно трудолюбивый, даже интеллигентный, но из-за своей ограниченности не может быть назван великим политическим деятелем». Статья Кропоткина, написанная в спокойном тоне, опрокидывала на спину панегирики Диллона. И вот теперь Максим Горький в резкой форме снова проводит ту же самую мысль.

Задумавшись, Уэллс потерял нить разговора, ухватился за нее только тогда, когда услышал новый вопрос корреспондента из кэмденской «Телеграмм»:

— Пишете ли вы, мистер Максим Горький, сейчас? Если да, то о чем?

Уэллс заметил, что Горький с трудом сдерживает кашель



и, машинально поглаживает широкую плоскую грудь. Глуше прозвучал и голос:

— Даже много пишу. Это мое главное дело, которым я служу революции. В скором времени, возможно даже здесь, в Америке, начну писать автобиографию. Я вышел из народа и, борясь за свое существование, прошел страшную школу жизни. То есть моя книга должна стать еще одним аргументом, доказывающим необходимость коренной перестройки России.

— И последний вопрос, пожалуйста. Кто ваш любимый американский писатель?

Ответ последовал мгновенно:

— Марк Твен. Я его оценил еще в детстве, когда скитался в поисках работы. Если хозяева замечали меня с книжкой, то обычно били. Вероятно, поэтому прочитанное в те годы запомнилось особенно прочно. Понял и еще одно, очень важное, что литература для плохих людей опасна, страшна... Назвал бы я любимым и Уолта Уитмена. Это настоящий философ-демократ!

Герберт Уэллс, слушая Максима Горького, подумал, что его ответы журналисту будто продолжили их предшествовавший разговор, углубили...

### 3. ДОЛГИЙ ВЕЧЕР

— Ну вот, как я все странно выдумал.

Алексей Максимович, который буквально ворвался в комнату к Марии Федоровне, облегченно вздохнул. Снял только кепку и остановился на середине, на ковре. Мария Федоровна, ничего не понимая, медленно поднялась из-за стола.

— Черт-те что насочиняю... представляю... заживо похороню... — Растерянность, досада, удовольствие смешались на лице Алексея Максимовича, морщины обежали уголки улыбающегося рта — весь он светился детской радостью.

У Марии Федоровны округлились глаза. Поддаваясь настроению мужа, тревожась и улыбаясь, она воскликнула:

— Алексей, да что с тобой?!

Алексее Максимовичу и самому толком не было ясно, почему в него, уже под конец приема в доме Уилшайра, вселилось чувство тревоги за жену и особенно после того, как в разговор снова вступила миссис Хилквит, зашебетала о своей любимой Риге, расшитой, по ее словам, красным кружевом старинной меди, кирпича и черепицы.

Горькому Рига, куда он приехал сразу после 9 января,

тоже представилась красной, но в ином смысле: демонстрация забастовщиков с красными флагами, обагренный кровью торец средневековых мостовых, — эти царские «взвейтесь, соколы, орлами» зарубили восемьдесят человек и несчетно изуродовали, ранили, продолжая Кровавое воскресенье уже в Лифляндии. В Риге Горький пробыл тогда всего сутки. По предписанию столичного охранного отделения его обыскали и под конвоем двух жандармов прямо с квартиры Марии Федоровны отправили обратно в Петербург, а там с Балтийского вокзала — в Петропавловскую крепость. Ему было предьявлено обвинение в том, что 9 января 1905 года он составил с целью распространения воззвание, возбуждающее к ниспровержению существующего в государстве общественного строя.

Да нет, не просто воззвание! Петербургская судебная палата, определившая состав преступления Максима Горького, видно, убоялась сказать, что, по существу, это был обвинительный акт, призывавший мировое общественное мнение предать суду самого царя Николая за массовое и преднамеренное убийство граждан.

Мария Федоровна, узнав, что Горького заключили в Петропавловскую крепость, упросила друзей переправить ее из рижской клиники доктора Кнорре, где она лечилась, в Петербург, чтобы быть ближе к Алексею Максимовичу. Она надеялась принять какие-то меры, чтобы вызволить его, пустить в ход связи, возможно, поговорить с самим генерал-губернатором Треповым, бывшим московским обер-полицмейстером, ее старым знакомым, который не раз называл себя поклонником таланта Андреевой, по большим праздникам бывал в их доме. Можно будет попросить сходить к нему влиятельного москвича Савву Тимофеевича Морозова.

Строя планы, Мария Федоровна понимала тщетность надежд. Чего можно ожидать от генерал-губернатора, которого сама же характеризовала в письмах «злой, глупой и тупой скотиной»? Дмитрий Федорович Трепов — один из пяти сыновей бывшего петербургского градоначальника Федора Федоровича Третьякова, того самого самодура и негодяя, в которого в 1879 году стреляла Вера Засулич и была оправдана судом присяжных!..

Дмитрий Федорович пошел дальше отца. Назначенный через три дня после Кровавого воскресенья на генерал-губернаторский пост в столице, наделенный диктаторскими полномочиями, он прославился приказом: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть!» В руки этого самодура, о ко-



тором даже Витте был вынужден сказать: «Вахмистр по образованию, погромщик по убеждению», — и попало дело Горького.

Но в защиту писателя, на удивление треповых и витте, выступили виднейшие люди в странах Старого и Нового Света — в Италии, во Франции, в Германии, в Англии, в Испании, в Соединенных Штатах... Под протестами, петициями, обращениями ставили свои имена писатели и художники, ученые, общественные деятели. Из российских посольств и миссий в Петербург, в министерство иностранных дел, шли потоком донесения о демонстрациях и собраниях, на которых ораторы требовали освобождения Максима Горького. На некоторых из этих бумаг появлялась пометка «./», означавшая, что с ними ознакомился сам император Николай II. Такой значок имелся и на телеграмме из Нью-Йорка, адресованной прямо на царский дворец:

*«Клуб писателей с большим сожалением и прискорбием принял известие о том, что Максим Горький заключен в тюрьму за участие в манифестации, предшествующей печальным событиям в С.-Петербурге 22 января. Мы, американские писатели, позволяем себе сообщить его императорскому величеству, что мы глубоко встревожены судьбой знаменитого русского писателя. Мы позволяем себе довести до сведения его императорского величества, что репрессии по отношению к Горькому вызовут чувство сожаления в широких кругах всей Америки, где произведения Горького прославили его имя и где его глубоко почитают. В случае, если он будет осужден томиться в тюрьме либо приговорен к изгнанию, мы, члены союза писателей, преданные высшим идеалам нашего творческого призвания, почтительно просим его величество во имя этих идеалов и призвания писателей, выдающимся представителем которых Горький является, освободить нашего собрата и сохранить его гений для будущей славы и для русской литературы, пользующейся единодушным признанием во всем мире.*

Оскар Штраус, председатель».

Мировое негодование так встряхнуло Трубецкой бастион, что тяжелые, сродни камню, двери одиночной камеры № 39 распахнулись, как от взрыва. Царское правительство было вынуждено под залог в десять тысяч рублей — эти деньги с трудом набрала Мария Федоровна — выпустить Максима Горького с твердым намерением позже запрятать его пона-

дежнее. Это было настолько очевидно, что большевики, охраняя писателя, помогли ему укрыться в Финляндии, а уже оттуда направили с партийным поручением за границу, в Соединенные Штаты. Вместе с ним поехала и Мария Федоровна, едва оправившаяся от болезни.

И вот сегодня Алексей Максимович, слушая болтовню миссис Хилквит о Риге, вдруг мысленно увидел перрон Рижского вокзала и раскачивающиеся в руках санитаров носилки с женщиной, укрытой шубой, ее глаза, горящие сиреневым пламенем, глаза сподвижницы, любимой, спешащей в логово виттиевско-треповских опричников выручать его, а если не удастся, готовый следовать за ним в любые ссылки, а коли судьба — то и на смерть...

Почему он оставил ее одну в гостинице? Черт с ним, хостяцким правилом клуба «А»! Наконец, мог бы заехать за ней по дороге к Уилшайру... Неуемное чувство тревоги подняло его с дивана. Поискал взглядом Уэллса, чтобы проститься и пригласить зайти к себе, но оказалось, англичанин в разгар беседы с Хилквитами незаметно покинул дом.

Уилшайр и гости, поняв, что Максим Горький уходит, поспешили выразить уверенность, что сегодняшний прием оставит след в деле укрепления связей между социалистами двух континентов.

«Чудные и странные люди — эти, называющие себя социалистами, — подумал Горький, пожимая по пути к выходу множество рук и откланиваясь толпящимся фракам и декольтированным платьям. — Чудные и так плотоядно глядят, что того и смотри проглотят с сапогами».

Уилшайр, когда уже все были возле автомобиля, ни с того ни с сего начал высказывать Горькому ободряющие слова, советуя не беспокоиться, что бы ни случилось, так как ему обеспечена помощь друзей, и этими недомолвками еще более встревожил писателя. И вот...

— ...Знаешь, Алеша, без тебя тут репортеры налет устроили.

Улыбка сбежала с лица Алексея Максимовича, посуровели глаза.

— Нет, нет, ничего не случилось, не беспокойся. Они интересовались моей родословной, театральной судьбой. И лишь на третьем вопросе подошли к горьковской теме, спросив для начала, много ли я играла в твоих пьесах.

— И ты?..

— Пришлось ответить правду: много, но роли получала



с трудом. В пьесе «На дне» лишь после того, как согласилась с волей автора — вместе с ним посетить злачные места Москвы, вроде Хитрова рынка, познакомиться с босяками и их подругами, его друзьями по прошлой жизни. И что вообще американским журналистам надобно знать, что Алексей Максимович, то есть Максим Горький, в творчестве эгоистичен: в качестве положительного героя показывает чаще всего себя.

Алексей Максимович, наклонив голову, ухмылялся в усы. Он дослушал критику и, приняв игру, ответил:

— А я тогда, в Севастополе, думал, что хвалю актрису за мастерское перевоплощение, за создание образа коварной аристократки, требующей жертв...

— Нерона в юбке...

— Губительницы гения...

— Беспутного...

— Сжигающей рукопись, труд его жизни, его дитя!..

— Лживое дитя...

— Оказалось же, что этот образ для нее органичен: она жестока и надменна...

— А что! — Мария Федоровна резко выпрямилась в кресле, вздернула подбородок, положила руки на подлокотники и, опустив веки, обратила на мужа холодный взгляд. — Господа журналисты, я признательна вам за внимание, но поскольку вас все-таки более интересует биография моего супруга, то прошу все ваши вопросы адресовать ему лично.

— Так и сказала — лично?!

— Да, Алеша. Придется встретиться с ними — это будет в какой-то степени и ответный официальный прием. Иначе в прессе появится больше выдумок. На всякий случай я сообщила, что писатель Максим Горький намерен подлечить в Америке свои легкие.

— Что ж, я готов встретиться. Начало положено: сегодня в клубе «А» организован комитет содействия — это во-первых. Во-вторых, договорились о цикле статей по русским делам; в-третьих — о митинге на послезавтра... Обещал свою помощь и Марк Твен. Знаешь, Маша, встреча с ним — это как свидание с романтической Америкой, в которую мы все в детстве бегали в мыслях, Америкой грез. Он, очевидно, уже при жизни классик.

— Но, конечно, для восторженных — это нечто бесплотное, литературный святой, — продолжала подзадоривать Мария Федоровна. — Дни его отфильтрованы благожелате-

лями, дрянные поступки названы ошибками, слабые книги — неудачами; его противников мы спешим записать в число собственных врагов. Нет, твоя похвала Марку Твену сомнительна.

— Теперь я уж не знаю, что сказать о Герберте Уэллсе, которому тоже сегодня пожал руку, — Алексей Максимович с некоторым удивлением посмотрел на жену, не понимая ее нервной веселости. Ему показалось, что она что-то скрывает от него.

— Твой англичанин, конечно, далек от классической мумии, — возразила со смехом Мария Федоровна. — Когда я читаю его книги, то испытываю чувство, будто автор все время стремится забежать вперед своих героев, чтобы все его видели: «Посмотрите, это я их придумал, это я такой умный, я сам продиктовал им столь оригинальные поступки»... Ты знаешь, почему Ибсен убил Эдду? Он ее испугался: Эдда выскользнула из задуманной схемы, она стала прозревать! Он не посмел, не рискнул подать ей руку, когда она ждала помощи...

Мария Федоровна не могла забыть, что из-за этой авторской недосказанности некоторые из критиков после московской премьеры «Эдды Габлер» назвали пьесу «норвежским анекдотом», а не картиной нравов. «Страшно жить с такой под одной крышей!» — писали о героине «Московские ведомости». Главную исполнительницу, госпожу Андрееву, даже обвинили в том, что она исполнила роль Эдды «с курсивом».

Вопреки такой оценке Мария Федоровна не только не отказалась от собственного, углубленного толкования образа Эдды, но от спектакля к спектаклю продолжала усиливать творческий «курсив»: не жалела своего сокровенного, чтобы показать душевные муки молодой женщины, ее беспощадность к пошлости, к лживости...

Мария Федоровна встала с кресла и, сцепив пальцы рук, обратилась к окну, в котором полыхали столбы небоскребов:

— «За что я ни схвачусь, куда ни обернусь... Всюду так и следует за мной по пятам смешное и пошлое, как проклятье какое-то».

Именно после этих слов, услышанных Алексеем Максимовичем со сцены Севастопольского театра 12 апреля 1900 года, он упросил Антона Павловича Чехова, с которым вместе приезжал на спектакль из Ялты, представить его Марии Андреевой. И как только упал занавес, они отправились за кулисы... Горький басил и грубо, по-мужски, тряс актрисе руку



вместо общепринятого почтительного касания губами, почему-то чертыхался...

Это была их первая встреча, за ней последовало много других там же, в Крыму, но уже в Ялте, куда переехал театр. В Ялте поселились на лето и Алексей Максимович, и Куприн, Бунин, Мамин-Сибиряк, Станюкович. Охотнее всего Горький разговаривал с Чеховым, которого скрутила и не выпускала с юга чахотка, он проявлял к Антону Павловичу нежность и особое уважение. Подобное чувство испытывали к создателю «Чайки» и артисты Художественного. Театр, несмотря на малые финансовые возможности, организовал гастроли по городам Крыма лишь затем, чтобы показать Чехова Чехову.

Лично для Марии Федоровны крымская гастроль стала главной в жизни, и это главное определила встреча с Максимом Горьким. Сейчас она, как и шесть лет назад, любовалась им, и смущалась похвалой, и готова была обнять и расцеловать, как это сделала когда-то прямо на сцене во время премьеры «На дне». Ей и верно с трудом удалось получить роль в этом спектакле, так как Станиславский считал, что не подходит внешность — слишком красива. Но ее Наташу похвалил сам автор, и не менее горячо, чем ранее Чехов — за исполнение роли Ирины в «Трех сестрах».

Самокритичность достигается с трудом, но она подготовила себя к взыскательным оценкам. Смогла же в прошлом году отказаться от роли Софьи в «Горе от ума», ответить Станиславскому, что боится, годна ли для этой роли по возрасту.

— ...Алеша, репортеры крайне двусмысленно задали вопрос о нашем семейном положении, — проговорила Мария Федоровна тихо и очень серьезно. — Я прошу тебя, не оставляй меня на весь вечер вот так, одну.

— Да, это моя ошибка, — ответил Алексей Максимович и, сделав наконец шаг к жене, попытался заговорить в прежнем веселом тоне: — Без ошибок писателю и нельзя: усложнишь задачу будущего критического баланса...

Стукнула дверь. В комнату спиной, широко расставив локти, входил Зиновий. В руках у него была ваза, полная визитных карточек, писем и даже рекламных проспектов.

— Хозяин гостиницы передал. Очень доволен: Горький создает отелю популярность, значит — и хороший бизнес.

— Зиновий часто употребляет американские словечки, — заметил Алексей Максимович. — Обамериканился!

— Тут это само собой получается, — согласился Зиновий. — Выйдешь на улицу, чтобы прогуляться, и обязательно помчишься со всеми: впереди галоши, сзади сам. Тут каждый думает, что несется к богатству. Видели рекламу? — Зиновий повернулся к окну и показал на здание через улицу, на фасаде которого играла цветной россыпью огромная электрореклама, та самая, что в прошлую ночь не давала спать Горькому: вертящееся огневое колесо обозначало бегущие по кругу буквы, слагавшиеся в два слова, — «ХАН КАМЧАТСКИЙ». В центре круга появлялся и исчезал силуэт ловкого техаса в сомбреро и с кольцом в руке. В его ногах, на груде мехов, полулежало несколько женщин в сарафанах. — Это электроволшебство, — продолжал Зиновий, — тоже посвящено погоне за золотом, хотя реклама утверждает, что театр показывает единственную по остроте музыкальную комедию на русскую тему.

— Русскую?! И о чем же?

— Да так, пустышная пьеска — и по сюжету и по мысли. А публика валит. Я тоже сходил из патриотизма — все-таки Россия.

— И о чем же? — повторил вопрос Алексей Максимович.

— «Хан» — это некий ловкий американец, забравшийся на Камчатку в поисках сибирского Клондайка. Он изъездил край вдоль и поперек! Энергией и справедливостью при этом так понравился туземцам-корякам, что те, желая удержать его, стали сватать ему в жены своих дочерей — одну за другой. Дошли до шестнадцати! Но проспектор крепился, отказывался от многосемейного счастья, готовился к возвращению на родину. Не тут-то было! Коварные аборигены показали ему еще одну невесту — семнадцатую! Самую красивую, то есть толстую, с румянцем во всю щеку, и в придачу предложили звание хана. Американец, естественно, заколебался, а невесты прибавили прыти, чтобы соблазнить его уж окончательно. Словом, американец остался на русском севере. Не подумайте, что только из-за гарема и богатства — нет! Главное, чтобы облагодетельствовать детей природы... Скажите, чем не миф о варягах на американский лад? По ходу действия пьесы, конечно, — скромные двусмыслицы, песенки известного содержания, обнажения, танцы живота и прочее...

— Кто же сочинитель?

— Мистер Уилшайр как-то обмолвился, что комедия соз-



дана на основании подлинной истории, случившейся с одним проспектором. Но не какой-то серенькой личностью, а родственником банкира Вандерлипа, вице-президента «Нэшнл сити бэнк»! Уилшайру можно верить — сам из золотопромышленников-миллионеров.

— Социалист—миллионер?! — изумился Горький, как ранее и Буренин. — Таких монстров я еще не видел.

— Хотите знать, в данную минуту вы имеете дело тоже с бизнесменом-социалистом, — Зиновий комично выпятил грудь. — По совету моего босса я приобрел акцию его «Бритиш Гвиана голд». Теперь жду дивиденда, чтобы открыть банковский счёт. Ну как?.. Он и для вас не пожалеет совета, а то и мощной тряхнет.

— Увидим, увидим меру его щедрости и солидарности, — возразил Горький.

— Давал же Савва Морозов! А чем американский делец хуже русского ситценабивного либерала?

Алексей Максимович хмыкнул. Что ж, об Уилшайре пока ничего не скажешь, определенного, а первое впечатление — оно спорное. В свое время он и Леонида Красина из-за модного костюма и трости принял за преуспевающего дельца. Руководитель Боевой технической группы приезжал к нему на курорт в Сестрорецк по поручению ЦК, просил содействия в пополнении партийной кассы. Он тогда свел Красина с Саввой Морозовым, человеком чутким к политическому климату, который сумел разглядеть в большевиках серьезную политическую силу в противоположность разного рода либералам, которых именовал недвусмысленно «игривыми щенками». Савва, поговорив с Красиным, согласился дать на организационную и издательскую работу двенадцать тысяч рублей, пообещав внести еще такую же сумму через полгода.

Вопрос Зиновия расшевелил в Алексее Максимовиче чувства очень противоречивые — такими они и были у него к Савве. Этот высокообразованный богач, презиравший слабость характера и невежество, вызывал у него порой восхищение, а то злость, даже жалость. В их личном знакомстве, а потом и дружбе особое значение имел Художественный театр, одним из директоров которого являлся Морозов. Вначале просто пайщик-меценат, он увлекся новым театром, вложил значительные средства в постройку здания, оснастил новейшей техникой сцену. По словам Станиславского, Морозов служил Художественному со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции и личной выгоды. Объективно от-

носился Савва Тимофеевич и к артистам, но все-таки в со-  
звездии талантов молодой труппы выделял Марию Андре-  
еву — не только за яркую красоту, эмоциональность, мас-  
терство, а и за постоянную неудовлетворенность собой, обо-  
стренное чувство справедливости.

Немирович-Данченко считал, правда, Морозова личностью  
увлекающейся, чем и определил его стремление к дружбе с  
Максимом Горьким и симпатии к революционерам. Немиро-  
вич недооценивал аналитический ум, который раздвигал это-  
го человека, делал беспощадным к себе и другим. Сумел же  
Савва сразу раскусить политическую мелкотравчатость того  
же Гапона, сказав о нем коротко и уничтожающе: «Дерьмо,  
а не вождь».

«Нет, Савва — это не Уилшайр, совсем другое, — мыс-  
ленно возразил Алексей Максимович Зиновию. — Савва ни-  
когда не рядился в социалистическую тогу, не изображал  
себя тем, кем не был, верил в деятельную техническую нау-  
ку, которая, по его мнению, должна была оздоровить мир.  
Давая деньги большевикам, он это делал вовсе не из любви  
к будущей революции, а из-за ненависти к настоящему Рос-  
сии, к миру выжиг и безголового мундирного чванства, кото-  
рый смердил и мешал. Морозов и себя уже причислял к про-  
шлому, обреченному и жил, по его словам, по инерции, толь-  
ко из-за любопытства. Поэтому и застрелился...»

— Для Саввы наследственное дело было веригами, — от-  
ветил наконец Алексей Максимович Зиновию. — В своем об-  
ществе он был юродивым: мучительно шел по земле, волоча  
эти гири, не зная, как отцепить их, но шел все-таки к буду-  
щему. Не случайно ведь в конце концов он был устранен  
своим же семейством от всякого ведения дел.

— Для Саввы миллион был веригами, а для моего мисте-  
ра Уилшайра — вроде воздушного шара, то есть подъемной  
силы, которая несла его в общественные высоты... Он и пла-  
тит-то своим рабочим меньше, чем в других издательствах, —  
социалист, у него стыдно попросить, забастовать — тем бо-  
лее.

Алексей Максимович снова обратил внимание на возбуж-  
денность Зиновия, переглянулся с Марией Федоровной. Та  
поняла его немой вопрос, пожала плечами.

А дело в том, что Зиновий ожидал от Алексея Максимо-  
вича слов: «Бросай, крестник, Уилшайра и его типографию.  
Что-нибудь придумаем получше». Но Горький этого не гово-  
рил, и Зиновий боялся, что если он в качестве переводчика



покажется ненужным, такого предложения не услышит вовсе.

Зиновий понимал, что и Уилшайр-то держал его главным образом из-за звания «приемный сын писателя Максима Горького», которое ему присвоили газеты вместо «крестника». А «Leder Tасom» в статье, опубликованной в канун приезда Алексея Максимовича в Нью-Йорк, отбросила и слово «приемный», назвав просто сыном. В этой статье революционные заслуги Зиновия явно преувеличивались. Повод он дал сам: отвечая на вопрос репортера, почему бы ему не вернуться в Россию, объявил, что его там немедленно упрячут за решетку.

Жить Зиновий продолжал в пансионе, который содержала американская семья, пытавшаяся изо всех сил выбиться «в люди». Пансион занимал два этажа в узком старом доме. Наверху в трех комнатах, проходных и длинных, похожих на приставленные друг к другу омнибусные вагончики, жили постояльцы, одинокие рабочие газового завода, располагавшегося по соседству. Трудились они посменно и в таком же порядке сменяли друг друга на койках.

Жизнь в пансионе казалась Зиновию продолжением стояния у типографской машины: рядом что-то равнодушно крутится, постукивает, прихлопывает, кажется, сейчас и сам он начнет повторять эти движения в таком же отупляющем ритме, превратится в придаток машины или стола, койки, тарелки...

В дверь постучали. Вошел мальчик-негр в гостиничной униформе — коричневый костюм с блестящими латунными пуговицами, расшитый позументами на груди и на рукавах, с названием отеля на петлицах. Обратившись к Горькому лишь одним словом «сэр», он с поклоном положил на стол новую пачку телеграмм и визитных карточек.

## ГЛАВА IV

### 1. ШПИКУ ПРИЯТНЕЕ, КОГДА ЕГО НАЗЫВАЮТ «АГЕНТ»

Буржуазная Франция еще на рубеже XVIII и XIX веков создала и развила до совершенства аппарат сыскной полиции. Во времена Бурбонов — всего лишь тайная желёзка внутрисударственной секрeции, жизнедеятельность которой по цели и

ароматическому воздействию напоминала реакцию скунса при ощущении им мгновенной опасности, сыскная полиция после Великой французской революции, при Наполеонах и иных, переродилась в сложный организм, который не только убивал и отравлял противников режима внутри страны, но и распространял ядовитое зловонное облако провокаций за ее рубежи. И не столько тревога перед оппозицией в правящих кругах, сколько страх перед нараставшим революционным сознанием народа оттачивал изобретательность Луи Наполеона Бонапарта, кумира французских буржуа, — им за спиной Луи чудилась могучая тень того, Первого, в треуголке, со скрещенными на груди руками, твердая и скорая на расправу диктаторская воля...

Парижская коммуна, ставшая политическим Ватерлоо для бонапартизма, встряхнула на всемирное обозрение его черберов — контрреволюционный сыск и провокацию.

Когда Рауль Риго, главный прокурор Парижской коммуны, приказал разжечь костер из сорока тысяч досье, заведенных полицией на противников режима и неблагонадежных его сторонников, он уничтожал блестящее изобретение наполеоновской службы политической охраны — первую в мире научно систематизированную полицейскую картотеку. Но Коммуна не успела уничтожить законспирированную сеть тайных агентов, обжившихся во всех главных столицах Европы, проникших в ряды революционных, эмигрантских и международных организаций, даже в Интернационал! Эти профессиональные провокаторы и шпики, наследники Жозефа Фуше, после крушения Третьей империи были обласканы в Лондоне, в Вене, в Берлине, а в Санкт-Петербурге принимались за бакалавров искусства, о котором до недавнего времени говорить вслух в «порядочном» обществе считалось даже неприличным.

В те дни, когда новоявленные республиканцы типа маркиза Галифе, изобретателя бутылевидных штанов, которые он ввел в кавалерии после разгрома Парижской коммуны, пытались даже выплясывать «карманьолу» на развалинах империи — конечно, от радости, что в содружестве с германским милитаризмом распыляли коммуны, — в Париже обосновался заграничный центр российского департамента полиции, действовавший в контакте с посольством и французскими властями.

Троекратное покушение на Александра II и, наконец, его убийство в 1881 году заставило царское правительство спеш-



но перестраивать органы внутренних дел. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии отжило: главные его жертвы — декабристы и петрашевцы — погибли в ссылке, на каторге, «прощенные», дотягивали остаток дней под полицейским надзором, народовольцы были разгромлены, надежно упрятаны в сибирские дали и в крепостные казематы. С новым же, нарастающим массовым напором революционных сил Третье отделение уже не справлялось. Настала пора менять методы борьбы, учиться у более опытных. И русская тайная полиция оказалась смекалистым учеником. В жандармы подбирались образованные, знающие языки и свое дело люди. Теперь Муравьев-Апостол, оборвавшись с виселицы, уж не воскликнул бы на эшафоте: «Бедная Россия! И повесить-то порядочно не умеют!» — умели владельцы голубых мундиров хорошо вешать, и метко расстреливать, и сводить с ума. Но все же главным достижением была квалифицированно поставленная служба провокаций, выделившая даже свои исторические имена: Зубатов, Гапон, Азеф, Рачковский... Полицейский чиновник-сверхсущик Рачковский, возглавлявший семнадцать лет (!) русскую заграничную агентуру, приобрел такой вес в Париже, что французский президент Лубо, узнав о готовящемся на него покушении, при поездке в Лион поручил охрану своей особы русским агентам Рачковского...

Аркадий фон Гартинг, который был назначен на пост заведующего заграничной агентурой с 1 августа 1905 года, в ряд «великих» провокаторов не вписан, однако тоже имел весомые заслуги, о которых речь впереди. Не случайно ему-то и поручили из Петербурга организацию слежки за Максимом Горьким. Дело было непростым. Заграничное путешествие писателя с литературными вечерами, порой выливавшимися в стихийные митинги солидарности с русскими революционерами, его статьи в открытой и эмигрантской печати вызывали столь сильное чувство негодования и ненависти к царскому режиму, что даже колебали курс русских ценных бумаг на биржах.

Передвижение Максима Горького все время находилось в поле внимания полиции. А когда стало известно, что он собирается в Соединенные Штаты, агенты фон Гартинга, неотступно преследовавшие его, тоже стали готовиться к поездке за океан.

...Николаев наконец-то почувствовал себя джентльменом. «Шпик», «филер», «стукач», «гороховое пальто», «дух», «наседка» и даже «подметка» — этих эпитетов, которыми агентов охраны по традиции награждали не только в народе, но и высоких рангов служащие жандармерии, в цивилизованной Америке не знали. Тайные агенты здесь пользовались особым уважением, и противное, позорное слово «шпион» к ним не относилось. Они были «секрет сэrvис мэн», их удостоверение — металлический жетон, прикрепленный на внутренней стороне пиджачного лацкана на цветной ленте, — производило мгновенное действие на любого человека, вызывало полное повиновение. В этом Николаев убедился еще в прошлом году, во время поездки в Америку, в Портсмут на мирные переговоры с представителями Японии.

Он тогда выполнял очень щекотливое поручение: секретно сопровождал главу русской делегации Сергея Витте, отчитываясь о каждом его шаге, выходящем, так сказать, за программу официального протокола. Забавно, что с Витте, как и теперь с Максимом Горьким, он плыл на «Кайзер Вильгельм дер Гроссе». Так же без конца приходилось толкаться среди журналистов — Витте охотно шел на беседы с ними. Удивил его уполномоченный и тем, что в первые же дни посетил Ист-Сайд, разговаривал прямо на улицах с иммигрантами из России. Николаев, сообщая об этом случае в Париж, в агентуру, заметил, что русский посол барон Розен отговаривал Витте от этой прогулки, предупреждал, что не исключено покушение.

Вслед за Витте агенту пришлось побывать на бирже и в донесении отметить, что в знак уважения к главе русской делегации биржа на пять минут прекратила операции. А ближе к вечеру он взял на заметку двух банкиров, посетивших Витте, — вице-президента «Нэшнл сити бэнк» Фрэнка Вандерлипа и Джорджа Перкинса, доверенное лицо самого Джона Моргана.

Назавтра снова банкиры! Николаев проводил до самых дверей «Реджис-отель», где останавливался Витте, новую делегацию финансистов, имена которых тоже передал в Париж: Оскар Штраус и Якоб Шифф. Позже газеты писали, что эти деятели Уолл-стрита, родившиеся в Германии и эмигрировавшие оттуда в 60-х годах прошлого века: первый — из Баварии, второй — из Франкфурта-на-Майне, — говори-



ли будто бы с русским уполномоченным о еврейских погромах в России. Но дотошные журналисты правильно предположили, что главной причиной, которая и привела светил делового мира к Витте, явилось желание прощупать возможность организации в России солидных финансовых операций.

Шиффа, главу одного из крупнейших банков «Кун, Леб энд К<sup>о</sup>», беспокоило еще и положение его личных вкладов в японские военные займы. Он выполнял роль комиссионера по этим займам, хорошо заработал и теперь надеялся на успешное и скорое завершение мирных переговоров между Россией и Японией. Чтобы японцы особенно не упрямылись, Шифф предупредил главу их делегации Комуру, что финансовые рынки США, Англии и Германии, по всей вероятности, больше не смогут соответствовать требованиям Японии в ее стремлении бесконечно продолжать войну.

Николаев, увидев вчера Штрауса в отеле «Бельклер», сразу узнал банкира и был удивлен его приездом к Максиму Горькому: это как-то очень уж не вязалось с прошлым визитом к Витте. Но еще больше удивился, когда Максим Горький не пожелал принять Штрауса. Глядя из толпы посетителей на злое, аскетически-худое лицо визитера с жидкой кустистой бородой, с горящими от стыда и негодования оттопыренными ушами, на его надменно застывшие глаза, Николаев с удовлетворением подумал, что этот человек не прощает.

О конфузливом положении, в которое попал высокопоставленный финансист, Николаев решил немедленно сообщить не только по начальству, но и в газеты. Оказавшись на приеме в доме Уилшайра, увидев там очкастого корреспондента из «Уорлд», он подошел к нему как к хорошему знакомому и принялся рассказывать об инциденте — с юмором, в лицах. Репортер, тоже посмеиваясь, записал подробности, а затем стал расспрашивать о спутнице Горького и услышал в ответ:

— Если хотите, вы можете сейчас проинтервьюировать мадам Андрееву. Она в гостинице и, насколько мне известно, одна.

— О, мистер Николаев, вам так много известно о супругах Горьких, что если бы вы не были столь искренним доброжелателем этих русских революционеров, я бы подумал, что вы их большой враг,— удивился осведомленности собеседника репортер из «Джорнэл» Карл Декер,— он тоже прислушивался к рассказу агента.

Николаев постарался не понять издевательского смысла в

похвале журналиста-верзилы. В эту минуту в дверях показалась фигура Горького. Репортеры кинулись к нему. Николаев перехватил взгляд одного из спутников писателя — широкоплечего человека с очень спокойным лицом. Взгляд был долог, и, даже отвернувшись, агент все равно затылком ощущал его испытывающую силу.

«Вероятно, вспомнил, что видел меня на пароходе, — догадался он и, постепенно успокаиваясь, стал рассуждать: — Ну и что? Кто из пассажиров не желал взглянуть на знаменитость?.. Почему я здесь? Тоже очень просто — один из приглашенных. А всякого издатель в свой дом не пустит. В общем, надо сохранять хладнокровие». Николаев с независимым видом, заложив за спину руки, приблизился к Максиму Горькому, беседовавшему с Уэллсом, и, встав в ряд с репортерами, успел поймать конец фразы англичанина:

— ...Наша «Дейли телеграф» после девятого января сравнила русского царя с Нероном.

— Нерон кончил жизнь самоубийством, — возразил Горький. — Николаю Кровавому такое в голову не придет: у него кошачье жизнелюбие. Но его будет судить народ! Та же участь ждет и Витте.

Николаев, чтобы окончательно почувствовать себя на месте, зашептал молодой даме-соседке, наклонившись к ее голому напудренному плечу:

— Парижская «Ла либре пароле» назвала происходящее в России точнее: «Это революция!» Редактор Дрюмон, ярый антисемит, заявил прямо, что революция находит главную опору среди евреев и интеллигентов. А о Витте знаете как?.. «Этот Витте, воспитанный евреями и женатый на еврейке, толкнул Россию на путь бесконечных займов...»

Дама осторожно скосила глаза на Николаева и негодуя покачала головой. Николаев, удовлетворенный своей репликой, продолжал прислушиваться к словам Максима Горького:

— ...Правители заинтересованы в статичности общественной жизни. Это камни в потоке истории. И чем камни больше по размерам и чем ближе к стремнине, к стрежню, тем сильнее иллюзия, что они деятельны, что и они — сила: вокруг-то брызги, пена!

— А что ж, возможно, они как статоры, — ответил Уэллс, снисходительно улыбаясь. — Иначе не получишь энергию.

— Я не знаток в вопросах электроэнергетики, — Горький поднял глаза и, видимо, не очень довольный благодушным



юмором коллеги, возразил: — Но слышал, что, прежде чем поставить здание гидроэлектростанции, пороги взрывают.

Последняя фраза заинтересовала Николаева уже профессионально — она важна для донесения: это же открытый призыв к свержению царя! Существенно и то, что Горький установил политический контакт с английским социалистом, — Уэллс давно провозгласил себя таковым. Это тоже факт!..

Агент чувствовал, что пора, так сказать, улетучиться: его неотступно преследовал взгляд спутника Горького. Обойдя Мориса Хилквита с повисшими на нем дамами, он направился к выходу. Последнее, что услышал, была фраза, сказанная Уэллсом, пронзительно-высокий голос которого запомнился:

— Революция и взрывы — не синонимы, дорогой Горький.

— «Дорогие, дорогой», — пробурчал Николаев. Он знал цену этой излюбленной у англичан формы обращения. К ней обычно прибегал его начальник фон Гартинг, когда делал выговор. Провожая его в Соединенные Штаты, он напомнил «дорогому» о прошлогоднем промахе — не сумел узнать содержание беседы Витте с Рузвельтом на президентской даче близ Нью-Йорка.

Фон Гартинг, глядя ему куда-то в плечо, повернувшись в профиль, чтобы замаскировать нервное подергивание правой щеки, появившееся у него с год назад: ходил слух, что пост фон Гартинга раскрыт революционерами и что он получил угрожающее письмо, — монотонно пилил:

— ...Учитесь у французов. Когда в прошлом году государь пожелал секретно встретиться с кайзером Вильгельмом, он об этом не сказал даже Витте, собиравшемуся в Портсмут. Министр иностранных дел тоже ничего не знал. Полная секретность! А французская полиция, издеваясь над нашей неповоротливостью, любезно сообщила мне, что такое свидание скоро состоится в балтийских шхерах... Ее агент, петербургский корреспондент газеты «Матэн» Гастон Леру, поддерживал знакомство — с кем вы думаете? — с царским поваром, которому, конечно, было приказано приготовить стол для встречи гостя соответствующего ранга, а также сообщена дата и место высочайшего обеда. Знакомство с поваром, как видите, стоит дружбы иных графов, — заключил фон Гартинг, намекая на Витте. — Вот так-то, дорогой Николаев.

Николаев знал истоки антипатии своего руководителя к Витте: граф проявлял пренебрежение не только к полицейским чиновникам, выбившимся «в люди» из агентов, но даже

к самому министру внутренних дел всесильному Плеве. Он его открыто называл человеком без убеждений, хамом, поясняя, что имеет в виду как манеру его поведения, так и происхождение по отцу — бывшему органисту.

Когда после октябрьского манифеста до Парижа дошел слух, что царь предложил Витте вместе с должностью председателя совета министров еще и портфель министра внутренних дел, Гартинг переполошился, помрачнел. Потом рассказывали, что от последнего Витте отказался. Он будто бы ответил, что место по очистке нужников не для него, при этом добавил, что стал плохо понимать дела секретной полиции, так как в настоящее время нельзя отличить, кто служит в полиции по убеждению, охраняет государственный порядок, а кто — продажный карьерист; невозможно даже понять характер покушений: какие организуются революционерами, а какие носят провокационный характер?

«Что значит провокационный? — спросил Николаев не то Витте, не то самого себя, спускаясь по овальной, отделанной мрамором лестнице особняка Уилшайра. — Согласно военному искусству принято засылать во вражеский лагерь лазутчиков. Шпионство в военное время считается дозволенным... Может быть, вы думаете, что революция — это еще не война, как спросил Горького мистер Уэллс?»

Размышляя, Николаев наслаждался своей логикой. Он вообще нравился самому себе. Проходя мимо зеркала, самодовольно взглянул на подтянутую фигуру, чисто выбритое, без единой морщинки лицо. И вдруг представил себе типичную фигуру русского шпиона, жмущегося у ворот. В мешковатом пальто, в котелке «здравствуй-прощай» и с непременно черным зонтиком в руке. Представил и рассмеялся — настолько это не вязалось с образом человека в зеркале. С удовольствием посмотрел на белые блестящие зубы под узкой полоской франтоватых усов — все целы, до единого, любую мозговую косточку перегрызут, было бы ради чего грызть!

## 2. РОМАН РОМАНОВИЧ РОЗЕН

Когда его в детстве спрашивали, кем он станет, малыш звонко, без раздумья отвечал:  
— Кучером!

Эта должность казалась ему самой интересной: высокие козлы, обитые малиновым плюшем, сбруя из лакированной кожи, сияющая серебром и бронзой, и, послушные руке, цокающие подковами кони...



Почему именно это воспоминание пришло в голову чрезвычайному и полномочному послу, гофмейстеру барону Роману Романовичу Розену, когда он подумал о запутанном деле с американским займом? Правильнее сказать — с долей в полмиллиарда долларов, которой американцы намеревались принять участие в готовящемся международном займе России. Переговоры о нем с банкирами и правительственными кругами разных стран Витте начал еще до Портсмута — он добивался солидного синдиката.

В Соединенных Штатах Витте сумел заинтересовать этой крупнейшей финансовой операцией самого Моргана, — беседовали они конфиденциально, укрывшись от лишних ушей на моргановской яхте «Корсар».

Дело продвигалось. С конца прошлого года между Парижем и Петербургом начали гастролировать эмиссары синдиката и чаще других — директор Парижско-Нидерландского банка Нецлин (сам он произносил фамилию на английский лад: Нестли), человек, близкий к Витте, биржевой делец, погравший руки при основании Русско-Китайского банка. Нецлин и теперь рассчитывал хорошо заработать и поэтому при переговорах тоже избегал свидетелей. На последнее свидание с Витте он приехал даже под чужим именем, по паспорту своего лакея Бернара, и проживал уединенно в Царском Селе, во флигеле при дворце великого князя Владимира Александровича. Наконец менее месяца назад, двадцатого марта, Нецлин отбыл в Лондон на решающую встречу с представителями банковских домов: лондонских — с лордом Ревельстоком, берлинских — с Фишелем, а также с американцами. И тут-то выяснилось, что двое последних в займе участвовать не будут: германское правительство запретило своим банкирам из-за позиции России в марокканском вопросе, а Морган отказался сам.

Посол понимал, что Витте хотел иметь дело не только с богатейшим банкиром Нового Света, но и который не был бы связан — во всяком случае явно — с военным кредитованием Японии, как Шифф с партнерами типа Штрауса. Эти-то воротилы Уолл-стрита столь тесно сотрудничали с военно-промышленными кругами Страны восходящего солнца, что их открыто именовали «банкирами Японии»...

«Возможно, и не следовало Сергею Юльевичу ориентироваться столь односторонне, а поискать альтернативу, — подумал Розен, который из-за отказа Моргана чувствовал себя явно в унижении для достоинства российского посла

положении и, возвращаясь к воспоминанию детства, саркастически заключал: — Нет, Роман Романович, твою нынешнюю позицию никак не назовешь «кучерской»...»

Раздражение — плохой помощник, и Розен сумел с ним справиться: поддаваться чувствам, так же как и обнаруживать личное настроение, он считал профессионально недопустимым для дипломата. Во всяком случае, чтобы более четко представить позицию американских денежных мешков, посол договорился о встрече в ближайшие дни с вице-президентом нью-йоркского «Нэшнл сити бэнк» Фрэнком Вандерлипом, который в прошлом году тоже вел переговоры с Витте в Нью-Йорке и в Портсмуте и, как казалось, был настроен весьма оптимистично к проблеме активизации русско-американских финансовых и экономических отношений. «Нэшнл сити бэнк» не только славился размахом операций и колоссальными вкладами, но и, что немаловажно, имел значительные связи в правительственных кругах.

«Сейчас в Париже уже начался отчаянный торг по поводу будущего займа, — продолжал размышлять Розен. — Неллидову, парижскому коллеге, проще вести дело: во Франции, более чем в какой-либо другой стране, страшатся революции. Сильная царская власть — гарантия того, что старые долги России (а они громадны — пять с половиной миллиардов франков!) будут выплачены. Ну, а отношение американской общественности к царской власти характеризует хотя бы сегодняшняя карикатура в «Уорлд», — посол скосил глаза на свежий, за тринадцатое апреля, номер газеты. На раскрытом листе был изображен Николай II, позади которого, сразу за тронем, пристроился человек с рычагом в руках. Сейчас он двинет рычаг — и император полетит в пропасть! Внешность низвергателя, рычаг в виде ручки с пером и подпись под рисунком: «Янки при дворе царя Николая», явно переименованное название популярной книги «Янки при дворе короля Артура», не оставляли сомнения, что это Марк Твен.

Послу запомнилась статья, принадлежавшая перу этого американца, озаглавленная «Монолог русского царя», которую он обнаружил в прошлом году в журнале «Норт Америкэн ревью». В ней Марк Твен и в самом деле сбрасывал императора даже с положения зауряда, выставив его по-андерсеновски на обозрение всего света и на собственное — тоже, так как монолог произносился перед зеркалом.



Портрет получился убийственный: «Тощий, худосочный, кривоногий... Выражения на лице не больше, чем у дыни... Впалая грудь, ноги словно щепки...» Любуясь на себя, царь будто бы говорит: «Путем насилия мои предки укрепились на троне; с помощью убийств, предательств, клятвопреступлений, пыток, тюрем и каторги они охраняют этот трон в продолжении четырех столетий, и такими же средствами я сам удерживаю его сегодня...»

Посол автоматически отметил неточность: Романовы царствуют не четыре, а три столетия. Когда он изучал памфлет, то чувствовал себя в тупике, не знал, как быть: послать представление в госдепартамент — ответят, что в Соединенных Штатах свобода печати; переслать в Россию, в министерство, — значит заставить прочитать «монолог» многих чиновников, в том числе и младших. Показать журнал царю, конечно, никто не рискнет: одно его приношение — это уже оскорбление коронованной особы. Он помнил, как возмущался министр, узнав, что кто-то из Америки шлет царю ужасные карикатуры. Так и пришлось оставить дерзкий выпад Марка Твена без официальных дипломатических последствий.

...Падает уважение к императорской власти. В международных сношениях все чаще ввязывается какая-то вторая Россия, не признающая самодержавия, отрицающая даже основу жизни — собственность. И что удивительно, все больше в этот лагерь уходит образованных и даже имущих, а ряды защитников престола редуют. Иные же более походят на наблюдателей: высматривают, куда примкнуть. Самоубийственный нейтралитет! Как не вспомнить Талейрана, который, характеризуя положение, сложившееся в общественной жизни Франции в канун революции, сказал: «Власть не готовится к войне, а разоружается».

Все чаще и с растущим уважением произносится слово «интеллигент», будто отрицающее сословное разделение людей и объединяющее их заново уже по интеллекту, образованности: среди интеллигентов — и дворяне, и мещане, и поповичи, даже рабочие и крестьяне. Он как-то заглянул в далековский словарь великорусского языка. Многоученный Владимир Иванович считал это слово русским, толкуя «интеллигенцию» как разумную, образованную и, уточняя, умственно развитую часть жителей. Вот так, не дворян, не мещан, а «жителей», то есть и Даль полностью отбрасывал сословную сторону строения русского общества.

«Интеллигенция — это, пожалуй, интеллектуальный пролетариат, — сделал собственный вывод Розен. — Кто ввел это слово в широкий обиход в России? Чуть ли не Боборыкин». «Набоборыкал!» Розен знал это выражение Салтыкова-Щедрина, подшучивавшего над сверхплодовитостью романиста. Впрочем, сам Салтыков пустил по миру выражение «мягкотелый интеллигент», то есть придал понятию еще и сатирический характер, связав с безволием.

Это можно отнести и к русским дипломатам. До чего докатились?! Министру пришлось подписать циркуляр о праве служащих дипломатических учреждений принимать участие в деятельности политических партий. Правда, с небольшим ограничением: они не могут выступать в руководящей роли вожаков партий и быть председателями или членами партийных бюро и комитетов. Так значилось черным по белому в последнем ежегоднике министерства иностранных дел.

На растущие в России революционные силы сочувственно глядит заграница. В том же дружественном Париже французский союз почт и телеграфа взял да и поздравил русских почтовых служащих с их сопротивлением правительству и предложил образовать международный стачечный фонд.

Вот какие мысли роились в голове полномочного посла. Роману Романовичу пресечь бы их, но невозможно: мир никак не желал забывать поражение России в войне с Японией и 9 января. На долю русских дипломатов выпало достаточно унижений из-за несчастной войны и не меньше — из-за Кровавого, как его называют, воскресенья. Почти во всех европейских столицах перед посольствами и консульствами состоялись демонстрации. В Бельгии под окнами миссии в течение десяти минут хором кричали: «Убийцы!» Берлинская «Фоссише Цайтунг» провела параллель между поведением царя и действиями турецкого султана во время армянской резни в 1895 году. Возле генерального консульства в Нью-Йорке тоже патрулировали пикеты.

«...В Париже и состав посольства сильнее», — продолжал сетовать Розен. Его предшественник в Вашингтоне, полуослепший и престарелый граф Артур Павлович Кассини, слыл приятным остроумцем — ему принадлежала острота, что Порт-Артур назван, мол, в его честь, так как он когда-то занимал пост посланника в Китае, — но этот запутавшийся в долгах человек, женатый на гувернантке дочери, как огня



боялся деловой прямолинейности американцев. Теперь Кассини отправился послом в Мадрид и перед отъездом снова острил, уже по поводу своих старческих немощей: «Взял с собой гроб по примеру китайцев, чтобы облегчить доставку брэнного тела на родину». Забавляется, а Розену надо заставить Америку забыть о Мукдене, о Порт-Артуре, о тощей казне и к тому же пыжиться, пыжиться, протягивая ладонь морганам и вандерлипам, чтобы они, избави бог, не подумали, что это за подаванием для самодержца всея Руси и прочая и прочая.

Посол, выходец как раз из «прочая», из Эстляндии, обратил внимание, что к старости стал думать радикальнее, а ведь это привилегия молодости. Может быть, в нем витает дух родича, Андрея Евгеньевича Розена — декабриста, осужденного по пятому разряду, то есть к десяти годам каторги с последующим вечным поселением «во глубине сибирских руд»?..

Лондонский посол Александр Константинович Бенкендорф — тот не обременяет себя муками: он внучатый племянник первого шефа жандармов, который, отправляя поручика Розена в Сибирь, считал, что всего лишь исполняет свой долг, — отличная наследственность!

Слово «долг» как-то неожиданно вновь повернуло мысли посла к этому существительному в его финансовом понимании — заем. Вероятно, он сделал просчет, перенадеялся на атмосферу доброжелательства к России, возникшую в общественном мнении США в результате портсмутских переговоров, а также — и на личное влияние первого уполномоченного на президента и на банкиров. Конечно, Витте поразил всех невероятной работоспособностью и настойчивостью при заключении мирного договора. Но имелась, понимал Розен, и общая объективная причина, которая подгоняла высокие договаривающиеся стороны, русскую и японскую делегации и их посредника президента Рузвельта, к скорейшему прекращению состояния войны. Этой причиной являлось нарастающее в Европе, Азии и в Америке революционное движение, главный очаг которого разгорелся в России. То есть насущной задачей правительств становилась уже не внешняя защита: обозначился другой фронт — внутренний, приковывавший к себе все больше внимания. Мыслимо ли — русская и японская армии готовятся к сражению под Ляояном, а в это же самое время на международном конгрессе социалистов в Амстердаме главы делегаций воюющих сторон —

Плеханов и Катаяма — на сцене, в президиуме, под одобрительные аплодисменты зала пожимают друг другу руки и даже целуются?!

Роман Романович поерзал на стуле, повертел ступней ноги и поймал себя на подражательстве: так всегда делал Витте, когда бывал недоволен.

Выходит, социалисты сумели договориться о мире ровно за год до того, как он и Витте в Портсмуте под орудийный салют и звон колоколов расписались на экземплярах договора, сшитых шелковыми лентами — красно-белой для японцев и голубой (цвет андреевского флага) — для русских, и тоже обменялись рукопожатием с представителями микадо.

Впрочем, Витте в течение своего пребывания в Соединенных Штатах стольким пожал руки, столько раздал улыбок, что это приобрело значение дипломатического фактора — так быстро сумел он приспособиться к общественной психологии американцев и переиграть, фигурально выражаясь, в этом замкнутых японцев. Сразу же первый уполномоченный подхватил и идею Розена — проехаться по стране, она тоже дала хороший эффект. Кроме Нью-Йорка он побывал в Вашингтоне, Бостоне, Кембридже, Ньюпорте, в имении Джорджа Вашингтона, где собственноручно посадил дерево. Такое право предоставляется самым почетным посетителям.

Витте всегда был готов якшаться с газетчиками, раздавал налево и направо автографы, позволял без конца фотографировать себя на улицах. Репортеры даже стали находить грацию в его топорной фигуре и что-то микеланджеловское в некрасивом и грубом лице с разбойничьими глазами. По доступности, демократичности он перещеголял самого Рузвельта. Специально выходил из вагона, чтобы пожать руку машинисту, поблагодарить за быструю езду, а в Бостоне даже расцеловал. Покидая Капитолий, со ступеней лестницы раскланялся с простой публикой. Американских женщин называл прекрасными!..

Розен понимал, что Витте великолепно играет, ищет личную популярность, но выглядит при этом удивительно естественно. Он знал, что царь не жалует своего первого уполномоченного: в нем Николаю чудился кандидат на пост президента Российской республики. Ошибался царь: Витте был верным защитником идеи самодержавия, но понимал лучше других, что старыми методами управлять империей более нельзя, необходима политическая гибкость, лавирование; и, организуя, с одной стороны, карательные меры по отношению



к восставшим в Москве и в Сибири, он вместе с тем стал основным автором манифеста 17 октября.

Сергей Юльевич, со своей стороны, не церемонился с недоброжелателями, честил их вслух, именую интриганам, глупцами, сворой черных псов. Все эти эпитеты Розен слышал исходящими прямо из его уст. Знал, что Витте русско-японскую войну считал глупой и обвинял в ее возникновении придворную камарилью, издевался над Плеве, цитируя его фразу, высказанную в разговоре с Куропаткиным: «Для удержания революции нужна маленькая победоносная война», и даже над самоуверенностью царя, утверждавшего в канун нападения японцев на Порт-Артур: «Войны не будет, так как я ее не хочу».

«Не Россию японцы разбили, а наши русские порядки, мальчишеское управление стосорокамиллионным народом» — вот такое обобщенное заключение не побоялся высказать Витте.

Недруги, которые откровенно говорили, что на переговорах в Америке Витте представляет меньшую опасность, чем в дни правительственных неурядиц в Петербурге, думали, что бросили его в Портсмут как в костер, а он вернулся с удачей. Николай II был вынужден дать «нелюбимому» графский титул и назначить председателем совета министров.

«А кого наш государь любит?» — спросил себя Роман Романович.

«С глаз долой!» — будто бы сказал он, подписывая послу назначение в Вашингтон. Понятно, видел в Розене живой укор: ведь предупреждал из Токио, что Япония, поддерживаемая Англией, обязательно начнет войну, писал и о том, что Россия к боевым действиям не готова ни в Маньчжурии, ни в Порт-Артуре, ни на Сахалине, просил хотя бы временно, по тактическим соображениям, пойти на уступки Японии в Корее, где на реке Ялу бездумно хозяйничали под эгидой великих князей авантюристы-концессионеры... Ну да, с глаз долой! Чтобы не видеть живого укора. Суди Фемида с незавязанными глазами, она была бы справедливее: государственная власть по-своему подделывает гири, обвешивая правду и накидывая зло... Попробуй скажи такое! Впрочем, Салтыков-Щедрин сказал. По словам одного из Розенов, хорошо знавшего писателя, служившего под его началом и однокашника по лицею, Салтыков, прибыв на новое место, в тульскую казенную палату, так обратился к швейцару, показывая рукой на зеркало с двуглавым орлом: «Убрать это во-

ронье пугало». Смело! Но убратся пришлось самому на пенсию в тысячу рублей в год — в самый раз, чтобы не околеть с семьей.

«Вот ведь как, в роду Розенов, внесенных в метрикулы Лифляндской и Эстляндской губерний, да и других; тоже имеются носители оппозиционных настроений», — насмешливо подумал посол, косвенно приобщая себя к декабристу и к другу писателя-сатирика, так как говорить «имеются» о них уже нельзя — оба умерли в 1884 году. Год точно запомнился Розену: тем летом, в июне, он женился в Петербурге, а через день после свадьбы отправился на службу в Нью-Йорк...

Осторожный стук в дверь перебил размышления барона. Вошел секретарь и сказал, что явился чиновник Николаев.

### 3. СПРАВКА О ПОДНАДЗОРНОМ

Николаев, вытянувшись перед бароном, который глядел мимо него и тоже стоял, докладывал

о торжественных приемах, данных в честь Максима Горького.

О прибытии Розена в Нью-Йорк Николаев узнал в генеральном консульстве, куда зашел за почтой. Он попросил уведомить посла о себе, уверяя, что тот пожелает его принять. И действительно, Розен приказал, чтобы Николаев тотчас явился в «Реджис-отель».

— Угол 5-й авеню и 55-й стрит. Семнадцатый этаж, — буркнул вслед агенту чиновник консульства, не предполагая, что эту гостиницу для «чистых», по российскому выражению, гостей мог выбрать для себя и охранник.

Николаев сразу вспомнил, что на семнадцатом этаже останавливался и Витте после возвращения из Портсмута. Номер посла стоил сорок долларов в сутки, впятеро дешевле, чем апартаменты, которые занимал Витте.

«Посол, вероятно, хочет показать себя экономным», — саркастически подумал Николаев, подойдя к белым с золотом дверям.

...Когда Николаев принялся рассказывать о лицах, сопровождавших Максима Горького, то при упоминании Марии Андреевой Розен заинтересованно перебил:

— Известная актриса?!

— Да, из Московского Художественного, — подтвердил агент, догадываясь, что послу это имя знакомо.

В самом деле, в прошлом году Витте в разговоре с Розе-



ном, возмущаясь государственной близорукостью отдельных русских промышленников, их оппозицией правительству, фронтёрством, привел в качестве примера известного московского мануфактурщика-фабриканта Савву Морозова и рядом упомянул Максима Горького и Марию Андрееву. По словам Витте получалось, что Морозов через сожительницу Горького передал несколько миллионов рублей революционерам. Этот фабрикант даже заходил к Витте и осмелился заявить, что с самодержавием пора кончать и нужно заменить его парламентской системой. Витте будто бы отчитал Морозова, а причинами его радикального настроения посчитал «умственную чесотку» и «либеральное ожирение». В заключение, сославшись на свое старшинство по возрасту и опыт, посоветовал не путаться в революцию, заниматься делом.

И вот теперь эта дама — связующее звено капиталиста-либерала с революционным писателем — тоже здесь, в Нью-Йорке! Любопытно.

— Садитесь, — предложил агенту Розен. — Расскажите, пожалуйста, что за личность Максим Горький, в которого влюбляются не только современные красавицы, но и люди, воспитанные на книгах Тургенева, Тютчева, и даже тупоголовые американцы, не читающие ничего, кроме газет.

«Тупоголовые?!» — удивился барон Розен вырвавшейся у него неуважительной характеристике, однако она выражала только его нынешнее настроение: работать в Соединенных Штатах ему нравилось. Еще в юности, занимаясь в Петербургском училище правоведения, Розен восхищался творцами Декларации независимости, а дома, в красном углу своей комнаты, даже держал американский звезднополосатый флаг. Он зачитывался американскими писателями, с удовольствием изучал историю и конституцию Соединенных Штатов, считал, что Америка — место будущих дипломатических усилий России. И ему, можно сказать, повезло: с самого начала основную службу нес на Американском материке — консулом в Сан-Франциско, генеральным консулом в Нью-Йорке, затем почти шесть лет был посланником в Мексике — первым русским посланником!..

— Да, так в чем же секрет влияния Максима Горького? — повторил вопрос Розен, очнувшись от задумчивости. — Кто он?

— Максим Горький, вернее, Алексей Максимович Пешков, — мастеровой малярного цеха, — начал Николаев, не-

доумевая, зачем послу понадобилось спрашивать у него о писателе, которого знает весь мир, — привержен к социал-демократии, к большевикам. Арестовывался, содержался в Петропавловской крепости по делу о принадлежности к противоправительственному комитету. Это дело за недоказуемостью постановлением Петербургского совещания прекращено, но Максим Горький вновь привлечен к следствию за составление противоправительственного воззвания, совершенное им девятого января. Поэтому денежный залог в десять тысяч рублей, под который он был выпущен, пока не возвращен...

Розен, заложив руки за длинную, с выступающими лопатками спину, прохаживался по пушистому ковру, круто повернулся.

— Прошу не повторять справку о поднадзорном Алексее Пешкове — мне ее любезно прислал ваш начальник господин Гартинг. Сообщите собственное, психологическое, что ли, заключение об этом человеке, который, кстати сказать, и с американцами считается не более, чем с русскими, а все-таки завоевывает и тех и других.

— Так гений же!

— Ну вот. Так мне еще никто из вашего департамента не пояснял, — хмыкнул Розен. — А то «мастеровой», «мастеровой»...

— Мастеровой революции, — иронически, вроде бы про себя, уточнил Николаев, но Розен расслышал и согласился:

— Пожалуй. Бывают и такие, учитывая опыт французских революций.

— Да и американской...

— И американской, — согласился Розен и в первый раз прямо взглянул в глаза агенту. — Почему же тогда господин Гартинг считает, что вы должны ограничиться организацией только образцового наблюдения за Максимом Горьким? Не важнее ли мешать ему проводить антиправительственную агитацию?

— Для такой работы нужны дополнительные доллары, ваше превосходительство.

Ответ агента мог показаться наглостью, а с другой стороны — наивной откровенностью. Розен поднял брови, дождался продолжения:

— Для связи с газетчиками, например. Они могут хорошо помочь нам: разочаровать американскую публику в Максиме Горьком. И есть с чего начать, — Николаев рассказал



о случае со Штраусом, которого не пожелал принять Максим Горький.

— Да?! — поразился Розен, испытывая незаконнорожденное удовлетворение от щелчка, который нанес американскому толстосуму соотечественник, и припоминая, что Штраус уже получал от ворот поворот, когда собирался побывать по финансовым делам в России. — Вот видите, каков он, Горький! А вы хотите по нему простой пулей.

Николаев не мог понять, куда вел разговор посол, на всякий случай заметил:

— Но Пушкина, Лермонтова отлично взяли обычные, свинцовые.

«Не надо упрощать», — мысленно возразил посол, отметив, что нынешние шпики научились разговаривать с гофмейстерами. Чтобы поставить гартингского посла на место, твердо сказал:

— Я дам указание, чтобы вам выдали в консульстве некоторую сумму. Считайте ее как плату за будущий доклад о политических связях Максима Горького в Нью-Йорке и о его ближайшем окружении — русском и американском. И еще одно учтите: чтобы в ваших предложениях, если таковые окажутся, было поменьше свинца и побольше мысли.

Николаев выслушал тираду равнодушно: об этом в последнее время достаточно много толковали и на набережной Фонтанки, в департаменте полиции. Он испытывал досаду от категорического тона посла, который даже не пожелал его узнать, хотя не раз встречались в Портсмуте. В общем-то понятно: барон относится к сыскной службе по-старороссийски, то есть не пускает ее дальше передней. Сейчас-то он вынужден сотрудничать, и дело следует вести так, чтобы он от этой принудительной связи не ускользнул.

Николаеву по аналогии пришел на память случай с Вите, который проделал такой финт, что было потерялся из виду. В Ньюпорте, куда русскую делегацию везли на военном судне, предоставленном властями Соединенных Штатов, он вдруг заболел морской болезнью, хотя во время плавания через океан этой слабости за ним не замечалось, таким образом получил возможность сойти с корабля и ехать далее в Портсмут уже на поезде, с выходами при остановках на перрон, демонстративно напрашиваясь на приветствия американцев.

Агент был прав, посол действительно нуждался в опытном полицейском специалисте: циркуляр министерства требовал препятствовать любой антиправительственной агитации за рубежом. Пусть бы себе балагурили газеты: «Мы беседовали с Горьким», «Мы фотографировались с Горьким», «Мы обедали с Горьким»... Куда важнее заметки, утверждавшие, что финансисты получили серьезные затруднения из-за приезда в Соединенные Штаты Максима Горького, заявившего американцам, что русский народ после победы революции не возьмет на себя ответственность за намеченный заем царскому правительству в пятьсот миллионов долларов.

Это уже не печатная сплетня, а истинно внешняя политика, за которую он, посол, несет полную ответственность. Чего доброго, тот же Вандерлип или Штраус, подобно Савве Морозову, предпочтет открыть кредит этой будущей русской республике, а значит — и революции. Не из-за любви к ней, а просто из-за того, что она после знакомства с ее представителем Максимом Горьким покажется силой, которая сможет организовать более кредитоспособную, экономически здоровую Россию. Именно здоровую, полнокровную, с надежным правительством!

Розен в какой-то парижской газете видел карикатуру: царь и микадо стоят рядом, держат на руках своих бесцветных наследников, а в середине, раздвинув императоров, возвышается Максим Горький с улыбающимся сыном на плечах — крепким, щекастым, ясноглазым. Вот сразу и понятно без слов, кому принадлежит будущее, кто его подлинный наследник. Алексей-то, царский отпрыск, еще и очень болен — гемофилия... Витте говорил, что боится за судьбу этого мальчика, родившегося у государыни слишком поздно, после четырех дочерей...

«Петербург всегда запаздывает, — неожиданно подумал Розен. — Не могли в России заставить замолчать Горького. В Петропавловской крепости ему разрешают писать пьесу, а когда бежит за границу, позволяют, чтобы его портрет — работы самого Репина! — выставлялся в Таврическом дворце на историко-художественной выставке. Защитник Горького, пишут петербургские газеты, не только опротестовал обвинение, предъявленное писателю по поводу его воззвания к мировому общественному мнению о 9 января,



но и — какая наглость?! — потребовал вызвать в качестве свидетеля Витте... Главу правительства!!! Телеграфное агентство радуется светом новостью, что во Франции муниципалитет города Сенс решил назвать одну из своих улиц именем всемирно известного писателя Максима Горького. Так и сказано: «Великого, всемирно известного», который в глазах недовольных стал политическим оракулом.

Андрей Розен, вероятно, сумел бы договориться с бунтарем», — неожиданно оборвал себя посол и представил поручика Финляндского полка шагающим на Сенатскую площадь впереди солдат, с обнаженной шпагой, готовым заколоть каждого, кто помешает ему исполнить свой долг...

Николаеву затянувшаяся задумчивость посла показалась невежливой, и он, желая напомнить о себе, без нужды откашлялся. Однако барон проявил еще более унижительную безучастность к этому сигналу.

## ГЛАВА V

### 1. ГЕНРИ ГЕЙЛОРД УИЛШАЙР

Генри Уилшайр после отъезда из его дома Максима Горького попросил Хилквита, Кагана и

Брисбена зайти к нему в кабинет.

— Считаю долгом предупредить вас, друзья, — начал он, тревожно поглядывая на лица гостей, — мне сегодня перед самым приемом позвонил Оскар Штраус. Он сказал, что не сможет прибыть к нам и, более того, не желает иметь ничего общего с этим, как он выразился, зазнавшимся господином-двоеженцем.

— То есть с кем? — не понял Брисбен.

— С Максимом Горьким!

Хилквит после такого ответа развел руками, приподнял плечи, всем видом выражая недоумение, воскликнул:

— Как так?! Штраус сам собирался устроить для него прием в клубе «Лотос».

— В том самом, где в прошлом году приветствовал врага Горького Сергея Витте, — с усмешкой дополнил Брисбен.

— Пренебрегать мнением Штрауса нельзя не только по-

тому, что он председатель литературного клуба, — продолжал Уилшайр. — Он один из тех, кого можно убедить пожертвовать русским значительную сумму. Это в свою очередь помогло бы раскрыть кошельки других.

«Что же ты, Генри, себя не упомянешь в смысле кошелька?» — мысленно спросил Каган, а вслух сказал:

— Андреева — жена Горького. Тут очевидное недоразумение.

— Не такое уж очевидное, — не согласился Уилшайр. — Вчера во время встречи на пароходе ко мне подошел корреспондент «Уорлд» и задал вопрос: слышал ли я, что леди Андреева, приехавшая с писателем как его супруга, в действительности некто иная, во всяком случае не является его законной женой. Я ответил, что не знаком с брачными обычаями России и что американскому обществу нет дела до них, то есть обычаев, тем более, что это не имеет никакого отношения к настоящей миссии Горького. А вот, видите, имеет!.. Надо, пока не поздно, повлиять на Штрауса, разъяснить ему недоразумение, — после этих слов Уилшайр посмотрел на Хилквита.

Всем стало понятно, на что намекал он. Задачу «разъяснения» мог бы взять на себя кузен Хилквита — Симкович, хорошо знакомый со Штраусом по Колумбийскому университету. Штраус носил звание доктора этого университета и читал лекции по международному праву и истории на кафедре социальных наук. На этой же кафедре преподавал и Владимир Симкович.

Морис Хилквит молчал. Вероятно, профессиональная сдержанность не позволяла ему спешить с ответом. Влиятельность Штрауса связывалась не только с его богатством, но и с особым расположением к нему президента Рузвельта как к руководителю программы индустриального мира между трудом и капиталом — он был первым председателем национальной конференции по этому вопросу.

«Нет, Владимир не станет вмешиваться в историю с Горьким, и говорить с ним не стоит», — решил Хилквит.

Брисбена, который с нарастающим раздражением слушал Уилшайра, прорвало:

— Штраус всегда в коконе. Хотел бы я знать, чего вы ждете от этой ложной куколки. Он не случайно дважды был послом в Порте. Сумел обвести даже их всехитрейшее величество султана турецкого, который по его просьбе «посоветовал» правоверным магометанам архипелага Сулу признать



суверенитет Соединенных Штатов над их островами. Представляете, сколь энергичной была эта «просьба» Штрауса?! Ясно, что ничего, кроме выгоды, для своих политических акций Штраус не искал и в знакомстве с Горьким. Рассчитывать, что Колумбия во имя защиты русского писателя возьмется разьяснять миллионеру бестактность его поведения?! Для этого надо забыть, что из двадцати трех попечителей университета девять — банкиры, а в числе основных жертвователей — крупные банки, например «Нэшнл сити бэнк».

— Не все в Штраусе так уж плохо, — возразил Каган. — Как основатель американско-еврейского общества он делает немало полезного в интересах своих братьев.

Брисбен расхохотался и, кривя губы, продолжал:

— Действительно, Штраус во всех должностях блюдет интересы братьев — Натана и Исидора, не забывая набивать и свой карман. Это родственный триумvirат международного капитала!

Упоминание имен родных братьев Штрауса, из которых старший, Исидор, занимал пост вице-президента Американской торговой палаты и состоял в директорах ряда банков, а средний, Натан, помимо банковских дел подвизался в политической игре республиканцев — баллотировался в мэры Нью-Йорка, но проиграл, — внесло ясность в беседу: лишиться симпатии Оскара Штрауса значило потерять финансовую поддержку филантропических организаций, где братья занимали руководящие посты. Хотя бы фонда барона Гирша, точнее, его Северо-американского филиала, главным казначеем которого состоял Оскар. Этот филиал обладал двенадцатью миллионами франков! На деньги фонда была устроена колония эмигрантов Вудбейн в Нью-Джерси, в которой уже проживало две тысячи человек. В судьбе колонии проявлял большую заинтересованность Каган, заботясь о приобретении подписчиков на «Форварст».

Серьезно встревожился и Хилквит. Он уже договорился с Максимом Горьким о выступлении в «Грэнд-сентрал-пэ-лэйс». Теперь оно могло сорваться. Сотрудничество с русским писателем-революционером должно было поднять его авторитет в рядах социалистической партии, увеличило бы число голосов за счет иммигрантов. Последнее очень важно, так как Хилквит готовился выдвинуть свою кандидатуру в Конгресс.

— Я поговорю кое с кем, — молвил адвокат, обращаясь к Уилшайру. Он понимал, что хозяин дома более всего боял-

ся, что Штраус вздумает повлиять на дела его банка. — И я попробую, — сказал Каган.

Артур Брисбен, выпатив нижнюю губу, выражал гримасой явное пренебрежение к этим ничего не значащим обещаниям. Журналист сказал, что попытки ублажать Оскара Штрауса, заглядывание в рот этого набоба унижают достоинство Максима Горького и их собственное.

— Извините, что задержал вас, — поспешил закончить дискуссию Уилшайр. — Сегодня трудный день.

— Еще бы, — усмехнулся Брисбен. — Вы сумели заполнить в свой салон сразу двух крупных писателей из Европы и накормить их одним обедом, одними гостями. Совсем как Христос: одной булкой всех голодающих. Очень экономно!

Хозяину не оставалось ничего лучшего, как только рассмеяться.

\*

«Пустой разговор, никто и пальцем не пошевелит», — сделал и свой вывод Уилшайр, проводив гостей. Вернулся в кабинет и уселся в кресло... Со стены на него смотрел Уильям Моррис. Портрет будто вопрошал: «Ну как?», а возможно, удивлялся наивности издателя.

Уилшайр, чтобы лучше понять выражение лица философа-поэта, попытался скопировать его: вздернул брови, растянул губы, голову вобрал в плечи, но тут же устыдился гримасничанья.

Этот циник Артур Брисбен издевался открыто, будто мстил за своего прогоревшего на фурьеристских увлечениях отца. А в какой социализм верит сам, понять трудно. Видно, в херстовский. (Подумать только, Херст даже высказал желание стать первым социалистическим президентом Соединенных Штатов.)

Брисбен имел много общего со своим шефом, но был значительно образованнее — учился в Германии и, по примеру отца, еще и во Франции. Да и сам отец являлся для него университетом, хотя и не стал образцом мировоззренческой одержимости. Возможно, потому, что при рождении сына ему уже шел пятьдесят четвертый, на душу давил груз неудач в практическом осуществлении социалистических идей в Соединенных Штатах...

Артур Брисбен, начав журналистскую карьеру в двадцать лет, попробовал себя вначале у Пулитцера, пройдя школу



репортерства в Париже и Лондоне, окончательно же обосновался у Херста. И, конечно, не только потому, что Херст платил сотрудникам самые высокие оклады, но и, играя роль друга бедных, даже сам выступал за передачу в руки государства предприятий связи и обслуживания населения.

Столь же громко, но тоньше, представлял себя борцом за социальную справедливость и Брисбен. Когда в Нью-Йорке забастовали работники отелей и кто-то пустил провокационный слух, что забастовщики по совету анархистов намерены отравлять пищу богачам, живущим в гостиницах, он заявил на удивление: «Я сторонник того, чтобы за такие советы заключали в тюрьму, но только сначала следует посадить за решетку предпринимателей, которые отравляют еду нации».

Конечно, эти слова можно отнести к чикагским мясным королям, но почему бы их не понять и шире? А кто разоблачил связи японских экспортеров шелка-сырца с владельцами шелкоткацких предприятий в Патерсоне и тем самым показал заинтересованность Соединенных Штатов в предоставлении займов Японии во время русско-японской войны? Снова Брисбен — автор передовиц. Что это, смелость, демагогия?... Хилквит прав, назвав этого человека блестящим циником.

«Впрочем, и сам хорош, — продолжал Уилшайр уже о коллеге по партии. — Сумел же сегодня отмолчаться, схитрить...»

Как раз перед приездом Максима Горького, в марте, состоялась конференция американской социалистической молодежи. Хилквит был на ней, а Уилшайра обошли. Конференцию организовал Роберт Хантер в Нортоне, в доме своего тестя, богача-филантропа. На ней решили поддержать выдвижение Хилквита кандидатом в Конгресс от социалистической партии по девятому избирательному округу Нью-Йорка.

«Удивительно везучий! — позавидовал Уилшайр. — На целых десять лет моложе меня, а уже руководитель партии, даже признан теоретиком. Если же говорить правду, то в своем главном труде — «История социалистического движения в Соединенных Штатах» — Хилквит больше занимается оглядкой, чем перспективой. Ну а какое значение он придает Генри Уилшайру, можно легко уяснить тоже по этой книге: где-то на ее задворках, в перечне названий социалистиче-

ских газет и журналов, упомянут и «Уилшайрс мэгэзин», а о самом издателе — ни слова. Зато Брисбенам — целая глава!»

Уилшайр как-то непроизвольно стал свои сетования проносить шепотом, потом вслух, а в заключение совсем громко, обращаясь к портрету Уильяма Морриса:

— Как я стал социалистом?..

Вопрос был лишь повторением названия брошюры Морриса, которую Уилшайр прочитал десять лет назад, когда жил в Лондоне, на улице с солнечным названием Золотой Луг, ходил в Королевское общество на лекции Хаксли о Чарльзе Дарвине, слушал на митингах Уильяма Морриса, пропагандировавшего обновление человечества посредством торжества искусства в труде и быте людей, стал своим человеком в обществе фабианцев, где выступал неистовый Бернард Шоу, даже пускался с ним в полемику, оттачивая в этих спорах свое кредо.

Основой социалистического переустройства общества Уилшайр признавал индустрию, находящуюся в собственности законно избранного социалистического правительства. Эта индустрия должна быть выкуплена у владельцев, а не взята силой, как утверждают поборники классовой борьбы. Он не верил в особые изменения в классовом строении общества: рабочие всегда будут, фермеры — тоже, иначе мир помрет от голода и холода. Будут и руководители. Вот и выходит, что в первую очередь следует заботиться об общем благе, о том, что соединяет людей в общество. Это вроде банка: чтобы он жил, класть в его сейфы надо больше, чем брать. В мире всегда имеются излишки богатства — инстинкт самосохранения, физиология общества: как подкожный жир у свиньи, горб у верблюда, золотые серьги у босой индианки — из-за страха перед будущим черным днем.

Должен быть организованный труд и организованный капитал, и чтобы второй находился под контролем первого. Поэтому сейчас надо дать дорогу созданию трестов, а не бороться с ними, как предлагают близорукие парламентарии, проводя в Конгрессе антитрестовские мероприятия, вроде закона Шермана.

Уилшайр еще в 1889 году, находясь в Лос-Анджелесе, опубликовал в местной «Ивнинг экспресс» трактат, в котором доказывал, что вопрос «как истребить тресты» пустой, неграмотный, так как они естественны в высокоразвитом обществе. Эти мощные объединения, которые кормят, одевают



и обслуживают людей, удобны для централизованного управления ими правительством.

С ним не соглашались даже фабианцы. Особенно категорично — Бернард Шоу, который утверждал, что американский путь развития вовсе не пригоден для Англии, индустриальная демократия — тоже.

— Вы хвалите свои монополии и их организаторов, разных рокфеллеров и иных, как Лемюэль Гулливер расписывал королю страны гигантов порядки собственного горячо любимого отечества. Ну и помните, к какому выводу пришел король? Решил, что большинство соотечественников Гулливера принадлежит к породе отвратительных и зловредных гадов. К числу гадов-кровососов я вынужден отнести и ваши тресты.

Ирландец, очень высокий, кажущийся еще длиннее от худобы, со сверкающими глазами на молочно-белом лице, в своей праведности напомнил Уилшайру беспомощного в практических делах Дон-Кихота, о чем он тут же и сообщил: стоит ли, мол, нестись с копьём остроумия на реальные мельницы, которые, как бы ни были плохи, а муку-то все же мелют.

Уилшайр разъяснял социалистические идеи и промышленникам, и рабочим, и политикам, вступая в публичные диспуты, печатая статьи. С этой пропагандистской целью в 1900 году он основал в Лос-Анджелесе журнал «Вызов». В поисках более широкой и подготовленной читательской аудитории попытался перевести его в Нью-Йорк, но власти отказали. Попробовал обратиться за разрешением к самому Рузвельту, но тот даже не ответил, то есть практически тоже отказал. Тогда Уилшайр решил, что его всерьез принимают за «социалистического дьявола», и нашел выход: контору издательства перевел в Нью-Йорк, а журнал под другим названием стал выпускать в Канаде, в Торонто, где занимался горнопромышленным бизнесом. Первый номер «Уилшайрс мэгэзин» — так теперь назывался журнал, не совсем скромно, зато ясно, что продолжение «Вызова», — вышел в январе 1902 года.

Уэллс, тоже признававший тресты как закономерное экономическое явление, тем не менее был склонен свысока смотреть на пропагандистскую деятельность Уилшайра и в «Фортнайтли ревью» охарактеризовал его «Вызов» всего лишь маленькой живой газеткой с громким девизом — «Пусть трестами владеет нация!». В этом журнале он вы-

сказал сомнение и в том, что мистеру Уилшайру, его партии удастся с помощью демонстраций и парламентских вотумов отобрать у нынешних владельцев металлургические заводы, железные дороги, электростанции, телеграф и, тем более, справиться с их управлением.

Уилшайр же из нынешней встречи вынес впечатление, что Уэллс, как и прежде, наивен: надеется только на рост образованности общества, на появление в нем некоего сознания общности целей, которое само собой должно привести к социализации человечества на основе высокоразвитого технического прогресса. Бездеятельное ожидание?! Чем оно лучше фабианства, которое сам же Уэллс сравнивает с большеголовым карликом на немощных ногах? А какие «ноги», то есть экономические опоры, он предлагает под свою так называемую «Современную утопию»?..

Увидев сегодня Герберта Уэллса у себя, Уилшайр пережил свою лондонскую молодость. Они хорошо поговорили, вспомнили, конечно, о Бернарде Шоу.

— Сколько ни раскаляй воду, все равно от нее ничто не загорится, — с досадой заметил Уэллс относительно филиппик своего старшего друга, продолжавшего твердо держаться за фабианский метод переустройства общества.

Уэллс сразу же согласился с предложением Уилшайра — подождать Максима Горького, и, похоже, писатели понравились друг другу.

Словом, все с приемом получилось бы хорошо, не раздай-ся этот внезапный телефонный звонок от Штрауса.

## **2. УЗНИК С ИЗУМУРДНОГО ОСТРОВА**

Обычно Герберт Уэллс с удовольствием спешил на девятый этаж гостиницы, в свой номер, и, закатав рукава рубашки, в одном

жилете, начинал отстукивать на машинке впечатление от увиденного. Так и сегодня, вернувшись к шести часам вечера из Трентона, он сразу засел за работу.

В трентонской окружной тюрьме отбывал наказание ирландец Мак-Квин, уехавший в Америку из Лондона четыре года назад. Он надеялся найти за океаном возможности для свободной социалистической пропаганды. И вот теперь за выступление на одном из митингов текстильщиков, за призыв к забастовке его обвинили «в подстрекательстве к мятежу», осудили на пять лет тюрьмы. Уэллс ездил к Мак-Квину по просьбе Бернарда Шоу, который переписывался с заключен-



ным соотечественником и надеялся как-то ему помочь.

Держа обе руки на клавиатуре, Уэллс чувствовал, что его тянет не регистрировать историю злоключений молодого человека, а более размышлять о первопричинах, рассуждать. Логика воображения — совсем иное, нежели цепочка фактов, на конце которой примкнут, как штык, вывод.

«А может быть, не примкнут, как штык, а привязан, как злой пес, которого сознательно натравливаешь?» — спросил себя писатель и, оборвав размышления, бездумно уставился в окно. Он умел выключиться на несколько минут. После такого сознательного забытья, как после сна, требовалось привести себя в порядок, будто совершить утренний туалет, — и снова садись за работу освеженным. Теперь же эта операция не удалась: так потрясла его показавшаяся вначале ординарной история Мак-Квина.

Чтобы не терять вечер, Уэллс решил провести его у своего лондонского знакомого, профессора Джона Мартина, с которым виделся очень накоротке, в издательстве Уилшайра. Мартин пригласил его заходить в любой день текущей недели. Жил он на Стейтен-Айленд, в новом районе Нью-Йорка. На этом острове, одном из самых крупных в устье Гудзона, селились главным образом американцы среднего достатка: врачи, художники, инженеры, ученые...

Джон Мартин на родине, в Англии, считался активистом фабианского движения. На рубеже века он отправился в Соединенные Штаты, чтобы, как и Мак-Квин, проповедовать идеалы социализма. Фабианец подвизался в роли свободного лектора и журналиста, читал доклады в клубах и колледжах и, неожиданно для себя, увлек одну из экспансивных слушательниц — дочь врача, женился на ней, приобретая не только идейную поклонницу, но и материальное благополучие.

Герберт Уэллс сразу понял последнее, когда увидел на склоне холма, по данному ему адресу — Гримс-хилл, Говардавеню, 37, — дом с широкими окнами, обращенными на залив. С некоторых пор он и сам стал домовладельцем, потратил заработанную литературным трудом тысячу фунтов стерлингов на строительство дома под Лондоном. Сам составлял проект, сам придумывал расположение комнат, отделку деревянными панелями кабинета, то есть мог довольно точно представлять стоимость особняка Джона Мартина.

А вот и хозяин, высокий бледнолицый шатен. Спешит на встречу, широко улыбается.

— Ну, наконец-то, — развел он руками. Это был жест и радостный, и выражающий укоризну. — Мы вас так ждали. И Пристония...

— Я был в Трентоне, в тюрьме.

— В тюрьме?!

— Не пугайтесь, Джон, всего-навсего в гостях, — усмехнулся Уэллс, заметив, как на высокий чистый лоб Джона Мартина с рисованно уложенным мыском темно-русых волос набежали тонкие складки. — Встретился там с Мак-Квином.

— А, это профсоюзный деятель, молодой человек.

— Да, к сожалению, совсем молодой, из числа тех, кого тысячами выпускает английская нормальная школа и которые спешат за океан вкусить сладость свободы... Когда я увидел его в палате тюремной больницы, то подумал об ответственности общества, которое загоняет за толстые стены свою молодость, надежду, то есть сознательно оскотливает себя.

— Ну и что же, как он? — спросил Мартин, провожая писателя в гостиную и усаживая в глубокое кожаное кресло, которое более располагало к послеобеденной сигаре, чем к острой политической беседе. Однако, судя по благодушному выражению на лице хозяина, он таковой и не желал. А Уэллсу именно сейчас захотелось высказать то, что в гостиничном номере, в одиночестве, не ложилось на бумагу.

— Как он? — повторил Уэллс вопрос Мартина. — Этого человека я оставил сидящим на краю железной койки с беспомощно, крест-накрест сложенными на коленях руками, с подергивающейся щекой, изолированным от общества лишь за то, что ему не все в этом обществе нравится и хочется его усовершенствовать...

В конце нашего разговора, когда служитель предупредил, что время свидания закончилось, Мак-Квин высказал мысль, которая меня гнетет. Она абсурдна, но ведь не менее абсурдно слышать от каждого второго ирландца после слова «Англия» добавление: «Будь она проклята!»... Мак-Квин сказал: «Социалистическому движению не хватает мозолей от рукоятки пистолета...»

— Это же главная идея анархизма! — резюмировал Мартин, пожимая плечами.

— Вот-вот, так решили и судьи. Выходит, мы соглашаемся с тюремщиками Мак-Квина, — возразил Уэллс. — Я попробовал помочь парню — сразу же после тюрьмы зашел



в канцелярию Верховного суда штата. Откровенность судьи была поразительной. Он со мной говорил как с малым ребенком. «Мистер Уэллс», нет, даже «Дорогой Уэллс»...

— Хорошо, что не просто «Герберт», — буркнул Джон Мартин.

— Да. В самом интимном духе. «Дорогой Уэллс, наши судьи и присяжные не имеют права поощрять в стране насилие или действия, которые могут привести к нему. Что мы должны делать? Что бы нам сказали хозяева шелкоткацких фабрик Петерсона, где выступал этот ирландец, оправдай мы его, хотя виноват он весьма косвенно?»

Меня, по правде сказать, такая откровенность обескуражила. Я понял, что судья говорит со мной как с человеком из собственной семьи, то есть принадлежащим тоже к числу «хозяев» американского Патерсона, французского Лиона или нашего Манчестера, — неважно. Я был для него человеком, обязанным понимать образ его мыслей. Поэтому далее я уже спрашивал робко: «Но он же не сделал чего-то преступного, ни одного конкретного действия?..» И в ответ слышал: «У социалистов в книгах тоже ничего нет преступного, просто сказано: «Существующий порядок надо заменить другим». А на практике это означает заменить Мак-Квином Карнеги или Рокфеллера. Так что же, дожидаться такого конкретного поступка? — убеждал судья, доверительно держа меня за пуговицу пиджака. — Изолируя мак-квинов, мы страхуем общество от ужасных преступлений. Разве не так?»

После столь популярных разъяснений мне стало совестно собственной бестолковости, инертности ума, который не умеет, оказывается, оценить политическую обстановку в стране, не понимает истинных задач администрации. Ну, а во вторых, — Уэллс стукнул короткопалой ладонью по кожаной подушке кресла, — стало стыдно, что позволил этому авгуру рассматривать себя рождественским козленком, который умиротворенно блеет, увидев или узнав по голосу хозяина, и немедленно забывает о собственных социалистических рогах. Только рога! Где уж нам до пистолетов, до мотокоток от их рукояток!..

— Дорогой Герберт, к чему самобичевание? — спросил Мартин и даже поднялся, прошелся. — Порядок, законность...

— Еще бы! Судья даже вспомнил мой «Остров доктора Моро», процитировал на память: «Не охотиться за дру-

гими людьми — это закон. Разве мы не люди?» У меня голова кружилась от бормотания этого ограниченного глашатая закона со слегка лишь притупленными инстинктами. Такие же красные глаза, лохматые седые брови и серебристые волосы над низким лбом... И он хотел видеть во мне союзника, одного из его стаи! Значит, я определенно что-то делаю не так, выступаю в роли обезьяночеловека, болтающего «большие мысли»...

— Но исторический факт: сейчас Америка — самая свободная страна в мире, — сказал Джон Мартин, не очень понимая ход рассуждений Уэллса.

«Вы не многоженец? Вы не анархист?» — вспомнил Уэллс вопросы портовой анкеты.

Мартин испытывал неловкость из-за плохого настроения гостя. Ему хотелось перейти к воспоминаниям о лондонской жизни, ко времени, когда они оба носили красные галстуки, поговорить об общих знакомых, наконец, о нем самом, Уэллсе, ставшем знаменитостью, выпускающем по два романа в год. Его сравнивают с Жюлем Верном, даже говорят, что идейно он уже опередил старика, так как перевел фантастику на путь служения социальному прогрессу.

Джон Мартин, возможно, так бы не удивлялся, знай одну новую черту, появившуюся в характере товарища-фабианца: Уэллс, с кем бы теперь ни вел полемику, будто спорил прежде всего с самим собой, всегда находил внутри себя убежденного противника, подвергавшего сомнению каждый довод, не позволявшего мыслям пританцовывать ради ловкого словечка...

В кабинет быстро вошла, почти вбежала небольшого роста полная женщина. Ее сопровождала шотландская овчарка.

— Ты так жаждала познакомиться с мистером Уэллсом, дорогая Пристония, — сказал Джон Мартин. — Вот он.

Уэллс, поклонившись женщине, отметил про себя, что она выглядит старше Джона, да и нехороша собой.

— Мне очень лестно видеть вас на Сейтен-Айленд, в нашем доме, — приветствовала гостя Пристония Мартин. У нее оказался мелодичный голос, круглые карие глаза смотрели энергично и доброжелательно. — Джон много рассказывал о вас, но еще более — книги. Хотя, по правде говоря, у меня нет желания стать одной из женщин вашей «Современной утопии»: вы досконально позаботились о бренном теле, но в душу, по-моему, не заглянули.



Такая откровенность расположила Уэллса к хозяйке, которая с издевательски-лучезарной улыбкой продолжала:

— Я испытала благоговейный трепет, когда прочла у вас, мистер Уэллс, что англо-саксонская женщина — самая благо нравная, самая женственная, никогда не подпускающая к своему домашнему очагу лиц, которые могли бы взглянуть на ее благополучие. И что в утопическом будущем ей придется все эти качества сохранить и распространить, например, среди француженок и испанок...

«Да, вы въедливы, миссис Мартин», — подумал Уэллс и стал возражать в таком же тоне:

— Вот видите, как вы хорошо и правильно поняли. Кое-кто в Англии обвинил автора «Современной утопии» в проповеди свободной любви. А там всего-навсего сказано, что институт современных браков продажен, что браки совершаются ради выгоды: пристраивают молодых людей друг к другу, будто приковывают золотыми цепями. Хотелось бы видеть любовь свободной и чтобы свобода брачных уз охранялась законом.

— «Цепи», «узы», «законы», — для женщины это звучит достаточно привлекательно, учитывая, что в книге вы иронизируете над лозунгом «равенство и братство», который, по вашим словам, загоняет женщину в казарму. Даже не упоминаете, что неплохо бы для начала дать ей избирательные права, равенство. Рэдклиф — известный женский колледж Гарварда, который я имела неосторожность закончить, прекрасная иллюстрация положения женщины в американском обществе: даже здание колледжа построено вне университетской территории!.. И хотя нас и мужчины учили одни и те же профессора, но каждый раз, выходя за кованые ворота университета, они уже тем самым убеждались, что направляют читать лекции второстепенным студентам.

Ученый врач Кларк даже написал капитальный труд «Пол и воспитание», в котором доказывает, что сама физическая природа женщины протестует против образования. Да и что делать образованной американке со своими знаниями, где применить их, если общество заставляет ее на каждом шагу испытывать унижение, то и дело напоминает о мнимой неполноценности? Нет, вопрос эмансипации женщины — вопрос нравственного переустройства мира!

— Извини, дорогая Пристония, — вмешался Джон Мартин. — Слушая тебя, я подумал, что Феликс Адлер, пожалуй, был прав, когда утверждал на одном из заседаний этического

го общества: «Выпускницы высших учебных заведений составляют наиболее недовольный элемент в Америке». Не так ли?

Профессор с явным удовольствием поглядывал на раскрасневшуюся от возбуждения жену. Уэллс, перехватив его взгляд, снова подумал, что в этом государстве из двух президентский пост отдан без голосования боевой особе с сияющими от затора глазами, звонким смехом и энергичной жестикуляцией. Конечно, это она удержала Джона в Соединенных Штатах и заставила в 1903 году «натурализоваться», то есть принять подданство. Возможно, она помогла ему и занять почетный пост директора лиги политических изданий в Нью-Йорке. Собственно, куда Джону было ее везти? В Англии у него ничего имущественного не имелось. Занимал профессорскую должность в Восточном Лондонском техническом колледже — и все. Пристония, очевидно, принесла ему комфорт, организовала жизнь. Как тут не станешь самоуверенной?! Правда, судя по скупой обстановке гостиной, большого богатства в доме не замечалось: простая мебель, обычное убранство. Оттого, что комната не была заставлена, а ее стены оклеены светлыми лаковыми обоями, она казалась просторной. Одна из дверей вела на решетчатую веранду, а другая — в кабинет, который из-за обилия книг выполнял еще и роль библиотеки.

На потолке вместо обычной круговой лепнины выделялся асимметрично расположенный гипсовый узор — оливковая ветвь, а над камином — мозаичная надпись: «Афины — глаза Греции, мать искусства и красноречия». Самым ценным предметом гостиной был темно-вишневого цвета рояль. Обращали также на себя внимание расположенные в нишах бюсты — уменьшенные копии — Гомера и Сократа.

Уэллс знал, что эллинский мир не был предметом исторических увлечений Джона Мартина, более интересовавшегося Востоком, поэтому решил, что скульптурные изображения славного поэта и философа, оливковая ветвь и надпись над камином скорее всего отражали вкусы супруги профессора. К ней он и продолжал обращаться:

— Вы, миссис Мартин, совершенно не касаетесь конкретного, материального, о чем я пишу. Я предвижу освобождение женщины от домашней каторги, — убеждал Уэллс. — Автоматическое отопление и вентиляция, доставка на дом провизии в виде полуфабрикатов, удаление всасывающими насосами отходов и их уничтожение, электрификация кух-



ни... Мускульный труд исчезнет. А что все это означает? То, что женщина долго будет оставаться молодой, привлекательной, изящной.

По лицу Пристонии Мартин блуждала ироническая улыбка, она круто качнула головой, почти положила ее на правое плечо, будто желала снизу заглянуть в глаза писателю, и сказала:

— Знаете, почему у монголов так сильно загнуты носки у сапог?.. Для того, чтобы не потревожить землю, не копать ее, оставить с девственной заботой — траву растить. Такую растительно-бездеятельную роль вы прогнозируете и нам, женщинам. Вы даже не почувствовали, что разными техническими усовершенствованиями стремитесь закабалить женщину, посадить ее в электрифицированное гнездо, привязать к кнопкам автоматов. Снова цепи, снова роль курицы. Так бессовестно и говорите, что женщина любой работе предпочтет внутренний домашний мирок. Избавьте от такого будущего!

Герберт Уэллс, которого вначале забавлял пыл оппонентки, был удручен ее упреками: уж очень искренне говорила, горячо, но обдуманно.

— Женщинам останется достаточно и иной работы — сфера искусства, некоторые отрасли производства изящного, птицеводство, уход за больными...

— Дайте ей равенство, избирательное право, она разберется, что ей делать, — перебила Пристония. — Над женщиной тяготеют тысячелетия не только экономического и нравственного, но еще и мужского гнета.

— «Современная утопия» признает развод. То есть с личным гнетом покончить просто.

— Это и сейчас просто, — вмешался Джон Мартин. — Штат Южная Дакота не случайно называется «разводной фабрикой».

— Зато в Нью-Йорке единственная законная причина к разводу — прелюбодеяние, адюльтер. Учти, Джон! — пригрозила пальцем Пристония.

Джон Мартин, чтобы закруглить спор, заметил шутливо:

— Соединенные Штаты — страна свободы в первую очередь для женщин. В Нью-Йорке в модных магазинах можно найти специальные комнаты для покупательниц, где они могут всласть накуриться, если стыдятся этого дома, выпить вволю виски или иного горячительного. Им позволено даже заказывать свидание по специальной, переплетенной в сафь-

ян карте с мужскими портретами, то есть заодно с коробкой конфет можно выбрать и кавалера по вкусу. И все это в соответствующей обстановке: ореховое дерево, ручная вышивка на сиденьях кресел, бронза, ковры...

— Качество прогресса определяется отношением общества к женщине, — продолжала свое Пристония.

— Фурье? — вспомнил Уэллс.

— Да.

— Однако Фурье никогда не имел семьи, — упрямо переводил разговор на другую линию Джон.

— Что стоит прогресс, творимый вами, мужчины, если нет никаких надежд на вас и в утопическом далеко? — со вздохом ответила Пристония и, вспомнив о своей «современной роли» — хозяйки, предложила перейти в столовую.

\*

Пристония упрекнула Уэллса в полном безразличии к свежей икре. Улыбку гостя она восприняла как благодарность за внимание. В действительности же писателя заставило улыбнуться воспоминание о случае десятилетней давности. После публикации «Машины времени» его, как восходящую знаменитость, пригласили на торжественный прием в редакцию воскресного еженедельника «Национальное обозрение». Тогда за столом у него тоже поинтересовались, любит ли он икру. Из амбиции и чувствуя себя великолепным в своем первом вечернем костюме, сшитом за сутки, то есть по самому срочному заказу, он ответил утвердительно и... объелся икрой до тошноты. С тех пор этот деликатес не терпел.

— За лукулловыми столами, — сказал Уэллс, имея в виду тот редакционный обед, — принято говорить о высоком, а борьба в мире пока что идет за хлеб, за крышу над головой, то есть за самое минимальное. В Англии из каждой тысячи жителей девятьсот умирают от бедности!

— Восемьдесят две целых и две десятых процента, — поправила Пристония. — Столько бедствующих в Лондоне. А в Нью-Йорке — каждый пятый готовится к похоронам на общественный счет — хроническая нищета. Так утверждает официальная статистика, которой я вынужденно воспользовалась.

— Что значит «вынужденно»?

Хозяева переглянулись. Пристония после небольшой паузы нехотя пояснила:



— Цифры понадобились для сравнительного анализа: я занимаюсь античной историей.

— Да? — Уэллсу совсем не показалась ясной связь античной истории с современным уровнем жизни лондонцев или нью-йоркцев, но понял, что его догадка об инициаторе эллинского оформления гостиницы верна. По этому поводу спросил: — Мне показалось, что антику вы ограничились Древней Грецией?

— Кого бы вы хотели видеть рядом с Гомером? — возразила Пристония, пытливо взглянув на собеседника, — она, надо полагать, оценила его внимательность.

— По логике преемственности, конечно, Вергилия — «Гомера латинян», автора «Энеиды». Его Эней, сын самой Афродиты, заложил великий Рим — апеннинскую Трою.

Пристония, которая после неожиданного вопроса гостя несколько смешалась, вновь обрела боевое настроение, что прозвучало в категоричности ее ответа:

— «Энеида» — не более как подражание гениальной «Илиаде», всего лишь отголосок: Вергилий оказался не в силах натянуть поэтическую тетиву гекзаметра так туго, как это мог Гомер, — ему мешали бесконечные оглядки на власть имущих современников, великий же слепец выбирал мишенью Вечность! Он видел невидимое. Нет, Вергилий — не его преемник, не продолжатель, а всего лишь ближний по соседствующим цивилизациям — Эллады и Рима. Рим — прагматик, ростовщик — прекрасно использовал достижения культуры и науки Эллады во имя собственного материального прогресса, военных завоеваний: за фигурой Цезаря в доспехах не заметишь ни Вергилия, ни иных. Впереди же Гомера поставить некого...

— Все ясно, — Уэллс примирительно улыбнулся. — Как говорили древние: «Ты чурбан, если не видел Афин, осел — если видел и не восторгался, и верблюд — если по своей воле покинул их».

Джон Мартин попытался урезонить свою увлекшуюся супругу:

— Не удивляйтесь, Уэллс. Пристония готова каждого обрядить в хитон. Она будто не знает, что ее эллины — тоже преемники ранних цивилизаций Востока, ну хотя бы Египта. И, идеализируя, не надо забывать, что Парфенон воздвигнут на костях рабов...

— Это извинительно, — возразил Уэллс в прежнем иро-

ническом тоне. — Вспомним умнейшего из умных, Аристотеля: «Предположи в рабе личность, как же тогда его отличить от свободного гражданина?..»

— В Соединенных Штатах, получается, он оказался бы в числе самых яростных конфедератов, — со смешком добабил профессор.

— Разве это полемика? — почти презрительно ответила женщина. — Я говорю: «Греция солнечна!», а в ответ слышу: «Но ведь и там бывают дожди»... Что касается Соединенных Штатов, то это нынешний Рим, общество, пропитанное прагматизмом. Римляне, лишённые творческого озарения, копировали греческих богов и героев. А вот американский наш «Олимп»: Гомер — это Херст, Гефест — Карнеги или Морган, Гелиоса и Селену заменило коптящее светило Рокфеллера! Разве не так?.. Вы, мистер Уэллс, мне говорил Джон, учились у самого Хаксли. Надеюсь, помните его утверждение, что продвижение человечества зависит и от того, сколь эпоха плодovита на гениев. Но гении — это не молнии с голубого неба, а плоды цветущего дерева жизни, и соки, их питающие, — социальные силы... Ну а соки Америки пока что еще не смогли вспоить ни Бетховена, ни Данте, ни Шекспира, ни Гете...

— Ни Байрона, ни Бернарда Шоу, — Джон Мартин, пытаюсь освободить гостя от полемического напора супруги, пополнил список великих современников английскими именами. — Ни Максима Горького, наконец, который исчез с американского горизонта.

— То есть?..

— Он исчез, — повторил профессор.

Уэллс круто обернулся.

— Что вы хотите сказать, Джон?!

Профессор пояснил:

— Потерялся! Вчера вечером, пишут газеты, его выселили из гостиницы и он вместе со своими спутниками куда-то отбыл с Пенсильванского вокзала.

— Вот как! Я, как нарочно, из-за поездки в Трентон не успел просмотреть газеты.

— Тогда вы, значит, ничего не знаете и о нашумевшей телеграмме Максима Горького?..

По выражению лица гостя Мартин понял, что о телеграмме тому действительно не известно. Он вышел в кабинет и принес свежую «Нью-Йорк Америкэн».

— Читайте! — Джон Мартин подчеркнул строчки:



*«Привет вам, братья социалисты! Мужайтесь! День справедливости и освобождения угнетенных всего мира близок. Навсегда братски ваш*

М. Горький.

Отель «Бельклер».

Телеграмма была адресована в окружную тюрьму города Бойси в штате Айдахо арестованным руководителям Западной федерации рудокопов Уильяму Хейвуду и Чарльзу Мойеру.

Джон Мартин, чтобы прервать задумчивость Уэллса, сказал:

— Мак-сим... Вам не кажется, что это звучит как-то по-ирландски? В Англии не зря говорят: «Ирландцы — они всегда бунтуют!...»

— Пишут также, что с ним приехала женщина, которую он выдает за жену, — добавила Пристония.

— С кем с ним? — опять не понял Уэллс.

— С Максимом Горьким.

Джон Мартин подал Уэллсу еще одну газету, нью-йоркскую «Уорлд», тоже за пятницу, то есть 14 апреля. В трех-колонном материале, разверстанном на страницу, объявлялось, что женщина, сопровождающая Максима Горького в американской поездке, только выдает себя за его жену. В действительности же она известная русская актриса Мария Андреева. И уж для полной очевидности тут же были приведены два фотографических снимка: на одном писатель и «та женщина», а на другом — действительная миссис Горькая с детьми.

Уэллс внимательно посмотрел на хозяев, перечитал телеграмму, пытаясь найти связь между исчезновением русского писателя, его посланием забастовщикам и появлением женщины, «выдаваемой за жену».

«Где же все-таки Максим Горький и каким ветром вымело с газетных страниц панегирики ему? Восхищались самозабвенно и вдруг — поворот на сто восемьдесят градусов». Уэллс механически перекидывал газетные страницы, выхватывая жирный гротеск:

«Мистер Эндрю Карнеги — еще миллион долларов на Дворец мира в Гааге...»

«Мистер Фрэнк Вандерлип — из бедного фермерского мальчика в руководители крупнейшего банка...»

«Джон Д. II — Рокфеллер — проповедь в воскресной церковной школе...»

И тут же контрастом к этим положительным героям Америки — фотомонтаж: Максим Горький в окружении американских красавиц, известных скандальными похождениями.

— Какая чушь! — вырвалось у Уэллса.

### 3. ДЛЯ СОБСТВЕННОГО НАЗИДАНИЯ

Герберт Уэллс, возвращаясь со Стейтен-Айленд, решил поискать следы Максима Горького в отеле «Бельклер». Администратор в

двух словах пояснил, что русского писателя и его женщину — Уэллс обратил внимание, что Андрееву не желали называть ни по имени, ни «мадам», ни «миссис» — попросили покинуть отель.

— Куда же они выехали?

Администратор пожал плечами, добавив, что в его обязанности не входит следить за особами с плохой репутацией...

— Извольте говорить с уважением! — оборвал Уэллс.

Он предпринял еще одну попытку узнать что-нибудь о Горьком — отправился к Кагану, с которым познакомился случайно в Лондоне. Каган печатал в лондонской «Сан» короткие рассказы, высмеивавшие тех эмигрантов, которые стремились как можно скорее «обамериканиться».

Жил Каган в районе Ист-Сайда, чтобы находиться ближе к своим основным подписчикам. Ежедневная «Форварст», то есть «Вперед», которую он возглавлял уже три года, имела широкие связи, и Уэллс надеялся на осведомленность редактора.

Однако Каган тоже разочаровал:

— Ничего определенного. Сильно беспокоюсь, где он. Правда, в нью-йоркском каменном стогу что угодно может затеряться, но Максим Горький даже для камней неудобная иголка. Ждите, где-то «проколется».

Уэллс знал, что Каган слыл за остроумца, но сейчас веселость показалась неуместной.

— Если первой начала атаку «Уорлд», значит, это штучки Пулитцера, — продолжал Каган, поняв недовольство англичанина. — Он главный соперник Херста... Горький серьезно просчитался, пообещав для его газет серию статей. Этим он нажил врагов.

— Среди газетных конкурентов?!



— Это немало. Похожая история случилась с Джеком Лондоном, когда он отправился корреспондентом на театр русско-японской войны. После переговоров с несколькими издателями он решил запродать все будущие репортажи тоже Херсту. Те, кем он пренебрег, этого ему не забыли. Осенью прошлого года Джек развелся с первой женой и решил сразу же вступить в брак с той, которую любил давно. И вот тут-то газеты взяли его в оборот: обвинили в безнравственности, в жестокости, в том, что он оставил безо всяких средств жену и малолетних дочерей,— и, конечно, не забывали всюду вставлять рефреном, что такое поведение свойственно морали социалистов.

— Выходит, существо обвинения и Горького — это социалистическое мировоззрение?

— Конечно. Но следует и другой вывод: не надо давать повод компрометировать это мировоззрение. Максим Горький зря привез в Нью-Йорк свою подругу. Так считает и его соотечественник, социалист старшего поколения Николай Чайковский. Горький, к сожалению, и с ним не поладил.

Герберт Уэллс молчал. Каган принял это за внимание, за приглашение продолжать.

— Чайковский был вынужден бежать от царского суда за границу, в Америку. Я эмигрировал несколько позже, в 1882 году, — сначала участвовал в профсоюзном движении, а затем занялся журналистикой. Добиться популярности не легко: надо знать читателя.

— Однако не подделываясь под его вкусы, — вставил Уэллс, отмечая про себя излишнее самодовольство редактора «Форварст». Ответ был неожиданным:

— Иногда и подделываться. Во имя того, чтобы выжить, удержаться. Мы учим взаимопониманию, терпению... Марксист Горький не признал народника Чайковского. Кто от этого выиграл? Враги социализма!.. Молодые марксисты мне кажутся слишком категоричными.

Каган высказывал взгляды, которые были близки Уэллсу, но сейчас эта общность ему не нравилась. Даже мысленно спросил собеседника: «Почему же тебя за такую революционность не сажают за решетку, как Мак-Квина, и не выжидают из страны, как Максима Горького?», но понял, что вопрос предвзятый — его-то, Уэллса, социалиста, тоже ведь не держат в тюрьме.

Не зная, как поддержать разговор, и не видя в нем даль-

нейшей необходимости, писатель принялся прощаться. Да и пора — время перешло за полночь.

Спустившись в метро, он в полупустом вагоне увидел усталого мальчишку, который прислуживал пассажирам. Такие мальчишки ему встречались повсюду: утром они доставляли газеты, чистили обувь, бегали на посылках, работали на лифтах, открывая на этажах двери. Это те, что на глазах. А сколько их — невидимых? «Тяжелый плач детей», — вспомнил Уэллс характерное название книги, рассказывающей о малолетних углекопах Пенсильвании, об их страшной жизни. Подсчитано, что в Америке сейчас не учится около двух миллионов ребятишек, занятых добычей хлеба насущного.

И, глядя на мальчика, таращившего глаза, чтобы не уснуть, качавшегося на плетеном камышовом кресле возле вагонной двери, Уэллс представил шеренгу детей, которых он видел на острове Эллис, — размахивавших американскими флажками, радовавшихся новой родине. В «Современной утопии» он предусматривал гармоническое развитие детей. Они — синоним будущности. Он даже считал, что браки, после которых не остается потомства, будут считаться неправомерными.

«У Джона с Пристонией нет детей, да и поздно, во всяком случае, для нее, — мелькнула мысль. — Возможно, поэтому она так раздражена. Вместо того, чтобы наговориться с Джоном, пришлось в течение всего визита отбиваться от наскоков его супруги».

\*

«...Вчера Максим Горький находился в зените, а сегодня выброшен из мира, лишен уважения. Так могли бы поступить и со мной, привези я сюда Джейн: из-за нее порвал со своей первой женой...»

Происшествие с четой Горьких, при кажущейся скандальной банальности, задело Уэллса и лично: его Джейн в первое время их совместной жизни принципиально не желала не только венчаться, но даже зарегистрировать свой брак в мэрии.

— Я не намерена потакать общественной наглости, сующей нос под ночные крыши, — так ответствовала она подруге-студентке, пытавшейся предостеречь ее.

Документальные формальности не затрудняли Джейн, но когда ей показалось, что в их двухместную идиллическую ко-



ляску по законам биологии намерен втиснуться некто третий, которого предполагали назвать Джорджем, только тогда она в интересах этого «третьего» и высказала желание стать официально миссис Уэллс.

Герберт Уэллс погладил лицо, почувствовал щетину на подбородке, взглянул на часы — было около трех ночи, а вернее, уже утра: брезжил рассвет. Ему вдруг захотелось очутиться в окрестностях Лондона, на выщербленной брусчатой дороге, которая, по преданию, строилась еще римлянами, увидеть красную, влажную от тумана крышу своего Спейд-хаус и, заложив меж зубов четыре пальца, всполошить весь дом диким свистом валлийских горцев!..

Навстречу выбегут в ночном двое малышей — Джим и Фрэнс, а за ними Джейн с растрепанными пышными волосами, укоризненно уставится на него большими глазами. «Такое ребячество: детей разбудил!» — и будет ждать у порога: при встрече она обычно не торопится с объятиями, как полагается примерной супруге... Ближе к вечеру они сыграют в забавную японскую игру — бэдминтон. А может быть, проедутся на велосипеде, оборудованном для парного катания, — так они разъезжали, когда жили в самом Лондоне, на Монинг-роуд. Впрочем, Джейн и велосипедной ездой ухитрялась шокировать своих благовоспитанных знакомых: она предпочитала педалировать в мужском костюме, то есть вместо укороченной юбки надевала специально пошитые широкие панталоны, на что и сегодня осмеливаются очень немногие женщины...

Когда накатаются вдоволь и Джейн устанет, он непременно пообещает купить ей красный автомобиль, «еще лучше, чем у Уилшайра». Она, конечно, возразит: «Я жду машину Времени». Он ответит нарочито грубо: «А возможно, сто фунтов, обладателем которых стал ее автор? — и тут же поправится: — Впрочем, не полные сто, запоматывал, что квартирная хозяйка высчитала с меня за свет: работая над «Машиной» по ночам, я чуть не расплавил лампу». — «Какие еще деньги?! — удивится Джейн. — Когда ты путешествовал за мной в Будущее, ты ведь забыл кошелек. Даже табак дома оставил. Весь наличный багаж — одна коробка спичек, да и то начатая! Но ведь, чтобы разжечь домашний очаг, и одной спички достаточно. Для умелых рук, конечно...» — «А у тебя такие», — подтвердит он и поцелует у нее ладони.

Они будут шутливо разговаривать, прижавшись друг к

другу, глядя на вспышки далекого, вращающегося на морской скале маяка.

«...Да, личная жизнь поэтов не дает покоя мещанам и политикам. Стоило Байрону вступить за ноттингемских луддитов, как клевета собакой пошла по пятам, история его развода ворошилась прессой на все лады. «Таймс» заголосила, что он «унизил литературу». Прах гения до сего дня не перенесен в Вестминстер.

Сплетня пролезла и под крышу дома Оскара Уайльда, убила этого весельчака, сумевшего даже из скучнейшего заседания английского суда сотворить комедию — чинный судейский зал превратить в театральный. А Голсуори — десять лет скрывал любовь, прежде чем рискнул связать свою жизнь с любимым человеком! Вынужден был объясняться в печати о причине ухода от жены Диккенс, а его здравствующий современник, добропорядочный Гарди, вызвал подозрение тем, что в канун шестого десятка вдруг принялся сочинять любовные лирические стихи...»

Так раздумывая, Герберт Уэллс медленно опустил с лица на стол ладони, двинул ими, сбрасывая на пол газеты. Взял лист бумаги и ручку.

«Дорогой Максим Горький!

Я прочел в газетных номерах заметки относительно Вас и Вашей жены...»

И побежали редкой цепочкой негодующие строчки о пизости американской прессы и гостиничных блюстителей нравственности. Высказав готовность оказать помощь, если таковая Максиму Горькому необходима, Уэллс закончил письмо словами, ради которых и взялся за него:

«...Несмотря на то, что наше знакомство было очень коротким, я сразу же почувствовал к Вам большую привязанность и любовь. Позвольте выразить Вам свое глубокое уважение!»

Письмо Уэллс отправил на отель «Бельклер», надеясь, что за почтой Максим Горький рано или поздно кого-нибудь пошлет.



## 1. В ПОИСКЕ

«С ловкостью почти военного человека», — подумал Николаев, с поклоном уступая дорогу дамам, прежде чем войти в свой номер. И, оказавшись в одиночестве, громко присовокупил в собственный адрес три неместных слова, в России наиболее распространенных среди нижних чинов полиции и ямщиков. Медленно снял шляпу, переваливаясь, прошёл к креслу и вяло опустился в него, положив рядом на пол толстую пачку газет, устало закрыл глаза.

На полинявшую внешность постояльца, в особенности на его набрякшие и посиневшие веки, обратил внимание администратор еще утром, когда тот чуть свет возвратился в отель. Подавая ключ, он гадал, где провел ночь русский — в игорном доме или в одном из борделей Тандерлайна или Бауэри-стрит.

«В игорном», — решил он, желая думать о человеке лучше. И ошибся. Не карточный проигрыш подсчитывал сейчас Николаев, которого не освежил даже крепкий кофе. Бессонную ночь он провел на улице, бегал по вокзалам и гостиницам в поисках Максима Горького, который будто провалился сквозь землю. Досадуя, что наружное наблюдение поручил пожилому агенту, он надеялся теперь на пронырливость репортеров, сообщения которых могли навести на след.

Николаев ощупью нашел газеты и поднял одну. Открыл затуманенные усталостью глаза и, позевывая, принялся перекидывать мягкие страницы. О Горьком было много, с портретами — рисованными и фотографическими, но все о скандале. Мелькнуло запоздалое интервью с Андреевой, взятое в день встречи Горького с Марком Твенем. Актриса сообщила, что Алексей Максимович намеревается подлечить в Америке свои больные легкие, возможно, в Колорадо или Калифорнии, и что сама она здесь пока не собирается играть какой-либо другой роли, кроме роли жены.

Подчеркнув ногтем мизинца слова «Калифорния» и «Колорадо», Николаев отложил газету. Это была «Нью-Йорк геральд». В «Хьюстон кроникл» внимание привлекли строчки, под которыми жирно выделялась подпись — «М. Горький». Николаев встрепенулся.

«...Я думаю, что эта некрасивая выходка против меня

не могла исходить от американцев. Мое уважение к ним не позволяет мне заподозрить их в недостатке такта по отношению к женщине. Полагаю, что эта грязь инспирирована кем-либо из друзей русского правительства...»

— Не только, не только, хотя и догадлив, — вслух прокомментировал Николаев и, уже окончательно сбросив сонливость, побежал глазами дальше по тексту:

«Моя жена — это моя жена, жена М. Горького. И она, и я — мы оба...»

— Что за стиль?! — Николаев поморщился.

«...считаем ниже своего достоинства вступать в какие-либо объяснения по этому поводу...»

— Но ведь уже вступил.

«...Каждый, разумеется, имеет право говорить и думать о нас все, что ему угодно, а за нами остается наше человеческое право — игнорировать сплетни. Лучшие люди всех стран будут с нами».

— Э-э, пока дойдет до лучших, милейший Алексей Максимович, — позволил себе вольность Николаев.

В точности такое же письмо оказалось на странице буффаловской «Таймс». В других снова склонялось имя писателя как человека, пренебрегшего нормами морали и, кроме того, кинувшего вызов американскому общественному мнению поддержкой убийц, анархистов Хейвуда и Мойера. И только в «Уорлд» попались очень нужные сведения, что вчера ночью, то есть с четырнадцатого на пятнадцатое, Максим Горький со своей дамой отбыл с Пенсильванского вокзала.

Николаев поёрзал в кресле и, глядя на отложенные газеты, задумался. Публикация письма Максима Горького в газетах Хьюстона и Буффало свидетельствовала о том, что попасть оно туда могло только телеграфом, скорее всего передано агентством «Ассошиэйтед пресс». Значит, письмо написано в Нью-Йорке поздно вечером. Иначе оно еще вчера появилось бы в вечерних газетах. Это согласуется и с утверждением «Уорлд», что Горький уехал ночью.

«Итак, названы три штата: Колорадо, Калифорния, Пенсильвания, — но никакого города, — подвел итог Николаев. — Если Пенсильвания, то вероятнее всего Питсбург. Дня два назад мелькнула заметка, что рабочие-горняки угольных копий Пенсильвании приглашают Максима Горького побывать у них. Это раз. А второе, вчера «Америкэн» писала, что он собирается встретиться с председателем проф-



союза горняков. Наверное, по делу Хейвуда и Мойера».

Николаев вместе с креслом придвинулся к телефону, намереваясь позвонить в редакцию «Уорлд» своему знакомому в надежде что-то уточнить, но рука на полпути остановилась.

Нет, Горький не побежит, решил он, не таков человек! Скорее, как его Фома Гордеев, вначале пожелает поговорить с Америкой. Впрочем, с ним тогда тоже можно, как с Фомой... Он и не чувствует изоляции. «Лучшие люди всех стран будут с нами», — повторил Николаев фразу из письма Максима Горького. — Лучшие... Не тут ли ключик? Например, Марк Твен чем не лучший? Первым встретился с Горьким, сразу же пожелал войти в комитет содействия русской революции...»

И упрятать факт «потери» Максима Горького невозможно, так как благодаря телеграфным агентствам эта новость не только достигла Петербурга, но и успела с комментариями вернуться на американский берег в российской газетной интерпретации.

«...Прием Горькому при прибытии его был оказан восторженный. Особенно глубоко были тронуты американцы тем, что писатель при входе парохода в гавань громко выразил, обращаясь к статуе Свободы, свой восторг по поводу осуществления давно лелеянной им мечты о вступлении на истинную свободную землю Америки. Весь восторг американцев, однако, исчез, когда они узнали, что спутница его, которую он везде представлял под именем госпожи Горькой, — не законная его жена. Тщетно защищался от нападок русский писатель, тщетно указывал на гнусные интриги, тщетно взывал к высшим законам человечества; высказанное им недоумение подняло против него настоящую бурю в местном обществе, и он должен был покинуть гостиницу, в которой остановился, и последовательно выехать из трех других. Банкет отменен. Марк Твен и комитет по приему Горького отказались от заботы о нем.

В настоящее время Горький покинул Нью-Йорк. Дальнейший маршрут его неизвестен».

«...Банкет отменен. Марк Твен и комитет по приему Горького отказались от забот о нем», — мысленно повторил Николаев окончание телеграммы, которую прочитал в консульстве. — Что-то не так. Если кто и может сейчас серьезно помочь Горькому, это Марк Твен», — продолжал размыш-

лять агент, приходя к мысли, что надо как-то подтвердить такое предположение и начать лучше всего прямо с посещения дома Марка Твена.

\*

Приближаясь к особняку под номером 21 по 5-й авеню, Николаев на минуту задержался возле чугунной опоры электрического фонаря, быстрым взглядом окинул фасад, все три этажа. По стенам вились ветви плюща, жалюзи над окнами были полупущены. Окна на всех этажах имели разные размеры, увеличиваясь сверху вниз, на первом — почти квадратные и огромные. Из-за высокого фундамента и подсыпанного к нему грунта дом будто стоял на срезанном холме, лестница, обрамленная кружевной чугунной решеткой, спускалась от дверей подъезда прямо на панель. Дом выглядел солидно, ухоженно, и даже с улицы ощущалась налаженность быта хозяев.

Николаев решительно взбежал по ступеням, позвонил. Служанке, вышедшей на его звонок, пояснил, что ему совершенно необходимо видеть мистера Марка Твена по срочному делу.

— Скажите, что это связано с Максимом Горьким, который находится здесь, — бросил он пробный шар.

— Вы говорите, сэр, что это связано с Максимом Горьким, который находится здесь, то есть в нашем доме?

— Да.

— Но у нас нет и не было Максима Горького!

В ответе девушки прозвучало столь искреннее удивление, что агент понял — она не лжет. Ему оставалось уйти, но в эту минуту у подъезда раздался гомон, ввалилась группа журналистов с предводителем — очкастым репортером из «Уорлд». Кивнув Николаеву, «Уорлд» обратился к девушке, которая застыла возле перил:

— Передайте мистеру Клеменсу, что репортеры готовы задать несколько вопросов, с его позволения.

— Мистер Клеменс предупрежден о вашем приходе. Он ждет в библиотеке.

— Марк Твен по натуре газетчик и понимает, что нам нельзя отказывать, — сказал «Уорлд», повертываясь то к одному, то к другому из своих коллег, сверкая очками.

Марк Твен, одетый в белый полотняный костюм, на котором ярким пятном, подчеркивающим это светлое благообра-



ние, выделялся свежий весенний галстук, пригласил журналистов садиться.

— Хочет в этой истории остаться стерильным, — шепнул Николаеву «Уорлд», намекая на двусмысленное положение писателя и на цвет костюма.

— Я вас слушаю, — сказал Марк Твен, оглядывая исподлобья журналистов.

— Позвольте, — начал крупный, возвышавшийся почти на голову над всеми блондин. — Я из «Джорнэл». Что бы вы сказали, мистер Марк Твен, по поводу появившихся в печати сообщений о Максиме Горьком?

Николаев, который тоже вынул блокнот и вечное перо, не спускал глаз с лица писателя, который как-то очень уж медленно поднимал тяжелые веки.

— Горький прибыл сюда, в нашу страну, чтобы подкрепить своим славным именем — а оно славно его книгами — благородное дело по сбору средств для революции в России, — заговорил, почти не разжимая губ, Марк Твен. — Инвективы, появившиеся в нашей прессе, крайне ему повредили. Это огромная неудача! Я верил, что его участие будет благотворно для дела, но теперь у него подрезаны крылья.

Марк Твен снова опустил и поднял веки, продолжал:

— Опубликованное сообщение касается вещей, на которые, возможно, в России смотрят легко, но которые нарушают обычай нашей страны. Не думаю, чтобы от этого пострадало его дело, но личному его авторитету нанесен неоправимый ущерб. У каждой страны свои нормы поведения и свои обычаи, и всякий, посещающий чужую страну, должен считаться с ними.

В голосе писателя уже слышалось раздражение, которое можно было отнести к недовольству поведением Горького, но также и самим собой.

— Выйдете ли вы теперь из комитета содействия? — вставил наводящий вопрос «Уорлд».

Однако ответ и решительный тон словно отметали, по меньшей мере оспаривали всё сказанное ранее:

— Обо мне говорят, что я революционер по своим симпатиям, по рождению, по воспитанию и по своим принципам. Я всегда на стороне революционеров, потому что революция бывает только там, где налицо угнетение и такие условия жизни, с которыми человек не может мириться...

И кто знает, возможно, в эту минуту Марку Твену представился тоже апрельский вечер, но в Хартфорде, в 1891

году, когда к нему по дороге из Бостона в Нью-Йорк заехал другой русский революционер, Сергей Степняк, и рассказал о царской каторге на реке Каре, о случившемся там полтора года назад массовом самоубийстве политзаключенных, их трагическом протесте — отравилось сразу шестнадцать каторжан, мужчин и женщин, шестеро из них — насмерть... Марк Твен, ощущая на глазах слезы, не мог тогда удержаться от восклицания: «Только в аду можно найти подобие правительству вашего царя. И если оно не может быть свергнуто иначе как динамитом, то слава богу, что существует динамит!...»

Впрочем, почему бы на этот раз Марку Твену было не припомнить свою собственную поездку в Россию, о которой рассказывал Максиму Горькому в клубе «А»? Нет, не о постыдном ялтинском представлении главному палачу карийской каторги, Александру II, — политических впервые стали увозить на Кару именно при нем — «освободителе»! — а об особом чувстве уважения и печали, которое он, Марк Твен, ощутил в себе, побывав в героическом Севастополе, о сувенире, который тогда захватил с собой на «Квакер-Сити», — оплавленном пушечном ядре, найденном им на берегу, о безногом инвалиде с начищенными медалями на ветхом мундире, показывавшем то на море, то на свою культю: он пытался объяснить иностранцу, откуда то ядро прилетело и что надеялось. Что натворила жестокими бомбардировками объединенная англо-французская эскадра в пору Крымской войны, Марк Твен и сам отмечал на каждом шагу: изувеченные снарядами фасады домов, следы пожаров, груды поросших кустарником развалин, — в уме невольно возникало сравнение города с Помпеей...

Вот о каких впечатлениях ему бы раньше поведать Максиму Горькому или сейчас — репортерам, ждущим с раскрытыми ртами и блокнотами конечно же порицательную сенсацию о русских гостях. Такой рассказ был бы уместнее еще и потому, что десятилетием позже Севастопольской обороны не исключалась возможность превращения в «Помпею» и Нью-Йорка, не подоспей вовремя соотечественники Максима Горького. Когда в разгар гражданской войны опять-таки английские и французские фрегаты появились уже на Гудзоне (бывшие владельцы заокеанских колоний готовили интервенцию), то Россия протянула руку молодому американскому государству: с обеих сторон материка одновременно в гавани Нью-Йорка и Сан-Франциско вошли русские эска-



ры. Их встретили салютами и почетными караулами; народными гуляньями. И не только мощь военных кораблей, а и эта демонстрация дружбы послужила наглядным предупреждением для тех, кому захотелось воспользоваться мятежом плантаторов-южан в собственных корыстных целях. В те годы как дань уважения воинской доблести русских моряков на карте Калифорнии появилось сразу... пять Севастополей!..

Конечно же получасовой разговор «горсточки частных американцев» с Александром II в Крыму не следовало считать встречей Марка Твена с Россией. Да и какой там был разговор? Со стороны «горсточки» — глупый приветственный адрес, царственный ответ тоже не лучше — деланное мычание на английском: «I am glad to see you... I greet you in your person» — и тому подобная игра на одной струне, то бишь на последней букве «Я»...

— Мистер Марк Твен, позвольте еще вопрос, — выступил «Джорнэл». — Известно, что в честь Горького намечался большой банкет и вы собирались на нем выступить. Когда такой банкет состоится, намерены ли выполнить свое обещание?

Вопрос походил на открытое издевательство. Марк Твен, не поднимая глаз, сославшись на нездоровье, попросил извинить его и поднялся со стула. Все это поняли как нежелание продолжать беседу.

— Лев потерял зубы, — разочарованно обобщил «Уорлд», вынул из верхнего кармана пиджака сигару, на ее место вложил ручку. Откусив кончик сигары и не раскуривая ее, обратился к коллеге из «Джорнэл»: — Вы, Декер, хороши! Хотели Марка Твена вывернуть наизнанку. Мне даже показало, что вы больше его самого знаете о Горьком. А?.. Ха-ха-ха. Не так ли?..

Журналисты, переговариваясь, направились вниз, в вестибюль.

— Лоцман с Миссисипи явно на мели, — выразил общее мнение Декер.

— В прошлом году, на своем юбилее, сам он сказал лучше, — заметил «Уорлд». — «Встал на вечный якорь к причалу номер 70».

— Ну да, как шхуна со свернутыми парусами.

— Как прохуdivшаяся шхуна, — ввернул Николаев, окончательно уверовавший, что Марк Твен не имеет касательства к исчезновению Максима Горького. Но о нем могли

позаботиться и видные социалисты — Уилшайр, Хилквит, Каган, — найти надежное убежище... «Лучшие люди всегда будут с вами, Алексей Максимович», — Николаев несколько переиначил фразу из письма Горького, иронизируя, так как под «лучшими» в данный момент имел в виду уже себя.

## 2. НАЧАЛО

Впрочем, в таком же «лучшем» духе охарактеризовала Николаева и нью-йоркская «Пост». Газета писала:

«Как удалось установить друзьям Горького, доверенный агент русской секретной полиции в настоящее время находится в Нью-Йорке, тратя деньги своего правительства на организацию эффективного шпионажа за Горьким и его двумя товарищами-революционерами, которые прибыли в Америку для сбора средств на дело русской революции.

Секретный агент, находящийся в Нью-Йорке, является одним из наиболее ловких чинов полицейской службы русского правительства».

Действительно, Николаев, агент первой категории, принадлежал к новому поколению деятелей охранного отделения. Он считал, что сложившееся мнение об агенте — незаметном, сливающимся с толпой, то есть маскирующемся под серого воробья, отжившее мнение, унижающее достоинство профессионального политического сыска. К беготне след в след с вороватым видом за объектом наблюдения относился брезгливо: потеря чувства брезгливости всегда ведет к утечке собственного достоинства. Наиболее эффективно — аналитическое предвидение поступков поднадзорного...

Агентскую работу с Максимом Горьким Николаев оценил для себя как большую удачу, которая позволит подняться в квалификации, даже не огорчился, что для этого ему пришлось прервать отпуск — проводил его в Цюрихе, где и получил предписание Гартинга о срочном задании. Горького он принял под свое наблюдение 1 марта в Берлине, «из рук в руки» от финской розыскной агентуры.

Писатель скрытно покинул пределы Финляндии. Оснований для срочного отъезда было более чем достаточно: ему только что вручили повестку Петербургской судебной палаты о назначении дела к слушанию 3 мая 1906 года, а приказ об его аресте уже лежал в канцелярии полицмейстера Гельсингфорса Зальца... Перехватить Горького сумели только в Стокгольме, то есть уже по пути в Германию.



В Берлине Николаев чуть не опоздал к поезду: добираться до вокзала пришлось пешком — бастовали извозчики. Как назло, еще шел дождь...

Горький и артистка Андреева, тоже подлежавшая полицейскому розыску, показались из вагона последними. Носильщики на перроне отсутствовали — не вышли на работу в знак солидарности с бастующими товарищами.

— Как бывший грузчик я сейчас вынужден выступить в роли штрейкбрехера, а таких не жалуют, предупреждаю, — громко обратился Горький к встречающим и, посмеиваясь, подхватил два самых больших чемодана, первым двинулся к подземному переходу, ведущему на привокзальную площадь.

Установить наблюдение за Горьким оказалось нетрудно. Подробные сведения о его визитах, беседах, выступлениях немедленно давали берлинские газеты и телеграфные агентства. Николаеву оставалось следить за публикациями, сверять и обобщать наиболее существенное. Прежде всего он донес в Париж о встречах Горького с Бебелем (писатель даже ночевал у него на Хаупштрассе, 84!), а также с Каутским и Карлом Либкнехтом. Это ли не свидетельство установления им личных связей с лидерами германской социал-демократической партии?..

Николаев знал, что фон Гартинга особенно заденет последняя фамилия. Карл Либкнехт, молодой берлинский адвокат, был лично ненавистен его шефу: помог русским политэмигрантам организовать в Берлине настоящую революционную контрразведку. В результате было разоблачено несколько агентов охранки, обнаружена их связь с прусской полицией, а также подкуп почтовых чиновников, вскрывавших письма. Но главное, социал-демократические разведчики добрались и до резиденции главы берлинской агентуры, до самого фон Гартинга, который снимал за городом богатую виллу и официально именовался генерал-инженером. Правда, настоящую фамилию «инженера» узнать не успели: Гартинг в это время переехал в Париж с повышением, в качестве руководителя уже всей заграничной политической агентуры российского департамента полиции.

Разоблачение вылилось в большой скандал. Депутат рейхстага Бебель сделал запрос о незаконной деятельности чинов русской полиции в Берлине, происходившей с ведома германской. На это министр иностранных дел Рихтгофен ответил с прусской солдафонской самоуверенностью: «Мы сле-

дим за русскими студентами, потому что они анархисты, и за русскими студентками, которые приезжают сюда только для свободной любви».

Словом, все обошлось. Но Николаев знал, что Гартинг с того времени, как на его вилле побывали революционеры, не может спокойно слышать фамилию «Либкнехт»...

Пребывание Максима Горького в Берлине совпало с гастролями Московского Художественного. Молодой театр со столицы Германии начал свою первую заграничную поездку, оказавшуюся триумфальной. Десятки берлинских газет писали о том, что москвичи порвали с шаблоном и мощно ищут новые идеалы творчества, что русское искусство поистине первоклассное, у него есть чему поучиться европейской сцене. К руководителям театра поступали предложения организовать турне по Европе и Америке. «Конечно, сначала в Америку, — писал в фельетонном, но вполне доброжелательном духе репортер из московских «Новостей», свидетель этого триумфа. — Первым делом придет Дж. П. Морган. Посмотрит — и обомлеет. «Жарь вовсю!» — скажет он по-американски, гулко стукнув бумажником об стол»...

Сдерживая энтузиазм зрителей и прессы, близкая к правительственным кругам «Таг» обращала внимание на то, что русские — «несравненные художники только отрицательной стороны жизни». Более всего эти слова относились, очевидно, к пьесам Максима Горького, хотя в репертуаре театра из пяти спектаклей только один был горьковский — «На дне», но можно было подумать, что коллектив почти в сто человек, с семью вагонами декораций приехал из России специально затем, чтобы пропагандировать Максима Горького, — так часто повторялось его имя. Писателя зазывали редакции, литературные общества и клубы, с ним жаждали встретиться иностранные корреспонденты. Фотографические портреты и книжки Горького выставлялись в витринах магазинов. В Кляйнес-театре немецкие актеры играли «Детей солнца», а пьеса «На дне» показывалась уже более четырехсот раз! Художественный, арендовав Дойч-театр, представил берлинцам «На дне» в качестве своей третьей премьеры. Исполнение было таким, что сам Гауптман, посмотрев спектакль, воспылал желанием написать пьесу для русского театра. Так и объявил: «Специально для Московского Художественного!».

Тут же, в Дойч-театре, блестяще, по отзывам прессы, про-



шел концерт, посвященный Максиму Горькому, который организовала Мария Федоровна. Несмотря на то, что концерт состоялся в первой половине дня, Николаев с трудом достал на него билет — желал присутствовать весь Берлин. Прибыл даже старший сын кайзера в сопровождении свиты. Наследник, вероятно, подражал отцу, который накануне, одетый в генеральский мундир русского драгунского полка — Нарвского, почтил своим присутствием постановку «Царя Федора», а после окончания спектакля сказал несколько одобрительных слов артистам...

Николаев, слушая «Песнь о Буревестнике», которую певуче читал молодой, картинно-благородной внешности Василий Качалов, наблюдал за выходявшей прямо на сцену литерной ложей, — там сидел кронпринц. Наследник вместе со всеми аплодировал высокому искусству артиста, получалось же — самому буревестнику?!

В зале присутствовало много русских — студентов, эмигрантов. Молодая пара соотечественников заняла кресла и рядом с Николаевым.

— Артист интонацией усложняет смысловую суть «Песни», — сказал агент, помахивая программой, на которой был отпечатан портрет Максима Горького.

Разговориться не удалось. Ведущий объявил, что сейчас выступит сам автор, прочтет «Легенду о Данко», и обернулся к кулисам, из-за которых показался писатель. Публика поднялась. Среди рукоплесканий слышались выкрики «Хох!», «Браво!».

Горький, переминаясь с ноги на ногу, благодарно кивал головой. Спадавшие на виски пряди волос сужали лоб, а скулы, наоборот, выпирали по-татарски; вислые рыжеватые усы старили лицо.

— Будто сошел с репинских «Бурлаков», — обратился к соседке Николаев. — Помните, там в первой тройке, справа, такой длинный, в картузе и с трубкой?.. Вот и Максим Горький, навалившись грудью на бурлацкую лямку, тянет, как неуклюжую баржу против течения, нашу матушку-Русь. Не находите?..

— Отнюдь, по народному течению, — горячо отозвалась девушка. — К устью, к выходу в море революции!

— Что ж, согласен приветствовать и море, если оно глупо, — снисходительно, на правах старшего, согласился Николаев. Он подумал: «Вот дуреха, сама лезет в силок, как тетерка», — и замолчал. Во втором отделении, когда ар-

тисты читали в лицах отрывки из пьесы «На дне», он вновь услышал голос соседки:

— Как вы находите Луку?

— По-моему, это слабое подражание толстовскому всепонимающему мужичку Каратаеву.

Со всех сторон зашикали, и это заставило Николаева окончательно обратиться к сцене. Лишь когда Мария Андреева — Наташа заметалась со словами: «Берите их... судите... возьмите и меня... в тюрьму меня! Христа ради... в тюрьму меня!», тогда он буркнул: «И верно, в тюрьму тебе пора...»

Агент был близок к истине. Тюремное заключение обещало артистке Московского Художественного театра Желябужской, на сцене — Андреевой, предписание департамента полиции о ее розыске и привлечении к дознанию по делу петербургской газеты «Новая жизнь». Это была первая легальная большевистская газета. Она выходила в прошлом году всего лишь месяц с небольшим — целиком ноябрь и по нескольку дней в октябре и декабре, на двадцать седьмом номере ее запретили. Повод для обвинения Андреевой был очевиден, печатно обозначен на последней странице каждого номера, — «издательница М. Ф. Андреева», то есть она юридически отвечала как за имущество газеты, так и за ее политическое направление. Направление же было таким, что более половины номеров — пятнадцать! — власти конфисковали, обнаружив в них противоправительственные материалы. Лидер большевиков Ленин, нелегально приехавший из-за границы, опубликовал в «Новой жизни» двенадцать своих статей!.. Охранное отделение установило также, что контора редакции на Невском, в четырехэтажном угловом доме у Аничкова моста с клодтовским конями, служила в это время местом явок и собраний активистов РСДРП. Тут 27 ноября встретились и Ленин с Горьким. Все это отягощало обвинение Марии Андреевой.

В вину актрисе вменялось и участие в литературно-музыкальных вечерах, на которых она читала стихи и рассказы, более походившие на противоправительственные воззвания. Первого февраля, то есть незадолго до отъезда за границу, она, выступая в Финском национальном театре в Гельсингфорсе, не побоялась бросить даже такой крамольный призыв — «Пойдем и освободим тех, которые закованы в кандалы!»...

Из документа департамента полиции, адресованного ми-



министерству внутренних дел, явствовало, что актриса занимается совершенно недозволенной деятельностью и подлежит аресту. Предполагалось, что и денежные сборы с вечеров предназначались не на цели вспомоществования, например на усиление литературного фонда, а для пополнения партийной кассы революционеров. На афишах концерта в Дойч-театре тоже значилось, что он благотворительный, но через несколько дней полиция перехватила письмо Максима Литвинова, из которого узнала, что деньги, заработанные на горьковских вечерах в Берлине, около пяти тысяч франков, переправлены в распоряжение ЦК РСДРП. В агентуре обратили внимание еще на одну фразу: «Ждем с нетерпением Г., чтобы немедленно двинуться в заокеанские страны». «Г» — означало Германа, то есть Буренина, «в заокеанские страны» — «в Америку...»

С нетерпением ждал отъезда и Николаев. Он понимал, что о маршруте и цели поездки Максима Горького фон Гартинг информирован агентом внутреннего наблюдения, а проще — провокатором, который пользуется доверием революционеров, возможно, даже числится в их рядах. Такие секретные сотрудники не знали друг друга в лицо, их фамилии даже не упоминались в служебной переписке.

После того, как в 1904 году была ликвидирована балканская агентура, ведавшая Румынией, Болгарией, Сербией и Австрией, а затем объединены берлинская с парижской, все дела, все полицейские тайны сошлись в руках одного человека — Гартинга, который умел держать язык за зубами: защищая секреты агентуры, он защищал от разоблачения прежде всего самого себя. Николаев даже не мог предположить, насколько важно его шефу прятаться не только от русской революционной эмиграции, но и от французских судебных властей...

Ну, а пока агент телеграфировал в Париж, что Горький пребывает в Берлине в роли почетного гостя. Живет он не в гостинице, а на частной квартире. Посетил ряд известных немецких социалистов, а из крупных писателей — Гауптмана. Должностные лица его не тревожат, хотя в интервью он поносит существующий в России правопорядок, императора и будущую Думу, утверждая, что «свобода может быть добыта лишь массой простого народа».

Агенту хотелось также указать, что из большой прессы наиболее отрицательно высказалась о Максиме Горьком «Национал Цайтунг», но газета несла такую чушь («Горький

крупно проигрался в карты», «У Горького огромные долги» и т. п.), что цитировать ее было бессмысленно...

В эти же дни, в связи с намечавшимся открытием Думы, в Берлин прибыл член Государственного совета Александр Федорович Трепов, младший из пяти братьев Треповых. Он был специально командирован по европейским столицам, чтобы изучить порядок ведения парламентских заседаний и выбрать лучший, то есть наиболее приемлемый для России. Александр Федорович, помня наставления брата, петербургского генерал-губернатора Дмитрия Федоровича, к поручению относился истово. Он даже ездил по Берлину на автомобиле с особенным клаксоном, издававшим пронзительные, пугающие гудки. Здесь уже знали, что за образец для открытия первой сессии русского парламента взят порядок рейхстага: депутатам должно собраться в царском дворце, выслушать тронную речь из уст императора и затем начать работу в предназначенном для этого здании. Что касается распределения мест в зале для депутатов, министров, председателя — это было решено сообразовать с традициями французского парламента.

\*

Максим Горький задержался в Берлине ровно на три недели. Затем начались загадки. Вместо того чтобы отправиться, как следовало ожидать, в Гамбург, начальный пункт германской трансатлантической линии, откуда пароходы шли прямо в Нью-Йорк, писатель выехал в совсем противоположную сторону, в Швейцарию. Николаев предположил, что в центр эмиграции — в Женеву, но подопечный сошел в Лозанне и пересел на поезд, следовавший опять-таки в обратном направлении, то есть не на запад, а на восток, по берегу Женевского озера, к так называемой Водуазской Ривьере.

Считалось, что в этом курортном краю, соперничающем по благодатности климата со Средиземноморьем, можно излечить малокровие и больные легкие, золотушные уши и нервные болезни. В Веве, с которого и начиналась Швейцарская Ривьера, иностранцам обязательно показывали домпезный дворец, подаренный этому городу каким-то русским вельможей; избавившимся здесь от страшного недуга — туберкулеза.

Вева — в восемнадцати километрах от Лозанны. Максим Горький с Марией Андреевой сошли десятью километрами



восточнее, в Монтрэ. Хотя и трудно уяснить, где граница между этими прибрежными городками, так как железная дорога, прижатая горами к озеру, застроена как улица: среди буковых и каштановых рощ, на разной высоте на склонах виднелись гостиницы и рестораны, туристские приюты и лечебницы, виллы и домики крестьян — неправдоподобно аккуратные, белые с красными черепичными крышами, а кое-где на скалах, ближе к облакам, нахохлились, как старые ястребы, темно-серые замки.

В Монтрэ Максима Горького встретил писатель Леонид Андреев. Николаев этому обстоятельству обрадовался: наконец-то стало ясно, к кому ехал Максим Горький. Да и сам Андреев — интереснейший объект, покинул Россию чуть раньше Горького и тоже через Финляндию, перед этим содержавшийся в таганской тюрьме за связь с революционерами. В феврале прошлого года на его московской квартире полиция захватила почти весь Центральный Комитет РСДРП, собравшийся на совещание. Правда, арестованные в один голос говорили, что Андреев всего-навсего предоставил им квартиру, к партии же никакого отношения не имеет, да и сам писатель утверждал, что не в состоянии отличить эсеров от социал-демократов, тем не менее его подвергли месячному заключению.

Николаев, смешавшись с туристами и больными, следом за Горьким пересел в вагончик фуникулера, который, покачиваясь и постукивая по зубчатым рельсам, пополз вверх в горы, в местечко Глион. Внизу ширилась панорама Женевского озера, окаймленная горными цепями со сверкающими на солнце заснеженными вершинами, ближе громоздились темные Водуазские Альпы.

Дорожка, начавшаяся сразу от станции фуникулера, уложенная промывкой белой галькой и обрамленная кустами цветущих роз, подвела компанию к двухэтажному отелю с табличкой «Монт-Флери».

Судя по радушию, с каким встретили Максима Горького, — навстречу выкатилась сама хозяйка, маленькая, очень полная, и сразу затараторила, что мсье писателю подобраны комнаты с видом на Шильонский замок, — стало ясно, что его тут ждали. Вероятно, позаботился Андреев, который жил в этом же отеле.

«Вряд ли стоило делать такой крюк только для того, чтобы повидаться с собратом по перу, — размышлял Николаев, предполагая, что Максим Горький отложил поездку в Аме-

рику или вовсе отказался от нее. — Какие же тогда у него планы?»

Горький вел себя как все отдыхающие. Несмотря на внезапное похолодание, он вместе с женой и Андреевым бродил по окрестностям, совершил традиционную поездку к Шильонскому замку. Николаев, отправившийся следом, тоже постоял под сводами каземата, опиравшегося на семь гранитных колонн, к одной из которых, по преданию, был прикован женеvский бунтарь Бонивар, воспетый Байроном. Экскурсовод даже показал кольцо для цепи, которую заключенный семь лет подряд волочил за собой, пока не был освобожден восставшими.

Николаев, как и Максим Горький, купил тут несколько почтовых открыток с видом замка и отправил их... самому себе в Париж. На почте успел заметить, что Горький адресовал такие же в Россию, в Ялту.

Первого апреля, в вечерний час, когда внизу, в прибрежных селениях, заблестали огоньки, к Николаеву в пансион примчался старший швейцар «Монт-Флери», с которым агент завязал деловые отношения. Швейцар так торопился, что даже не снял униформы. Сдерживая одышку, он сообщил, что Максиму Горькому только что передали телеграмму, прочитав которую писатель попросил заказать ему билеты на завтра, то есть на понедельник, на ночной поезд в Париж.

Итак, в Париж?! Опять сюрприз. Несмотря на важность донесения, агент нашел нужным заметить своему наблюдателю о нарушении им инструкции — личном приходе в пансион, но заплатил щедро, затем рассчитался за гостиницу и поспешил к фуникулеру. Горького он решил дожидаться внизу, в Монтрэ, чтобы лишний раз не маячить перед глазами.

Они ехали в одном поезде. Из экономии Николаев взял билет третьего класса: в Швейцарии вагоны содержатся в большой чистоте и достаточно удобны.

«Все-таки в Париж, — раздумывал Николаев о возможных планах Максима Горького, — в «русский губернский город», как шутливо называли его политэмигранты в отличие от «уездной» Женевы. В Париже россиян проживало больше, чем в любой из западных столиц, причем всех сословий, профессий, самых разных политических направлений и взглядов. Одни ехали сюда ради храмов науки, музеев, выставочных салонов, для того чтобы получить признание или хотя бы диплом, другие просто «обтесаться». Всякая состоятельная



дворянская семья считала необходимым отправить своего отпрыска после окончания им военного корпуса или университета на несколько недель в Париж. Спешили сюда и гуляки, ехал и тот, кто желал оценить славу города на Сене как Нового Вавилона, будто Невский, Пикадилли или Фридрихштрассе были целомудреннее Елисейских полей...

Все эти категории русских парижан мало интересовали ведомство Гартинга, основанное ради тех, кто видел в Париже прежде всего автора революций, «Марсельезы», «Интернационала». Однако и агентов охраны по-своему захватывал чудо-город. Николаев хорошо запомнил, как, собираясь впервые в Париж, изучал его по «Бедекеру» в красной коленкоровой обложке. Справочник он купил на Невском, в агентстве путешествий Кука, учредившего свои отделения по всему миру. Отмеченные в этом путеводителе достопримечательности: железные кружева башни инженера Эйфеля и каменные — фасада Нотр-Дам, купола Пантеона и Дома инвалидов — стали для глаз желанными, как и воздух широких, окаймленных каштанами бульваров с остроумной и добродушной французской толпой.

Когда впереди показалось зарево Парижа, Николаев уже не отрывался от вагонного окна, предвкушая, как он сегодня позавтракает в кафе Вольтера. Бармен и завсегдатаи принимали его за недалекого, но приятного, пописывающего для души бездельника, который может при случае угостить или одолжить несколько франков.

Это уютное кафе с затемненными углами, где можно посидеть за рюмкой, помолчать, подумать, было им открыто в прошлом году благодаря... Григорию Гапону. Тридцатипятилетний попик, вчера еще безвестный священник пересыльной тюрьмы в Петербурге, в значительной степени благодаря европейской прессе превратился в демоническую личность, которой заинтересовались в Старом и Новом Свете. Его воспоминания печатались в Англии, Германии, Америке, Франции. Сам он носился по странам желанным гостем. Так было и в Париже, куда он приехал летом 1905 года. В ресторане близ Одеона с ним встретились журналисты парижских газет, в том числе и социалистической «Юманите», которую представлял внук Карла Маркса, публицист Жан Лонге; в палате депутатов он разговаривал с Жоресом. В политическом салоне госпожи Менан-Дориан, вдовы Эмиля Золя, вице-председателя Общества друзей русского народа, в честь Гапона был устроен завтрак с концертом. За завтраком Га-

пон, сидевший по левую руку хозяйки, беседовал с гениальным химиком и государственным деятелем Пьером Марселем Бертло. Даже восьмидесятипятилетний писатель-воздухоплаватель Недар приехал на этот прием, чтобы познакомиться с русским священнослужителем, который повел тысячи людей к царскому дворцу.

На следующем собрании, в кафе Вольтера, с Гапоном встретились уже новые знаменитости — писатели Анатоль Франс и Октав Мирбо.

Председатель Общества друзей русского народа Анатоль Франс — его Николаев видел впервые, — возвышаясь над всеми, то ерошил свои коротко подстриженные седые волосы, то поправлял лихо разлетавшиеся и тонко закрученные на концах усы. Глаза, темные, монгольского разреза, скептически рассматривали ораторствовавшего попа.

Речь Гапона, который говорил по-русски (французского не знал) переводил политэмигрант Несвой, заведовавший русским отделом в журнале «Эропээн». В молодости он был близок к народолюбцам. Этот Несвой поинтересовался, верно ли, что Гапон ведет тайные сношения с русским правительством, а конкретно — с Витте.

Гапон, не смутившись, уточнил, что не сношения, а переговоры через третьих лиц с министерством финансов, хлопот за возвращение имущества и денег его организации и за восстановление библиотек и читален, опечатанных полицией после 9 января. Что касается Витте и Дурново, то ему, Гапону, на них обоих наплевать, но лучше, если у власти все-таки будет Витте, который поумней, — при нем говорить и писать свободнее.

— И еще с деньгами, — продолжал журналист. — Прошел слух, что вы их получали от самого Зубатова, то есть от охранки. Это правда?

— Эти слухи распускают подлецы, провокаторы. У нас есть деньги, те, которые незаконно захватили власти. Кроме того, я за свои воспоминания выручил порядочную сумму. Будет нужно, отдам на общее дело. Далее, о Зубатове. Прикнуть к его организации считал бы не только безнравственно, но и преступно: единственная цель зубатовского союза в том, чтобы остановить рост рабочего движения.

Несвой старался переводить как можно точнее, помня о жалобе Гапона, что в «Матэн» репортер искажил его мысль и поэтому пришлось давать опровержение. Однако то, что говорил Гапон сейчас, полностью соответствовало напе-



чатанному в «Матэн»: он осуждал зарвавшуюся, по его мнению, русскую революцию, сравнивал ее с молодым конем, который разгоряченно мчится в неизвестность...

— Почему же в неизвестность? В будущее, — возразил Анатоль Франс. — Русская революция ведь не только для России. Она угрожает всякому деспотизму, всякой эксплуатации, колеблет троны в Европе. На берегах Невы и Волги ныне решается судьба не только одной страны, а возможно, и человечества.

Гапон, не соглашаясь, потряс головой и, отрицая всякие политические стачки, пояснил, что сейчас его более интересует синдикалистское движение — это одна из причин, что он находится здесь, во Франции. Закончил вовсе неожиданно:

— ...Если царь обнаружит мудрость и предоставит народу свободу самому себе устраивать жизнь, то революции можно избежать и спасти династию для конституционной монархии.

Глаза Гапона горели, густые волнистые волосы разметались по вспотевшему лбу, голос напряженно вибрировал.

— Фанатик! — донесся чей-то отзыв.

«Скорее артист», — подумал Николаев, прислушиваясь к возражениям, которые раздавались со всех сторон.

— Вряд ли в воле человека остановить революционное движение, — сказал Несвой, в таком духе поняв стремление Гапона.

— А зачем его останавливать?! — возразил Анатоль Франс, скользнув взглядом по сидевшему напротив Гапону, и обратился к Мирбо: — Наш гость — большой оригинал!

— Да, как сама религия, — подтвердил Мирбо. Воспитанник иезуитского колледжа, он в своих романах был особенно беспощаден при описании слугителей культа.

У Николаева тоже сложилось убеждение о Гапоне как экзальтированном человеке, кумире на час, в настоящее время не знающем, к какому берегу пристать. И когда священник курьерским поездом укатил на юг, отдохнуть в Ниццу, Николаев добился, чтобы слежку за «героем» 9 января передали другому второстепенному агенту.

Вскоре из Ниццы последовало несколько пикантных известий: Гапон проживает под фамилией Скворцова вместе с воспитанницей петербургского приюта Александрой Суздалевой, посещает игорные рулеточные залы Монте-Карло, высказывает уверенность, что получит амнистию. Вскоре Гапон покинул Францию. До Николаева дошли слухи, что Новый год он встречал в Выборге, а в середине января его буд-

то бы видели в Петербурге в ресторане Палкина. Тут же замелькали газетные статейки о передаче Гапону через третьих лиц, но с согласия Витте, тридцати тысяч рублей на возобновление деятельности его организации. А следом разразился скандал: деньги исчезли, оказались растраченными. В конце марта исчез и сам Гапон.

...Зарево ночного Парижа постепенно размывалось рассветом, а когда поезд загромыхал под стеклянной крышей Лионского вокзала, заалела заря.

Максима Горького и Марию Федоровну встречали трое мужчин. Дорого бы дал агент, узнай он, что перед ним находились законспирированные боевики, опытейшие «техники партии» — Литвинов и Буренин, а также сам руководитель Боевой технической группы член ЦК РСДРП Красин. На Леонида Борисовича и была возложена организация поездки Максима Горького в Америку, он-то и решил собрать ее участников в Париже. Буренин был вызван из Болгарии, где занимался переправкой в Россию закупленного за границей оружия, а Литвинов — из Берлина, чтобы теперь взять это опасное дело в свои руки. Когда обо всем договорились, тогда и послали в Глион телеграмму-вызов Максиму Горькому. То есть двухнедельная задержка Горького в Швейцарии была вызвана главным образом делами таинственного для полиции господина «Г» — Буренина. Алексей Максимович, уже тревожась, писал ему в Болгарию из Глиона: «...Ехать Вам, видимо, не хочется. Дорогой мой, — мне тоже не очень, но — нужно!» — и далее предлагал Буренину самому решить, откуда удобнее плыть через океан, из Гамбурга или Генуи. Таким образом французский вариант оказался для всех «заинтересованных», включая охранку, неожиданным.

Николаев не торопясь, следом за Горьким и встречавшими, выбрался из толпы, дождался, пока они разместились в двух экипажах, и нырнул в уютную, рассчитанную на одного человека карету. Он приказал извозчику ехать следом, чуть поотстав. Экипажи, миновав площадь Бастилии, покатили по переулкам, нанскось пересекая правобережье Сены, к северо-западу города.

Париж просыпался. На улицах встречались продавцы овощей со своими тележками, зазывая покупателей звуками рожка, пробегали почтальоны, из ворот богатых особняков выезжали на породистых лошадях верховые, направляясь на прогулку в сторону Булонского леса; заспанные хозяева



кафе и служанки выносили на панели столики, плетеные кресла и большие пестрые зонты.

«Куда их несет?» — гадал Николаев, когда экипажи выехали на Лондонскую улицу, приближаясь к площади Европы. В эту площадь кроме Лондонской сходились лучами чуть ли не десяток улиц, названных по столицам европейских государств: Римская, Венская, Берлинская, Мадридская, Константинопольская, даже Санкт-Петербургская, пересекающаяся Московской.

Возле площади Европы громоздилось здание вокзала Сен-Лазар. Экипажи, объехав вокзал, остановились у отеля «Терминус».

### **3. ИНЖЕНЕР ФОН ГАРТИНГ**

Этот стол красного дерева, инкрустированный бронзой, с массивным письменным прибором и бронзовыми же канделябрами, казался Николаеву границей, которую рано или поздно должен перейти. Он слушал человека невзрачной наружности, сидевшего за столом, под огромным, в полный рост, портретом Николая II. Темно-карие глаза человека глядели не прямо, спокойно, а били в упор короткими впивающимися взглядами. Это был Гартинг, заведующий российской политической агентурой за границей.

— ...Что ж, будем считать, что ваше спокойное житье-бытье на Швейцарской Ривьере как-то компенсировало перерыв в отпуске, — говорил Гартинг, кривя ярко-красные губы. — Однако, думаю, дорогой, вы увлеклись идиллией Глиона. Ибо только притуплением бдительности можно объяснить ваш вывод, будто столь же бездеятельным образом проводил там свое время и Максим Горький. — Гартинг порылся в кожаной папке, достал два листа. — Взгляните на это.

«К рабочим Европы», — прочитал Николаев заглавие. Глаза по привычке сразу же скользнули на подпись — «Российский комитет помощи русским безработным».

— Сей комитет заседал рядом с вами, в Лозанне, — продолжал заведующий, забирая бумагу из рук Николаева. — А к Горькому, в Глион, приезжал представитель, чтобы подписать эту зловредную прокламацию. Подписал и Леонид Андреев. Я полагаю, что они не только поставили свои фамилии, но и сами сочинили ее — стиль выдает: «...Русский рабочий народ решил бороться до полной победы над

своим врагом. Помогите ему ускорить битву», — выразительно процитировал Гартинг. — Ну как?

Николаев физически почувствовал укол взгляда заведующего и не нашелся что ответить.

— И переписку Горький в эти дни вел не только семейного свойства, то есть с Ялтой, — я имею в виду упомянутые вами открытки с видом Шильона, — но и с Парижем, например с Анатолем Франсом. Послушайте: «Искренне уважаемый мною собрат по оружию! Когда я узнал, что во Франции образовалось Общество друзей русского народа, — этот день был днем моей великой радости»... А вам, господин Николаев, как вижу, порадовать меня нечем. — Гартинг помахал перед лицом агента копией письма.

Николаев, слушая пространные нотации, к которым заведующий испытывал слабость, предположил, что бумаги скорее всего получены с помощью агентуры в революционной среде. Его тоже подумывали «внедрить», но пока ему удавалось избежать такой работы. Дело, конечно, не в том, что стать профессиональным иудой не позволяла совесть. Одной из главных причин был страх: трагично обрывались судьбы провокаторов. Казнь Судейкина — да где? — в нужнике! И прибили-то, как крысу, ржавым ломом... Исчезновение в неведомое и его убийцы Сергея Дегаева... Самого Сергея Васильевича Зубатова отставили от должности начальника особого отдела департамента полиции и сослали во Владимир. И это тогда, когда он казался всесильным, подошел, можно сказать, вплотную к министерскому креслу!.. За верноподданность, за ум последовало жестокое наказание! А его противника Плеве «сместили» прямо на тот свет уже революционеры. Тревожила и частая смена руководства заграничной агентурой: за последние четыре года — три начальника! Отставили блестящего Петра Ивановича Рачковского, затем — тихого умницу Ратаева. А теперь вот он, следующий, — инженер фон Гартинг. Сколько продержится?..

Николаев на всякий случай пытался утвердить себя в коммерческом мире. Даже попросил в департаменте кредит в двадцать тысяч франков, пояснив, что начнет солидное торговое дело, чтобы легализовать свои разъезды и завуалировать образовавшиеся в разных городах связи. Но начальству, видно, это показалось маневром, с помощью которого сотрудник пытается выйти из игры. Ему было отказано, хотя месячное жалованье увеличили с трехсотпятидесяти франков до шестисот и стали выдавать еще по двести пятьдесят фран-



ков дополнительно на ссуды мнимым товарищам по борьбе, то есть на организацию связей в революционной среде. Но разве это деньги, когда Гартинг, по слухам, получал за год до ста тысяч франков, то есть больше самого посла Нелидова?!

Николаев ошибался: сто тысяч франков Гартинг получил в прошлом году одновременно, только в качестве наградных. Петербург поручил ему организовать охрану следовавшей на Дальний Восток эскадры адмирала Рождественского, оберегать ее от происков японских шпионов во главе с Акаши, бывшим военным атташе в Петербурге, с деятельностью которого «Новое время» связывало историю с парходом «Джон Графтон».

Гартинг по роду своей деятельности и опыту занимался на эскадре не столько обеспечением безопасности плавания, сколько изучением политической благонадежности матросов и офицеров. Результатом же его воинской «разведки» явился гульский инцидент: эскадра, проходя вблизи берегов Великобритании, приняла флотилию рыболовных шхун за отряд японских миноносцев и открыла по ним огонь. Постыдный случай чуть не привел к разрыву дипломатических отношений между Англией и Россией. Надо отдать должное крысиному чутью Гартинга, он в числе первых понял, что эскадра идет навстречу своей гибели, и своевременно в одном из портов покинул ее.

За эту «патриотическую» работу он и получил сто тысяч франков и орден Святого Владимира, дававший владельцу право на потомственное дворянство, значит, и на приставку «фон». Вскоре его назначили на должность заведующего парижской агентурой с присвоением чина статского советника.

Николаев запомнил, какое сногшибательное впечатление произвел на сотрудников канцелярии их новый начальник, зашедший к себе с посольского приема. Служитель, перед этим рывшийся в шифоньерке с карточками политических, подлежащих розыску, и три машиниста, оставившие печатание бумаг, замерли, вытянув руки по швам, разглядывая выставку орденов на парадном мундире фон Гартинга.

Да и сам посол Александр Иванович Нелидов, принимая в своем огромном кабинете нового главу политического сыска за границей, прибывшего на место 19 августа 1905 года, обратил внимание на это сверкающее золотом и драгоцен-

ными камнями нагрудное великолепие, на котором выделялись прусский орден Золотого орла, английский — Виктории, французский — Почетного легиона, Австрийский крест, датский орден Даненберга, — по ним мог судить о немалых заслугах новоиспеченного. Нелидова, конечно, не радовало, что филиал охраны помещался на территории парижского консульства и что заведующий, не подчиняясь ему — послу, использовал для своих шпионов право экстерриториальности. Но так уж повелось издавна, со времен Рачковского, с которым порой даже на д'Орсэ считались больше, чем с официальным представителем Российской империи.

И все-таки какое чувство испытал бы Александр Иванович, дипломат с тридцатилетним стажем, если бы ему в момент, когда он учтиво вышел из-за стола навстречу фон Гартингу, хотя бы на ушко сказали, что он пожимает руку и улыбается... скрывающемуся от французских властей преступнику, заочно осужденному еще в 1890 году Сенским судом к пятилетнему тюремному заключению?!

Прежде чем превратиться в блистательного чиновника, кавалера высших орденов и богача с приставкой «фон», Абрам Аарон Геккельман, мещанин из захолустного Пинска, сменил несколько фамилий — Ландезен, Петровский, Бэр. Он действительно был инженером, в 80-х годах учился в Петербургском горном институте (тогда и предложил свои услуги охранке), затем повышал свое образование в Рижском политехникуме и еще в Цюрихе. В Париж Геккельман прибыл из Швейцарии с группой народовольцев, уцелевших после процесса Александра Ульянова.

Здесь революционеры вновь начали готовить покушение на царя. Геккельман, который к этому времени уже именовался Аркашей Ландезеном, проявил себя активнейшим образом: он снял помещение для мастерской, где товарищи работали со взрывчатыми веществами, организовал испытание бомб под Парижем, в лесу Ренси. Аркаша, назвавшийся наследником владельца конного завода, оплачивал и основные расходы.

Когда все было готово для того, чтобы перенести дело в Россию, то есть приступить конкретно к подготовке акта казни Александра III, случился страшный провал. 29 мая 1890 года рано утром в русской колонии начались обыски и аресты. Девяти человекам было предъявлено обвинение в незаконном изготовлении бомб. Ландезена среди них не было — исчез! На суде выяснилась его роль провокатора.



И хотя судьи отказались рассматривать вопрос о провокации, Аркадий Ландезен был признан организатором и владельцем нелегальной мастерской и осужден к пяти годам заключения. Схваченных подпольщиков посадили в страшную Ракетскую тюрьму на три года.

Русское правительство через министра внутренних дел поблагодарило французского посла Антуана де Лабулэ за разоблачение бомбистов и предотвращение возможного покушения на императора. Не был забыт и Геккельман-Ландезен, вынырнувший в Петербурге. Ему за эту операцию присвоили звание почетного гражданина города Пинска и назначили пожизненную пенсию — тысячу рублей в год. В родной Пинск, однако, он не вернулся, а сразу же был приставлен для охраны высочайших особ в их заграничных путешествиях: оберегал Александра III на охотах в Швеции и Норвегии, сопровождал наследника в поездке в Кобург-Готе, на помолвку с Алисой Гессенской, а позже охранял их обоих в Париже и Лондоне — уже как царствующую чету (за это — ордена Почетного легиона и Виктории).

Одно время Аркадий Ландезен стал часто появляться в датской столице вместе со вдовствующей царицей Марией Федоровной, дочерью короля Дании. Опять охранял! Эти поездки он использовал с немалой выгодой: перевозил, минуя таможен, то есть беспошлинно, товары для петербургских парфюмерщиков, беря немалый куш.

Преданность императорской фамилии и старание Ландезена еще раз оценили: в декабре 1900 года его назначили в Берлин, поручив создание там сыскной агентуры. Представляясь то инженером, то дипломатом, он еще более упрочил свое положение, женившись в Льеже на красивой девушке-католичке из богатой бельгийской семьи.

Все эти биографические сведения о высоко вознесшемся шпике хранились в Петербурге, в здании на берегу Фонтанки, в особом сейфе, который вскрыет до дна только Великая Октябрьская революция.

\*

Николаев, слушая начальника, явно любовавшегося своей осведомленностью, досадовал: тот явился в канцелярию только после полудня, заставив его болтаться более четырех часов без дела. Пришлось бродить вокруг квартала, где находилось русское посольство, разглядывая соседствующие дипломатические представительства — Австро-Венгрии и Вати-

кана. Прохаживался по набережной д'Орсэ вдоль чугунной решетки, ограждавшей помпезное здание Палаты депутатов с фронтоном на дюжине классических колонн, и возле расположенного рядом министерства иностранных дел. Затем вышел на перекресток улиц де Бельшас и де Гренель, к министерству народного просвещения, от которого до посольства оставалось два шага. Отсюда он и заметил фон Гартинга, подъехавшего в дорогой карете, — через распахнутую дверцу горела алая внутренняя обивка.

— ...Мне известно, что Максим Горький остановился в «Терминусе», — говорил фон Гартинг тоном, означающим, что сведения, сообщенные ему Николаевым, уже опоздали. — Более существенно, что сию минуту он находится на улице Кювье в институте физики, беседует с супругами Кюри. Не знаете?! Зря. Замечательные люди, «родители», если можно так сказать, таинственного светящегося металла — радия. Особого внимания, с нашей точки зрения, заслуживает мадам Кюри — первая женщина, удостоенная звания лауреата Нобелевской премии. Тоже не знаете?! Чему вас учили в университете?..

Гартинг снова запустил свой взгляд-колючку, с насмешечкой продолжал:

— Тем более, что она, до замужества Склодовская, являлась подданной нашей империи. Но как сообразовать: мадам Кюри значительную часть Нобелевской премии выслала в Польшу революционерам, то есть для разрушения законного порядка на бывшей своей родине?! Деньги вручены Казимиру Длусскому, мужу ее сестры, одному из организаторов социалистического журнала «Равенство». Учился он, кстати сказать, в Петербургском университете, чуть ли не в одно время с вами. Тоже не знаете?.. Имеется у мадам Кюри еще и братец Юзеф, которому она недавно писала так: «По моему мнению, надо поддержать революцию!» Она и супруга водит за собой на митинги, устраиваемые обществом «Друзья русского народа».

Так что, дорогой, — задумчиво продолжал фон Гартинг, постучав пальцами обеих рук по столу, — не проявляйте наивность в Америке, увидев рядом с Максимом Горьким даже очень милых людей. Ищите в каждой встрече политический смысл. И мешайте, мешайте! Горький — особенный революционер. Я хорошо его знаю. Обычные приемы тут не годятся... Когда небезызвестный анархист князь Кропоткин жил в Бромли, под Лондоном, наш агент поселился со



своей семьей напротив, и дочка Кропоткина, княжна Саша, играла с детьми агента. Вот так надо!..

Фон Гартинг, поднявшись из-за стола, — даже при своем небольшом росте он доставал до рамы с портретом царя, настолько портрет был велик, — «кинул пряник»:

— Расходы в Нью-Йорке у вас несколько возрастут, соответственно увеличены и суммы на привлечение необходимых сотрудников, на связи.

— Да, расходы там непомерны, — ответил Николаев, косясь через зарешеченное окно канцелярии на здание посольства, точнее, на балконную стеклянную дверь, ведущую из кабинета Нелидова в сад, — там чья-то рука неторопливо задергивала плотную штору.

— И еще одно следует учесть, — Гартинг дал понять, что вопрос о деньгах исчерпан. — Максим Горький заказал билет на завтра, на пароход «Кайзер Вильгельм дер Гроссе», который уходит из Шербурга в ночь на вторник. Выезжайте туда сегодня. За вашими подопечными пока посмотрят.

За Максимом Горьким и за его окружением — дружеским и вражеским, — по-видимому, следило больше глаз, чем предполагал даже сам глава агентуры, так как на следующий после отплытия день за океан из Франции поступило в газеты следующее телеграфное сообщение:

#### «ШПИОНЫ ПРЕСЛЕДУЮТ ГОРЬКОГО

Шербург. 6 апреля. Максим Горький, крупнейший руководитель освободительного движения, находится на пути в Соединенные Штаты, где предполагает заняться агитацией среди русских и сторонников России в пользу организации движения по свержению царского самодержавного правительства. Установлено, что прошлой ночью он отбыл на борту парохода «Кайзер Вильгельм дер Гроссе». Сообщают, что несколько русских агентов тайной полиции, которые преследуют Горького по пятам с того момента, как он покинул Петербург, отправились с ним на борту того же парохода.

Пропаганда, которую Горький предполагает начать в Америке, привлечет сотрудничество целого ряда знаменитых политических эмигрантов, находящихся как в Нью-Йорке, так и в Чикаго».

Эта пропаганда уже началась. В день отправки телеграммы из Шербурга в Берлине в вечернем выпуске «Берлинер тагенблатт» появилось воззвание Максима Горького, прекрасно переведенное на немецкий Марией Федоровной,—

«Не давайте денег царскому правительству». Через два дня оно было повторено в Париже, под носом посольства и агентуры фон Гартинга, в газете социалистов «Юманите».

## ГЛАВА VII

### 1. ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ

Никто не обращал внимания на опущенные шторы в окнах второго этажа общежития молодых писателей на 5-й авеню, 3. Здесь-то и укрывались уже более суток Алексей Максимович с Марией Федоровной...

Начало минувшего дня не предвещало ничего особенного. Газеты были заполнены благожелательными отзывами о русском писателе, сообщали, что сформирован комитет по сбору средств для русской революции, в котором действуют сообща Максим Горький и Марк Твен.

Алексей Максимович с огорчением отметил, что имя Марка Твена в таком же благожелательном духе упоминалось и рядом с Николаем Чайковским. Под заголовком «Оружие, чтобы освободить Россию, — призыв Чайковского» «Нью-Йорк» поместила статью с рассказом о митинге, на котором Чайковский зачитал письмо Марка Твена, советовавшего американцам помочь русским революционерам, «внести свою лепту, чтобы снабдить их мышцами войны».

Неприятно было Алексею Максимовичу и то, что вечером ему предстояло выступать в том же зале «Грэнд сентрал пэ-лейс», где днем раньше состоялся митинг, созданный эсерами. Марк Твен конечно же не понимает сущности разногласия с Чайковским. Для него он социалист, революционер. Где разобраться, коль и в России еще немало таких, кому непонятны партийные расхождения в социалистическом движении? Да и сами-то американские социалисты не очень ясно представляют, за какой социализм воюют. И воюют ли?

В этот же день, ближе к обеду, Максим Горький принял журналистов. В салоне «Бельклер» набилось несколько десятков корреспондентов американских и иностранных газет. Интервьюируя писателя, они вежливо пользовались услугами «мадам Горьки», говорили ей любезности, присматривались. Вопросы, по существу, были те же, что и на пароходе. Но теперь Максим Горький, отвечая, стремился подробнее



и яснее рассказывать о главном — о подъеме организованного революционного движения в России, о школе боевого марксизма, о борьбе с псевдореволюционными оппортунистическими теориями, отвлекающими от решительной борьбы.

Для того, чтобы уж все было понятно в его симпатиях и антипатиях, Алексей Максимович сообщил о телеграмме, которую он отправил лидерам Западной федерации рудокопов Уильяму Хейвуду и Чарльзу Мойеру, арестованным и упрятым в тюрьму.

И тут репортеры, слушавшие без особого интереса теоретические разъяснения Максима Горького о целях и методах революционной борьбы в России, сразу оживились и зачиркали перьями.

Очакстый корреспондент «Уорлд», опекавший Горького, даже побледнел от удовольствия: этот Николаев был прав, мистер Горький ведет речь не только о свержении своего императорского правительства, он намерен видеть свободными, в собственном понимании, и американцев. Не является ли это вмешательством во внутренние дела страны, оказавшей ему гостеприимство?

Репортер почувствовал, что материал формулируется с первых слов. Теперь очень логично привязать факты о моральном облике Максима Горького и его подруги.

Алексей Максимович, готовясь на вечерний митинг в «Грэнд сентрал пэлейс», не подозревал о готовящейся атаке. Ее первыми вестниками оказались Хилквит с Уилшайром. Они явились в «Бельклер» за час до назначенного времени, с места в карьер завели разговор о том, чтобы Алексей Максимович не беспокоился — выступал так, как будто все в порядке.

— В чем все-таки дело? — встревожился Буренин.

Уилшайр вплотную приблизился, будто намеревался перерезать своим узким носом лицо собеседника, торопливо заговорил.

Хилквит, как-то затяжно подыскивая слова, перевел:

— Хозяин отеля, господин Мильтон Рабле, потребовал, чтобы Максиму Горькому немедленно подыскивали другую гостиницу.

— Почему?

— Американская специфика, — жался, не зная, что ответить, Хилквит. — «Бельклер» — особый отель, в нем останавливаются только семейные. Вот, например, Ричард Грей — миллионер, судья из Нового Орлеана. Он тут с дву-

мя дочерьми... Понимаете, кто-то пустил слух, что мистер Горький и его супруга, то есть Мария Андреева, не венчаны.

— И что же? — возразил Буренин. — Они давно муж и жена.

— Судья Грей грозитя выехать, — заговорил Уилшайр. — И другие постояльцы тоже. Хозяин обратился прежде всего ко мне, так как я снимал помещение. Но мы все сейчас уладим, договоримся с другой гостиницей, собственно, уже договорились, осталось уточнить.

Издатель стремительно припал к телефонной трубке и назвал номер. По мере разговора его лицо начало морщиться, выражать досаду. Оказалось, что хозяин отеля «Латогетта Бреворт», который пообещал принять Горького с женой, неожиданно изменил решение, мотивируя тем, что его отель, расположенный в самом центре Гринвич-виллидж, очень шумный, и посоветовал устроиться в «Райнлэндер». «Хозяйку зовут миссис Келли. Очень приятная особа. Всего доброго!» — сказал он в заключение.

— Минутку подождите, — Буренин подошел к Горькому.

— Черт бы их побрал! — выругался Алексей Максимович, услышав о положении. — Темное болотце в американском лесу. А Маше каково?..

— Скажем ей, что тут шумно, — предложил Буренин.

— Поймет она, сразу все поймет, — возразил Алексей Максимович. — Лучше уж пусть знает правду. А хозяину надо сейчас же сказать, что мы вынуждены оставить его отель, так как в нем живет человек, который не умеет вести себя по-джентльменски, распространяет сплетни. Я имею в виду судью Ричарда Грея... Сходил бы ты, Евгенийч. У тебя лучше получится.

Буренин согласился. Он сразу же направился к Мильтону Рабле, а Алексей Максимович — к жене.

Мария Федоровна, несмотря на юмористический тон Горького, поняла, что случилось неприятное. Развеселил ее вернувшийся через десять минут Буренин.

— Я поинтересовался на французском у хозяина: не приходится ли ему родней Франсуа Рабле из Турени? «Нет, не приходится, я из Шампани», — отвечал он и, в свою очередь, спросил: — А что?» — «Да понимаете, тот Рабле из Турени, столь же знаменитый писатель, как и Максим Горький, совершенно не терпел судейских чиновников, даже создал образ судьи по имени Бридуа. Вы, конечно, хорошо



помните родной язык». — «Ну, как же, — отвечает хозяин. — «Бридуа» означает «придурок». — «Ну, а английский вы тоже превосходно знаете?» Господин Рабле неохотно, но все же кивнул головой. «То есть понимаете, что слово «Грей» означает «серый». — «Вы это о чем?» — уже надулся хозяин, чувствуя подвох. «О том, что великий Рабле — Франсуа Рабле! — крючкотворов сравнивал с придурками и ставил на полагающееся место, а вот его соотечественник и даже однофамилец позволяет какой-то чиновной американской серости — «серости» произношу по-английски — в стенах своего дома оскорблять женщину! Поэтому позвольте выразить сожаление, что вы не из Турени...»

Ответа я дожидаться не стал, но надеюсь, Рабле из «Бельклера» не задохся от злости.

— Вот уж, Николай Евгеньевич, не ожидала от вас такой веселой в истинно французском духе манеры отчитывать, — сказала сквозь смех Мария Федоровна.

— В Америке станешь веселым... от злости.

Действительно, Николая Евгеньевича брала досада на собственную непредусмотрительность. Он считал, что допустил промах, даже ошибку, с устройством Горького и Марии Федоровны в так называемую «семейную гостиницу» — «фэмели-отель», передоверившись Уилшайру, чувствовал, что за кажущимся на первый взгляд нелепым выселением таится опасность. Как-то невольно пришел на ум случай из поездки с Максимом Горьким в Финляндию на переговоры с Гапоном по поводу «Джона Графтона». Уже на обратном пути, на одной из лесных станций, когда они садились на ходу в поезд — нарочно ждали отправления, чтобы избежать полицейского «хвоста», — у Алексея Максимовича одна рука соскользнула с влажного поручня и его стало разворачивать. То есть могло бы затянуть под колеса, не окажись, к счастью, рядом он. Буренин придержал от падения и помог забраться на подножку, затем уж запрыгнул сам. А вот сейчас, имея прямое поручение ЦК партии охранять Горького, он не смог проявить должной предусмотрительности, чтобы отвести опасность, даже не предвидел ее. А был обязан предвидеть: мещане-праведники повсюду одинаковы...

— Ну что, собираемся? — спросил Николай Евгеньевич, подавляя воспоминания и размышления. — Перевезем вещи и тогда уж — на митинг.

Уилшайру и Хилквиту, которые ожидали бурных и длительных переговоров, оставалось только удивиться.

В самый последний момент, когда усаживались в автомобиль, подоспел и Зиновий — ему непременно хотелось побывать на митинге.

\*

Зал «Грэнд сентрал пэлейс», расположенный на 42-й, прямой как стрела улице, вмещавший более трех тысяч человек, был переполнен. Мария Федоровна вышла на эстраду вместе с Алексеем Максимовичем, намереваясь перевести его речь.

— Товарищи!

Это слово, сказанное без ораторской аффектации, обыкновенным глуховатым голосом, тем не менее в абсолютной тишине прозвучало отчетливо, вызвало единый вздох: мужчины и женщины разных возрастов, сдерживая дыхание, смотрели с радостным волнением на сцену, на высокого человека. И сам он, не менее взволнованный, повторил, но более громко, зовуще, будто спрашивая их:

— Товарищи?!

И огромный зал пошатнулся. Оттуда навстречу вырвалось «урра Горькому!» — общий утвердительный ответ.

Когда Алексей Максимович начал говорить, Марии Федоровне стало ясно, что специального переводчика не требуется — на этот митинг пришло много иммигрантов из России: русских, украинцев, евреев, латышей, финнов. Разноязыкая аудитория, не забывавшая о своей родине, впервые услышала слово посланца большевиков.

— ...Подлые поступки и действия царя, попов и черносотенцев направлены на то, чтобы убить веру в братство людей труда, натравить рабочих на интеллигенцию, одну национальность — на другую. — Максим Горький, подняв руку и усилив голос, бросил в зал слова, которые завтра же подхватят передовые газеты и журналы Америки и Европы: — ...Я не верю во вражду рас и наций. Я не верю в существование специфической психологии, вызывающей у белого человека естественную ненависть к человеку черной, цветной расы, или у славян к англичанам, или у русских — презрение к японцам и китайцам.

Писатель призывал к единству наций в борьбе за общественные идеалы и в этом сослался на пример Гейне:

— ...Его сердце действительно обнимало весь мир и отражало, как чистейший металл, все звуки страдания человечества, трубило на весь мир о скорби, его стоны звали чело-



вечество к свободе, поднимали его из потока грязи и суеве-  
рия, грозившего его уничтожить.

И снова поднял руку, чтобы подчеркнуть слова:

— Что Генрих Гейне действительно был великим чело-  
веком, это можно видеть из того, что он в пошлых душах  
вызывал такую ненависть к себе, которая еще и доньше не  
погасла. Люди-животные ненавидят людей, зовущих к до-  
стойному существованию!

Кто-то пытался пробиться к писателю через публику, же-  
лая сказать что-то, наверное, очень важное, другие, сложив  
руки рупором, издавала выкрикивали фразы согласия и одоб-  
рения. И все они, трудовые люди разных национальностей:  
металлисты и докеры, портные из потогонных заведений, кон-  
торщики и продавцы — были единодушны в своем благо-  
дарном порыве за честное и прямое слово.

— Алексей Максимович!.. Але-е-ксе-й Мак-си-мо-о-вич! —  
вдруг донеслось по-русски.

В первом ряду, в цепи добровольцев, охранявших сцену,  
Горький увидел знакомое румяное лицо: земляк-ярославец,  
который помогал ему в качестве переводчика на «Кайзер  
Вильгельм дер Гроссе»! Они сотрудничали и после капита-  
нского банкета, в течение всего рейса через океан. Беседы с  
Горьким завязывались на палубе и за обеденным столом, —  
почти каждый раз находился кто-то, желавший выразить вос-  
хищение знаменитым писателем, «служащим украшением  
рейса», как выразился капитан парохода Кюппер.

Алексей Максимович, как правило, перед концом обеда  
отвечал на тосты небольшой речью, благодарил за внимание.  
Обычно такой ответ не выходил за рамки стандартной лю-  
безности, наподобие: «Несколько дней, проведенных среди  
вас в пустыне океана, останутся навсегда в моей памяти!..»  
Но если в приветствии пассажира замечалось большее, чем  
просто симпатия к личности писателя, а и уважение к его  
родине — России, тогда Горький считал необходимым вы-  
ступить пространнее, иногда даже на следующий день, пред-  
варительно набросав специальный конспект или тезисы для  
переводчика...

Сейчас, узнав Каспэ, — приятно все-таки вдруг увидеть  
в переполненном зале знакомого человека: ближе становится  
и вся аудитория, — он заговорил как раз о том, что обычно  
являлось основой в его тезисах. И по выражению лица яро-  
славца понял, что тот взялся пояснять для соседей.

— Под знаменем правды и свободы пролетариат России

двинулся в битву. Он сражается не только ради интересов своей нации, но и за счастье армии труда всего мира. И непременно сокрушит правительство царя, сеящее по стране убийства, пренебрегающее даже теми законами, которые само же установило. Это правительство лишено моральной связи с народом, судьба его уже определена. Казнями, арестами, закрытием газет реакции не остановить поступь тех, кто идет на дворцы.

В минуту передышки в зале раздались приветственные выкрики, один — молодой, звонкий — прозвучал по-русски:

— Да здравствует Максим Горький! Наш рабочий писатель, наш товарищ и брат по борьбе за свободу!

Алексей Максимович в ответ усилил голос:

— Да, это так! Мы, конечно, товарищи. Я рабочий, цеховой малярного цеха, то есть ваш собрат по труду и по духу, и всегда останусь таким. Я горд вашим доверием. Мое перо, само сердце мое принадлежит тем, кто сегодня творит русскую революцию. И я верю, что сюда, в этот зал, пришли люди, солидарные с ее целями и с ее творцами!

Максим Горький снова остановился, машинально взглянул туда, где недавно мелькнуло лицо переводчика. Но в зале все изменилось: люди повскакали со своих мест и вплотную придвинулись к оркестровой яме, теснились в проходах. Цепь охранителей смешалась с публикой, только несколько человек — вместе с ними Буренин, Мария Федоровна и Зиновий, — встав по бокам сцены, возле краев раздёрнутого занавеса, обращались к самым нетерпеливым, пытавшимся забраться на сцену, со словами увещевания и просьбами — не мешать оратору, дать ему договорить.

Переведя дыхание, Горький продолжал:

— Рабочий люд России понес большие потери, он нуждается в интернациональной помощи, то есть и в вашей. От его имени, от имени народной революции я призываю вас — помогите своим товарищам в далекой России. Поделитесь по-братски, чтобы в атаку они шли не с голыми руками!..

Пылавшие лица, горящие и влажные глаза, приветственно воздетые руки, колышущиеся плечи и возгласы, среди которых наиболее громко выделялись слова «революция», «Россия», «Горький»... Огромный «Грэнд сентрал пэлейс» стал тесен для этого живого прибоа, раскачивающего зал, готового выплеснуться за светло-желтые стены всей мощью многотысячной людской массы, ставшей теперь Горькому такой знакомой и близкой...



Максим Горький и Мария Федоровна, Зиновий с Бурениным долго выбирались из толпы: очень уж многим хотелось пожать руку писателю-революционеру или хотя бы просто заглянуть в лицо. Следом увязался и голубоглазый корреспондент из «Джорнэл», фамилию которого Алексей Максимович запомнил, — Декер.

Когда доехали до гостиницы, время подходило к часу ночи. Швейцар, увидев группу оживленно разговаривавших иностранцев, вместо того чтобы распахнуть зеркальные двери, исчез. В вестибюль навстречу им вышла сама хозяйка, миссис Келли. Ее желтое сухое лицо было замкнуто, глаза смотрели враждебно. Что-то буркнув, она резко показала рукой на стену, возле которой громоздились сваленные в кучу саквояжи, чемоданы, обувь. Поверх всего, будто брезент от дождя, была накинута крылатка Максима Горького.

Портье за стойкой не поднимал глаз, хозяйка застыла возле лестницы, подобно одной из тумб.

— Может быть, вы скажете, что все это значит? — не выдержал Зиновий и сделал несколько шагов.

Хозяйка, даже не взглянув на него, обратилась к Марии Федоровне, требуя, чтобы русские немедленно покинули отель вместе с женщиной, которой не место в порядочных домах...

Далее продолжать было опасно. Это хозяйка поняла по пылавшему от гнева лицу молодого человека.

— Зиновий! — предостерегающе окликнул Буренин и, обращаясь к хозяйке на ломаном английском, показывая на вещи, спросил: — Потрудитесь объяснить, что означает этот бандитский налет.

— Лучше вы потрудитесь убраться, — прокаркала миссис Келли, не меняя вызывающей позы.

Алексей Максимович, смысл происходящего которому был ясен, оставался спокойным. Поглаживая усы, он рассматривал хозяйку как нечто интересное и крепко держал дрожащий локоть жены.

— Мы сейчас сходим к нашим друзьям, — продолжал Буренин, — и решим, как быть. Во всяком случае, оставаться в гостинице столь первобытных нравов не сможем. Пусть ваши служащие посмотрят за вещами.

Холодный тон хорошо одетого иностранца, манера неторопливо подыскивать слова, малая забота об английской грамматике как-то успокоили миссис Келли и напомнили об обязанностях.

— Горький — великий писатель! — пошел в наступление Зиновий.

Хозяйка не желала замечать его. Ясно, что «evening dress» Буренина произвели на нее большее впечатление, чем звание «писатель», поэтому она, обращаясь к Николаю Евгеньевичу, ответила кивком, добавив:

— Да, сэр.

— Предлагаю сходить к Лерою Скотту, — сказал Карл Декер, когда вся группа вышла на улицу. — Думаю, он поможет.

— А если позвонить Марку Твену?—предложил Зиновий.

— Пойдемте к Скотту, — решил Максим Горький. — Старика Марка Твена неловко ночью тревожить.

5-я авеню была пуста, гулко постукивали под шагами рифленые панели, уходя вдаль серым мерцающим конвейером.

Декер пояснил:

— Тут просто найти: все прямо, и не так далеко.

...Швейцар-японец, чрезвычайно удивленный неожиданными гостями, кланявшийся от этого деревянное обычное, отправился по их просьбе будить чету Скоттов.

Лерой, узнав, в чем дело, возмущился и пообещал немедленно принять меры. Он быстро оделся и, наказав жене, чтобы она устроила и успокоила миссис Горькую и Алексея Максимовича, отправился в сопровождении Буренина, Зиновия и Декера назад, в гостиницу.

Чем ближе подходили к отелю, тем шире шагал Лерой Скотт и все громче ругал миссис Келли. А та будто бы и не уходила со своей лестницы с тумбами-светильниками, хладнокровно выслушала филиппику Скотта, который обращался к ее женским чувствам и даже религиозному сознанию. Когда Лерой понял, что вся его речь впустую, он, испытывая неловкость перед гостями, окончательно распалился. В ответ миссис Келли пообещала вызвать прислугу и вышвырнуть его вместе с прочими на улицу.

Буренин, прекращая спор, попросил портье вызвать по телефону кэб и взялся приводить в порядок вещи.

— Куда же мы? — растерянно спросил Зиновий, помогая Марии Федоровне закрыть чемодан, в который были как попало брошены сорванные с вешалок платья.

У Буренина, похоже, имелся план. Когда в гостинице появился кэбмен, Николай Евгеньевич попросил его помочь погрузить вещи и громко, при всех, приказал ехать в ближайшую гостиницу.



— Дорогой Скотт, — он отвел в сторону молодого писателя, — прошу вас дать приют Максиму Горькому с женой. О нас не беспокойтесь — устроимся. Так что до завтра!

Распрошались и с Карлом Декером, который предложил услуги в поисках гостиницы.

— Не беспокойтесь, кэбмен довезет. До свидания.

Когда кэб тронулся, Буренин сказал вознице:

— Мы передумали, везите нас на вокзал.

— На какой?!

— На ближний.

— А, значит на Пенсильванский.

Буренин вскоре заметил, что за ними неотступно следует экипаж. По привычке конспиратора он на всякий случай продумал, как ускользнуть от него. Когда подъехали к ярко освещенному подъезду вокзала, Николай Евгеньевич сказал Зиновию:

— Ступай, найди носильщика и вместе с ним сдай вещи в камеру хранения.

Говоря это, он не выпускал из вида подозрительный экипаж, который тоже остановился поодаль в тени.

Зиновий, возвращаясь, еще издали показал рукой, что все в порядке. В ответ увидел предостерегающий знак Буренина.

— Что такое, Николай Евгеньевич?!

— За нами шпионят. Следуй за мной, не отставай!

Буренин ринулся к входу в метро. В ту же секунду запахнулась дверка у экипажа-преследователя, оттуда выпрыгнула темная фигура...

Уже в поезде подземной дороги, мчась в неведомом направлении, Буренин и Зиновий открыто взглянули друг на друга и облегченно вздохнули. Проехав три станции, они вышли из сабвея, с помощью постового полисмена нашли отель и, сняв номер, завалились спать.

Четырнадцатое апреля, первое по старому стилю, закончилось. Вышло прямо-таки по пословице: первый апрель — никому не верь.

## **2. В ДРУЖЕСКОМ ЗАТОЧЕНИИ**

Буренин просил Лероя Скотта приютить Максима Горького на одну ночь. Но все попытки, которые он предпринял, чтобы найти гостиницу, оказались тщетными: газеты разнесли весть о скандале.

Марк Твен, на которого возлагались особые надежды, не отвечал на телефонные звонки. «Он заболел, — объ-

яснил кто-то из домашних, — подойти к телефону не может».

Общежитие в доме № 3 на 5-й авеню — полностью оно называлось «Университетский сэттельмен-хаус» — представляло из себя нечто среднее между благотворительной гостиницей и клубом. Создание таких «домов-убежищ» в помощь иностранцам, выступавшим оппозиционерами по отношению своих правительств, — здесь они временно жили, устраивали пресс-конференции, — началось несколько лет назад. В это движение, проходившее под расплывчатым девизом — «Против несправедливости где угодно в мире», привлекались общественные организации самых разных направлений.

Сэттельмен на 5-й авеню (в Нью-Йорке имелся еще один — на Генри-стрит, в Ист-Сайде) основали на кооперативных началах социалисты, арендовав пустующий особняк. Была у него и другая особенность, которая помогала решать финансовые вопросы: дом № 3 являлся одновременно пансионом для молодых литераторов. Те из них, кто стремился быть поближе к профессиональной среде, могли тут квартировать и питаться за небольшую сравнительно плату.

Лерой Скотт, глава этого учреждения (до него — Роберт Хантер), в связи с возникновением горьковской истории, серьезно встревожился: прятать у себя иностранца, да еще с женщиной, столь скомпрометированной, значило подвергать большому риску собственное общественное положение, хотя подруга Максима Горького производила впечатление прекрасно воспитанной особы.

Последнего нельзя было сказать о коллегах Лероя Скотта, занимавших меблированные комнаты в особняке. Оказавшись приобщенными к столь сенсационной истории, они по случаю воскресенья не покидали стен общежития, стремясь любым способом привлечь внимание русских, бесцеремонно преследовали их. Юнцы, пробовавшие силы в журналистике, в поэзии, они считали себя уже писателями, искренне сочувствовали Максиму Горькому, но более наслаждались причастностью к чужой тайне. Литературное имя имели только двое — Лерой Скотт как новеллист и Роберт Хантер, публицистическая работа которого «Бедность» привлекла внимание критики.

Молодые люди хором осуждали американскую прессу, не понимая, что своей любезной назойливостью становятся сродни ей. Более других переживала за невольных гостей жена Лероя Скотта Мариам, считая их соотечественниками:



девочкой со своими родителями эмигрировала из России. Миссис Скотт она стала немногим более года назад, почти одновременно с выходом у супруга первого романа «Секретарь профсоюза», хотя в женских журналах, в которых сотрудничала, продолжала подписываться по-девичьи — М. Финн. Мариам была единственной женщиной, живущей в этом общежитии, и испытывала гордость за свою решимость, за то, что не побоялась оставить у себя Горьких...

— Мне кажется, что тут не хватает осведомленности «Джорнэл»...

Ботманский бас заставил всех собравшихся в гостиной оглянуться на вход. От двери прямо к Алексею Максимовичу направлялся голубоглазый верзила-корреспондент Карл Декер. В протянутой руке он держал, потряхивая, бланк с наклеенными кусками телеграфной ленты.

— Это вам, мистер Максим Горький. — Декер, осклабясь, протянул через головы бланк. — «Ассошиэйтед пресс» распространило по газетам из Айдахо.

Алексей Максимович недоуменно повертел в руках телеграмму и хотел передать ее Марии Федоровне, которая сидела возле камина, зябко кутаясь в платок.

— Пусть переведет Мариам, — сказала она.

Мариам устремила большие темные глаза к лентам. Прочитав про себя английский текст, стала переводить на русский:

— «Брат! Классовая борьба ведется во всем мире; она одинакова и в Америке, и в России и действительно превращает нас в братьев. Передайте лучшие пожелания нашим товарищам — рабочим на вашей родине. Душою мы с вами. Примите наш братский привет».

По мере того, как Мариам читала, губы у Алексея Максимовича, подрагивая, растягивались в улыбку, разглаживались глубокие морщины на лбу.

«Вот она, истинная классовая солидарность — интернациональная, что бы там ни молили продажные писаки», — подумал Алексей Максимович, сразу догадавшийся, что авторами телеграммы являются Хейвуд и Мойер.

Посылая телеграмму в окружную тюрьму штата Айдахо, он не очень верил, что она скоро дойдет до них, тем более не надеялся на ответ. И надо же, сейчас, в такое горькое для него время, — братский привет от товарищей по классу, по борьбе, остающихся бодрыми, несмотря на угрозу смертного приговора! Он впервые услышал о них как раз в этом

особняке, на приеме в клубе «А», полное название которого в соответствии с программой сеттельмена расшифровывалось так — «Клуб социальных реформ».

Алексей Максимович понимал, что после прочтения телеграммы — ответа из тюрьмы от него ждут соответственного высказывания. Карл Декер даже держит наготове раскрытый блокнот и ручку. Глядя на эту ручку, Алексей Максимович сказал:

— Я тронут гордыми и смелыми словами ваших революционеров. Конечно, верю, что общими усилиями людей, преданных социалистическим идеям, и просто честных граждан топор, занесенный реакцией, будет отведен. Для меня совершенно ясно, что динамитная бомба, сброшенная к дому бывшего губернатора, предназначалась в первую очередь для подрыва профсоюзной рабочей организации. Методом провокации в России тоже широко пользуются — и власти и предатели.

Карл Декер шумно захлопнул блокнот: рассуждения Максима Горького печать не поместит, хотя они чертовски интересны. «И справедливы», — добавил журналист для себя.

Ему ли, Декеру, не знать о том, какую мощь может набрать провокация?! Когда он в 1897 году по приказу шефа оказался на Кубе и подкупил солдат-испанцев, чтобы увести от них арестованную Эванхелину Косло-и-Сиснерос, то не предполагал, что за бомба получится из семнадцатилетней смазливой девчонки, помогавшей кубинским мятежникам. Декеру пришлось превратить ее в своих корреспондентках в благочестивую воспитанницу монастырского колледжа, а гарнизонную гауптвахту, где она содержалась, — в мрачное сырое подземелье и даже сообщить, специально для слабонервных, что Эванхелине со стороны испанцев грозила высылка в Африку.

Девчонка, надо отдать справедливость, оказалась настоящей патриоткой, до самозабвения обожала свой крохотный островок — всего лишь шпору для кавалерийского сапога Тэди Рузвельта (второй его шпорой, как известно, стали Филиппины). Декер, опять-таки идя навстречу пожеланиям Херста, тайно на корабле доставил Эванхелину в Америку и вместе с ней проехал по стране, рекламируя девушку как кубинскую Жанну д'Арк.

Пулеметная речь, драматично вскинутые кулачки, разметанная грива волос, горящие глаза в пол-лица разжигали воинственное настроение рыцарей в техасских шляпах, а от-



четы Декера с этих собраний подталкивали военщину и самого президента к решительным действиям против испанцев. На это и рассчитывал Херст, который так был уверен в скором начале американо-испанской войны, что одновременно с Декером командировал на Кубу своего лучшего художника Ремингтона с приказом, чтобы тот слал батальные сцены и портреты храбрецов. «Ваше дело — обеспечить рисунки, я обеспечу войну», — уведомил шеф художника. И первым вкладом Ремингтона было трогательное изображение Эвангелины-узницы. Так изобразил, что после опубликования рисунка в «Джорнэл» двести тысяч американцев подписались под протестом, который направили испанскому правительству. Словом, Херст сумел раздуть тиражи газет, доказать верность Уолл-стриту, а также спекулянтам — торговцам оружием и военным снаряжением: в армию потекло гнилое обмундирование, испорченные консервы, дырявые суда...

Но для того чтобы «обеспечить» войну, а затем оккупацию острова, понадобился еще один решительный шаг — взрыв на рейде Гаваны американского крейсера «Мен». Причина взрыва осталась нераскрытой...

«Двести человек — весь экипаж крейсера — пошли ко дну. Вот это провокация! А тут один губернатор, притом — отставной», — мрачно острил про себя Декер, прислушиваясь к разговору.

— ...Хейвуду и Мойеру два месяца назад предъявлено обвинение, а начала процесса не видно, — сказал Лерой Скотт. — Если бы их ждал справедливый суд, а то ведь убийство под личиной закона.

Роберт Хантер расхохотался, вроде бы неуместно.

— Ты последнее время без конца цитируешь самого себя, — пояснил он. — Это же слова героя твоего романа Тома Китинга, на сто процентов положительного профсоюзного лидера.

— Но которому в жизни никогда не быть Большим Биллом, — добавила, стрельнув в мужа глазами, Мариам. И тут же обратилась к Максиму Горькому и Марии Федоровне: — Так называют Хейвуда за огромный рост и силу.

— Шесть футов два дюйма, вес — двести двадцать пять фунтов! — уточнил Деккер и, осклабясь, добавил: — Хейвуду удобней пистолет, чем бомба, — у него один глаз, легко целиться.

Шутка получилась уж очень тяжеловесной. Декер это почувствовал и сразу же нейтрализовал:

— Глаз Хейвуд потерял на руднике: дрался не то с солдатами, не то со штрейкбрехерами. Отчаянный парень, по рождению с Дикого Запада.

— С Юты, — уточнил Хантер. — А глаз он потерял еще в детстве. Я как-то слушал Хейвуда на митинге. Находчивый!.. Группа подкупленных молодчиков хотела сорвать его выступление. Тогда он гаркнул: «Предупреждаю, у меня два пистолета!» И полез в карманы. Из одного вынул... билет члена профсоюза, а из другого — члена социалистической партии! Ха-ха-ха.

«Нет, из моего Тома Китинга определенно не получится Большого Билла, — мысленно согласился с женой Лерой Скотт и уже сам уколол себя: — Скорее дядя Том из «Хижины...» Бичер-Стоу».

Роберт Хантер между тем продолжал об арестованных:

— Плохо то, что недавно президент в публичном выступлении назвал Хейвуда и Мойера проповедниками недовольства, нежелательными гражданами. Тем самым, выходит, поощрил суд к ужесточению приговора.

— Вот как?! — нарочито удивился Горький. — А при царском дворе он прослыл гуманистом. Там помнят, что Теодор Рузвельт направил трогательно-соболезнующую телеграмму царю по поводу политического убийства генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея. — Алексей Максимович остановился, порывисто, с напряжением вздохнул.

«Удивительны они, эти русские, — подумал Лерой Скотт о писателе и о своей супруге Мариам, как-то безотносительно родственной близости. — Совсем не обладают социальной выучкой скрывать свои чувства».

Максим Горький продолжал:

— Правда, когда выкорыши князя Сергея и его порфиноносного племянника задушили в крови Московское восстание, расстреляли, зарубили, повесили тысячи людей, сожгли и снесли артиллерией целые рабочие кварталы, тогда официальная Америка не нашла нужным выразить сочувствие русскому народу. Впрочем, так же, как и после 9 января.

— Чертовски интересно, но ведь никто не напечатает! — повторил Карл Декер, который во время высказывания Горького то вынимал, то клал обратно блокнот. — Пресса сейчас против Максима Горького, а она всеильна.

Последние слова журналист сказал особым тоном, в котором в соответствии со смыслом фразы должно бы звучать осуждение, в действительности же чувствовалось восхище-



ние. Оно так и получалось: Декер был горд своей службой прессе, а сейчас просто искренне сожалел, что столь сенсационный материал останется втуне.

— Русский народ очень надеется на международную солидарность, на вашу помощь, — прямо к слушателям обратился Алексей Максимович. — О братстве революционеров и пишут Хейвуд и Мойер в своей телеграмме. Именно классовая борьба, единство цели трудящихся превращает нас в братьев. Таковым считайте и меня.

— В вас все видят Данко с факелом, — горячо отозвалась Мариам и продекламировала: — «Он разорвал руками себе грудь и вырвал свое сердце и высоко поднял его над головой!..»

В гостиной зааплодировали: «Старуха Изергиль» впервые была переведена на английский в прошлом году.

Алексей Максимович запротестовал:

— Только не олицетворяйте меня с героем сказки, не выдвигайте в героя с факелом. От такой многократности получится факельное шествие, — писатель усмехнулся. — А это уже ассоциируется с ночью... Повторяю, я просто русский человек, революционер, социал-демократ. Я хочу на своей родине, и в Америке, и повсюду видеть народ свободным.

Слова Максима Горького были приняты как выражение его личной скромности. Мария Федоровна, тоже вынужденная отвечать на вопросы молодых людей, внезапно почувствовала головокружение: сказались напряжение, бессонная ночь. Она попросила извинение, хотела выйти из гостиной, но не успела — поблдев, тут же упала.

— Прошу всех покинуть комнату! — обратилась к растерявшимся мужчинам Мариам Скотт и попросила Алексея Максимовича, суетившегося возле Марии Федоровны, перенести жену на диван.

Пока Марию Федоровну приводили в сознание, Лерой Скотт, уединившись с Робертом Хантером, уговаривал его что-то придумать, чтобы помочь Горькому: находиться русским в общегитии нельзя, возможен грандиозный скандал. Скотт намекнул, что Хантер мог бы взять их к себе на дачу, но товарищ, отрицательно помотав головой, заметил, что такое невозможно из-за родственников по жене.

— Ба! — воскликнул Хантер. — Я знаю людей, не обремененных ни родней, ни нашими злополучными пуританскими традициями.

— Да?! — разом обрадовался и усомнился Скотт.

— Пойдем к телефону!..

Пока Роберт Хантер звонил, в кабинет появился Карл Декер. На вопросительный взгляд Скотта он поднял обе руки, будто защищаясь.

— Не беспокойтесь, ни одной душе не сказал и не скажу ни слова. Попросите для меня у мистера Горького пять минут. Это более нужно ему, чем мне.

Когда Алексей Максимович пришел, журналист пояснил:

— Мистер Горький, будет очень полезно для вашей репутации и для миссис Горькой дать через печать заявление, то есть высказать свое мнение по поводу газетной шумихи. Гарантирую, что немедленно напечатают.

Алексей Максимович задумчиво посмотрел в светлые глаза Карла Декера.

— Да, да! — подтвердил тот. — Отмалчиваться — самое бесполезное, расценят как слабость. Америка любит боксеров!

Когда Горький присел за круглый столик, Декер положил перед ним лист бумаги и любезно протянул ручку.

Алексей Максимович придвинул к себе бумагу и крупно вывел:

«В РЕДАКЦИИ НЬЮ-ЙОРКСКИХ ГАЗЕТ».

И, более не задерживаясь, с минимальными интервалами между словами, нажимая на перо сильнее обычного, написал:

«Я думаю, что эта некрасивая выходка против меня не могла исходить от американцев; мое уважение к ним не позволяет мне заподозрить их в недостатке такта по отношению к женщине. Полагаю, что эта грязь инспирирована кем-либо из друзей русского правительства, — и, отступив, добавил отдельно несколько фраз о Марии Федоровне. — Она моя жена. И никакой закон, когда-либо изобретенный человеком, не мог сделать ее более законной женой. Все сплетни о том, что наши отношения незаконны, — злостная клевета. Никогда еще не было более святого и нравственного союза между мужчиной и женщиной, чем наш».

Алексей Максимович, отдав написанное Декеру, который сразу же ушел, взял из держателя новый конверт и, надписав адрес: «Россия. Ялта. Дача Елпатьевского. Кв. Пешковой», принялся за другое письмо.

«...Русское посольство подкупило в Нью-Йорке одну из здешних, довольно влиятельных газет, и она подняла в уличной американской прессе шум... М. Ф. затравили до болезни. Все это мешает мне делать то, чего ради я сюда при-



ехал. Уступать не буду. Или меня вышлют отсюда, или я уеду победителем, хотя бы пришлось прожить здесь год. Вопрос не в самолюбии, а в борьбе с моралью мещан. Но заниматься этим не очень хочется, хотя это — революция, революция — в головах».

Горький закурил, прошелся и снова взял ручку.

«...Хочешь облегчить мое положение? Пошли телеграмму в «Нью-Йорк геральд». Скажи, что ты возмущена вторжением в личную жизнь человека. Что дело, которому он жертвует своим талантом, должно быть поставлено выше тех отношений, которые, видимо, еще недоступны психологии американца, создавшего широкую политическую свободу, но еще не свободного от рабства предрассудков, давно уже мертвых в России. Этим ты окажешь услугу мне и революции».

Перо чуть задержалось, оттого точка с каждой секундой становилась жирнее, расплывалась пятном. «Почему он, собственно, взваливает на Катю эту новую заботу и делает ей больно, упоминая имя женщины, которую она очень не любит, то есть не считается с ее личными чувствами?» И чтобы как-то перебить вопрос, на который ответить не мог, отвлекся, вспоминая, как предлагал ехать в Америку Леониду Андрееву, даже написал ему об этом из Берлина в Глион. Тогда у него вырвалась ясновидящая строчка: «В Америке, конечно, еще хуже, чем в Пруссии. А может, и лучше? Посмотрим». Сейчас можно определенно сказать — хуже!..

В дверь заглянули. Извинившись, вошел Роберт Хантер, следом — Лерой Скотт и Буренин. Все трое довольно улыбались, явно собирались сказать что-то приятное.

\*

Мария Федоровна поднялась с дивана, на который ее уложили после обморока. В сознание она пришла сразу, но Мариам, боясь осложнений и войдя в роль распорядительницы, потребовала полного покоя на час-два. И вот теперь, когда все ушли, можно наконец подняться. Подавляя в себе противное чувство слабости и досаду — надо же, свалилась публично в обморок! — Мария Федоровна подошла к окну и через щель в сдвинутых шторах (об этой предосторожности ее утром попросил Лерой Скотт) стала бездумно наблюдать за людским потоком, за панелями и проезжей частью, забитой каретами, экипажами и урчащими автомобилями, — последних из-за резких и непрерывных сигналов казалось значительно больше, чем на самом деле.

В уличном месиве, на самой середине авеню, она заметила одиноко стоявшую женщину в темном платье, отделанном на груди пышными кружевами. Женщина, пытаясь пересечь улицу, беспомощно крутила головой в поисках пути, — ее пестрая шляпка с широкими полями сверху, из окна, походила на колеблющийся под сильным ветром цветок. Казалось, сейчас его потащит за собой темный гремящий поток, кинет под копыта, колеса...

Скрипнувшая дверь отвлекла Марию Федоровну. Освобождаясь от кошмара, она медленно обернулась. «Ну конечно, Алексей, его легкую походку ни с чьей не спутаешь».

— Наш Евгений в будущей республиканской России, видно, дипломатом будет, — на ходу весело заговорил Алексей Максимович. — Провел через Роберта Хантера переговоры с одной интеллигентной американской семьей, упросил принять нас на какое-то время в их дом в качестве платных гостей. Как смотришь? — Горький выжидательно замолчал.

— Как хочешь, Алеша.

— Я так и отвечу Евгеньичу: «Мария Федоровна хочет, она согласна». Мне-то что? Для волжского босняка любой топчан — пуховая перина, — Алексей Максимович смеялся одними глазами. — Мы еще поговорим с Нью-Йорком. А то подумают, что Максим Горький — невежливый человек... В Арзамасе ко мне каждый день пристав приходил — гласный надзор! — так он меня вежливым считал, потому что я разговаривал с ним. Вот и тут Арзамас — американский, черт бы его побрал!

Мария Федоровна подняла голову, сказала:

— У меня такое чувство, что я не помогаю тебе, а наоборот...

Алексей Максимович сделал еще шаг.

— Я просто без тебя не мог бы, Маруся. Не мог бы: ни здесь, ни там — нигде.

И странно, Мария Федоровна, которая всегда была полна тревоги о нем — о здоровье, настроении, безопасности, — вдруг поняла, что если сейчас не ощутит заботы, тревоги Алексея Максимовича, о ней самой, то есть если не произойдет все наоборот то она не сможет отрешиться от страшного чувства, которому вдруг поддалась там, у окна.

Алексей Максимович будто прочитал эти мысли, взял в ладони голову жены и, нежно нажимая на щеки, потянул к себе, заставив ее подняться на цыпочки...



### 3. «НЕОБДУМАННЫЙ ШАГ»

С той минуты, как Мария Федоровна назвала себя женой Максима Горького, она уже не имела

своего дома, — жизнь пошла как бы на перекладных, с остановками в гостиницах, в случайных квартирах, с суматохой переездов и какой-то обнаженностью жизни: будто в каждой чужой двери имелся невидимый глазок.

Алексей Максимович жил еще и в созданном его воображением мире, легко уходил в работу. Его заваливали письмами, ей же никто не писал, даже родители, вероятно, боялись потерять место в Императорском театре за связь с дочкой-революционеркой, боялись повредить перепиской другим детям.

Алексей Максимович, когда они только что познакомились в Крыму, подарил ей свою фотографию, надписав: «Хорошему человеку Марии Федоровне Андреевой». И вот с того времени она для него «хороший человек», без которого он даже не хотел ехать за границу, в Америку. Она согласилась, не претендуя в этой поездке на большую роль. Так и писала Николаю Евгеньевичу: «Всю черновую работу, переписку и т. п. охотно беру на себя, на себя возьму, если хотите, кассу, вообще, все сделаю, что только в силах, чтобы быть Вам дельным товарищем». А получилось вот, с самого начала принесла лишь заботу...

Однако обитатели общежития, особенно из состоятельных семей, узнав, что их гостя — дворянка, пренебрегшая высшим светом, бросившая имение на берегу Черного моря, а в Москве — апартаменты из девяти комнат, ею восхитились. О прошлом Марии Федоровны в таком респектабельном плане поведал вкратце Буренин. Евгений явно перегнул палку, назвав хуторок под Туапсе, по существу дачу, имением. Но, по-видимому, при сложившихся обстоятельствах сделал правильный дипломатический шаг: звание известной актрисы, благородное происхождение, мнимое богатство и уход от него в революцию — все это поднимало в глазах американцев русскую женщину, пожелавшую стать подругой гонимого царем писателя и заплатившую за это сполна. Мариам Скотт увидела в ней еще и Анну Каренину, нашла аналогии: муж Карениной и бывший супруг Марии Андреевой — генералы, тот и другой в годах. Оба — тираны, так как не дали женам развода...

Только ошибалась Мариам и согласившиеся с ней доброжелатели. Первый муж Марии Федоровны Андрей Алексее-

вич Желябужский в самом деле был штатским генералом, действительным статским советником, и возрастом был старше на целых восемнадцать лет, но силой ее никто за него не выдавал. Наоборот, будущий супруг ей, выпускнице драматической школы, даже понравился: хорош собой, преуспевающий чиновник-либерал, высокообразованный, обладавший незаурядным артистизмом. Они вместе играли в любительских спектаклях, когда жили в Тифлисе и в Москве. С мнением Желябужского считались и профессионалы-актеры. Он был избран в члены Общества искусства и литературы, а позже — в члены правления Российского театрального общества. И не он, а она чаще ревновала, очень тяжело переживала его легкомысленную измену, которая практически развела их задолго до полного разрыва.

На разводе тоже сама не настаивала, впрочем, так же, как и Екатерина Павловна Пешкова, — обе они до сих пор официально оставались венчанными женами, не ломая этой ложной формальности, с одной стороны, из-за будущности детей, а с другой, страшась омерзительной формы бракоразводных процессов в России. Желябужский, как казалось Марии Федоровне, быстро утешился потерей, переехал в дом родителей и сейчас живет легко и свободно, не тревожит упреками и не очень беспокоится о сыне, которого и не пытался удержать при себе, как, скажем, Каренин.

«Ну какая же я Анна? — внутренне усмехнулась своим раздумьям Мария Федоровна. — Даже под поезд не бросаюсь. С платформы нью-йоркской надземки это выглядело бы куда сенсационнее, чем в какой-то захолустной Обираловке или Бологом».

Три года назад, когда она окончательно решила покинуть мужа и пришла сказать об этом Алексею Максимовичу, который, приехав из Нижнего в Москву, остановился в гостинице «Княжий двор», он принял ее трудное решение как само собой разумеющееся. В тот декабрьский день Алексей Максимович даже пожаловал к ним в дом и целый вечер дружески разговаривал с Андреем Алексеевичем. Нет, не о ней! — об издании благотворительного сборника в пользу учащихся женщин, просил, чтобы часть этого хлопотного дела взял на себя «их превосходительство», как он благодушно-иронически называл Желябужского в письмах. Алексей Максимович даже предложил Андрею Алексеевичу войти в число пайщиков нижегородского народного дома, при котором было создано товарищество по его эксплуатации.



Для нее тогда этот «благородный» разговор казался неловкой игрой, было безумно стыдно оставаться рядом с обоими. Казнясь, она считала виновницей только себя, так как не рвала с мужем. Вмешалась сама судьба — тут действительно можно увидеть нечто от романа: на Алексея Максимовича в Нижнем было совершенно нападение. Поздно вечером на берегу Волги на него набросился какой-то, вероятно подкупленный, мерзавец и ударил ножом в сердце. Спас Горького портсигар...

Мария Федоровна, узнав о происшествии, чуть не помчалась на Волгу, но в издательстве «Знание» для того, чтобы уверить ее в том, что Алексей Максимович жив-здоров, показали его письмо, в котором подробно и юмористически описывалось это событие. В конце содержалась приписка — не сообщать о покушении никому, в особенности газетчикам.

Их встреча была бурной, радость — безмерной. Мария Федоровна, держа в обеих руках тяжелый серебряный портсигар, в верхней крышке которого зияло трехгранное, будто пробитое стилетом отверстие, представляла страшную ночную сцену. Она по-особенному ясно поняла, что могла вот так, случайно, потерять навсегда Алексея Максимовича, и теперь уж окончательно решила, что не должна более находиться и минуты вдали от него...

Ведь как бывает, обстоятельства сводили их еще десять лет тому назад, в Тифлисе. В этом далеком от столиц городе, на любительских подмостках местного музыкального общества она и стала выступать под артистической фамилией — Андреева. В Тифлисе официально родился и писатель Максим Горький. В газете «Кавказ», в той самой, где в марте 1893 года появилась рецензия, возвестившая о появлении первоклассного драматического дарования — Марии Андреевой, всего лишь пятью месяцами ранее был напечатан рассказ «Макар Чудра», подписанный — «М. Горький». Но для того, чтобы пересеклись и соединились пути Андреевой и Горького, надо было родиться еще одному сокровищу русской культуры — Московскому Художественному общедоступному театру...

С начала 1904 года Мария Федоровна и Алексей Максимович уже не расставались, жили открыто. Но если такой поступок со стороны нижегородского мастерового, успешного посидеть в трех тюрьмах, не выходившего из-под полицейского надзора, был естественен — какого уж тут благоволения к освященному церковью таинству брака ожидать? — то

какова она, жена государственного контролера Московского узла железных дорог, коей аплодировала вся Москва, чей портрет рисовала сама Елизавета Федоровна, сестра царицы и супруга ныне убиенного московского генерал-губернатора великого князя Сергея?

«Вся Москва» перестала ей кланяться при встречах. Потомкам репетиловых и скалозубов все равно ничего не понять, если бы им даже и сказали, что Мария Желябужская — член РСДРП, принадлежит к большевикам, то есть к наиболее радикальному крылу социалистов, руководимых младшим братом казненного за попытку царевубийства Александра Ульянова! Это событие — вступление в партию — у нее произошло в один год с решением связать свою жизнь с Максимом Горьким.

Никто из светских знакомых Марии Федоровны не мог и подумать, что столь преуспевающая актриса кроме сцены интересуется еще и политикой, что среди ее друзей — люди, скрывающиеся от полиции, и студенты-репортеры. Но как раз такой студент университета, учитель сына Юрия, Дмитрий Лукьянов, и познакомил ее с «Капиталом», ввел в марксистский кружок. Андреева оказалась одной из многих русских интеллигентов, сумевших воспитать в себе, по словам Горького, «ту дальновидность сердца, которая помогла... отдать лучшие силы и лучшие годы делу рабочего класса»...

Марию Федоровну радовало, что она покинула высший свет, «скучных и никому не нужных людей», как писала в те дни Алексею Максимовичу, приводя в пример одного такого «ненужного» — бывшего своего горячего поклонника-камергера, который «прошел мимо нее, глядя на кончик собственного носа». Больнее было другое: ее брак с Горьким не сразу поняли люди, которых она глубоко уважала и любила.

Одни это встретили молчаливым неодобрением, другие — предупреждениями о серьезных семейных последствиях «необдуманного шага». «Предупреждал» сам Станиславский, Савва Тимофеевич Морозов — тоже, а Немирович-Данченко, выражаясь в своей манере, даже связал с ее «взбалмошностью» охлаждение к Художественному Максима Горького. Кое-кто в союзе писателя и актрисы увидел только увлечение, смотрел на него скептически, как на временный. Буква «Г», которую в театре суеверно боялись (чуть ли не все пьесы, в названии которых содержалась «Г», терпели неудачу: «Ганнеле», «Возчик Геншель», «Счастье Греты»), вроде бы и тут оправдала свой мистический смысл...



Более чем холодно отнеслись к этому событию и родители Марии Федоровны, уход от Андрея Алексеевича считали опрометчивым поступком и по отношению к родственникам, так как тень от ее поведения, думали они, рано или поздно непременно упадет на их семью...

А дети — и его и ее?! Им и вовсе трудно разъяснить правомерность такого шага родителей. Мария Федоровна и не пыталась. У детей своя психология, свой взгляд на родительский долг — они только хотят, чтобы мать и отец были хорошими, то есть самыми лучшими людьми. Теперь же и она и Алексей Максимович стали лишь «заботливыми». Ее дочь и сын жили в семье сестры Кати, понимающей ее лучше других, возможно даже не столько понимающей, сколько извиняющей.

Мария Федоровна ясно увидела комнату своего первенца Юрия, уставленную моделями разнообразных парусников, пароходов. Мальчику страшно не повезло, он готовился стать моряком — в роду Желябужских их было много, — и нелепый случай перечеркнул мечту: Юрий свалился на полном ходу с велосипеда и так сильно повредил колено правой ноги, что остался навсегда хром. Хорошо, что теперь у него появилось новое увлечение — художественное фотографирование и киносъемка. Но надолго ли все это? Мечется, а ведь ему уже идет восемнадцатый. Понимает ли он свою мать? Двенадцатилетняя Катя — вряд ли: ушла в себя...

Нет, нет, это вовсе не был порыв! Прежде чем покинуть мужа, с которым прожила много лет, она достаточно помучилась, приготовилась к тому, что многое ей придется отрывать с болью.

Немало перенес и Алексей Максимович, который еще долго ездил между Москвой и Нижним, между двумя домами, стремясь как можно деликатнее обойтись с первой женой Екатериной Павловной, — с ней оставались двое его маленьких детей, тоже сын и дочка. Мария Федоровна старалась подавлять в себе приступы ревности и, как более житейски опытная (она была старше Екатерины Павловны на восемь лет), проявлять к ней снисходительность. Но... мучилась, мучилась, не показывая это ни видом, ни словом. Иногда она даже думала, что Алексей Максимович все еще не разлюбил прежнюю жену, забрасывает ее письмами, извещающими о каждом новом произведении, о любом событии. Он, правда, не скрывает свою переписку, порой даже советуется, что написать, но в некоторых из писем сквозит много больше, чем

простое внимание. До сих пор Екатерину Павловну продолжают именовать женой Максима Горького и многие друзья писателя. Когда Алексея Максимовича заключили в Петропавловскую крепость, она приезжала в Петербург и как его жена пошла на прием к Трепову.

Об этом приезде Екатерины Павловны Мария Федоровна узнала, находясь в Риге, в больнице. Испытывая мучения от сознания собственного бессилия, ежедневно писала своим знакомым и Горького, умоляя принять меры, чтобы выручить Алексея Максимовича из крепости, и, если просьбы окажутся безрезультатными, то начинать немедленно общественную кампанию за его освобождение. Визит Екатерины Павловны к Трепову Марию Федоровну огорчил, так как, кроме унижения, и в первую очередь для Максима Горького, ждать было нечего. Нелегко было пережить и свидание Екатерины Павловны с Алексеем Максимовичем в крепости: власти разрешили, как жене заключенного, а «актрисе Андреевой» это не позволено, невозможно...

Даже милейший человек, умница Стасов, женою Горького называл Екатерину Павловну, а ее двусмысленно — подругой. Мария Федоровна это слышала собственными ушами в прошлом году на именинах знаменитого старца, на которые приехала вместе с Алексеем Максимовичем. Стасов — в малиновой широкой рубаше навыпуск, в новых темно-синих суконных панталонах, огромный, с ослепительно-седой бородой всею, от старости какой-то корявый — показался ей могучим дубом, к которому в трудную минуту прислонялось русское демократическое искусство.

Мария Федоровна искренне сказала ему, поднявшемуся навстречу: «Я бросила все дела в Москве и прискакала в Питер». Он хотел поцеловать у нее руки, но она подочернему подставила губы. За обедом усадил ее подле себя и признался, что излишне горячо и резко отозвался в письме к Алексею Максимовичу о его «Детях солнца», наверно, обидел. «Простите меня великодушно, его милая подруга», — попросил Стасов, не догадываясь, что больно ранит ее, так как пять минут назад, в разговоре с Леонидом Андреевым, громко поинтересовался самочувствием супруги Алексея Максимовича, Екатерины Павловны.

На следующий день какой-то «доброжелатель» прислал ей в гостиницу две открытки. На одной она была снята с Алексеем Максимовичем, а на другой — Леонид Андреев с Екатериной Павловной. Фотографии — хорошо знакомые,



исполнены только в разное время в мастерской Репина в Куоккале известным фотографом Буллой. Обе женщины позировали, устроившись в одних и тех же креслах, на специальном возвышении у окна, — один и тот же коверик под ногами и партнеры одинаково усажены справа на подоконнике.

Подписи на открытках содержали двусмыслицу: «Андреев с женой Горького» и «Горький с женой Андреева». Ясно, что фотооткрытки с изображением известных писателей-бунтовщиков выпустил кто-то тиражом нарочно и тенденциозно...

Когда через неделю, 24 июля, Марии Федоровне снова пришлось ехать в Куоккалу на именины, теперь уже Репина, то ей неприятно было заходить в его огромную, со стеклянным сводчатым куполом мастерскую, видеть это кресло, удвоенное благодаря стоявшему напротив большому зеркалу, неприятен был даже станок с натянутым большим холстом — на таком же Репин начинал ее рисовать вместе с Горьким, а потом вдруг стер или закрасил его, оставив ей одиночество с декоративным садом за спиной...

Алексей Максимович, казалось Марии Федоровне, в последнее время стал скуп на чувство. Иногда он глядел на нее так, будто ждал на ее месте увидеть не то кого-то другого, то ли вообще никого. А опомнившись, говорил обычные пустяки. В такую минуту ей как-то пришла на память его дарственная надпись на поэме «Человек»:

«Кладу эту вещь к Вашим ногам — каждая строка ее — кусочек моего сердца. Крепкое оно сердечико, а сейчас — Вы можете вырезать из него каблучки к туфелькам своим, и я только был бы счастлив этим!»

Посвящение Марии Федоровне показалось игривым и вовсе не вязалось с тем, что написано в поэме, да и с характером Горького.

\*

— ...Мы хорошо поговорим с этим Арзамасом! — повторил Алексей Максимович и, мягко снимая со своих плеч руки жены, добавил: — Сегодня воскресенье. Будем считать, что наша первая неделя в Нью-Йорке — это всего лишь затянувшееся причаливание к берегам Америки.

— Или блин комом, — грустно подсказала Мария Федоровна.

— Этим комом кое-кто подавится! И, уверяю тебя, нам помогут сами американцы. Уже помогают! — Алексей Мак-

симович принялся доставать из бокового кармана конверт, засунутый туда, видно второпях, наискось. — Зиновий принес почту из «Бельклер». Одно письмо он перевел, послушай: «Дорогой Максим Горький! Я прочел в «Нью-Йорк Америкэн» заметку относительно Вас и Вашей жены, которая находится сейчас с Вами в Америке. Там разъясняется дело о Вашем разводе и второй женитьбе, состоявшейся по законам Временной Русской республики. Это объяснение проливает свет на все дело. Ибо друзья тех, кто борется за свободу в России, поймут, что декреты Вашей Подпольной республики имеют силу закона и этого вполне достаточно». Я уже послал Зиновия за «Америкэн», — заметил Алексей Максимович и продолжил чтение: — «...Могу ли я также выразить надежду на то, что никому не удастся оторвать Вас от Вашей единственной цели — дела русской свободы? В борьбе за эту великую цель все американцы будут с Вами...»

Глаза Алексея Максимовича искрились радостью.

— Понимаешь, Маруся, в главном-то — не сожаление или сочувствие, а выражение уверенности в нашей победе, то есть в победе революции и будущей республики и даже признание де-факто, как говорят дипломаты, ее законов. Вот в чем суть! Понимаешь?!

«Еще бы не понять», — подумала Мария Федоровна, радуясь настроению мужа и ощущая, как в ее сердце струится желанное тепло. Недавние сомнения сразу помельчали перед тем, что американец назвал в своем письме «великой целью». Нет, видно, она еще не может до конца взвесить груз тревог и забот Максима Горького, столь ответственных и огромных, в которых так мало личного. Она же сама писала Буренину, что недопустимо «зря тратить такую силу, как Алексей Максимович, силу нужную и слишком важную для дела в целом».

«Нельзя! Недопустимо!» — жестко, уже по отношению к самой себе, сказала Мария Федоровна и, успокаиваясь, вспомнила французскую шутку: «Человек более всего боится того, чего с ним никогда не случается». Она подошла к затемненному окну и решительным движением раздёрнула штору.



1. ОТ «А» ДО «Х»

Пароход отправлялся в Бостон в самый полдень. Но густой туман, сквозь который виднелся бледный, ничуть не слепящий круг солнца, прохладной сырой тусклостью создавал иллюзию раннего утра. Судно шло на малой скорости, прислушиваясь к гудкам встречных кораблей, чьи силуэты проплывали подобно теням.

Герберту Уэллсу подумалось, что и он в своих мыслях вот так же движется в беспросветном тумане. Опершись грудью о фальшборт, он пытался по размытым очертаниям зданий на берегу Гудзона установить местонахождение парохода и предположить время выхода в залив.

У него никак не ладилось с первым очерком, который намеревался посвятить Нью-Йорку, хотя обычно писал очень легко. Когда садился за машинку, то ее непрерывный стрекот свидетельствовал, что писатель не бежит за каждой мыслью к книжному шкафу, а за пейзажами — к окну: все в голове уложилось, обдуманно.

«Трибюн» ждала, как договорились, занимательного оптимистического рассказа, интеллектуальной сенсации, остроумия, словом, хорошо известного Уэллса; исследователя-невидимки, проникшего в святое святых — подвальные сейфы морали и экономики страны янки.

Материальный прогресс — это то, о чем сразу хотелось писать, он действительно поражал. Циклопическая инженерная архитектура небоскребов, устремившая ввысь молодые селетельные, распланированные точной прямоугольной решеткой, в пик концентрическим окружностям, этим сдавливающим свободу дыхания петлям европейских городов, выросших из крепостей, будто отрицала традиции материнского материка.

Уэллс любил городскую улицу. Ее граненое каменное русло дисциплинировало, выравнивало людской поток. Эти же высотные авеню подхлестывали воображение грядущей человеческой мощью: стоит только подсунуть под заостренные, наполовину железные «скребницы неба» надежные движители с энергетическим источником, подобным его «кейвориту», — и запуск их хоть завтра на Луну, на Марс!..

Увы, сегодня этот город не столько «поднимает», сколько

«подминает», топчет человека. Сверни в рабочие районы Манхаттана, в еврейский Ист-Сайд, пеструю «Малую Италию», китайский, пуэрториканский или северо-восточный черный Гарлем, особенно в кварталы, выходящие к докам, к рыбному рынку, к порту, — и увидишь нечто схожее с командой ливерпульского сухогруза-угольщика, набранной по дешевке со всего света. Унижающая, убогая, будто вывернутая наизнанку жизнь. Даже лестницы к квартирам тут наружные, ползут по стенам зигзагами, как черные гусеницы.

Уэллс, возвращаясь к себе в гостиницу, усаживаясь обедать в ресторане, чувствовал себя так, как будто после грязной работы принимал наполненную чистой прохладой ванну. Под финиковыми пальмами, за столами, сверкающими белизной скатертей, серебром и хрусталем, смаковали дорогие яства нарядные женщины. В своих широченных шляпах с колышущимися экзотическими перьями и с умело обработанными косметикой лицами, они казались сплошь молодыми и привлекательными. Рядом благодушеествовали, пили и ели их гладкощекие кавалеры тех приятных средних лет, которыми как-то отличалось большинство преуспевающих американских мужчин.

Уэллс понимал, что со стороны он и сам казался одним из таких самодовольных посетителей, глухих к человеческим страданиям, — и сразу же его ум начинал работать острее, тревожнее, появлялось недовольство собой...

Туман продолжал сгущаться. Движение судна почти не ощущалось, но по усилившемуся гуду машин в трюмных глубинах, по дрожанию палубы под ногами становилось ясно, что оно ускорило ход, — значит, уже вышло в залив, в море.

Уэллс никак не мог отделаться от воображения, продолжал незримо видеть Нью-Йорк. Чтобы как-то поставить под минувшими впечатлениями черту, проститься с городом, он, достав записную книжку с примкнутом к ней на петле тонким карандашом, написал:

«Мое первое впечатление от Нью-Йорка — это громадный эффект материального прогресса, но прогресса мертвого, бесчеловечного, какого-то слепого неистовства напряженной энергии»...

Да! Этими словами и начать очерк.

«Бесчеловечного!» — повторил про себя Уэллс и опять подумал о центральной тюрьме в Трентоне, о соотечественнике-социалисте Мак-Квине.



— Вот он, ваш Мик, — сказал ему тогда надзиратель, показывая на род железной клетки в углу тюремной больницы: за железными прутьями на топчане шевелилась под клетчатым суконным одеялом фигура человека.

Надзиратель повернул ключ в запоре этой решетчатой камеры, открыл ее и жестом пригласил войти внутрь. Странное чувство испытал тогда он, Уэллс, перешагивая железный порог: не сострадание к заключенному, не ужас, что было бы естественно, а безотчетный страх того рода, который испытываешь перед темнею, страх непонимания.

«Этот парень не очень крепок физически, но духовно энергичен, — припомнились слова Бернарда Шоу о Мак-Квине. — Из таких выходят лейбористские деятели».

Мак-Квин действительно энергично включился в американское рабочее движение, но вскоре убедился, что «свободы» в Америке мало чем отличаются от английских. Летом 1902 года в Патерсоне, в пятнадцати милях от Нью-Йорка, началась забастовка на шелкоткацких фабриках. Хозяева не шли на уступки, они ловко использовали разобщенность рабочих: в Патерсоне жили только ткачи, а крашение шелка производилось в соседнем городе — Лодайя. Разобщение усиливал еще и языковой барьер: в Патерсоне большинство рабочих составляли итальянцы и венгры, а в Лодайя — немцы. Тогда-то профсоюз текстильщиков и отправил Мак-Квина к немцам-красильщикам, поговорить с ними, чтобы поддержали товарищей.

В разгар митинга в клуб, который помещался в одном из барачков, ворвались полицейские, разогнали всех, а Мак-Квина прямо с трибуны забрали с собой, арестовали. Ему предъявили обвинение в организации незаконного собрания и в подстрекательстве к мятежу. Восемь свидетелей, которых подсудимый видел впервые, подтвердили, что он анархист.

— ...И вот загнали сюда, — Мак-Квин показал на пол своей клетки. — И надо же случиться, в это самое время ко мне приехала из Англии семья. Жена с сыном и дочкой ждали меня на острове Эллис, на берегу их даже не выпустили... Товарищи выхлопотали мне освобождение под залог до решения Верховного суда штата по моей апелляции, по крохам собрали среди рабочих нужную сумму. И тут была устроена еще одна, уж вовсе бесчеловечная провокация. Подлость! — выкрикнул Мак-Квин, заставив оглянуться служителя. — В те часы, когда я ожидал свидания, мечтал обнять своих малышей — дочка только встала на ножки, — мою

семью насильно усадили на пароход и отправили назад, в Англию....

Уэллс, мысленно повторяя рассказ Мак-Квина, подумал, что истории, случившейся с этим молодым человеком, следует посвятить особый очерк обыкновенный ирландец, который с детства впитал ненависть к британскому владычеству, никогда не называвший англичанами Свифта, Шеридана, Шоу, Беркли, Уайльда и других славных сынов «Изумрудного острова», познает американскую демократию.

Вот и Максим Горький, стоило ему послать телеграмму забастовщикам-горнякам, сразу стал нежелательной особой. Ясно, что те же самые силы, которые упрятали в каменный мешок социалиста-ирландца, теперь пытаются заткнуть рот и русскому.

«Вероятно, Максим Горький не получил моего письма, отправленного на «Бельклер», — подумал Уэллс. — Ничего, главное, теперь у него есть надежное убежище».

...Вчера Уэллс заехал к Мартинам, чтобы посоветоваться с Джоном о поездке в Бостон. Во время их беседы зазвонил телефон в передней.

Служанка Лизи, пышнотелая молодая негритянка, предупредила, обращаясь к хозяину:

— Сэр, вас просят к телефону. Мистер Хантер.

Джон говорил долго. Когда возвратился, его лицо выражало растерянность.

Уэллс прекратил рассматривать предложенные Пристонией египетские древности, играя пластинкой из слоновой кости — гладилом для папируса, ждал.

Джон глубоко вздохнул и сказал:

— Роберт Хантер просит нас, — он сделал легкое движение рукой к себе, к жене, — чтобы мы на несколько дней приютили Максима Горького и его супругу... Говоря откровенно, Роберт почему-то рассчитывает при этом больше на тебя, — Джон Мартин обратился прямо к жене, — как на женщину, лишённую предрассудков. Он так и сказал, что у англичан, намекая на меня, их, по-видимому, больше.

— Джон, прошу серьезнее, — попросила Пристония.

— Пожалуйста, серьезнее. Максим Горький и миссис Горькая в настоящее время скрываются. Они в Нью-Йорке, но где находятся, об этом знают только их ближайшие друзья, — так пояснил мне Хантер.

— Если бы у них в Нью-Йорке имелись «ближайшие», нам бы не позвонили, — жестко уточнила Пристония.



— Допустим.

Уэллс, который машинально продолжал заниматься гладиолем, неожиданно сказал, неожиданно и для самого себя:

— Считайте, что и я присоединяюсь к этой просьбе.

— Да?! И вы тоже? — удивился Джон, глядя по-прежнему на жену.

Пристония, будто не замечая вопросительного взгляда мужа, обратилась к гостю:

— Ваши слова, мистер Уэллс, делают нам честь. Мы с Джоном, конечно, выполним эту вашу просьбу. Так, Джон? — Она в упор посмотрела на мужа, добавила: — Да и невозможно, чтобы в такой большой стране у русского писателя не нашлось друзей. Для начала пусть ими станем мы.

— Bravo решимости американской женщины! — Уэллс полушутливо, едва слышно зааплодировал.

Пристония возразила:

— В желании позаботиться о Максиме Горьком меня утвердила еще и беседа газетных кумушек с Марком Твеном. Мэтр как-то двусмысленно похвалил обычаи нашей страны, которые, видите ли, Максим Горький нарушил. Я, коренная американка, об этих обычаях думаю по-иному.

— Только где их устроить и как поделикатнее пригласить? — озабоченно высказался Джон.

— Это я возьму на себя, — ответила Пристония. — Напишу письмо.

— Но его надо передать...

— Вот и скажи сейчас Хантеру, что будешь сегодня в клубе «Х» и привезешь туда наше формальное приглашение для передачи его супругам Горьким.

Пока Джон Мартин ходил к телефону завершать разговор с Хантером, Пристония набросала несколько строк и, как только муж появился, прочитала их вслух. Уэллсу особенно понравился последний абзац:

— «...Я не могу и не хочу позволить, чтобы целая страна обрушилась на одинокую слабую женщину, и поэтому предлагаю Вам свое гостеприимство».

— Знаете, Роберт Хантер написал отличную книгу об оскудении американского общества, — обратился Джон к Уэллсу, чтобы как-то разрядить напряженность, повисшую в гостиной.

— И вскоре после этого породнился с богачами, — подхватила Пристония, имея в виду недавнюю женитьбу этого литератора на дочери капиталиста из Нортон-Ансона Фелпса Стоукса.

— Книгу так и назвал — «Бедность». Доказывает, что страна беднеет из-за огромного притока иммигрантов, — пояснил Джон.

— Скорее, наоборот, — не согласился Уэллс. — Иммигранты обогащают Америку. В этом смысле она — космополитическая потовыжималка!

...На Манхаттан Уэллс и Мартин отправились вместе. Профессор даже уговорил гостя зайти вместе с ним в клуб «Х», созданный социалистами.

— Почему такое название? У молодых писателей клуб «А» — это понятно: в некоторых американских школах «А» означает высшую оценку, а литераторам хочется быть очень хорошими, — посмеивался Уэллс. — Но с «иксом»-то обычно сочетается загадочное...

\*

В клуб «Х» превращался один раз в неделю верхний зал ресторана на углу Бродвея и 18-й стрит. Мартин и Уэллс внесли в кассу по три доллара пятьдесят центов — стандартную плату, из которой семьдесят пять центов отчислялись хозяину за аренду помещения, а остальное — плата за ужин.

По стоимости входа Уэллс понял, что рабочих в этом социалистическом клубе не будет. И верно, в зале толпились солидные, хорошо одетые люди. Они раскланивались, улыбались друг другу, очевидно являлись завсегдатаями. Среди них находился и Роберт Хантер, который сразу же подошел к Джону Мартину, отвел в сторону. Уэллс остался на месте, рассматривая сдвинутые ромбом столы. В дальней от входа вершине «ромба» стояли два флага: справа звезднополосатый — государственный, а по другую сторону — красный.

— Мистер Уэллс, рад вас видеть! — окликнули писателя.

Это был Франклин Гиддингс, профессор-социолог Колумбийского университета, к которому Уэллс заходил в день приезда в Нью-Йорк.

Здороваясь, Уэллс не удержался от шутки:

— Когда я протягиваю руку для пожатия, то непременно вспоминаю ваше утверждение, что все в человеческом обществе можно объяснить примерами из жизни животных: танцем — подражаем их брачным церемониям, пожимаем руки или целуемся — вроде бы, извините, обнюхиваемся.

— Да, да, — подтвердил Гиддингс, — это для того, чтобы убедиться в единстве породы. Точно так, как вы сказали в «Машине времени»: «Природа не прибегает к разуму до



тех пор, пока ей служат привычки и инстинкты», — и ученый довольно расхохотался.

Рассмеялся и Уэллс.

— Самому себя мне столь точно не процитировать. Но прошу не путать автора с персонажами книги. Я ведь там высказываю горечь по поводу кратковременности торжества разума и страшусь возрождения в человеке животного, преклонения, как бы это сказать, перед собакой в себе.

Уэллсу всегда казалось, что значение социологических открытий Гиддингса преувеличивается. В основу развития общества этот американец положил так называемое сознание рода, в этом понятии Уэллсу чудилось нечто мистическое, принимающее роль сознания.

— Конечно, хорошо, что вы опустили социологию с контовских небес, приземлили, — сказал он. — А далее? Классифицируя людей по продолжительности жизни, доказывая, что наиболее долговечны представители обеспеченных классов и что меньше всех живут рабочие, забываете задать вопрос: «Как быть дальше?» Вы утверждаете языком цифр, что и талантов больше среди обеспеченных, зато среди бедняков сколько угодно калек, сумасшедших и пьяниц, и опять забываете спросить: «Кто виноват?» И вместе с тем, повашему, будто бы все эти противоречия толкают людей в объятия друг друга, торопят их создавать ассоциации, а в итоге — и государства.

Гиддингс, не понимая, с чего это англичанину захотелось влезать в спор, ответил уклончиво:

— Ни кто иной, как ваш Спенсер, тянул буквально за руку эту молодую даму-социологию в благородное общество точных наук, усаживая ее за один стол с математикой, физикой, геологией, биологией тоже. Ну а я незаметно подсадил еще и психологию. О чем тут спорить, дорогой Уэллс? В физике мы изучаем повторение в форме колебания, в биологии — в форме наследственности, в социологии — в форме подражания, то есть передачи чувств и идей от человека к человеку, от поколения к поколению.

— Я совсем не о том, — сказал Уэллс, досадуя. — Если продолжать вашу метафору, то за столом дама-социология пока лишь украшает общество точных наук, а ей следует вдохновлять их и подталкивать во имя идеала общественного благоустройства.

— Много идеала, по-моему, все-таки хуже, чем много практики, — ответил Гиддингс и ударился в воспомина-

ния: — Со Спенсером мы не раз спорили, тоже в клубе «Х», только в лондонском. Не слышали о таком?.. Это был чрезвычайно интересный клуб, объединявший, правда, немногих членов, но каких! Спенсер, Тиндаль, Хаксли, заходил и Дарвин, — клуб являлся своего рода законодателем научных направлений. Он помещался в отеле «Антей», — обратите внимание на символику! — неподалеку от Кенсингтон-гарден, и закончил свое существование со смертью неистового Хаксли.

— Хотя Хаксли никогда не отрывался от земли, — заметил Уэллс. — Он — мой любимый учитель.

— Да? — ответил Гиддингс и, чтобы вовсе изменить направление разговора, объявил: — В Колумбии вскоре после вас побывал и Максим Горький. По его словам, мои «Принципы социологии» переведены в России, причем в провинциальном издательстве. Значит, наука начинает расплавлять даже социальную Арктику, какой мне всегда представлялась Российская империя.

— Сейчас в России почва раскалена.

— Для революции это нормально, она ведь стучит деревянными башмаками, — ответил Гиддингс, слегка переиначив Вольтера, — и шаг у нее размашистый, судя по Максиму Горькому.. Каково взялась за него «желтая» пресса! Это же попытка нравственного линчевания — как негров в Массачусет.

— Там недавно трех негров сожгли, — пояснил незаметно подошедший к беседующим Джон Мартин. Он уже переговорил с Хантером, и тот поспешил с добрыми вестями к Горькому в общежитие. Встретившись взглядом с Уэллсом, Джон кивком и улыбкой дал понять, что все в порядке.

Подошли еще двое — профессор Симкович, «специалист по русской общине», как был представлен Горькому в доме Уилшайра, и вместе с ним — стройный и моложавый мужчина — правильный овал головы, крупные черты лица, усы-бабочка и необычайной яркости глаза за стеклами очков, — от них-то и исходило ощущение молодой энергии, — словом, обладавший внешностью, о которой говорят — представительная или профессорская. Он и оказался профессором Колумбийского университета Джоном Дьюи, известным философом-прагматистом.

— Ученая делегация союзников социалистов?! — спросил Уэллс.

— Наоборот, противников, — ответил Дьюи. — Мы приглашены на диспут «Практичен ли социализм?». Меня лично



привлекла деловая постановка вопроса докладчиком, мистером Уилшайром, как и его недавняя статья в «Уилшайрс мэгэзин» с критикой идеи классовой борьбы, разрывающей общество, вместо того, чтобы объединять его силы. Еще Мишель Монтень сказал: «Я цепляюсь за то, что явственно вижу и чем обладаю, и никогда не удаляюсь от моей гавани».

— Сила протеста определяется не столько пропагандой идей, сколько условиями жизни, организацией общества, несправедливой по отношению к большинству народа, — ответил Уэллс, подумав, что разговор у него в клубе «Х» все время идет в разных плоскостях, не пересекаясь, как метро и надземка.

— Прошу не забывать, что на общественные возмущения серьезно влияет географическая среда, — полемически подхватил Гиддингс. — Восстание в Сицилии, мятежники на улицах Мадрида, революции в Южной Америке... Жара поднимает кривую переворотов, бунтов, равно как и кривую преступлений против личностей.

Уэллс снова подумал об искусственности теоретических обобщений Гиддингса, возразил:

— Профессор, вы же противоречите ранее сказанному о России. Общеизвестно, что природные условия там суровы. То есть, если уж говорить о климате, то решающее значение имеет социальный..

— Тем не менее, — вмешался Симкович и засмеялся, — именно юг, Калифорнию, выбрал Уилшайр для диспута с Рокфеллером. Видно, рассчитывал, что жара расслабит мозг старика: он всерьез попытался обратить керосинового бога в социалистическую веру!..

— Да?! — искренне удивился Уэллс.

— Перехватил его на курорте Санта-Барбара и стал агитировать, чтобы продал «Стандарт ойл» государству.

«Никогда, — отрезал старик. — Я хочу, чтобы американское государство реорганизовалось по принципу моего треста. Тогда бы оно могло управлять всем миром. Это скорее ликвидирует войны и голод».

Уилшайр обиделся и пригрозил:

«За самодовольство, за непредусмотрительность придется дорого расплачиваться».

«Ну и отлично, — ответил Рокфеллер. — Я оплачиваю свои ошибки по первому требованию: даром учить никто не согласится».

— Рокфеллер прав, — заявил Дьюи, слушавший коллегу,

как и Уэллс, с нескрываемым интересом. — Недавно старый Джон подписал дарственный чек на сумму, достаточную для постройки колледжа! И на чье имя, думаете? Букера Вашингтона, лидера негритянского просветительства. Это и есть плата за историческую ошибку нации: мы плохо воспитывали, учили негров. Вместо того чтобы создать из них людей благодарных за то, что были вырваны из африканской дикости, мы сами сотворили врагов американского общества.

— Думается, негры никак не меньше белых влили своей крови в экономический организм Соединенных Штатов, — возразил Уэллс. — Кстати, по Дарвину, родина человечества — Африка.

Собеседники, явно шокированные, переглянулись. Дьюи принялся издали готовить возражение:

— В истории каждой страны имеются, то есть были, свои негры.

— Именно! — воскликнул Уэллс. — Но история не оплачивается, не карается: она недоступна ни для золота, ни для палачей.

— Американский народ осваивал этот обетованный материк, — продолжал Дьюи, — как дружная семья, перебравшаяся на более удобный участок, — взято с собой только самое лучшее, необходимое.

— Именно, — согласился Уэллс. — Взят английский язык с его богатейшей литературой и объединивший нацию, взята европейская техническая культура, плюс к этому — жестокость потомственных рабовладельцев и военный опыт...

— Который был отлично использован против «родителей» и учителей, — раздосадованно досказал Дьюи. — Но такую победу нельзя не приветствовать: учителя стали помехой для детей.

Джон Мартин, который стоял за Уэллсом и думал, как поддержать его, нашелся:

— Правда, «родители», то есть учителя, еще сумели захватить Вашингтон и, для назидания, устроили из дома президента фейерверк!

— Но это же только для того, чтобы его после назвать красиво и почетно — «Белый», — отшутился Гиддингс, пытаясь смягчить сарказм Мартина, и, обращаясь к Уэллсу, пояснил: — Дом после английской оккупации долго стоял обгорелым, с наскоро побеленными стенами. А обгорел потому, что во время пожара под рукой не оказалось воды, хотя миссис Мэдисон в этот день затевала стирку.



Джон Мартин, не приняв шутку, опять поправил:

— Название «Белый дом» привилось еще до английской оккупации, так как здание облицевали белым песчаником. Излишен и упрек к супруге президента: ей незачем было запасать воду — по утверждению хроник, в день пожара выпал страшный дождь.

— Хватит, хватит, мистер Мартин! — нарочито взмолился Гиддингс. — Вы своей исторической дотошностью убили легенду.

— И увели нас в сторону от темы «учителя и ученики», — дополнил Дьюи. — Русский умный царь Петр I после Полтавской битвы публично благодарил плененных шведских генералов за их прошлые победы над русскими, назвал учителями.

— Вы надеетесь, что и другой умный русский, Максим Горький, последует этому примеру по отношению к американцам? — вдруг спросил Уэллс. Фраза была сказана машинально: он не переставал гадать о том, как Горький примет его вмешательство в дело предоставления убежища у Мартинов.

— Не думаю, — ответил Дьюи. — И должен заявить, что в этом случае я согласен с социалистами: инцидент с Максимом Горьким позорен для Соединенных Штатов.

Гиддингс, который с явной тревогой ожидал ответа Дьюи, часто закивал головой, сказав:

— Я перед вашим приходом говорил, что это попытка морального и общественного линчевания гостей Америки, отличающихся от нас своими взглядами.

— Однако нельзя не признать, — несколько напыщенно заговорил Симкович, который невольно пыжился в компании столь маститых коллег, — что Максим Горький и его окружение не пожелали учесть американскую психологию и обычаи и потому совершили величайшую ошибку. Такая точка зрения сложилась даже у многих доброжелательно настроенных людей, в частности и у меня с кузенком, — собеседники поняли, что Владимир Симкович кинул на весы авторитет Мориса Хилквита. — То же самое заявил публично и Марк Твен.

— Совсем не то же, — не согласился Гиддингс. — Начнем с того, что Марк Твен сам объявил США «Соединенными линчующими штатами». Помните, по поводу самосуда над неграми в Миссури, в 1901 году?.. Что касается Максима Горького, то, думаю, он не случайно в своем интервью на-

звал его имя «славыным», то есть вновь подчеркнул чувство глубокого уважения к нему, как личности, так и к его общественной деятельности. Далее, мистер Симкович, о нарушении американских обычаев. Не сам ли Марк Твен иронизировал над ними, когда говорил, что они построены из гранита, из меди, то есть их носители твердолобы или, что еще презрительнее, меднолобы...

— Тем не менее, говорят, Марк Твен отменил горьковский обед в «Лотос-клуб».

— Вряд ли Марк Твен. Скорее уж оскорбленный председатель клуба писателей Оскар Штраус: он имеет к «Лотос-клуб» большее отношение, во всяком случае в денежном смысле.

Дьюи покашливанием попытался прекратить спор и, преуспев, сказал:

— Сожалею, что я не сумел лично познакомиться с мистером Горьким, когда он заходил в наш университет. Что касается миссис Горькой, то ей уже послано приглашение выступить перед моими студентками из Бернард-колледжа... Безусловно глупо смотреть на эту русскую пару глазами мастодонтов из нашей прессы, по меньшей мере близоруко: такое массированное наступление на русского социалиста — лучшая реклама его взглядов.

— И творчества, — добавил Гиддингс.

— Но последнее-то заслуженно: произведения Горького имеют и для американцев воспитательное значение. Они ярко эмоциональны и чувственны, выгодно отличаются от его политических заявлений, в которых классовая нетерпимость и категоричный радикализм прямо-таки выпирают клиньями. Того гляди, обдерешься!.. Впрочем, и это полезно, — Дьюи улыбнулся, пояснив: — Сомнения — стимул к возникновению проблем, значит, и к совершенствованию, то есть помогают американским общественным институтам избавиться от излишнего самодовольства. Так что да здравствуют пробы и ошибки, без них немислим успех, даже элементарное выживание.

— Искусству в этом процессе врачевать души, — отозвался Гиддингс, неизвестно к кому обращаясь, — осуществлять гармонию между организмом и средой.

Профессора, показав, что они не разделяют политических взглядов Максима Горького, вместе с тем публично высказали понимание их истоков, сугубо русских. Такая интеллектуальная респектабельность включалась ими в понятие «американского».



риканская демократия». И хотя сам Уэллс ратовал за широкую политическую терпимость, за личную свободу как сообразование собственных действий с интересами других людей, двойная позиция жрецов американского образа жизни, даже при очевидной доброжелательности, представлялась ему высокомерной по отношению к русскому товарищу и к литературе вообще: сводить искусство только к чувствованию, эмоциям, инстинктам — это лишать его главного — разума. Неприемлем был для него — биолога — и термин «выживание», столь любимый Дьюи.

— Нелепо рассматривать человеческий мир в виде глобального лазарета, — сказал Уэллс. — Художник — социальный мыслитель, а не сиделка. Вы более всего печетесь о сегодняшнем дне, как будто хотите защитить его... от будущего.

— Но сегодняшние прививки и есть защита от возможных, то есть будущих, болезней, — заметил Гиддингс, глядя писателю в переносицу и поэтому не встречаясь глазами.

— Лучше все-таки не предотвращать болезни, а уничтожать их носителей, паразитов. Старая истина.

— Это так же истинно, мистер Уэллс, — вмешался Дьюи, — как и наше извечное соседство с паразитами. Заглянув в микроскоп, сразу понимаешь неизбежность такого содружества, как при рассмотрении в телескоп Вселенной легко вообразить, что представляем мы, человеки, при обзоре земного шара из космоса.

— Не надо смешивать два вопроса, — не согласился Уэллс. — Начнем с паразитов, только в более широком смысле. Лучшая среда для них — рана. А наше общество постоянно кровоточит, всё в язвах и струпьях. Разве не страшны следы войн или безмерной эксплуатации? Томас Мор, как и Марк Твен, тоже говорил о «медных лбах», правда, в ином, более политическом значении: «по уму равны пням, но повергают в рабство умных и хороших людей, так как обладают кучей золотых монет»... И, во-вторых, о науке. Она только тогда становится подлинно высокой, когда, оторвавшись от рассматривания капли воды или Млечного Пути, вперяет свой взгляд в общественные дали, когда переходит от языка формул к социально-политическому, а еще лучше — художественному. Искусство — самый демократичный и красноречивый народный учитель! Почему Генрих VIII отрубил голову Томасу Морю? Потому, что тот, познавая геометрию небесного мироздания, прошел через пространственные формы,

как через прихожую, к главному — к мирозданию человечества, человеку будущего, который сможет при необходимости, подобно Свифту, поднимать в небеса целые острова, а возможно, и менять пути планет. Но известит он о своем приходе, — Уэллс назидательно поднял палец, — разрушением нынешней общественной пирамиды! Томас Мор был первым английским социалистом, а Генрих VIII первым из королей понял опасность этого учения, потому-то без колебаний послал на эшафот своего любимого канцлера. Короли — они всегда были практичными людьми, прагматистами.

— Дорогой Уэллс, нельзя требовать, чтобы каждый ученый становился еще и писателем, — отвечал Гиддингс, подняв к самым ушам плечи. — Да и сами же в «Современной утопии» утверждаете, что нынешние литературные произведения направлены к тому, чтобы заглушить в читателе способность мышления, вместо того чтобы возбуждать ее.

— Столь большое внимание к моим работам делает честь вашей любезности, профессор, — ответил Уэллс, сердясь, что не может сдержать горячности, раздражения. — Однако у меня речь идет о романах, специально приспособленных к мировоззрению людей, ограничивающих общественный прогноз завтрашним днем, в лучшем случае — ближайшим воскресеньем. А серьезной литературе свойственны дальнзоркость и аналитический рационализм.

— Рационализм — это уже наука, — поспешил с возражением Симкович. — У писательства свои, прошу за вольность, окольные художественные пути к сердцу и к разуму, рациональное же выражается в четких формулах — прямая, окружность...

Уэллс поморщился и, не дослушав молодого ученого, пояснил:

— Литература не менее, чем наука, ответственна за будущее, как, впрочем, и за все настоящее, ей тоже свойственны и четкость и точность... Что касается окружности и прямой, скажем, диаметра, то они сочетаются через число «л» — довольно-таки приблизительную величину.

— Весной 1870 года английский пакетбот «Ориентал компани» подходил к Иокогаме, — Джон Мартин решил проиллюстрировать положение о прямой в историческом плане. — Ему пересек путь американский парусник «Энеида». Капитан пакетбота не пожелал менять курс, проложенный им по штурманской линейке, — и кованный нос его корабля срубил напрочь деревянную корму «Энеиды»...



На суде в Иокогаме — судил английский консул — капитан пакетбота объяснил, что он спешил доставить точно к обеду леди Паркс, супругу посланника ее величества в Японии. Этот довод оказался столь весомым, что наказание пирату было ограничено всего лишь полугодовым отстранением от командования судном. — Джон Мартин поочередно посмотрел в лица слушателей, оценивая впечатление от рассказа, и подчеркнул: — Я нарочно привел пример, в котором пострадал «проклятый янки», чья приверженность к прямой линии во всем — в строительстве, во взглядах, в действиях — стала уже притчей во языцех... Так что ищите и ищите, прежде чем предпринять действо.

— Это только в детстве все мы — кладоискатели, Томы Сойеры, — пробурчал Симкович, обиженный резкостью писателя. — Но зрелым людям бродить с праздным заступом на плече — по меньшей мере комично...

— Боюсь, что мы досрочно раскидали жар и на диспуте придется всего лишь раздувать головешки, — снова перебили специалиста по общине. Это сделал Гиддингс, который увидел входивших в зал оппонентов, то есть Генри Уилшайра и Мориса Хилквита.

\*

Герберт Уэллс, вышагивая по палубе, не узнавал в пассажирах вчерашних шумных, темпераментных нью-йоркцев: эти были сдержанными, сосредоточенно всматривались в туманную мглу.

«Вероятно, так подходил «Мэйфлауэр» со своими ста двумя колонистами», — подумал Уэллс, представляя на мужчинах вместо глаженных брюк в черную и белую полоску со штрипками бархатные, пышные, до колен — «никербокеры», а на мостике вместо нынешнего капитана, гладковыбритого, в черном сюртуке, с трубкой в зубах, другого — в кожаной куртке-камзоле с кружевным воротником, в сапогах с широкими красными отворотами, с усами а ля «герцог Орлеанский»...

## 2. В КРЕПОСТИ ПРАГМАТИЗМА

С конца прошлого века выработался стандартный маршрут путешествия любопытствовавшего европейца по Соединенным Штатам Америки. Из Нью-Йорка, куда он прибывал преимущественно на «Германике» или «Британике», что зависело от его симпатий к национальности

трансатлантической линии, а также от цены билетов, отправлялся далее в Филадельфию, начальную столицу Соединенных Штатов, когда на их государственном знамени было всего тринадцать звезд, затем — в Вашингтон, Чикаго, а с берегов Мичигана — на Ниагару и в Бостон. Замыкалось туристическое кольцо снова в Нью-Йорке.

Уэллс пренебрег традицией и начал поездку с конца, с Бостона.

Это не было случайностью. Если Нью-Йорк считался экономической столицей Соединенных Штатов, Вашингтон — политической, то Бостону давно было присвоено звание столицы духовной жизни. А духовное более всего в данном случае и интересовало писателя. Привлекал его Бостон и с исторической стороны. У выхода из порта он приобрел медаль с барельефом скалы в Плимуте, на которую высадились первые переселенцы из Старого Света в 1602 году. Бостон — город социальных опытов: здесь было поднято знамя борьбы с заморской королевской властью за республику, отсюда началось движение аболиционистов, в этом городе Вашингтон формировал свою армию, готовил ее в поход против рабовладельческого Юга. Тут родина американской культуры, науки, искусства.

Уэллс мог признаться, что в Бостоне он себя почувствовал лучше, чем в любом из городов, где успел побывать, то есть в Нью-Йорке, Трентоне, Нью-Джерси. Возможно, это чувство возникло оттого, что Бостон — наиболее англосакский город, как характеризовал Джон Мартин: по архитектуре, по обилию зелени, по респектабельности быта. Тут, ему показалось, даже швейцары держались с особым достоинством, подчеркивая тем самым, что внутри уютных, нормальной высоты домов живут люди сердечные, высокообразованные, с прекрасными манерами, сплошь полиглоты и музыканты...

Бостон со своим ровным дыханием стоял как бы в стороне от Нью-Йорка с сумасшедшим трепетом его гипертрофированного сердца, с психически изнеможенным населением, оглохшим от грохота трехслойного железнодорожного транспорта, ослепленным рекламами «самого лучшего», несущимся по-заячьи, за долларом, обуреваемым безумным духом меркантилизма. Ну, конечно, Бостон ближе Уэллсу — это ведь и частица его старой Англии.

В муниципалитете писателя познакомили с красочной картой — планом будущего Бостона. Он вместе с тремя эн-



тузиастами градостроительства совершил на автомобиле объезд этого воображаемого города.

— ...У Бостона собственный путь развития, отличный от стандартно-американского, — кричали ему в правое ухо, соревнуясь с треском мотора, а в другое ухо: — Бостон вносит собственную мелодию в общую симфонию развития Америки. Это будет город высокой культуры и здоровой жизни, — говорил, оборачиваясь к нему, третий, сосед шофера, — с удобными жилищами, широкими улицами, огромными парками, чистой рекой.

Таким Бостон предсказывался по проекту к 1960 году, то есть через полвека.

— Разумная дальновидность, — подтвердил Уэллс, подумав о слепом расширении Лондона, который бесформенно, как амeba, расползлся бесчисленными пригородами, захватывавшими зеленые холмы и небесную голубизну, утыкая ее грязными иглами заводских труб. А здесь — план, разведка! Захотелось кое в чем и усомниться.

— Будет ли город нормально освещен солнцем?

— Мы рассчитали ширину улиц, пропорции высоты каждого строения и угла падения солнечных лучей в разное время дня.

— Не случится ли индустриального конфликта с природой, подобно чикагскому?

— Нет, учтено все, вплоть до количества выбрасываемого дыма...

Под конец экскурсии Уэллс шутливо заметил:

— Мне наш обзор напомнил эпизод из истории фламандца Тиля Уленшпигеля. Помните, он выставил свою «картину» — абсолютно чистое полотно. И приглашенные, чтобы не прослыть невежами, начали обсуждать ее достоинства. Мне тоже очень хочется реально увидеть, в красках, эти шестидесятые годы, которые вы столь заманчиво рисовали.

— У нас вполне материально: чертежи, проекты, эскизы, расчеты. Мы, мистер Уэллс, как и вы, за плановость, за прогноз.

— И отлично! Значит, тогда вы, как и я, верите, что в 1960 году Бостону быть социалистическим городом, — писатель повернул разговор на политическую тему. — Какие же люди будут жить в вашем утопическом Бостоне?

Однако в муниципалитете не поддержали желание Уэллса и отделились шуткой, что архитектурой общественно-исторических явлений занимаются по-соседству — через реку

Чарльз — в «главной конторе» Кембриджа. В виду имелся Гарвард, самый старый, самый привилегированный университет Америки, колыбель руководителей нации и государства, выпускником которого являлся и нынешний президент Теодор Рузвельт.

И в самом деле, каков же взгляд на будущее в этом блистательном учебном заведении Америки?

\*

Уэллс шел по асфальтированной тропинке, стараясь держаться теней, отбрасываемых раскидистыми вязами, — день был жарок.

Университет представлял целый городок, состоящий из полусотни разнообразных зданий — факультетов, музеев, общежитий, клубов, главной библиотеки с просторной гранитной лестницей и коринфскими колоннами, множеством дворов, площадок, зеленых лужаек.

Армией в пять тысяч студентов, пятьсот пятьдесят профессоров и доцентов управлял президент Чарльз Элиот, избранный на этот пост еще в 1869 году. Влияние Элиота ощущалось далеко за пределами каменной ограды университета. Во всяком случае, для многих его воспитанников было немаловажно, что он голосовал за Рузвельта и поддерживал его. Джон Мартин утверждал, что этот пуританин из Новой Англии завоевал почетное место не столько как профессор химии, а как превосходный организатор и педагог. Его неистощимое терпение в поисках методов преподавания, умение выслушать молодого коллегу и посчитаться с его мнением, решительное содействие развитию естественных наук, несмотря на личную религиозность, вызывали к нему уважение в разных кругах.

Годовой бюджет университета в полтора миллиона долларов позволял вести с размахом исследовательскую работу. Элиот стремился соединить общее гуманитарное образование со специальным. Для чтения лекций приглашал известных ученых из-за рубежа, утверждал, что ланцет одержал победу над микстурой, и предлагал лезть в глубь предмета, как бы это ни было опасно. Он готовил знающих и бесстрашных капитанов буржуазно-демократической политики, даже допустил в потемневших от старости, мшистых у основания стенах Эммерсон-холла, в котором помещался философский факультет, существование социалистического кружка. Возможно, думал, что лучше, когда опасный микроб будет раз-



живаться в надежной колбе, под неусыпным наблюдением университетских философов, или надеялся, что «красная блажь» окажется слаба для заражения студентов-снобов..

Элиот встретил гостя на внутреннем квадратном дворике, проводил в свою резиденцию.

— Мы учим студентов мыслить, — первое, что пожелал сказать о своем университете президент. — Главное условие для этого — откровенность: молодой человек должен говорить только то, что думает. Ложь свела бы на нет все наши усилия.

Чарльзу Элиоту, который считал, что добывается свободы мнения в американской высшей школе, хотелось выглядеть объективным в глазах европейца, ищущего Будущее. Оценив кивок собеседника как знак одобрения, он продолжал:

— Истинно то, что проверено на стенде, над чем можно зачеркнуть крест-накрест слово «эксперимент», — подводил Элиот гостя к мысли о надежности прагматического метода.

— Простите, уважаемый президент, — Уэллс вскинул голову, — но все сегодняшнее — это и есть всего лишь эксперимент для завтрашнего, несомненно, более совершенного.

— Опыт — основа университетского курса, — подтвердил Элиот. — Наука всегда бесстрашна к настоящему и будущему.

— Не думаю!.. Наука всегда кричит, нет — вопиет! — отрицая настоящее, точнее, его практическую узость, устремляясь в неизвестные дали. Прагматизм — это не американская выдумка. Но даже во времена римского практицизма философское всечеловеческое осмысление явлений было главным руслом реки мышления.

— Согласен, что философия — ответственнойшей из наук, — подтвердил Элиот. — Вспомним Демокрита: «Жалкие драхмы ничего не стоят, когда ищешь истину». Истину! — назидательно подчеркнул Элиот. — Этим и занимается наш Гарвард. Гегель, вступая в должность профессора в Берлинском университете, так и сказал: «Университет должен стать центром, где обретет свое место и должное внимание философия в качестве сферы формирования духа, всех наук и истины».

— Согласен, что должен, — подметил временную сторону цитаты Уэллс. — Можно повторить и современника: «Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия».

— Это кто же? — спросил Элиот.

— Тоже большой поклонник Гегеля, марксист Фридрих Энгельс, — глаза Уэллса явно смеялись.

— Кстати, философский факультет у нас самый многочисленный, — дипломатично обойдя Энгельса, продолжал Элиот и сдержанно, как и следует хозяину, пояснил: — Мы тоже за всечеловечность, интернациональность науки и прежде всего той ее части, которой характерна конкретная общественная полезность: не следует забывать, что философия когда-то включала в себя и физику. Так наш Гудзон принял в свои воды пароход Фултона, когда сам Наполеон, гордость Европы, отвергнул его.

— Наполеон — это не гордость, а горе Европы, как и азиатские чингисханы, римские цезари, греческие александры македонские и прочие глобального плана авантюристы, мыслившие только прагматически. Они неизбежны, как прыщи у подростков, но ведь человечество взрослеет?..

— И стареет, — дополнил Элиот. — Величие мы рассматриваем вне времени. Кодекс Наполеона, например, все еще в силе в нашей Луизиане.

— Простите, но ваш почтенный Томас Джефферсон называл императора Франции великим негодяем...

В кабинет вошел пышущий здоровьем лысоватый блондин, с поклоном остановился возле дверей.

— Вот вам компетентный специалист по практическому наведению мостов между Европой и Америкой! — обрадовался Элиот. — Прощу, профессор Мюнстерберг.

Профессор так стремительно сунул Уэллсу прямую жесткую ладонь, будто хотел пропороть его, столь же напористо и заговорил:

— Англия аристократична. У Франции низка мораль. Россия слишком абсолютистская, чтобы иметь симпатии и друзей в Америке.

— Остается только Германия! — догадался Уэллс и, усмехнувшись, оглянулся на Элиота.

Широкоскулое лицо Мюнстерберга выражало недовольство, глаза под безбровыми выпуклыми дугами помрачнели. Профессор, надо полагать, ожидал от своего шефа одобрительных эмоций и нетерпеливо пушил указательным пальцем кончики усов.

Психолог Гуго Мюнстерберг был как раз из числа приглашенных Элиотом из-за границы преподавателей, из Фрейбургского университета в Германии. Он согласился на три



года занять место руководителя лаборатории психологии в Гарварде. Со времени договора прошло уже три таких срока, а Гуго Мюнстерберг оставался в Америке. Он не менял гражданства и ежегодно, в летние каникулы, ездил на родину, считал себя послом гогенцоллернской империи в научных сферах Соединенных Штатов. Мюнстерберг, по его словам, добивался сближения двух великих центров культурных сил и заявлял, что этому содействует и самый великодушный из бывших гарвардских студентов — Теодор Рузвельт. Сейчас профессор не преминул сообщить об этом и Уэллсу:

— Рузвельт, спустя три дня после того, как принял бразды правления в Белом доме, писал мне: «Будьте уверены, что существует немного вещей, которые составляют предмет таких задушевных моих желаний, как искренняя дружба между Германией и Соединенными Штатами».

Профессор, не обнаружив на лице писателя большой заинтересованности в цитате, которую привел абсолютно точно, прокомментировал:

— Да, Германия способна на душевное понимание...

Уэллс умел извинять в людях маловерие и скептицизм как проявление духовной слабости, национальную же ограниченность считал опасным пороком.

— Людям нужно мировое единство, построенное на социалистических началах.

— Так вы марксист! — разочарованно протянул Мюнстерберг.

— Нет, — возразил Уэллс. — Но не могу не отметить тот факт, что Карл Маркс разработал доказательную теорию неизбежности коренного изменения существующего общества. Кстати, в книжном магазине в Бостоне я видел в продаже главный его труд «Капитал» и стоял он на витрине рядом с вашей двухтомной «Психологией».

— Что ж, — криво улыбнулся Мюнстерберг, — мы сейчас с вами тоже рядом, хотя я категорический противник социализма. Соседство вовсе не предполагает дружбу или драку.

— Сен-Симон и Фурье не терпели друг друга, — поддакнул Элиот. — А ведь были единомышленниками.

Мюнстерберг подхватил:

— Фурье целое десятилетие держал двери своего дома открытыми в ожидании устроителей социалистических общин. Но его обходили даже воры, боясь попасть в ловушку.

А вы... ха-ха-ха, — залился смехом профессор, — хотите, чтобы добровольно.

Элиот поморщился: у немцев энергия явно довлеет над тактом. И поэтому с подчеркнутой любезностью сказал:

— В девяти милях от Бостона фурийеры в середине прошлого века основали фаланстер «Брук-фарм». Им помогал главный пропагандист учения Фурие в Америке, высокообразованный Альберт Брисбен, который два года занимался в Париже под руководством самого Фурие. И что же? Колония идеалистов за два года прогорела — и в переносном и в буквальном смысле: пожар только довершил неудачу. Сейчас на том месте сиротский приют. Вам не кажется это символичным?.. — И так как Уэллс промолчал, Элиот дополнил: — Америка добросовестно, на практике, пыталась осуществить европейские социалистические утопии. На берегу Онтарио, например, в середине прошлого века было создано четыре ассоциации фурийеров, а в штате Огайо — пять! Еще и в графстве Монро, то есть на родине самого Альберта Брисбена.

— Словом, на первенцах все и закончилось, — резюмировал Мюнстерберг. — Хотя родиться первым — это, как правило, получить дополнительный запас сил от молодой матери.

— Профессор Мюнстерберг, кстати сказать, — первенец, — с едва заметной проницательностью отметил Элиот.

— Вот как?! А Вольтеру не повезло, родился пятым, — в таком же духе дополнил Уэллс. — Роберту Оуэну тем более — появился на свет восьмым ребенком в семье...

Мюнстерберг игнорировал замечания обоих, ему не терпелось продолжить свою мысль о фаланстере «Брук-фарм»:

— Не могли договориться несколько десятков человек, а мистер Уэллс толкует о разумном общественном договоре миллионов!..

— При условии, что они будут верить в разумное будущее, — подтвердил писатель.

— Верить восторгам масс?! Вспомните вашего Кромвеля: «Их было бы еще больше, если б меня вели вешать»... Говоря конкретно, в нынешних экономических неурядицах в Соединенных Штатах значительная вина падает на забастовки. И президент Рузвельт правильно делает, что пытается оградить жизнь страны от тирании двух отрицательных сил — монополий и рабочих союзов.

«Вот он, родной брат судьи — тюремщика Мак-Квина», —



подумал Уэллс, не пытаясь даже спорить с профессором-наемником. Он обратился к Элиоту, пытаясь воззвать к нему, как к ученому:

— Социализм — это единственное объединение людей, которое может развиваться по научному методу.

— Надо изучить до конца возможности нынешнего общества, — возразил Элиот. — Какой смысл бродить, подобно Диогену, днем с зажженным фонарем в поисках фантазий и утопий?..

— Да, да, и в самом деле! — подтвердил Уэллс со смешком. Ему стало ясно, что его рассуждения о переустройстве общества приняты здесь приблизительно так же, как и в Бостонском муниципалитете. — Когда хотят выразить пренебрежение к гипотезе, к мечте, говорят: «Утопия». А для того, чтобы еще вызвать и определенную ассоциацию, — писатель взглянул на Мюнстерберга, — могут вспомнить, что не случайно, мол, Томас Мор писал свою книгу на том же самом столе, на котором несколько ранее его гость Эразм Роттердамский слагал «Похвальное слово глупости».. Я думаю, что в будущем главным препятствием перед мировой плановой системой встанет еще и дух национализма, размахивающий ныне дубинками пушек, сабель, дредноутов...

— Недаром, мистер Уэллс, о вас говорят как о лучшем фантасте Англии, — несколько обескураженный остротой спора, предложил почетный выход Элиот.

— Конечно, лучший! Мы же англосаксы — лучшие из людей! — воскликнул Уэллс. — Английская литература — лучшая в мире, английская философия — самая дальновидная, английская драматургия — самая шекспировская, оружие — самое острое, проверенное на бурах, на сипаях, английский империализм — самый гуманный в том смысле, в каком когда-то доктор Гильотен расхваливал Наполеону свою машину: «Отрежет голову, ваше величество, так, что и не почувствуете!» И, разумеется, только во имя распространения передовых взглядов мы овладели полмиром... Ну не ясно ли, что мы, англосаксы, есть самые-самые?! И вы, немцы, конечно, тоже «самые», — снова обратился писатель к Мюнстербергу.

Профессор, который во все глаза смотрел на распалившегося англичанина, не нашел ответа.

— Во всяком случае, схожее впечатление остается после прочтения ваших «Американцев», — спокойнее продолжал

Уэллс. — Вы там прямо утверждаете Германию в качестве культурного центра Европы, если не всего мира.

— Одного из центров, — поправил Мюнстерберг и пояснил: — Да, я за скорейшее сближение потомков англосаксов и готов, то есть за культурно-политический альянс «США — Англия — Германия». Однако прошу вас не придавать столь решающего значения книге «Американцы». Я ее написал в качестве легкой каникулярной работы, так сказать, между делом.

Стремление принизить двухтомный труд выражало не столько скромность, сколько жеманство автора. Он явно демонстрировал самого себя в качестве испытанного культуртрегера, стремящегося, по его же словам, «привести политические сферы Германии в соприкосновение с академическими сферами Америки», а президента Теодора Рузвельта, перед которым предшественник Мак-Кинли выглядел всего лишь «картиной на плоскости», — всепонимающим Зевсом, благожелательно взиравшим с капитолийского Олимпа на идею такого альянса.

Мюнстерберг, подчеркивая это единомыслие, придавал многозначительность событиям самого разного характера: будь то его приглашение на обед в Белый дом, или верховая прогулка, лошадь для которой ему предоставил друг Теодора Рузвельта сенатор от Массачусетса Лодж, или прием в обществе старшей дочери президента Алисы на яхте «Метеор». На этой яхте в 1902 году прибыл в США с миссией доброй воли брат Вильгельма, принц Генри, который от имени императора и в духе развития программы «единения сфер» преподнес Гарварду подарок — Германский музей. И, конечно, не случайно за архитектурный образец при его строительстве было взято здание национального музея в Нюрнберге. Жест столь высокого и активного дружелюбия вынудил Элиота держать перед принцем благодарственную речь.

Вероятно, сейчас Элиот вспомнил об этом подарке — музей открылся в 1904 году, — так как, когда Мюнстерберг охарактеризовал свою книгу в качестве всего лишь каникулярной поделки, он, остановив взглядом разглагольствования профессора, заметил:

— «Американцы» весьма реалистичное социально-историческое полотно. Это объективный портрет нации в целом. Было бы хорошо, если б и другие иностранные ученые и писатели взглянули на Соединенные Штаты со столь объективной позиции дружелюбия и понимания.



Уэллс понял, что последнее означает намек и вместе с тем совет: попытайтесь посмотреть на нас таким же образом и вы, уважаемый гость.

— Нельзя игнорировать особенность эпохи, нельзя преподносить человеческую историю в виде одних ужасов и обещать такое же в будущем, — продолжал Элиот и еще раз попытался утихомирить писателя комплиментом: — Вы и без того, мистер Уэллс, напугали людей войной с марсианами. Спасибо, что сумели одержать хотя бы в теории победу над мыслящими слизняками.

И опять Уэллс не принял шутку.

— Только единение человечества освободит мир от войны. А пока ценнейшие материальные ресурсы укладываются в штабеля до очередного, с позволения сказать, исторического фейерверка, после которого в национальных энциклопедиях прибавится по несколько десятков портретов личностей в эполетах, а на полях — миллионы безымянных могил. Пропаганда ненависти захлестывает мир, главные силы идут на изобретение теорий взаимоисключения — политических, национальных, расовых. Когда я думаю о трагедии цветных в Америке, о миллионах черных людей и о тех, кто наполовину белый, то испытываю неверие в американский общественный разум, даже в элементарную, вами хваленую практичность. Это же держать под боком черный порох!..

— Но мы и не можем поставить нынешнее общество в музей, — уже раздраженно ответил Элиот, — во всяком случае до тех пор, пока не увидим ваше — лучшее...

— При котором все мраморные статуи великим завоевателям пережгут в полезную извесь! — перебил писатель.

— Мистер Уэллс, это не ново. Сладкозвучный Натаниэль Готторн уже предлагал бросить в костер пушки, мантии, кокарды и короны. Человечество не послушалось. Что касается негров, то более всех для них делает Букер Вашингтон. Ныне самое необходимое — это распространение практических и технических знаний среди этого отсталого народа, устройство ремесленных школ и заведений для подготовки учителей-техников. Букер Вашингтон сумел создать такой институт — Таскиги в штате Алабама, то есть в самом центре «черного пояса».

— Президент Рузвельт так же считает, — вставил Мюнстерберг. — Но когда он пригласил в Белый дом Букера и усадил его с собой за обеденный стол, то белый Юг поднял неистовый вопль!

— У вас в Европе представление о негритянском вопросе все еще по «Хижине дяди Тома», — сказал Элиот. — Советую вам познакомиться с Букером Вашингтоном. Он сейчас здесь, то есть в Бостоне, приехал по делам своего института. Это вам заменит десяток книг, в особенности таких, которые написаны недоброжелателями Америки.

Элиот, видимо, считал, что этой фразой должна завершиться беседа, но Мюнстерберг не уловил его желания, сказав:

— В Гамбурге говорят: «Хотите сделаться разумным и мудрым — отправляйтесь туда, где нет книг, — за океан, в Соединенные Штаты», — профессор громко расхохотался.

Элиот поморщился, так как знал, что эту побасенку Мюнстерберг любил повторять при сравнении постановки библиотечного дела в Германии и США.

— Не хотите ли, мистер Уэллс, кружку портера? — искусственно весело заговорил Элиот. — Его рецепт придуман здешним кабатчиком Портером. Это еще было при первом президенте Гарварда, человеке добрейшем, который ценил благие дела больше, чем проповеди, а конспекты своих лекций сваливал в бочонок из-под пива.

— Вот как?!

Элиот расценил реплику гостя как согласие отведавать напиток. Когда двинулись к дверям, он продолжил в прежнем тоне:

— Если бы колонисты «Брук-фарм» следовали этой мудрой традиции, они, конечно бы, справились с пожаром: будь у них подвал с вызревшим портером, огонь потушили бы легкой!..

«Вот так на темном пиве и закончилась моя поездка в гарвардское «светлое будущее», — иронизировал Уэллс, шагая с Мюнстербергом вслед за гостеприимным президентом университета.

### **3. РАСОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ**

Разочарование входит в дверь без стука, фамильярно сует тебе руку, изображает старого друга, готового посочувствовать. И хочется послать его к чертовой бабушке, этого старого, и все-таки усаживаешь бок о бок, как гостя на поминках...

Букер Тальяферро Вашингтон, Букер Тальяферро Вашингтон, ты, родившийся возле почтовой станции Хельский брод в Виргинии, но не ведающий, от кого и в каком году,



не говоря уж о месяце и дне, — время для рабов делилось на голодное и менее голодное, — выросший в убогой хижине с земляным полом и без окон, с собачьим лазом вместо двери, спавший в углу на куче лохмотьев, вечно дрожавший в ожидании побоев, — все это принял, как неизбежное, чего нельзя было миновать.

Ты, мечтавший понять тайну назначения букв, но кому разрешалось только в качестве выдрессированной собачки сопровождать нарядную дочку хозяев в школу, нести ее сумку с книгами, ценой немыслимых жертв все же получил образование.

Ты, не имевший даже собственной фамилии, так как рабам она не полагалась: назывались по имени владельцев, — после отмены рабства самостоятельно взял самую уважаемую в стране — Вашингтон...

Букер Тальяферро Вашингтон сидел перед искателем Будущего как Прошлое, как само разочарование. Герберт Уэллс, следуя совету Элиота, на следующий же день встретился в Бостоне с темнокожим просветителем. Он смотрел на коричневый выпуклый лоб, на волевой широкий подбородок, на мускулистую шею, сдавленную белым воротничком, на грудь, ломившуюся из стандартного пиджака, застегнутого на две верхние пуговицы, в умные глаза и думал о нелепости, унижительности роли этого человека в негритянском движении.

Писатель был достаточно наслышан об общественно-просветительской деятельности Букера Вашингтона, который летом 1899 года буквально очаровал салонную Европу. Он выступал с лекциями о жизни американских негров в Париже, в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле. Королева Виктория пригласила его на чай в Виндзорский замок, в Вестминстере он был представлен герцогу Вестминстерскому, держал речи в королевской школе слепых, в Либеральном клубе женщин. В его честь состоялся прием у американского посланника. Марк Твен, тоже находившийся в это время в Лондоне, произнес о нем несколько публичных комплиментов.

Букера тогда буквально заласкали высокопоставленные доброжелатели. Газеты воспроизводили его жест — поднятая вверх рука с растопыренными пальцами, который им самим объяснялся так: «Во всем чисто социальном расе могут быть разделены как пальцы, но во всем существенно важном для всеобщего прогресса должны представлять одно целое, как рука».

Бывшему рабу аплодировали и те, которые повелевали бесчисленными миллионами цветных в Африке, в Австралии, в Азии и на материке обеих Америк. Уэллс в этом увидел серьезный поворот в общественном мнении. Он и сам испытывал симпатию к человеку, сумевшему создать первый в мире учебный институт для негров.

Но уже тогда кое-кто обратил внимание на мутные идеологические кристаллы, выпадавшие из букеровской панегирической смеси, вроде фразы, воспринятой в салонах особенно горячо:

«Наиболее разумные между моими соплеменниками понимают, что возбуждение вопросов о социальном равенстве — крайнее безумие и что прогресс должен быть скорее результатом сурового и постоянного труда, чем искусственной борьбы».

Но «соплеменники» не разделили такую точку зрения. С родины оратора пришло открытое послание к народам Европы о преследовании негров в Америке, в котором содержалась и оценка деятельности негритянского лидера:

«...Против этой господствующей политики борются мужественные и энергичные американцы, белые и черные, но в борьбе за признание их человеческих прав им нужна, очень нужна моральная поддержка Англии и Европы. Иметь в своих рядах человека, который, ежедневно страдая от оскорблений и унижений в Америке, тем не менее пытается внушить, что все идет хорошо, — настоящая пощечина».

Среди подписавших этот документ был и тридцатилетний профессор истории, воспитанник Гарварда Уильям Дюбуа. Ровно через год, то есть в 1900 году, на Всемирной выставке в Париже, он представит специальную экспозицию и докажет на основании документов, статистики исключительно тяжелое положение негров в Соединенных Штатах.

Сейчас Букер Вашингтон узнал, что Дюбуа добился от Федерального бюро по вопросам труда разрешения провести социологическое обследование негров «черного пояса», значит, и в Алабаме, где расположен Таскиги. Дюбуа перестал с ним считаться, а ведь он когда-то приглашал этого юнца к себе в институт преподавать математику...

Конечно, Дюбуа сейчас самый образованный негр в Америке, возможно, и во всем мире: окончил три университета, в том числе и Берлинский, получил в Гарварде степень доктора философии. Но что выиграет негритянский народ от того, что негр-ученый станет в оппозицию к Букеру



Вашингтону и к тому, что им создано на голом месте?

Обо всем этом писатель и хозяин Таскиги уже переговаривали, чтобы вот так замолчать минут на пять, каждому углубиться в свои размышления.

— Читать и считать я научился, когда работал на угольных копях, — прервал молчание Вашингтон. — Помог мне отставной солдат. Но когда пожелал поступить в колледж для цветных в Хэмптоне, то мой оборванный вид ничего не обещал хорошего. У меня не было ни книг, ни одежды... Помню, дали мне две простыни, я никак не мог сообразить, как ими пользоваться: в первую ночь спал, накрывшись обеими, а на следующую положил обе под себя.

Уэллс понял: Букеру Вашингтону необходимо выговориться, хотя бы косвенно высказать обиду на людей, которые не понимают его взглядов, его осторожности, выработанных тяжким опытом.

— Наш Таскиги двадцать пять лет назад размещался в полуразрушенном сарае, в котором занимались три десятка учеников-негров и жила отданная нам из жалости слепая лошадь. А в минувшем году мы выпустили пятьсот специалистов! Сейчас у нас занимается полторы тысячи учащихся из двадцати семи штатов, а также из Африки, Порто-Рико, с Ямайки, Кубы... Таскиги готовит специалистов самых нужных профессий — учителей, младших медиков, агрономов, счетоводов, садовников, специалистов по уходу за скотом и птицей. Мои собственные дети обучались в Таскиги. Старший сын Букер стал отличным каменщиком, а младший Эрнест — фельдшером, дочь Порция прошла курс портняжного дела и, кроме того, очень искусна в музыке... Вместо крошечного участка — восемьсот пятьдесят акров прекрасно возделанной земли. На фермах более двухсот лошадей, мулов и коров, семьсот свиней, коз и овец...

Букер Вашингтон понимал, что для терпеливо слушавшего писателя вся эта детальная бухгалтерия утомительна, поэтому спешил к обобщению:

— Я получил звание учителя в Хэмптонском колледже, который давал с натяжкой среднее образование. Таскиги тоже нельзя назвать высшим учебным заведением. Но придет время, когда за негром будут признаны все права, на какие он может претендовать по своим способностям и по материальному положению. Пока же негр должен вести себя скромно по отношению к политическим притязаниям.

«Вот-вот, снова начался лондонский Букер Вашингтон,

который понравился даже королеве и владельцам акций компаний в Африке и Индии», — подумал Уэллс. Точь-в-точь такие же рассуждения он уже слышал из уст замаскированных конфедератов. Они рассказывали о насилиях черных, даже утверждали о наличии какого-то специфического запаха, исходившего от них, об их тупости. А одна очаровательная южанка из Иоганнесбурга обиженно заметила: «Вам надо быть одним из нас, чтобы почувствовать это». Для подтверждения она сослалась на Гарвард, где в музее естественной истории фигура негра установлена рядом с шимпанзе.

— Вы говорите, мистер Вашингтон, что в Таскиги учатся даже негры с Ямайки, — начал Уэллс. — Вам не кажется, что у негров Ямайки или Барбадосов не меньше прав, чем у их соплеменников в США?

— Нет, там много хуже. И в Южной Америке хуже. В Соединенных Штатах напряжение расовой борьбы ослабевает. В нашем институте даже побывал президент. Здесь, в Гарварде, в театре Сандерса, на меня надели темно-красную мантию и вручили диплом магистра искусств — в один день с доктором Беллом, знаменитым изобретателем, — Вашингтон искоса взглянул на писателя, чтобы убедиться в произведенном впечатлении. — Лет через пятьдесят мы создадим свою культуру.

— Культура белых, культура черных?! Культура — она всечеловеческая, нации и расы взаимно обогащают ее. Вы же толкаете свой народ к замкнутости, к изоляции.

— Нет, я не поддерживаю лозунг: «Негры, назад в Африку!», но и не соглашусь с Дюбуа, который жаждет, чтобы негры спешили подарить миру вождей. Я хочу видеть свой народ скромным, трудолюбивым.

— Не лучше ли, мистер Вашингтон, если негры вместе с белыми будут стремиться к вершинам знаний, а не готовиться стать всего лишь умелыми слугами?

— Это общие рассуждения, для меня же важнее конкретное, — упорно вел свою линию Букер Вашингтон. — В Чарльстоне, где я в юности спал под досками деревянного тротуара, укрываясь от полиции, недавно в мою честь в здании оперы состоялся большой прием. Председательствовал сам губернатор штата Джордж Аткинсон... Нет, уважаемый мистер Уэллс, нам, неграм, нужно хорошо и много работать, нравственно хорошо жить, завоевывать таким образом должное положение, но никак не провоцировать белых на выступления против нас. И учиться, учиться! Каж-



дый образованный негр — это посол в цивилизацию, в лучшее будущее.

— Ну и много ли вы выпустили за четверть века из своего Таскиги таких «послов»?

Вашингтон, подумав, ответил:

— Шесть тысяч примерно.

— А негров в США?

— Десять миллионов.

— Теперь подсчитайте...

— Образованность будет развиваться в геометрической прогрессии. Таскиги — только начало. Надо уметь ждать!

«Еще один Фабий Кунктатор», — подумал Уэллс, вспомнив Бернарда Шоу и других друзей-фабианцев. Он, кажется, понял официальную популярность идей Букера Вашингтона, с мнением которого действительно считались и сильные мира сего, для которого были готовы раскошелиться даже такие скряги, как Рокфеллер, — они видели в проповедях этого негра громоотвод от народных гроз, от пробуждения самосознания. По такой причине столь горячо его встречали в Великобритании, для которой решение национального вопроса, в частности ирландского, практически означает, быть или не быть соединенным королевством. А если глянуть на заокеанские владения, вроде «жемчужины» короны — Индии?.. Политика, которую проповедует Букер Вашингтон, устраивает королей, президентов, диктаторов.

Нет, Уэллс отказывался идеализировать эту темно-коричневую фигуру образованного негра-прагматиста со склоненной головой. Такая терпеливость, осторожность — сродни рабству. А раб не может творить духовную культуру, господа не дадут ему на это времени. Его удел — тупо, мышично работать, а передышки использовать на то, чтобы вытереть пот с лица, — вдруг эти капли запачкают белизну духовного полотна культуры господ...

— Странно, Букер Вашингтон, мне все это услышать от вас в Бостоне, — сказал Уэллс. — Если бы тут не звенел колокол «Либерейтора» Уильяма Гаррисона, который — помните! — публично сжег конституцию Соединенных Штатов, когда Конгресс принял закон о беглых неграх...

— Да, но Гаррисона протащили тогда по мостовой с веревкой на шее...

— Если бы тут не жил, не боролся Фредерик Дуглас...

— У него до конца жизни не гнулась сломанная белыми рука...

— Если бы тут не была написана «Хижина дяди Тома»...

— Ее забыли, в Америке ее никто сейчас не читает...

— Если бы могучий, не ведающий страха Джон Браун не лег вместе со своими пятью сыновьями-богатырями на пороге вашей желанной свободы...

— Так лег же!.. Был разгромлен и Нат Тарнер из Виргинии, он с восставшими неграми не дошел даже до границ штата, такая же судьба постигла и Везея из Южной Каролины, и Габриэля... Нет, незачем оглядываться назад, — упрямылся, все более хмурясь, Букер Вашингтон. Его лицо посерело. Уэллсу он показался смертельно больным. Прощаясь, писатель несколько задержал коричневую руку с синевато-розовой ладонью и пожалел, что не нашел в этом пятидесятилетнем негритянском деятеле союзника.

\*

Серебристым пятилистником улеглись на севере Соединенных Штатов, на границе с Канадой, между прериями, таежными лесами и горами, Великие озера, связанные с Атлантикой полуторатысячекилометровым стеблем реки Святого Лаврентия. Такое сравнение пришло на ум Герберту Уэллсу при взгляде на карту, когда линия Пенсильванской железной дороги, по которой он отправился из Бостона в Чикаго, поднялась над местностью и заскользила по песчаным гривам, разделяющим лагуны и болота, по мостам над реками и речушками — гонцами Великих озер.

Одна из таких коротышек, Ниагара, связывающая самые восточные из озер, Онтарио и Эри, привлекала за год до миллиона туристов. Водопад на ней воспевали поэты и Нового и Старого Света. Не избежал соблазна и Уэллс. Он совершил экскурсию попутно, в перерыве между поездами дальнего следования: с первым прибыл, а со следующим двинулся далее на Запад.

В этой поездке, когда он уже удалялся от Ниагары, разговор с Букером Вашингтоном вдруг получил невольное и неожиданное продолжение. Точнее, это был иллюстрированный комментарий, начавшийся еще на бостонском вокзале, куда Уэллс явился к ночному экспрессу.

Поезд с перрона выглядел странно куцом: темень отсекла концы длинного состава. Писатель второпях перепутал направления, поэтому оказался у последнего вагона вместо первого, на который взял билет. Уже встав на подножку,



обратил внимание на встревоженный взгляд негра-проводника.

— Вагон, ваша честь, для цветных. В нем только сидячие места, — предупредил проводник и показал странному пассажиру, где находится его пульман.

Утром на остановке, присмотревшись к обшарпанному, болтающемуся в хвосте поезда «сидячему» вагону, Уэллс нашел символическую аналогию: «Вот так свободная Америка держит на задворках десять миллионов своих черных граждан. На неграх обрывается государственный национальный поезд. Цветное обособление среди расистской «белизны».

Уэллсу представилось белое, с помпезным парадным входом здание Германского музея в Гарварде — подарок кайзера Вильгельма, выглядевшее, среди красного и коричневого кирпича большинства строений вызывающе, даже нагло.

«Подобно профессору Мюнстербергу с его крикливой пастью и толстокожей самоуверенностью», — пришло ему на ум сравнение.

Соседи по купе, следовавшие в туристических поездках советам всезнающих и респектабельных лондонцев — Томаса Кука с сыновьями, готовых доставить вас куда угодно, утверждали, что при ветреной погоде Ниагару слышно за десятки километров. Уэллс, желая проверить это, высовывал голову из вагонного окна. Уши ловили только дробный перестук колес и дыхание паровоза. Но воображение никак не могло уйти от пятидесятиметровой арки водопада, под которой пробежал он по гроту меньше часа назад, слышало грохот водной массы над головой, видело еще одну арку — радужную — клубящейся водяной пыли от берега до берега. Казалось, что поезд по-прежнему виснет над kloкочущим потоком, а вагоны с пассажирами приседают на рельсах висячего моста, как воробыная стая на проводах. Это птичье состояние он испытывал при взгляде на другой мост, перекинутый через реку параллельно железнодорожному.

Полотно водопада, рвущееся надвое на известковых скалах острова, по словам тех же Куков, перемещалось по метру в год. Свидетели этого передвижения — черные, обточенные водой верхушки порогов — представлялись Уэллсу ныряющими головами негров, преодолевающих бурную реку, чтобы выйти на свободном канадском берегу. Когда-то здесь, в Форт-Эри, находился конечный пункт «подземной желез-

ной дороги», как называли подпольный путь, по которому негры-рабы, тайно передаваемые с этапа на этап аболиционистами, бежали с Юга в поисках воли.

А теперь уже отсюда, с севера, началось политическое движение за полное гражданское равноправие негров, названное «Ниагарой». Это движение, направленное и против духа Таскиги, возглавил Уильям Дюбуа, столь нелюбимый Букером Вашингтоном. Учредительное собрание «Ниагары» состоялось год назад как раз в Форт-Эри. Социальная инертность негров, исторически являющихся такими же хозяевами этой земли, как и белые поселенцы, удручала Уэллса. Многие из завсегдатаев аристократических гостиних Бостона, кому он пожимал руки, — молочные братья или сестры «черномазых». Или то, Белое и Красное, что струится в черном сосуде, само по себе — ничто?!

«То, что струится, движется, — это и есть все!» — возразил самому себе Уэллс. «Нет, определенно Америке при решении расовой проблемы надо отчетливо представлять ирокезский смысл названия «Ниагара», означающего «Высоты грозного бума». Именно столько скрыто в негритянском народе гневной энергии, и что случится, если она прорвется?..»

«Нам, фабианцам, самый раз — по метру в год, — посмеивался Уэллс уже над Бернардом Шоу и Джоном Мартином да и над собой, переходя к обычному внутреннему спору. — Конечно, мы либеральнее массачусетских вахлаков-линчевателей, о которых рассказывал в клубе «Х» профессор Гиддингс, и положение негров у нас лучше, чем на Бермудах или Ямайке, — вспомнил он тезис Букера Вашингтона. — Например, в Ливерпуле, если забыть, что когда-то этот порт являлся транзитным пунктом работорговли между Африкой и Америкой, на том и расцвел.

Да верит ли вообще Америка в справедливое сосуществование рас, национальностей?.. Правда, в семитологическом музее Гарварда все его три этажа набиты доказательствами того, что евреи обрели в Америке родину. Но в экспозициях очень уж заметна преувеличенность счастья.

В еврейских кварталах Нью-Йорка Уэллс видел ту же скученность и безликую жизнь, что и в негритянских, встречал точь-в-точь, как в Лондоне, жалких «подлеров» — торговцев с ручными тележками, набитыми грошовыми товарами. Он знал правду о портняжных и башмачных мастерских, прозванных «потогонными», в которых труд упрощен до изу-



верства, лишен всякой радости. И над всем этим, нищенским, нелепо и отреченно возвышались купола и башни величественных синагог — «Бет-эл», «Емману-эл» и роскошные финансовые цитадели штраусов, шиффов, кун-лебов, зингеров...

## ГЛАВА IX

### 1. НА ОСТРОВЕ

Стейтен-Айленд, на который перебрался Максим Горький, был пятым, самым молодым, юго-западным районом Нью-Йорка, названным Ричмондом. Остров располагался в устье Гудзона, на границе с заливом, в полутора десятках миль ниже Манхэттана, был связан с ним паровыми парами и катерами.

Дотошные журналисты быстро раскрыли новое убежище писателя и опять-таки толпой, почти в том же составе, в каком встречали его на «Кайзере Вильгельме», ринулись в Ричмонд на Гавард-авеню, 37. Однако улов оказался жидок. Хозяйка дома встретила их на улице и не пустила дальше крыльца, сказала, что гости еще не привели себя в порядок с дороги. Она не только не пожелала склониться перед могущественной госпожой Прессой, но и резко заметила, что последняя ведет себя недостойно по отношению к гостям Америки и что она, миссис Мартин, постарается сгладить плохое впечатление о Соединенных Штатах, сложившееся, по-видимому, у русских. Максим Горький ей известен давно по переводам его превосходных рассказов и романа «Фома Гордеев», теперь она полюбила и его супругу — благородную молодую женщину Марию Андрееву, брак с которой у Максима Горького оформлен по правилам и законам будущей Российской республики. Представительство этой республики в настоящее время в Соединенных Штатах и осуществляет Максим Горький.

Дав такую интерпретацию положения супругов Горьких, Пристония Мартин для полной ясности добавила еще одну фразу, которую газеты повторили слово в слово:

— Я считаю, что нам оказана честь тем, что мы принимаем Максима Горького и его жену, мы с удовольствием будем иметь их своими гостями до тех пор, пока им это нравится. Поток клеветы, которую так хорошо умеют провоци-

ровать только русские шпионы и так разжигать только бесстыдная «желтая» пресса, Максим Горький отбывает и, не колеблясь, идет своей дорогой. Почти пять лет он связан со своей милой женой гражданским браком, являющимся единственной формой брака, допускаемой русским правительством для революционеров, и который даже это правительство фактически признает действительным. Горький, обратившись к американскому народу, — миссис Мартин напомнила о письме Максима Горького, опубликованном в газетах, — просто и уверенно представил ее: «Это моя жена, жена Максима Горького».

Репортеры — среди них был очкастый «Уорлд» и Декер, — глядя на воинственную позу глазастой толстушки, которая стояла возле дверей своего дома, как у ворот крепости, не собираясь опускать для них подъемный мост, понимали, что минутой позже с ее уст может сорваться слово «убирайтесь!». Было очевидно, что атака прессы отбита, и оставалось только отступить с Гримс-хилл...

Пристония Мартин, а еще более Джон вначале сами были чрезвычайно поражены участием, которое они вдруг приняли в положении Максима Горького и его друзей.

На следующий же день после разговора в клубе «Х» с Хантером на Стейтен-Айленд приехал Николай Буренин, представившийся администратором и секретарем в американской поездке Горького. Мартини с ним договорились, что писатель с супругой проживут у них несколько дней, пока не будет найдено постоянное пристанище.

У Джона и Пристонии возникали тревожные вопросы: что любят есть русские, какое им выделить помещение, как быть с ванной — она в доме одна? Так обычно бывает в ожидании разборчивых гостей. Но когда Пристония увидела стоявшую перед ней красавицу с печальными глазами Мадонны и возвышавшегося за ней усатого мужчину в кепочке, какие носят рабочие доков, смотревшего прямо, с желанием понять хозяев, — у нее дрогнуло сердце: она сразу поверила, что к ним в дом вошли хорошие люди, требующие очень малого — честного отношения к себе и готовые ответить тем же.

На лицах обеих женщин появились улыбки: робкая, тронувшая только губы у Марии Федоровны и широкая, радущая, поднявшая румяные щеки — у Пристонии, — всем присутствующим тоже захотелось улыбнуться: ясно, знакомившиеся что-то нашли приятное друг в друге.



Теперь Джону и Пристонии даже странно вспоминать, как они гадали, сколько времени смогут содержать своих невольных гостей, надеялись, это не продлится более трех-четырех суток. Понравились и их товарищи — Николай Буренин с Зиновием Пешковым, которые для себя сняли помещение поблизости, тоже на Стейтен-Айленд, в скромном отеле «Парадиз».

На очередной звонок Роберта Хантера, сообщившего, что он сумел договориться с дирекцией «Уолдорф Астория», согласной проявить гостеприимство к опальному писателю, — этой роскошной гостиницей, как, впрочем, и «Реджис-отель», владели Асторы, которые могли позволить себе такое «свободомыслие» за повышенную плату, — Джон ответил решительно, что Горькому хорошо на Стейтен-Айленд, ни он, ни его жена никого тут не стесняют. В самом деле, места в двухэтажном особняке было достаточно: кроме хозяев в нем жили только двое слуг-негров, старый повар, оставшийся после смерти отца Пристонии, известного врача, и его племянница — горничная Лизи.

Горькому и Марии Федоровне были отведены комнаты с видом на залив. В дымке вырисовывался клыкастый профиль будто поднимавшегося из воды Нью-Йорка. По соседству, по зеленым увалам, пересекавшим остров, выглядывали из садов подобные же коттеджи. Сюда вроде бы и не доходил газетный лай с Манхаттана, лишь его отголоски, и то большей частью в юмористическом изложении Зиновия. Алексей Максимович наконец-то получил возможность поработать. Его широкая спина почти закрывала читальный стол в библиотеке, где он обычно писал. Писал часами, изредка выходя на веранду покурить.

Пристония Мартин в первые дни пребывания писателя отменила все визиты, постаралась, чтобы никто из ее знакомых не досаждал любопытством, старалась быть полезной Марии Федоровне, которую стала называть по-русски — Марусь, относясь к ней, как к дочери.

Одного визитера избежать оказалось невозможным. Он появился в тот момент, когда Пристония, только что выпроводившая репортеров, вернулась в дом и, смеясь, показывала, как замыкавший отступление журналист, пятясь и держа перед собой фотоаппарат, делал с нее снимок за снимком.

Гость, застав хозяев и новоселов хохочущими, выдавил из себя улыбку, принужденно раскланялся.

Алексей Максимович сразу вспомнил, что этого человека с лицом Натана Мудрого он видел на приеме у Уилшайра.

— Доктор Феликс Адлер, основатель и руководитель общества этической культуры в Нью-Йорке, — представил «Натана» Джон Мартин, поднимаясь из глубокого кресла в углу гостиной.

Цель прихода Адлера была столь неясна, что все почувствовали неловкость.

— Я, Джон, по делу. Можно вас на минуту? — попросил Адлер и, когда Мартин проводил его в кабинет, продолжил: — Почетные члены нашего общества, в их числе Штраусы, обеспокоены тем, что вы дали приют безнравственным людям. Вы знаете о моем сочувствии русским, их революции...

— При условии, чтобы она как можно меньше касалась нас, — заметил Мартин. — Теперь позвольте о главном. В моем доме бывают только порядочные люди. Вам должно быть понятно, что иных я не пустил бы далее порога... Так что выкладывайте.

— Это опасно, Джон.

— Самое опасное — идти на поводу у глупцов и реакционеров.

Адлер нахмурился.

— Я приехал помочь вам выбраться из этого неловкого положения. Если эти люди действительно столь порядочные, то я должен получить от вас письменное подтверждение, что тут все обстоит благополучно, и представить этот документ членам нашего общества.

— Думаю, многие с Пятой авеню могли бы поучиться у них и порядочности, и взаимному уважению, и любви. Что касается документа, то Пристония, с моего, конечно, согласия, передала газетам письмо. Вы им можете воспользоваться.

— Да, этого будет достаточно, — Адлер качнул головой, спеша выбраться из положения налетчика, каким себя неловко почувствовал, услышав отповедь фабианца. Сам он не причислял себя ни к какой политической партии, а общество этической культуры, созданное им еще в 1876 году, ставило задачей проповедовать и помогать проводить в жизнь высшие нравственные идеалы, независимо от философских убеждений и религиозной принадлежности людей. Джон Мартин, недавно избранный в члены правления общества, своим более чем сочувственным отношением к рус-



скому писателю эти принципы, по мнению Адлера, нарушил.

— Вы, мистер Адлер, человек выдающегося положения и большой учености...

«Да он, кажется, еще и иронизирует», — подумал председатель общества, отмечая ехидную нотку в тоне высказывания Мартина. Но проявить обиду было невозможно, так как по сути фраза была верной: произведения Адлера «Вера и дело», «Моральное воспитание юношества», «Брак и развод» создали ему широкую известность, были написаны на основании тридцатилетнего педагогического опыта.

— ...Если уж и вас так настроили против Максима Горького, — продолжал Джон Мартин, — то что говорить о других, о невеждах?

— Ко мне обратился ряд уважаемых людей, среди них и Оскар Штраус. А разве Марк Твен не обвинил Горького в нарушении обычаев страны? Читали?..

— Марк Твен поступил плохо, укрылся, как улитка. Или, вернее, как ребенок, упрятав только голову, а все остальное оставив для газетной экзекуции.

— Дорогой Мартин, вы говорите столь...

— Хотите сказать — неуважительно, — подхватил Джон Мартин. — Марк Твен в данном случае оказался, вольно или невольно, в числе других слепых поводырей, позволю себе заметить, американской «священной коровы» — семьи.

— Семья — она везде священна, так ведь и говорят — «узы брака».

— Думаю, не всегда понятие «узы» должно означать еще и «оковы».

— Да, — подтвердил Адлер. — Я все же рад, что вы колебали у меня сложившуюся точку зрения о ваших гостях. Но почему они не засвидетельствовали свой брак официально?

— Прежде нужен развод. А в России он обставлен судебной волокитой, унижительным следствием подробностей.

— Что же делать? Следствие и не должно избегать каких бы то ни было подробностей, — заговорил Адлер уже спокойно, между тем прислушиваясь к звукам рояля: играли Грига. Исполнение было столь блестяще, что профессор не выдержал, спросил: — Это он? — имея в виду Максима Горького.

— Нет, — понял его Мартин, — Максим Горький вышел из семьи, которая не в состоянии была платить за музыкаль-

ное образование. Это играет товарищ Горького, Николай Буренин. Талант! Но ради революции оставил артистическую карьеру, как, впрочем, и жена Горького... Забавно, у нас социалисты выходят в бизнесмены, наращивают капитал, а у русских наоборот — жертвы, жертвы!..

— Джон?! — Феликс Адлер поразился радикализму обычно спокойного и очень умеренного в выражениях коллеги.

— Гражданский брак — единственная форма брака, возможная для русских революционеров, — повторил Джон фразу своей супруги и отметил про себя, что в последнее время вообще много делает таких повторений, подтверждая как-то высказанный Пристонией шутливый вывод, что не Ева создана из ребра Адама, а Адам — из мизинца Евы.

Когда Мартин и Адлер возвратились в гостиную, то застали живописную группу, устроившуюся перед камином: Максим Горький ворочал щипцами красные обуглившиеся поленья, а его жена, поставив ноги на решетку, что-то тихо рассказывала хозяйке. Пристония, сидя рядом с ней прямо на ковре, на диванной подушке, слушала с величайшим вниманием. В глубине комнаты, возле рояля, облокотившись на его крышку, стоял Буренин, глядя на огонь.

«Вот она какова!» — не мог не удивиться Адлер очарованию миссис Горькой, любясь ее белым лицом с мерцающими в полумраке большими задумчивыми глазами.

Женщина, вероятно, почувствовала взгляд профессора, так как сразу нагнулась к шотландской овчарке, тершейся своей длинной рыжей мордой о ее колени.

## 2. МАРТИН ПРИСТОНИЯ

Первое, что еще в юности прочитала Пристония о России, были путевые записки маркиза

Кюстина, написанные в середине прошлого века, даже чуть ранее. Книгу она нашла в библиотеке отца, считавшего лучшим отдыхом после врачебных дел «полистать чужие мысли о чужом», как любил говаривать.

Из записок француза ей почему-то более других запомнилась фраза: «Нет ничего прекраснее русских стариков и ужаснее русских старух». Но вот сегодня, открыв через много лет томик с вытертым кожаным корешком, она сразу наткнулась на размышление о русских, мужчинах и женщинах, по содержанию куда более значительное:

«Эта умная раса одарена такой утонченностью, таким де-



ликатным тактом, что не может слиться с тевтонскими народами. Буржуазная Германия до сих пор более чужда России, чем Испания, с ее народом арабской крови. Вялость, неповоротливость, грубость, робость, неловкость антипатичны славянскому духу».

Далее она отметила, подчеркнув карандашом:

«...Если люди молчат в России, говорят камни, и говорят плачевным голосом».

Прочла она у Кюстина и о Петропавловской крепости, в которой, по словам Маруси, находился в заточении Максим Горький: «В этой мрачной крепости мертвые представляются мне более свободными, чем живые». В заключительных строках книги автор обвинял дворянское сословие России в бездействии, раболепстве перед властью, в невежестве и предвещал революцию, которая, по его словам, будет ужаснее, чем та, «последствия которой еще ощущаются Западной Европой», имея в виду Великую французскую.

Пристония Мартин, пробегаая с новым, особым интересом страницы, в то же время прислушивалась к стукам в доме, ждала мужа. Она волновалась за исход его переговоров с членами нового горьковского комитета, создаваемого взамен первого, распавшегося. Джон в организационных делах этого комитета занял активную роль и, вовлекая в него либерально настроенных состоятельных людей, надеялся добиться финансового кредита для Максима Горького. Писатель даже соглашался дать соответствующее долговое обязательство, если бы сумма оказалась значительной.

Пристония одобрила попытку Джона помочь Горькому, более того, обрадовалась его решимости. Фабианское движение, в которое он вложил столько сил, оказалось в США бесперспективным. Созданные в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне и Сан-Франциско отделения общества не развивались, ежемесячный журнал «Американский фабианец» терял последних подписчиков. Джону пора менять политическую ориентацию.

...По-разному и в разную пору приходит любовь. У Пристонии это великое чувство проявилось поздно, только на сороковом году. Она вышла замуж, не убоявшись трехлетней разницы в возрасте не в свою пользу. Правда, с тех пор относилась неприязненно к дням рождения. Не то, чтобы уж очень жалела о молодости, просто не хотелось лишний раз напоминать себе о ней — ушедшей.

Как это часто бывает у бездетных пар, все чувства, ко-

торами столь неиссякаемо богата женская душа, Пристония обратила на супруга и не требовала подобной взаимности. Посмеиваясь, она ссылалась на профессора Гиддингса, который утверждал, что у дикарей семейные отношения разумнее — у них мужчина более свободен. Это диктуется постоянной необходимостью отражать нападения врагов. То есть нагружать мужчин лишними тяготами нецелесообразно — это значило бы рисковать уже родом, то есть жизнью всех...

Пристония давно задумала книгу, в которой хотела исследовать развитие морали человечества, начиная с античной цивилизации. Сейчас она работала над первой, общего характера, главой — о связи прогресса с появлением гениальных личностей в области науки, искусства, религии и общественной деятельности.

Чтобы изображение таких связей по эпохам, вплоть до XX века, было нагляднее, она нарисовала двадцать графиков! По ее подсчетам получалось, что наиболее плодотворной на гениев во всех областях деятельности являлась Эллада, соответственное обозначение имели в диаграммах и самые высокие пики: Гомер, Аристотель, Сократ, Гиппократ, а всего — пятьдесят выдающихся личностей.

Исследовательница понимала, что такой исторической методикой допускает излишнюю формальность, искусственность, даже не была твердо уверена, что напишет книгу, поэтому никому о ней не рассказывала, кроме, разумеется, мужа. Если и заводила разговор, то лишь в плане проверки какого-то положения на случайном оппоненте. Так произошло с Уэллсом при посещении их дома. Увы, англичанин комментариями и «Современной утопией» разочаровал Пристонию.

Однако еще меньший интерес к ее разговору об «эволюции духа», о решающем значении в ней гениальных личностей проявил Максим Горький. Писатель ответил:

— Активный гений и пассивная народная масса... У нас, в России, эта обветшавшая теория «героя и толпы» давно развенчана марксистами. Если же говорить о революции, то есть о высочайшем взлете человеческого духа, то ее вожди — несомненно выдающиеся личности! — шагают в народной гуще и под народным знаменем — впереди. Выходит, преимущество их положения в том, что они первыми получают пули. И царское правительство, понимая это, не скупится на свинец...



Личное знакомство с большими писателями — утопистом Уэллсом и марксистом Горьким — подтолкнуло Пристонию к более углубленному поиску аргументов. Обратилась она и к Карлу Марксу.

— Тебе не кажется, что искать соучастия у противника означает готовиться к сдаче в плен? — Такой вопрос, в котором прозвучали и шутка и досада, предложил Джон, застав жену за штудированием первого тома «Капитала», выпущенного издательством Гумбольта.

— Не преувеличивай, Джон. Попробуй догадаться, кому автор обращает следующие строки. — Пристония громко, декламационно прочла подчеркнутое синим карандашом: — «Великому исследователю, впервые анализировавшему форму стоимости, наряду со столь многими формами мышления, общественными формами и естественными формами»... Представь себе, Аристотелю! Этот вывод, скажу честно, так близок мне, так всесторонен, что я решила привести его в своей книге...

Более того, Пристония, проявляя и далее объективность, пометила в графике «Великие лидеры человечества» еще одну вершину — «Карл Маркс».

В эти же дни претерпел изменения и график «Гениальные писатели»: в чертеже, обозначающем XIX век, появилась точка — «Максим Горький». Пристония хотела внести и Герберта Уэллса, но передумала. Да, Уэллс блестящий писатель, но не властелин сердец. В его публицистических и художественных вещах усматривается модернизация идеи «здорового смысла» с технократическим уклоном. Зато в Максиме Горьком, пишущем и действующем вопреки вульгарному практицизму, такому «здоровому», ощущается величайшая духовность. Словом, в результате размышлений фамилия Горький оказалась поставленной рядом с великими французами — Виктором Гюго и Эмилем Золя. Из числа русских здесь уже значились «пики» — Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой.

...Пристония, продолжая держать перед собой томик Кюстина, открытый на странице с сетованиями автора на терпеливое молчание русского народа, подумала: «Да нет, не прав этот француз, заговорил северный колосс, и столь весомо, проникновенно, что его литература в короткий срок достигла уровня общечеловеческого прозрения».

Пристонии мнились противоречия из жизни далекой страны, которая всегда казалась загадочной: в вечных снегах,

нищая и темная — и вдруг родившая Толстого, а теперь вот Горького, представляющего не столько век минувший, сколько начавшийся, а возможно, и будущий.

«Так ли уж необходимо матери быть красивой и просвещенной, чтобы родить гения?» — мелькнуло в голове сравнение, показавшееся, однако, несерьезным, игристым...

На лестнице раздались шаги и негромкий разговор. Пристония узнала мужа по его дурной привычке, находясь в одиночестве, говорить вслух. Обычно такое с ним случилось, если тревожился, сердился. Что настроение у Джона неважное, Пристонии стало ясно сразу же, как он показался в дверях: хмурый взгляд, побряхтывание, на которое тут же сменил свой диалог с невидимым противником, веселость перед женой:

— Добрый день, Приста! — Джон поцеловал ее в висок. — Гиддингс вступил в наш комитет! Говорит, что написал статью в «Индепендент», сравнивает в ней кампанию против Максима Горького с линчеванием. Это мы с Уэллсом подсказали ему, когда встретились в клубе «Х», — слухавил Джон, желая сказать хорошее о товарище-писателе. — Лерой Скотт тоже дал для прессы полное пояснение о брачной ситуации Горького. Увы, другие члены комитета связываться с газетами не спешат и уж совсем не торопятся открыть свои сейфы, — пояснял Джон, выдавая причину плохого настроения. — Все рассуждают о Думе, о русском парламенте. Бруклинская «Игл» так и пишет, что путь Витте лучше для России, чем путь Горького.

— Чем же лучше? — поинтересовалась Пристония, подавая мужу длинный коричневый халат с атласными отворотами.

— Потому что умереннее, — ответил Джон, покорно принимая заботу супруги, которая сумела за четыре года прибить ему, нескладному и тощему лектору, джентльменскую породистость, откормить. Вот разговаривала бы она менее решительным тоном и потише, а то от ее резкого, с металлическим звучанием голоса просто невозможно уйти; как пила — обрежет любую мысль. Молчала Пристония только за шахматами, поэтому Джон в последнее время больше обычного увлекался этой игрой.

— Выжидают, выжидают, — продолжал он. — Никто не дает ни цента. А Максим Горький рассчитывал на серьезный кредит.



— Мог бы Уилшайр через свой банк, — сказала Пристония, помогая Джону завязать пояс на халате.

— Нет, едва ли. Он охотно называет Горького гением, но только в литературных вопросах, в денежных же предпочитает иметь дело с финансовыми простофилями.

— Джон, я чувствую сердцем, — Пристония положила небольшую пухлую руку на грудь, — что мы с тобой поступили благородно и нам жалеть не о чем.

«Уж не думает ли Пристония, будто он сомневается в правильности приглашения русских в их дом?» — подумал Джон и принялся уверять:

— Речь вовсе о другом. Я не знаю, как помочь Горькому!

— Не надо, Джон, особенно стараться: этот человек достаточно силен, чтобы отстоять себя и свои убеждения. И кто знает, мы ли ему больше помогаем или он нам.

— Как это?!

— Мне лично приятно, что я сейчас стала лучше понимать Россию. И социализм уже не выглядит кроликом, каким он кажется, когда о нем говорят наши друзья, друзья-фабианцы.

— Уэллс или Шоу, что ли? Хороши кролики!

— Так Уэллс — фабианец из вежливости.

— А Шоу?..

— Тот из упрямства, так как давно левее.

— А я?..

Джон Мартин спросил с такой непосредственной обидой, что Пристония, расхохотавшись во весь белозубый рот, принялась бурно утешать и уговаривать супруга — «*o, sancta simplicitas!*», — чтобы он не принимал всерьез ее характеристик. Под конец сказала:

— Понимаешь, Джон, силе всегда должна быть противопоставлена сила. То есть крокодиловой пасти Пулитцера с его «Уорлд» — если не железо, то хотя бы бревно, которым он сможет подавиться!

Теперь уже рассмеялся Джон.

— И все-таки Уилшайру следует помочь русским, — сказал он. — Хотя мне начинает казаться, что Горький и не считает его социалистом. В понятии Горького социализм необходим в первую очередь для бедных.

— Что ж, мистер Уилшайр, можно сказать, бедняк рядом с Рокфеллером, а мы с тобой — по сравнению с Уилшайром. Это довольно растянутое понятие — «бедность». Русская бед-

ность — голод, холод, нищета, так я поняла Горького... Маруся говорит, что социализм — это и богатство души, благородство, то есть в основе его — любовь.

— Ты не поняла, — возразил Джон. — Марксисты утверждают, что в основе развития общества — борьба нового с отжившим. И правильно! Но мне хочется, чтобы в этой борьбе было больше терпеливости, самоограничения, стремления не уничтожить, а образумить.

— Ну твой Фабий Кунктатор, положим, тоже не из числа милосердных... Уметь ждать, выжидать — не значит быть добрее. Скорее, это охотничье качество, свойственное хищникам.

— Так вот ты расправляешься в своей книге и с человечеством, утверждая, что оно становится более хищным и расчетливо-бездушным, — упрекнул Джон жену. — Даже сомневаешься, продвинулась ли со времён античности его мораль.

— Да, наше общество заставляет человека все более тратить себя на бесполезное — на обслуживание полиции, армии, страхование...

Джона всегда угнетали мужская резкость, обнаженность умозаключений жены — она сразу отделялась, становилась старше.

— Я люблю свой комфорт, — продолжала Пристония, — свой дом и дачу в Адирондаке и не знаю, смогу ли всем этим пожертвовать ради всеобщего счастья. Это потому, что оно нам кажется слишком отдаленным, мы его ждем, как восходящего какого-то особенного солнца. А Максима Горького идея революции опалила, для него это дело, работа! И для жены тоже. Поэтому они жертвуют всем тем, что для многих просвещенных американцев кажется главным. Русские революционеры среди нас — как первые христиане среди язычников.

Пристония замолчала, задумавшись о своем постояльце, который работал с утра до ночи — писал и писал, и когда появлялся за столом к обеду, на него было неловко смотреть — до того изнуренно выглядел. Он сказал, что решил создать цикл американских очерков, которые вызовут другой газетный взрыв. И пояснил, смеясь: «Пожар тушат и пожаром, знаете?.. Когда осенью горит степь, то навстречу огню нарочно пускают другой. Столкнувшись, они слизывают друг друга. Но еще надежнее тушить взрывом...»

Джон Мартин, пока разговаривал с женой, незаметно



продвинулся к шахматному столику, в свой любимый угол, и наконец уселся в кресло.

— Прошу. — Он, взглянув на Пристонию, переставил коня через головы пешек. — Предпочитаю индийскую защиту, если нападает американка. — И когда было сделано по несколько ходов, воскликнул: — Ба, совсем забыл! Я упрямил Уилшайра дать на весь завтрашний день машину. Познакомим Максима Горького с окрестностями Нью-Йорка. Хорошо?.. Свозим на Кони-Айленд.

— Конечно, хорошо! — подтвердила Пристония. — Только захотят ли Горькие?

**3. ЖЕЛЕЗНОЕ ВЕСЕЛЬЕ** — Да вы не соблазняйте. Это отличное предложение, — ответил Алексей Максимович, когда за обедом Пристония завела такой разговор.

Хозяева, правда, заметили, что гости, воздав должное любезности Уилшайра, вроде бы даже обрадовались, услышав, что он с ними не поедет. Женщины принялись обсуждать, что взять с собой на случай непогоды.

Но и тут повезло, погода на следующий день оказалась отличной. Знакомый красный автомобиль фыркал у подъезда, сиял лаковыми боками, стеклом. Блестел и шофер — рыжий ирландец, затаенный в хромовый скрипучий костюм, в такое же кепи и краги. Он помог перенести в автомобиль баул с дорожными мелочами, зонтики.

По хорошо накатанному асфальту, среди зеленых холмов, на виду Гудзона, мчалось много автомобилей. Машина Уилшайра была первоклассной. Если кто-то предпринимал попытку обгона, шофер, даже не поворачивая головы, плавно прибавлял газ и в самый критический момент, когда преследователь считал, что победа обеспечена, уводил машину вперед. Радовались этим обгонам, как ни странно, более женщины, и в особенности миссис Мартин.

Джон попытался укоризненным взглядом умерить пыл жены, но она будто не заметила, продолжая подбадривать шофера и поминутно оглядываться.

— Истая американка, дитя необузданного континента, — снисходительно пошутил он, реагируя на восклицание, которым Пристония отметила очередную победу.

Из-за встречного ветра женщины придерживали свои шляпы, хотя они и были под подбородком подвязаны тесьмой.

— На такой скорости надо не шляпу беречь, а голову — снесет, — сказал Алексей Максимович.

— И все-таки, Алексей, надень кепку, — посоветовала Мария Федоровна, беспокоясь. — Просквозит!

— Тут, на материке, похоже, теплее, чем на Стейтен-Айленд, — заметил Алексей Максимович.

— Да, так, — подтвердил Джон. — Для ветров наш остров вроде крепостной стены перед Манхаттаном. Впрочем, не так давно он имел в подлинном смысле значение форпоста. На его восточном берегу и сейчас сохранились два форта — Уодсворт и Томпинкс. Шутка ли, охраняем двадцать долларов!..

— Как это? — Алексей Максимович посмотрел на Марию Федоровну, а та, в свою очередь, на Пристонию, переводившую фразу мужа на французский, так как английский Мария Федоровна не понимала.

— Да, да, всего лишь двадцать долларов! — повторил Джон, поняв сомнения Горького, и пояснил: — Значит, вы не знаете происхождения названия «Манхаттан»? О, это интересно! Остров до колонизации принадлежал племени ирокезов. Индейцы уступили его прибывшим из-за океана переселенцам за подарки, стоимость которых составляла шестьдесят гульденов, то есть немногим больше двадцати долларов. Когда ирокезы сообразили, кто такие их заморские друзья, тогда и окрестили остров «Ма на хатта» — «нас обманули».

— Но это же легенда, — возразила Пристония. Ей стало не по себе от такой критики.

— В легендах больше правды, чем в писаниях официальных историков: легенды — творчество народа, а писаная история — порой оправдание или восхваление антинародных поступков властителей.

\*

...Кони-Айленд, островок, притулившийся выступом на юге Бруклина, встретил шумом нарядной толпы. Пестрые потоки людей, заглушавшие морской прибой, выливались на остров с пароходов, с паромов, пристававших сразу к двум выдвинутым в море металлическим пирсам, с эстакады надземной железной дороги, с экипажей и автомобилей...

Одни сразу шли к золотистому пляжу, другие углублялись в тенистые аллеи с беседками, третьи ориентировались на грохот оркестра. Кто прибыл по-семейному, с детьми, тот



спешил к аттракционам. Разнообразие зрелищ, развлечений ошеломляло: крутились карусели, ныряли и взлетали люльки качелей, скакали механические кони с визжавшими от удовольствия мальчишками, воображавшими себя ковбоями. Для полноты впечатления им бесплатно вручались бумажные техасские шляпы.

По склонам искусственных гор, по рельсовым дорожкам, мчались вверх-вниз пестро раскрашенные санки с парочками. Девушки хватались за парней, вскрикивали от страха и удовольствия, точь-в-точь как во время масленицы катавшиеся с крутых берегов Волги их нижегородские сверстницы. Только не было здесь ни снега, ни морозца, ни шуб нараспашку, ни румянца во всю щеку...

Алексей Максимович с неохотой углублялся в «остров веселья», как называли Конн-Айленд Мартини. Ему было жалко заречных далей, широкого шоссе, по которому они с юга объехали Бруклин, чтобы забраться в эту суматоху, в цех дешевых радостей при городе-заводе, жить в котором — как постоянно находиться у станка.

«Может быть, я не понимаю самобытности характера нации, устроившейся на индустриальной основе, рационализме, финансовом расчете?» — подумал Алексей Максимович, наблюдая, как Пристония, взяв за руку Буренина, потянула его к аттракциону, отдаленно напоминавшему гигантскую ветряную мельницу, к крыльям которой были подвязаны кабинки-клетки. Через минуту ее смеющееся лицо выглядывало уже с высоты десятиэтажного дома, куда вознеслась вместе с Николаем Евгеньевичем. Она махала руками и что-то кричала, вероятно, приглашала прокатиться.

— Четыре тысячи тонн стали, паровая машина в четыре тысячи лошадиных сил! — заметил Джон Мартин об этом чудо-колесе. — Конструкция инженера Фарриса из Филадельфии. Вот тот дворец, — показал профессор на здание вычурной архитектуры, вздымавшееся волноломом на самой границе прибоя, — это тоже детище Филадельфии. Его разобрали и целиком перевезли сюда — отель «Взморье»! По существу, клуб для прожигателей жизни. Но это уже ночной Конн-Айленд. И, как понимаете, для немногих...

Алексея Максимовича привлекли звуки барабана. Они доносились из большого деревянного балагана. Возле входа стоял высокий мускулистый индеец в головном уборе из разноцветных перьев, опускавших гребнем на спину. На нем были кожаные брюки, обрамленные по швам бахромой,

на плечи накинуто клетчатое одеяло, ноги обмотаны ремнями из оленьей кожи. Его глаза сощуренно смотрели поверх гулявших, руки опирались на старинное ружье с длинным стволом. В глубине балагана, на помосте-сцене, виднелась группа полуголых индейцев. Их лица, раскрашенные желтой краской, были замкнуты.

Зрители прибывали, рассаживались на скамьях, вкопанных в земляной пол, устраивались возле стен. Зашел и Алексей Максимович.

Когда балаган наполнился, индейцы вскочили, выхватили из-за поясов топоры-томагавки и ринулись к краю сцены. Публика качнулась, раздались пугливые восклицания, но артисты, изображавшие, очевидно, воинов, уже повернулись спиной и, рассыпавшись, играли над головами друг друга национальным боевым оружием.

...Музыка оборвалась — и замер танец. Индейцы снова окаменели и, выставив перед собой занесенные томагавки, стояли стеной, в упор смотрели на зрителей, на пеструю чепуху женских платьев, на кургузые пиджаки и котелки мужчин, закруглявших сверху их дряблые фигуры, — на всю эту мягкотелость, которую в честном бою они разнесли бы в мгновение ока!..

Рокот барабана сменила скорбная песнь. Индейцы призывали своих предков: бизонов и оленей, рыбу и сосны, солнце, луну — всех, кто мог бы подтвердить, что они храбро и долго сражались за свой край, за свою землю. Но что поделаешь, если самый сильный воин не может метнуть томагавк или пустить стрелу так далеко и быстро, как свою пулю самый слабый из белых?..

Я умру! На позор палачам  
Беззащитное тело отдам, —

пришли на ум Алексею Максимовичу строчки из полежаевской «Песни плененного ирокезца».

Воин, который по богатству головного убора и орлиным крыльям на плечах, по-видимому, олицетворял вождя, бросил свой томагавк на сцену, а его товарищи стали проделывать руками движения, будто зарывали оружие в землю.

— История — акушер, знающий единственный способ деторождения — кесарево сечение, — заметил Джон Мартин. — Государства всегда рождались в результате насилия. Так и Соединенные Штаты. Дорого обходится прогресс духовно отсталым народам.



— Кто же тут был духовно передовым, мистер Мартин, неужели конкистадоры? — сказал Горький. — Первыми сюда плыли на каравеллах конечно же не философы, а государственные бандиты, заранее получившие за свои будущие подлости отпущение грехов во все века, включая наш, двадцатый. Даже сам Христофор Колумб вез собак, специально приученных охотиться на людей!.. Нет, завоевания — исторический бандитизм, а кесарево сечение — это все-таки благо.

— Пойдемте, — вмешалась в разговор мужчин Пристония. — Ноги, они всегда, по-моему, несут человека к прогрессу, то есть вперед: ступни совершенно не приспособлены к тому, чтобы пятиться. В этом отношении ступни устроены безусловно прогрессивнее, чем мозг.

— Да, будем рассчитывать на ноги! — с шутливой бодростью поддержал тезис супруги Джон Мартин.

Мария Федоровна с тревогой посмотрела на Алексея Максимовича — резкие перепады в его настроении она связывала с ухудшением здоровья, — он начал кашлять.

— Не пора ли в самом деле в обратный путь? — сказала она.

— Если хотите, можем еще взглянуть на всадника без головы, — предложила Пристония. — Сюжет тоже из индейских преданий, не раз использованный писателями. Правда, Вашингтон Ирвинг, не то что Майн Рид, умел хохотать над ужасами. У него, знаете, один из всадников, вошедший во время драки в раж, швырнул в своего соперника по любовным похождениям собственную голову. На следующий день люди будто бы нашли на том месте всего лишь... пустую тыкву.

Алексей Максимович, услышав такой вариант «Всадника», заулыбался, рассмеялся — в первый раз на «Веселом острове».

«Пристония просто прелесть, умница!» — порадовалась Мария Федоровна.

Пообедать решили в загородном ресторане, но по пути, вновь по совету миссис Мартин, ввалились в придорожную закусочную, что-то вроде французского бистро. У прямоугольных, приткнутых к стенам столиков, накрытых бумажными скатертями, с деревянными лавками, спешили заморить червячка шоферы грузовиков, рабочие со своими подружками, выбравшиеся из города, словом, разный дорожный люд.

Незамысловаты были и блюда: в первую очередь посетителю предлагались макароны-спагетти, пироги с острой начинкой и кофе с корицей, то есть сугубо итальянские блюда, по которым легко было догадаться о национальности владельцев закусочной.

— Обожаю итальянскую кухню! — воскликнула Пристония.

За соседним столиком молодежь обсуждала «дело» старшей дочери президента Рузвельта — Алисы, по мужу-сенатору миссис Лонгворт. Супруга президента, возглавлявшая лигу «Против украшения дамских шляп перьями», увидев красавицу-падчерицу в шляпе и боа, скомбинированных целиком из перьев диких птиц, пришла в ужас. Это была дерзкая демонстрация!

— Миссис Рузвельт упала в обморок! — тараторила соседка Алексея Максимовича. — Тэдди пообещал строго поговорить с дочкой, возможно и накажет.

— Ну нет, она его любимица, сирота от первой жены, — возразил девушке долговязый парень. — Кроме того, сам Тэдди считает себя великим охотником.

Пристония, которая весело, с комментариями, переводила для русских разговор о скандале в президентском семействе, описанном в газетах, добавила, что в Нью-Йорке Алису во время ее свадебного путешествия приветствовало до пятидесяти тысяч человек.

— Наша Алиса позавидовала бы, — заметил Алексей Максимович. — Такая возможность устроить еще одну Ходынку!

Теперь уж Мария Федоровна по обратной языковой эстафете передала, что Алиса — девичье имя царицы, жены Николая II, немки по рождению, и рассказала об истории гибели массы людей из-за толчеи, устроенной во время коронации в Москве.

— Из всех знатных Алис, выходит, лучшая — кэрролловская, из Зазеркального царства, — меланхолично обобщил Джон Мартин.

Марии Федоровне, чтобы успевать с переводом, приходилось сообщать Алексею Максимовичу только самую суть.

— Это не разговор, а телеграфный столб — все гладко, вытесано, — сердился Горький. — Ужасно скверно не знать языков.

Он, правда, пробовал учить французский — и в России, и в Германии, а здесь — английский, но не хватало времени



и не очень получалось. Об английском произношении Горький сказал: «Не говоришь, а будто гвозди зубами дергаешь». Заключение писателя вызвало долго не смолкавший хохот у хозяев дома.

Маленькая гибкая официантка с серьгами-кольцами, вероятно дочка владельца ресторана, поставила перед каждым тарелки с итальянской кулинарией. При этом девушка успевала щедро отвечать улыбками на любезности молодых мужчин, изредка оглядываясь на зарешеченную проволокой каску в углу, в которой сидела матрона с усиками.

Один из парней, в куртке с засученными рукавами и особенно ловко бросавший в широко раскрытый рот длинные кисти дымящихся макарон — закидывал для этого голову так, как будто подставлял горло под бритье, — устал был на Алексея Максимовича, перестал даже жевать.

— Горький? — произнес он.

Мария Федоровна, Буренин, Мартин тревожно переглянулись.

Парень отставил тарелку, сорвался с места и, жестикулируя, улыбаясь, подбежал к Максиму Горькому.

— Вы же Максим Горький?!

У Марии Федоровны отлегло на сердце: ясно, что удивление дружеское. Повскакала и компания, обсуждавшая поступок Алисы Рузвельт. Кто улыбкой, кто жестом выражал интерес и уважение к русскому писателю. Попутно жали руки и Марии Федоровне, и Буренину, и супругам Мартин, и даже шоферу, который, оборачиваясь к одному-другому, скрипел хромом.

Неожиданное и приятное событие так взволновало Алексея Максимовича, что он как-то чаще обычного закивал, заторопился покинуть помещение. Возле самого автомобиля его догнала девушка-официантка, размахивавшая газетой. Она показала на большую фотографию писателя, прижала руку к сердцу и, ослепительно улыбаясь, что-то залопотала по-итальянски.

Высыпала из рестораника и обедавшая молодежь.

Шофер посигналил, включил и выключил ацетиленовые фонари с выпуклыми, как глаза стрекозы, ячеистыми стеклами. Затем он открыл дверцы машины, поклоном приглашая пассажиров садиться, и как-то особенно приятно проскрипел своим кожаным костюмом. Голоса же его за всю поездку так никто и не услышал.

Чем более отдалялся паровой паром от Нью-Йорка, тем сильнее разгорался горизонт, пока не превратился в сплошную полосу света, холодного и мертвого, как показалось Алексею Максимовичу. «Вот уж воистину светит, да не греет», — подумалось ему. Поэтому, оказавшись в доме на Гримс-хилл, он с особенным удовольствием занялся камином, поджигая сосновой щепой сложенные «колодцем» поленья.

Отсветы затрещавшего пламени заматались по комнате, выхватили из мрака отдыхавшего в своем угловом кресле Джона Мартина, Буренина возле рояля, пробовавшего клавиши.

— Так, так, мистер Буренин! — обрадовалась Пристония, она узнала в поиске звуко сочетаний танец индейцев.

Тогда Николай Евгеньевич, присев, как надо, к инструменту, широко развел руки, с силой опустил их на фаланги клавиатуры — и будто вскрикнуло живое существо, брошенное с высоты на твердое, и, не в состоянии подняться на поломанных ногах, забилося в озлобленном беспомоществе, в отчаянии, под барабанный рокот.

— Евгеньич, — с трудом выговорила, теряя мягкий знак и «и», Пристония, выражая таким русским обращением особую симпатию к музыканту, — так именовали Буренина только Мария Федоровна и Горький. — Это точно как на Кони-Айленд! Я уверена.

Пристония сняла туфли и, подняв обе руки углом, в виде буквы «Г», продолжая прислушиваться к музыке, подергивая плечами, вышла на середину гостиной.

Алексей Максимович оторвался от камина, с изумлением уставился на хозяйку; захлопала в ладоши Мария Федоровна; довольно сопел в своем углу Джон Мартин.

Пристония импровизировала танец. Николай Евгеньевич это понимал и тоже на ходу вел музыкальный поиск. Трудно сохранить в памяти мелодию при непоследовательном ритме, будто сыпали на чугунную плиту с разной высоты то свинцовую дробь, то картечь, то ядра...

Отсветы пламени золотили лицо женщины и воронили крыло распущенных гладких волос, — вошла индианка, подруга воина-ирокеза.

...Мария Федоровна кинулась к Пристонии, обняла ее.

— Это чудесно! Настоящее, народное!



— Я выросла в горах Адирондак. Меня нянчила индианка. Отец говорил, что она из потомков героев Фенимора Купера, не раз описывавшего наши места.

Пристонии была очень приятна похвала профессиональной актрисы, но все-таки больше ее тронул откровенно восхищенный взгляд Максима Горького. Она поклонилась ему, затем подошла к Буренину.

— Большое спасибо, Евгений! Вы отличный музыкант, проникли в душу чужого танца. — И совсем неожиданно обратилась к мужу: — Джон! А почему мистер Буренин живет не в нашем доме? Так будет всем удобнее.

— Конечно, удобнее, — повторил Джон Мартин, продолжавший блаженно улыбаться: ему очень нравилось, как Пристония танцевала.

Подали на стол чай. Это был сюрприз хозяйки. Алексей Максимович вчера рассказывал о степных чаепитиях во время своих скитаний, вот она и решила порадовать.

Мистер Мартин сразу же принялся сравнивать особенности сортов чая — китайского, индийского и японского: в Лондоне он был большой чаевник, на Стейтен-Айленд его приучили к кофе.

Пристония по теплому взгляду и улыбке Марии Федоровны поняла, что та благодарит ее за внимание к Алексею Максимовичу, но ей еще раньше стало ясно, что радость Максима Горького для Марии значила много больше, чем собственная...

Будто ветром распахнуло двери. За порогом замер Зиновий. И когда все в недоумении уставились на него, тихо сказал:

— В Сан-Франциско случилось что-то ужасное. Город целиком разрушен и в огне!

## ГЛАВА X

### 1. САМЫЙ МОЛОДОЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ С УОЛЛ-СТРИТА

Отправляясь в Нью-Йорк, барон Розен всегда испытывал чувство провинциала, командированного в столицу. Так оно и по существу: Нью-Йорк являлся экономическим сердцем Америки, Вашингтон по сравнению с ним — всего лишь чиновничий околотов.

Но тихая Мэдисон-авеню, расположенная в аристократическом районе города, в Уэст-Пойнт, на западном берегу Гудзона, более походила на вашингтонскую улицу: старинные солидные дома, малолюдность, обилие зелени. Тут и жил вице-президент «Нэшнл сити бэнк» Фрэнк Вандерлип.

Розен остановил кэб возле облицованного коричневым гранитом особняка с номером 661. Нажимая на кнопку электрического звонка, саркастически подумал: «Сезам, откройся!» То, что Вандерлип на просьбу Розена встретиться пригласил его к себе домой, на обед, можно было рассматривать как особую доверительность и вместе с тем как тревожный сигнал. За спиной Фрэнка Вандерлипа, визитера Витте в Нью-Йорке и в Портсмуте, виднейшего посредника при переговорах о займе, могли стоять и Морган и Рокфеллер как члены директорского совета могущественного банка.

Слуга провел Розена в сад, сбежавший к реке. Хозяева вместе с гостями толпились возле статуи собаки, установленной на открытой площадке между домом и садом.

Посол чувствовал себя вправе обидеться за такую встречу, но визит был частным, поэтому благоразумнее не замечать ущемления официального достоинства. Да и вообще светская щепетильность, как он убедился, в Америке никем не ставилась и в грош, начиная с самого президента. Рузвельт даже послов принимает на ходу. Между дипломатами передавалась шутка, что иностранным представителям, имеющим слабые ноги, в Вашингтоне делать нечего. Нового испанского посла, малорослого и пожилого человека, Рузвельт пригласил для знакомства в сад при Белом доме и на этой деловой прогулке довел испанца бегом до испарины. В заключение же предложил искупаться в пруду и, подавая пример, первым стал сбрасывать с себя одежду.

Он и Витте устроил сюрприз. На своей даче в Ойстер-Бей на острове Лонг-Айленд угостил столь тяжелым завтраком, что первый уполномоченный маялся всю ночь животом. Стол был сервирован по-кухонному, даже скатертью не накрыт, а вместо вина подали... обыкновенную воду.

Воспоминания промелькнули в голове Розена, пока он шел к площадке со статуей, и настроили его на юмористический лад: раз уж сам глава государства встречает державных полномочных в саду, значит, это и есть «хороший тон», ему должно подражать, и вовсе посол успокоился, увидев, как банкир, оставив гостей, заспешил ему навстречу, дружелюбно протягивая для пожатия обе руки.



Розен, как и в прошлом году, снова удивился молодости и скромному виду этого стремительно выдвинувшегося в первый ряд финансовых воротил Уолл-стрита человека, не обладавшего, как ему удалось узнать, крупным личным капиталом, не имевшего знатной родословной даже в американском понимании. «Поистине, *self made man*!» — подумал барон.

— Старый Морган решил сделать приятное нашей семье, — заговорил обыкновенным тенорком Вандерлип, показывая на статую. — Чудная работа Рудольфа Эванса.

— Да, — согласился Розен, отмечая про себя близость хозяина дома к финансовому магнату. — Собака — прекрасный подарок, символ верности!

— Скорее бескорыстной дружбы, — уточнил Вандерлип, поглаживая стриженные короткие светлые волосы. Его румяное лицо выражало искреннее удовольствие. — Старый Джон, сам того не подозревая, сделал очень уж символический подарок, — продолжал Вандерлип. — Этот изваянный из бронзы пес будет мне напоминать детство в Иллинойсе. Вот такой же друг, только с черно-белым воротником, будил меня на заре на отцовской ферме, приглашая отправляться пасти скот. Он так хорошо следил за стадом, что считался в нашей семье за полчеловека.

Розен слушал разглагольствования хозяина и поражался: никто из его петербургских знакомых не рискнул бы вспомнить вслух о подобной родословной хотя бы в десятом колене.

— Вам не кажется, что постамент очень уж низок? — сделал он замечание.

— О, это моя идея. Скульптуру установили так нарочно, чтобы дети могли подержать собаку за лапу, как настоящую. Так она им будет ближе.

Розен, прогуливаясь с Вандерлипом по саду, узнал, что поводом для нынешнего ленча и послужила установка памятника-подарка. Вандерлип также сообщил, что Джон Морган считает себя знатоком собак и занимается выведением пород, особо преданных человеку.

— Вспоминаю о приятном плавании с мистером Морганом на его яхте по Гудзону, — сказал Розен, когда, обойдя сад, они вышли к берегу реки, где была устроена пристань и стоял прогулочный катер. Ему хотелось повернуть разговор к делу, то есть к займу, о котором в принципе и договорились в ту поездку.

— Да, так, — подтвердил Вандерлип. — Мы доплыли тогда до военного училища Уэст-Пойнт. Три часа удовольствия... Отличный парад кадетов...

— Мне эта прогулка особенно запомнилась тем, что обещала новый, весьма благоприятный этап в русско-американских отношениях, — продолжал свою линию Розен. — В тот же день Витте, доверяя слову вашего старшего друга, Джона Моргана, отправил письмо в Россию о состоявшейся договоренности по займу. Кстати сказать, первое такого же характера письмо ушло несколько ранее, из Портсмута. И в этом первом Витте опирался на ваше, мистер Вандерлип, имя, на благоприятный разговор с вами.

— Дорогой барон, вы прижали меня к самому берегу, у меня крайне невыгодная позиция, — полушутя отвечивал банкир, понимая, что посол торопит разговор, который следовало бы перенести на послеобеденное время и в кабинет. — Речь тогда шла о международном займе. Вы должны помнить, Морган выразил согласие участвовать в нем. Но он прямо сказал Сергею Витте, что американскую публику необходимо постепенно приучать к русским фондам. Так ведь? Теперь же выяснилось, что американскому займу предстоит встать в хвост транзитного поезда огромных обязательств России, что не совсем удобно. Вам не кажется?

— Россия не испытывала да и теперь не испытывает особых затруднений на пути кредита, — ответил, кривя душой, Розен. — В данном случае наиважнейшее обстоятельство для нас заключается в перспективе открытия еще одного денежного рынка, то есть американского, что должно быть выгодно и для вашей страны.

Посол оперировал доводом, который был изложен еще осенью прошлого года в письме министра финансов Коковцова Джону Моргану. Очевидно, с этим письмом Вандерлип знакомился, так как сказанное не произвело на него впечатления.

Розен решил усилить тезис и попутно польстить:

— Господин Морган справедливо утверждал, что Америка за последнее пятилетие выходит в мировые банкиры. При огромной массе свободных капиталов она может стать соперником и Лондону, и Парижу. В этой связи мне хочется напомнить вам, господин Вандерлип, что инициатива о займе была проявлена с вашей стороны, то есть с американской. — Тут Розен слегка закашлялся, так как мысленно зачеркнул вопрос, уже готовый сорваться с его языка: «Раз-



ве не вы лично говорили об этом с Витте в «Реджис-отель» в день отплытия русской делегации в Портсмут?» — и закончил вполне дипломатично: — Вам, наверное, известно, что не только Морган, но и другая финансовая группа высказала такую же заинтересованность?

— Да, я знаю, Шифф со Штраусом и компания, — мотнул головой Вандерлип. — Однако будем откровенны. В течение войны, то есть за какой-то год, Россия вдвое увеличила выпуск бумажных денег. Неустойчивость денежного обращения вы регулируете иностранными займами. Но есть еще более опасная неустойчивость — политическая. В результате деньги, которые вы получаете извне, уходят на операции, не приносящие прибыль, разве только моральную. Война с Японией закончилась, но в стране происходит то, что мне хочется назвать внутренним кровоизлиянием, более опасным, чем внешнее. Конечно, пока это не излияние в мозг, но все-таки очень уж затянувшееся, почти шоковое состояние... Наш банк своевременно, с полной готовностью отправился на переговоры в вашу столицу. Вы помните?..

Розену да не помнить?! Случай беспрецедентный! В прошлом году, между шестым и семнадцатым октября, в Петербург для обсуждения проекта международного займа правительству России съехались светила финансовых спекуляций: от берлинского банка Мендельсона прибыл Фишель, от парижского Нидерландского банка — его директор Нецлин, от лондонского «Братья Бэринг» — лорд Ревельсток, тесно связанный с Морганом, ну а от самого Моргана, а значит, и от «Нэшнл сити бэнк», — его правая рука Перкинс.

И надо же случиться, в тот самый вечер, когда вся эта компания вместе с русскими представителями уселась за стол в гостинице «Европейская», в столице повсюду погас свет — началась Всероссийская политическая стачка! И хотя Витте принял меры, добился, чтобы в «Европейскую» сделали особый отвод с военной электростанции, воодушевление банкиров резко спало, они воочию увидели, что Россия на пороге революции. Совещание было отложено на неопределенный срок, а его участники на специальном поезде отбыли восвояси.

— ...Деловые отношения могут протекать и более узкими каналами, — продолжал Вандерлип. — Ресурсы Российской империи столь велики и многообразны, что заинтересованность в их эксплуатации — реальный базис для переговоров. Наш банк, например, готов открыть в Петербурге свое отде-

ление для кредитования взаимовыгодных операций: мы согласны помочь вам построить железные дороги с телеграфными и телефонными линиями. Мистер Рокфеллер...

— Один из директоров «Нэшнл сити бэнк», — повернул Розен.

— Да, — подтвердил Вандерлип. — Мистер Рокфеллер имеет отличный проект кругосветной дороги, которая пройдет через Маньчжурию в Китай.

— Я слышал об этом предложении. Оно обсуждается в правительственной комиссии. — Розен, чувствуя, что Вандерлип опять уходит от темы займа, не понимал, почему он в таком случае не прекращает разговора.

— Или начать добычу золота, нефти на Чукотке, на Камчатке, словом, в районах, соседствующих с американскими территориями. Это опять могло бы стать предметом конкретной дипломатии. Можно найти и заинтересованных людей, и свободные капиталы. Насколько помню, ваш главный уполномоченный Витте был готов обсудить этот вопрос.

— Не уходя от главного, — уточнил Розен. — Позвольте откровенно и мне. Времена, как вы правильно заметили, меняются. В 1890 году Соединенные Штаты купили чужих товаров фабричного производства на триста пятьдесят семь миллионов долларов, а своих продали на сто пятьдесят один миллион. В 1899 году ввоз оказался уже на сто миллионов долларов меньше, а вывоз увеличился почти на двести миллионов долларов. Это я к тому, что ваша страна за последнее время ненормально развивает свой экспорт. Годовой его объем выражается в сумме полтора миллиарда долларов. Чудовищно! То есть намного больше, чем вы покупаете. Тем самым разбивается всякое экономическое равновесие. Это эгоистично, недальновидно и даже экономически неряшливо. Я читал ваши статьи о торговом вторжении Соединенных Штатов в Европу. Они обнаженно отражают эту доктрину.

— Так вторжение коммерческое.

— Одно от другого близко. Вы своей политикой «открытых дверей» взламываете границы.

— Деньги умнее людей, их выдумавших, — они интернациональны. Границы для них — анахронизм, — не согласился Вандерлип, разглядывая широкий лоб разгорячившегося посла.

— Вы повсюду ведете наступление. В Париже трамваи двигают американские электромоторы, на английских локомотивах стоят американские паровые котлы, на нашей Си-



бирской железной дороге укладываются американские рельсы. Американские хлопчатобумажные ткани вытесняют английские из Китая. Швейные машины Зингера найдете даже у кочевников Гоби.

— Флагшток над королевским Виндзорским замком в Англии сделан из американской сосны, — вставил иронически Вандерлип.

— Заверяю, что подобная жертва со стороны Нового Света для России не понадобится, — ответил Розен в таком же духе. — Что касается открытия филиала «Нэшнл сити бэнк», то если он будет сотрудничать, идея приемлема.

— Хотелось бы рассчитывать на снижение тарифов при перевозке грузов по вашей железной дороге через Маньчжурию.

— Этот вопрос, по-моему, легче обсудить, когда настанет время для рассмотрения тарифов при прохождении русских судов по Панамскому каналу.

Для Вандерлипа стало ясно, что Розен не намерен затрагивать вопрос о тарифных льготах на провозке американских товаров по Китайско-Восточной железной дороге, иначе ответ следовало бы считать открытой насмешкой: каналу-то еще строиться десять лет.

— Алло, Фрэнк! Куда занесло вас?

Из-за куши молодых буков вниз по дорожке спускался широкоплечий, с обветренным и загорелым лицом мужчина. Громко смеясь, он вел за собой на тонком пруте, как на поводке, двух молодых женщин.

— Это мои близкие, — сказал Фрэнк Вандерлип послу, приглашая последовать навстречу и представляя по очереди: — Мистер Розен, русский посол, миссис Нарцисса Вандерлип, моя супруга, Руф, моя сестра, мистер Вашингтон Вандерлип, горный инженер, — показал Фрэнк на меднолицего, — мой кузен.

Инженер, поклонившись послу, пожаловался:

— Я этим особам рассказываю, каково мне досталось в Сан-Франциско во время землетрясения, и не замечаю ни капли жалости. Никто не сказал: «Бедный, как ты все это выдержал, ты ведь такой чувствительный к потрясениям...»

— Никакой вы не чувствительный. Вы смеетесь над несчастными.

— Так я более всего над собой. Разве может умный человек за сутки до катастрофы брать номер в гостинице на

самом верхнем этаже? Постыдная непредусмотрительность! — И, повернувшись к дамам, инженер продолжал в смешливом тоне: — Совсем забыл сказать, что, помня о вас, то есть о прекрасном поле, я попутно спас от верной гибели и вашего кумира — Карузо.

— Как?!

— Это требует некоторых подробностей. Так что потерпите. Проснувшись на заре, я почувствовал себя так, словно находился опять на подвесной койке в вонючем — пардон! — кубрике китобойной шхуны, на которой приплыл из Кореи во Фриско. Было ясно, что гостиницу качает шторм похуже морского и надо спасаться. Скатываюсь по лестнице наперегонки с трещиной, которая бежала по стене параллельно моему курсу, будто мрамор снаружи пропарывали ножом. И вот я на Маркет-стрит. Улица сузилась и присела: дома завалились, потеряли свои этажи, а то и вовсе съехали с фундаментов. Под ногами зловонные потоки из перебитых канализационных труб. И все-таки самое отвратительное — по-скотски орущая, перепуганная толпа, совершенно потерявшая самообладание. Я дал кому-то по шее и пожалел, что нет револьвера, потому что в такие минуты это самая лучшая валерьянка...

— Вы страшный человек, кузен, — заметила Руф.

— Правда, лучшая! Мной это проверялось не раз... И вдруг вижу фургон, запряженный парой хороших лошадей, а вокруг него приплясывает отряд полураздетых людей. Говорят по-итальянски, в чем-то убеждая хозяина фургона — китайца. А тот, оглядываясь на пылающее здание отеля, твердит: «Тысяча долларов, тысяча долларов!..»

Один из итальянцев, коротышка с белым полным лицом, принялся размахивать перед носом возницы портретом нашего досточтимого Тэдди, при этом показывая на собственную подпись президента!

Итальянец кричал... — Вашингтон Вандерлип состроил загадочное выражение на лице и спросил: — Знаете, что кричал?.. «Я Карузо, я Карузо!» — и продолжал совать китайцу фотографию Тэдди, будто она могла заменить тысячедолларовую пачку зелененьких. И тут я подумал, милые дамы, о вас, — инженер раскланялся. — Этот китаец — дурак, соображая, может навсегда лишить их, то есть вас, общества сладкоголосого толстячка. «Послушай, желток, — говорю я китайцу, — ты что, ослеп или переварился вкрутую?! — и показываю на горящий «Палас-отель». — Перед



тобой знаменитый Карузо, отмеченный самим мистером президентом», — и сую руку в карман.

Возница посмотрел на меня и как-то сразу подобрел. Словом, за триста долларов согласился доставить трупку с ее скарбом в порт.

Двинулся по Маркет-стрит к берегу и я. В порту все рвались попасть на железнодорожный паром, который курсировал между берегами залива. На другой стороне — Окленд. Там начинается трансконтинентальная магистраль. Железнодорожная ветка, выходявшая из Сан-Франциско на юг, вокруг залива, была разрушена. Значит, и мне надо в Окленд.

Хожу, думаю, как это лучше сделать, и вдруг слышу снова итальянское лопотание. Ну, конечно, Карузо! Бросился ко мне как к родному.

«О, мистер, спасибо! «Метрополитен-опера» прерывает гастроль, — понимаете, он еще о гастролях говорит, — мы хотим немедленно выехать в Нью-Йорк».

К пирсу как раз подходил пароход «Апач». Я немедленно обратился к офицеру, охранявшему пирс: «Прошу посодействовать знаменитому Карузо». — «Да, да, — отвечает офицер. — Я его сам вчера слушал в «Кармен». Подозвал младшего чина — и через пять минут я с вещами и итальянцами оказался впереди всех на пирсе, перед бортом парохода... Вот так! Не знаю, какая у артистов, тем более у великих теноров, память, но если хорошая, то теперь меня, а значит, и моих друзей, должны завалить приглашениями на концерты...

— Вы еще и насмешник, кузен, — сказала Руф, покачив головой.

— Я еще и очень заботливый, — в унисон похвалил себя инженер. — Пойдемте-ка от реки — сыро, прохладно. Кроме того, мне как-то странно видеть девушек в таких легких платьях возле холодной воды. Другое дело — в двойных оленьих парках, в меховых брюках и торбасах. Вот тогда я спокоен за их здоровье.

— Кузен прибыл из сибирских снегов, — заметил для посла Фрэнк Вандерлип.

— Это откуда же? — заинтересовался Розен, но банкир в этот момент повернулся к инженеру, продолжавшему разыгрывать женщин:

— Если бы я знал, что встречу на берегу Гудзона таких перепелок, то привез бы для них кусочек Северного полюса.

— Вашингтон слишком низкого мнения о наших познаниях в географии, — возразила Руф, весело глядя на улыбающегося кузена. — Камчатка и Чукотка — это еще не полюс. Расскажите, как вы туда попали.

«Да, как»? — подтвердил вопрос и взгляд барона, которого заинтересовала личность инженера. Напрягая память, он пытался вспомнить, где слышал сочетание «горный инженер Вандерлип». И решил: «В Японии». Но в какие годы? Дело в том, что посланником в Токио Розен был дважды: до 1901 года, а затем вновь через пару лет. Развертывая логическую цепочку, он пришел к выводу: в начале 1901 года ему попадался документ, в котором сообщалось, что из Владивостока русскими властями выдворен американский поданный горный инженер Вашингтон Вандерлип, занимавшийся недозволенными поисками золота в зоне стоверстной береговой полосы, на которую наложен запрет для разведок и эксплуатации иностранцами.

## 2. РОЗЕН И РОЗИН

— Меня уже не раз останавливали горы, моря и землетрясения, — продолжал ораторствовать меднолицый. — Я и сейчас на полдороге.

На заинтересованный взгляд женщин он ответил:

— На родину обычно приезжаю только затем, чтобы сделать пересадку с одного корабля на другой. Собираюсь вновь покопаться на Камчатке.

— А как же ваша жена? — спросила Нарцисса.

— Увы, она страдает в Лос-Анджелесе.

— Твои страдания отражены в «Хане Камчатском», — подпустил шпильку Фрэнк, напомнив о музыкальной комедии «с перчиком», которая уже более года не сходила с бродвейской сцены.

— Слава богу, эту чепуху жена не видела, да и посмотрев, не поверила бы: она знает, что мои северные возлюбленные — это дюжина камчатских лаек, упряжка верных лохматых друзей: и в пургу отогреют, а надо — и жизнь за тебя отдадут.

— Значит, жене остается вечное тоскливое ожидание? — подытожила Нарцисса.

— Радость встреч у нее пересиливает горечь разлук. Она так долго меня искала, гораздо дольше, чем я ее.

— Нехорошо так разговаривать с девушками, — сказала Руф, краснея. — Что же, и мы, выходит...



— Выходит, выходит... Каждая ищет. Одна — удачнее, другая — хуже. У моей жены — удачнее, ибо она живет верой, что в следующий-то раз супруг обязательно привезет ей «Золотой пояс» или хотя бы пряжку. Увы, пока я, как Агасфер, остановился перед Беринговым проливом. Какие-то полсотни миль, набитых льдами и разными межгосударственными условностями.

— Утешься, — Фрэнк снова осклабился, пытаюсь подхватить веселый тон кузена. — Появился проект — пробить тоннель или перекинуть мост между северными оконечностями континентов, чтобы провести железную дорогу из Америки в Азию.

— Приветствую, хотя невольно вспоминаю другое «великое предприятие», как его называли, — попытку соединить через Берингов пролив телеграфные системы Америки и России, связать единой линией почти весь земной шар. Помните? — Инженер посмотрел на кузена, на посла. — «Западно-соединительная телеграфная компания» в Нью-Йорке с капиталом в десять миллионов долларов. Плюс к этому энтузиазм изыскателей, американских и русских. И что же?.. По берегам Английской Колумбии и Русской Америки, а по азиатскую сторону — в устье Анадыри, Гижиги, Амура до сего дня гниют установленные по линии вешки, штабеля столбов, домики...

— В неудаче сухопутного русско-американского прямого телеграфа виноват подводный кабель, — говорил в должном плане Розен. — С того момента, как ваш соотечественник Сайрус Фильд уложил его на дно Атлантики, соединил Европу с Америкой, смысл в линии через Берингов пролив исчез.

— Я о другом, — возразил инженер. — Тогда русское правительство пошло на соглашение, допустило наши изыскательские отряды в Сибирь, а теперь оно установило стоверстную запретную полосу для разведки минералов — это узаконение экономической спячки. На американском севере за какие-то пять лет поднялся Ном — благоустроенный город, а на другом, противоположном, берегу, который богаче, думаю, аляскинского, по-прежнему только голые скалы с полудикими людьми. Сейчас, по-моему, самый момент России совместно с Америкой взяться за освоение края. Возможен и другой вариант — продать его Америке.

— Покупать льды? — заметил Фрэнк Вандерлип.

— Почти так у нас и говорили, когда государственный

секретарь Уильям Сьюард договорился с русским правительством о приобретении Аляски: заплатили, мол, за ледник восемь миллионов долларов.

— Семь миллионов двести тысяч, — уточнил банкир.

— Возможно. А сейчас Клондайк за один год дает вдвое больше золотом. Тот, кто не в состоянии оценить перспективу этого района, смотрит... э... — Вашингтон Вандерлип затруднился со сравнением, похлопал себя по шее. Жест, вероятно, означал, что тот смотрит затылком.

— Вот, мистер посол, у вас и союзник, — заметил Фрэнк Вандерлип. — Так расхваливает русский товар, нагоняя цену, будто сам его продает.

Розен вежливо качнул головой, ответил:

— Ошибались не только политики, но и философы. Аналогичное, в пору освоения Северной Америки, заявил о Канаде Вольтер: «*Это всего лишь несколько акров снега*», «*quelques argents de neige*», — уточнил посол и продолжал: — Мы организовали ряд промышленных компаний для эксплуатации горных богатств Дальнего Востока. Американцы могли бы через Русско-Китайский банк вкладывать свои капиталы в эти предприятия, сулящие большие выгоды, как правильно заметил господин инженер.

«Влезайте в нашу дальневосточную политику и окажитесь со связанными руками», — так перевел вице-президент «Нэшнл сити бэнк» это предложение.

— Лучше аренда или концессия. Это взаимовыгодная система экономического сотрудничества, — ответил инженер.

— Мы ее опробовали на Чукотке. Там как раз работали ваши соотечественники. Они не столько вели поиск золота, сколько спаивали инородцев, скупая за бесценок пушнину.

— Вы говорите словами владивостокских газет, — возразил инженер. — Руководит Северо-восточным сибирским обществом ваш русский однофамилец — Розин. Я даже подумал, что ваш родственник, но теперь понимаю, ошибся.

Посол поджал губы. Ему припомнилось, как Теодор Рузвельт, пригласив его на свою дачу в Ойстер-бэй, вот так же бесцеремонно, по-купчески убеждал уступить Сахалин Японии, советовал во имя мира поддержать эту идею на переговорах в Портсмуте. Президент нашел возможным привести и такой довод: «Глупо ожидать, что японцы оставят Сахалин, который взяли силой оружия. Мы, американцы, по такому же праву победителей сидим в Панаме. И не уйдем оттуда».



Тогда Розен нашелся и ответил:

— Пример неподходящий, господин президент: Япония — не Америка, а Россия — не Колумбия.

Розен понимал, что и сейчас следовало ответить твердо. Но прозрачные намеки горного инженера, родственника банкира, означали некоторое ответвление или вариант в переговорах, что тоже нельзя было не учитывать. Фрэнк Вандерлип — не просто крупный банкир. В «Нэшнл сити бэнк» он перешел из Вашингтона, из кресла помощника секретаря государственного казначейства. Он заставил обратить на себя внимание разработкой системы выпуска займа в двести миллионов долларов во время войны с Испанией. За столь рискованное дело взялся бы далеко не каждый и более опытный финансист, так как в случае неудачи можно было потерять многое, не говоря уж о карете с парой лошадей, положенных помощнику секретаря по чину. Фрэнк Вандерлип так ловко организовал тогда два синдиката, один из которых возглавил «Нэшнл сити бэнк», а другой — банкирский дом Моргана, что вовлеченные в сделку финансисты помельче успели лишь удивиться, положив в свои сейфы значительную часть нереализованных облигаций. Средства же на ведение испано-американской войны поступили в казначейство.

Розен был уверен, что перевод Вандерлипа на высокую должность в столь авторитетный банк Соединенных Штатов произошел не без ведома высших правительственных сфер, возможно, даже самого президента. Поэтому переговоры с Вандерлипом, в какой форме и где бы они ни происходили, следовало рассматривать самым серьезным образом.

— Родственников Розина, главы Северо-восточного общества, скорее найдете на Уолл-стрите, — не удержался от колкости посол. — Он спекулирует акциями несуществующих золотых рудников.

— Да, да! — согласился инженер. — Пытался разместить в Америке дополнительный выпуск акций своего общества.

— На один миллион русских рублей, — снова уточнил Фрэнк Вандерлип.

Послу не хотелось продолжать разговор о Северо-восточном сибирском обществе. Ходили слухи, что в нем неофициально участвуют «безответственные лица», как называли членов императорской фамилии, и уж совершенно точно близкие ко двору, вроде шталмейстера Вонлярлярского, со-

служивца по конногвардейскому полку министра двора барона Фредерикса.

Розен собственными ушами слышал, как Витте честил шталмейстера авантюристом. Но когда в прошлом году попытался завести с Сергеем Юльевичем разговор о Северо-восточном обществе в том духе, что во главе его стоит американский пароходчик Джон Розин, хотя по уставу общества дела в нем должны вестись только русскими подданными, то получил ответ, запомнившийся дословно: «Вы не вступили, барон, в черносотенную организацию «Союз русского народа»?.. Но то, что естественно для треповых, непозволительно государственным мужам, руководителям российской политики за границей. — Поставив таким образом посла в положение «над», Витте пояснил: — Для черносотенцев все просто: бей жидов, интеллигентов и франкмасонов. А от нас с вами требуется сейчас добыть от чертей, от евреев, французских, американских, займы, большие займы. И пусть наш христианский бог поможет в этом. — Под конец, правда, подсластил пилюлю: — Вы, Роман Романович, человек хороший, благородный, словом, вполне джентльмен, но очень уж отстали от положения дел в России-матушке»...

— Господин посол Розен, — отвлек Романа Романовича от раздумий голос инженера Вандерлипа, заговорившего вдруг по-русски. — Чукотка, где мне по воле судьбы приходилось иногда размахивать кольтom, чтобы подбодрить трусивших на крутых перевалах аборигенов, на общей карте империи обычно приклеивается в виде отдельного клапана. Это символично! А с Камчаткой ваша петербургская публика более знакома по той репутации, какую в общежитии приобрели камчатские морские бобры — каланы.

Последнее предложение Вашингтон Вандерлип повторил по-английски, обернувшись к женщинам.

— О да, кто не мечтает о морских бобрах! — заметила Руф.

— Я не мечтаю, — возразила Нарцисса, улыбнувшись инженеру.

— Как?!

— Зачем мечтать, когда кузен привез мне такого бобра в подарок.

— Ой, покажи!

Мужчины обменялись ироническими взглядами: все, мол, они, женщины, таковы.

— Меха — это всего лишь традиционный вид русского



экспорта из Сибири, — снова заговорил Фрэнк Вандерлип. — Прошу не обижаться, но у меня сложилось мнение, что русским не хватает духа предприимчивости, они не умеют ценить время. Как сказал великий американский гражданин Бенджамин Франклин: «Время — деньги». В вашей стране я побывал всего один раз, в 1901 году, в апреле. И знаете, едва сумел встретиться с официальными лицами. Все были заняты, представьте себе, пасхой!.. Меня тоже сводили в ночную церковь, переполненную тысячами молящихся. От духоты, запаха ладана и горящих свечей закружилась голова; едва выбрались на воздух и отдышались!.. Признаюсь, что по деловитости мне более других понравился Сергей Витте. Он-то, вопреки традиции, принял меня в воскресенье и, судя по обилию бумаг, которые я увидел на его столе, не помышлял о молении. Этот деятель — один из самых занятых людей Европы и, думаю, — из числа наиболее дальновидных и прямолинейных: он без обиняков заявил, что российская промышленность нуждается в иностранных капиталах, как Сахара в воде...

— Да, Витте был с вами тогда очень откровенен. — Розен сказал это так, как будто хотел упрекнуть Вандерлипа в его сегодняшней излишней сдержанности.

— ...И предрекал Америке дальнейший стремительный прогресс, — продолжал тот, будто не поняв намека посла, — противопоставив американскую энергию коммерческой мелочности французов, над которыми, по его словам, довлеет философия маленького рантье. Не так ли?

«Пожалуй, так, — мысленно согласился посол. — Интервью Витте, опубликованное Вандерлипом в январском номере «Скрибнерс мэгэзин» за 1902 год, входило составной частью в его постатейное трио — «Американское коммерческое вторжение в Европу», основу которого составляли беседы банкира с государственными и финансовыми деятелями Европы. Статьи вызвали разноречивые отклики: самый благожелательный в Соединенных Штатах и самый отрицательный — во Франции. Витте своей нарочитой откровенностью стремился сбить лбами нью-йоркскую и парижскую фондовые биржи, заинтересовать американских финансовых королей, того же Моргана, выгодой размещения крупных капиталов в России. Все это, разумеется, превосходно понимал Вандерлип, показавший своей публикацией, что он вполне разделяет точку зрения русского политика. Но в таком случае зачем же ему кружить сейчас?..»

— Моя беседа с мистером Витте была переведена на семь языков, — перебил размышления Розена тенорок банкира.

— Да, я познакомился с ней в Японии, — подтвердил посол. — Однако ряд высказанных вами положений подвергся газетной критике.

— Возможно, я в чем-то оказался не совсем точен, — согласился Вандерлип. — Дело в том, что вопросы мною задавались через переводчика на английском, а отвечал Витте на французском, то есть ни он, ни я не были в состоянии проверить оттенки нашей беседы. Но смысл, главные факты, уверяю вас, переданы правильно. Что же касается критики, очернительства, то известно еще из физики, что черный цвет — результат неосвещенности предмета. Данное положение применимо и для экономики и для политики: то, что мы видим без спектрального аналитического подхода — обман зрения, и только. Мною это уяснено давно, когда еще начинал репортером в «Чикаго трибюн», получая по двадцать долларов в неделю.

«Ну да, а теперь, когда твое жалованье составляет не менее пятидесяти тысяч в год, — то есть уже по тысяче долларов в неделю! — тем более сможешь черное выдать за белое или наоборот: золото — оно глаза застит», — отметил про себя Розен и спросил:

— А не оптический ли обман тоже, что Америка при оценке своих промышленных возможностей пользуется вместо аналитической линзы увеличительным стеклом трестирования?

Банкир громко рассмеялся, укоризненно покачал головой.

— Теперь я лучше понимаю, почему японцам так трудно приходилось на переговорах в Портсмуте: напор Витте и ваш логический сарказм — слишком большая психологическая нагрузка!.. Витте, позволю повторить, смелый и умный человек, но у него очень сильная оппозиция.

Розену было неприятно выслушивать сочувственные размышления банкира. Но вот он, ключ к пониманию одной из причин проволочки с займом, — непрочное положение главы правительства! Это раз. Во-вторых, американцы хотят убедительных гарантий и прав на разработку минеральных богатств, в частности на Дальнем Востоке, о чем печется младший Вандерлип. Розен испытующе взглянул на инженера, продолжавшего развлекать женщин, прислушался:

— ..Отец никогда не позволял мне есть плохие яблоки, — вспоминал тот о своем детстве. — Подсунет мать слег-



ка помятое, отец сразу же отложит и пояснит: «Привыкнешь есть смолоду второсортное — всегда в жизни будет такое. Так что с самого начала выбирай лучшее!..»

Сказанное Розен как-то связал с российской «безынициативностью», о которой разглагольствовали кузены, и с «практичностью», то есть деловой алчностью, американского бизнеса.

— Зачем вы отпустили из России столь яростного пропагандиста Максима Горького? Он не только протестует против займа царю, но и доказывает, что русское правительство неплатежеспособно.

Вопрос банкира прозвучал как-то неожиданно, но был логичен, так сказать, по теме. Розену хотелось возразить: «Хорошо, мы выпустили. А зачем вы его впустили?» Ответил же так:

— Максим Горький привлекается за антиправительственные высказывания к суду.

— Ну и что же? Лучшие осведомители — враги. Американский вкладчик, прослушав Горького, решит: «Пожалуй, надо последовать совету этого революционера, подождать покупать облигации русского займа». Не так ли?

«Вот и третья причина, — решил Розен. — Видно, и ты последовал совету Максима Горького».

Посол понимал, что заем на тех условиях, о которых вел переговоры Витте, похоронен и что настала пора прощаться. В этом ему помогла вернувшаяся супруга банкира:

— Господа, пойдемте же посмотрим на подарок Джона Моргана. Собачка терпеливо ждет нас.

— Да, статуи тем хороши, что они терпеливы, — заметил Розен и как-то безотносительно вспомнил о Джоне Моргане, о смешном разговоре, состоявшемся на яхте, когда они плыли в Уэст-Пойнт. Витте обратил внимание на большую бородавку, безобразившую нос миллиардера, посоветовал ему полечиться у берлинского профессора, искусство которого он испытал на себе. «Вы хотите оставить меня с обыкновенным носом?» — сострил в ответ Морган.

«Так кто же кого теперь оставил с носом?» — иронизировал посол уже над собой и над графом Витте и начал прощаться.

— Барон, этот ваш Горький изумительно написал о землетрясении во Фриско. Вы читали? — услышал Розен вслед брошенную фразу.

...Фриско... Младший Вандерлип разбудил у посла роман-

тические воспоминания о давно минувшем. В 1880 году он временно исполнял обязанности генерального консула в Сан-Франциско. Проживал в том самом «Палас-отель», разрушение которого столь ярко живописал инженер, занимал один из тысячи двухсот номеров этой роскошной гостиницы. Снять квартиру, тем более особняк, выходило не дешевле, так как даже горничной в те времена платили в этом городе до сорока долларов в месяц, как хорошему бухгалтеру. Да и за такие деньги прислугу было не найти: в Калифорнии тогда женщин насчитывалось втрое меньше, чем мужчин, то есть особо не заневестишься...

Лучшие апартаменты в «Палас-отель» занимали новоявленные богачи, золотопромышленники, спешившие во Фриско, чтобы пустить в оборот свои скороприобретенные капиталы. Они устраивали кутежи, не выходя неделями из-под стеклянной крыши-купола отеля, танцевальные холлы и рестораны которого привлекали городское общество.

С двумя такими, похожими на инженера Вандерлипа, меднолицыми молодцами Розен случайно познакомился в баре гостиницы, даже выслушал их занимательный прерываемый хохотом рассказ о том, как они, возвращаясь с бала и не узнав в темноте друг друга, открыли пальбу из револьверов.

В полночь, когда он уже спал, в дверь номера забарабанили кулаками. На вопрос, кто там и в чем дело, знакомые грубые голоса дуэтом предложили купить у них по дешевке золотonosный участок в долине Сакраменто или акции по номиналу — словом, на выбор, но только сейчас же и наличными, так как им срочно понадобилась некоторая сумма..

Какова она, простота нравов Дикого Запада, о которой послу сегодня напомнили облик и манера поведения горного инженера, кузена банкира?

\*

Роман Романович, прибыв в «Реджис-отель», позвонил по телефону в генеральное консульство, приказал, чтобы ему немедленно доставили газету с очерком Максима Горького о землетрясении в Сан-Франциско.

«Но почему все-таки разрушился «Палас-отель»? — подумал он, удобно располагаясь в кресле и закуривая. — Эта главная гостиница Фриско всегда рекламировалась как сверхпрочная, из камня и стали, обязанная особыми железобетонными арками. Фундамент здания опущен на сто фу-



тов в землю — не боится ни землетрясения, ни пожара. Вот тебе и не боится...»

Чрезмерно огорчительно задела Романа Романовича заметка о том, что землетрясение разломало в окрестностях Сан-Франциско остатки форта Росс, крепости, заложенной русскими мореходами в 1812 году. Когда-то он, романтически настроенный молодой дипломат, бродил между покосившихся, пришедших давным-давно в запустение деревянных срубов, надеясь найти литую медную доску с гербом и надписью «Земля российского владения». Еще в училище правоведения он заинтересовался историей возникновения форта Росс, а в Сан-Франциско даже отыскал потомков русских, которые охотно рассказывали о своих славных дедах, о том, как те возделывали тут поля и сады, охотились, вели мирную торговлю. Индейцы поддерживали с поселенцами самые хорошие отношения и в знак особого доверия охотно отдавали им в замужество своих дочерей.

Розену, тогда начинающему консулу, казалось, что и он столь же мудро и терпеливо будет вести дела внешнеполитических сношений между Россией и Америкой.

«Мудро и терпеливо», — будто передразнил себя посол и взял со стола томик стихов Тютчева, который всегда возил с собой: любил он Тютчева, находя в его стихах что-то крайне нужное человеку, подолгу жившему на чужбине. Возможно потому, что Тютчев сам был дипломатом, то есть сполна извещал это чувство и искренне передал.

«Его тоже не очень-то понимали», — подумал Розен, машинально употребив «тоже» в странной аналогии с Максимом Горьким. Тютчев, будучи поверенным в делах в Турине, влюбился в молодую вдову и скоропалительно, без разрешения начальства, женился на ней. За такую вольность его тут же отправили в отставку.

Розен листал томик, пока не наткнулся на строфу:

Счастлив в наш век, кому победа  
Далась не кровью, а умом,  
Счастлив, кто точку Архимеда  
Умел сыскать в себе самом...

«Это он о дипломатах», — подумал посол, соображая, имеются ли у него основания отнести эти строчки и к себе.

У них в роду тоже был поэт — Егор Федорович Розен, автор либретто к знаменитой опере Глинки «Жизнь за царя». Он занимал должность секретаря его императорского высочества цесаревича, будущего государя Александра II.

Маститый Жуковский, будучи в это же время воспитателем наследника, часто встречался с Егором Федоровичем, любил посмеиваться над ним. «У Розена стихи готовы на все случаи жизни, — сказал как-то он при Глинке. — Ему даже нет необходимости искать их в сердце, стоит только засунуть руку в нагрудный карман».

Поэт очень обиделся на шутку и, обращаясь к композитору, который был ему едва по плечу, трясая маленькой, со светлыми прилизанными волосами головой, сверкая голубыми глазами, ответил: «Он не понимает, что есть лутшая поэзия». Несмотря на акцент, Егор Федорович писал по-русски правильно и его стихи, с точки зрения поэтической грамоты, были безукоризненными.

Так же, на манер Жуковского, вспомнил посол, разговаривал с ним самим Витте, выразивший недовольство его сучостью в обращении с американцами.

— Ваша, господин барон, чисто немецкая педантичность лишает дипломатию взлета, фантазии, вдохновения.

Роман Романович был вынужден возразить:

— Дипломатические ноты неплохо впечатляют и без фортепьяно и без рифм.

И услышал в ответ:

— Ну а пример Грибоедова? И поэт и музыкант.

— По правде говоря, не хочется следовать его примеру, то есть до конца.

— Вот именно, до конца. — Витте, как обычно, громогласно фыркнул. — Тем более учитывая, что сейчас мы с вами тоже имеем дело с азиатами. Вы очень уж затягиваетесь, Роман Романович, в мундир. Во имя дела порой необходимо предпочесть демократический пиджак. Впрочем, знаете ли вы? В Петербурге в вашем департаменте появилось нововведение: чиновники могут являться в кабинет начальствующего лица в сюртуке, даже в обыкновенной пиджачной паре. Так что им уже не требуется во время составления нот засовывать фалды вицмундиров в карманы.

Розен питал к Витте двойное чувство — уважения к его государственному уму, энергии, но и подозрительности к необычайной ловкости. Ведь сумел без путейского образования добиться места директора железнодорожного департамента, прыгнув сразу из титулярного советника в чин действительного статского, вскоре занял кресло министра путей сообщения, а еще через восемь месяцев — министра финансов, то есть стал руководителем всей экономической жизни страны,



- так как министерство финансов ведало и промышленностью, и торговлей, и железными дорогами.

Граф Ламздорф, министр иностранных дел, играя на французском слове «vite» — «быстрый», как-то сказал: «Посмотрим, будем ли мы теперь двигаться быстрее», имея в виду не то экономику, не то скорость движения поездов. Графу Ламздорфу, маленькому, изящному, всегда завитому и надушенному, определенно не импонировал новый любимец Александра III, такой же огромный, как царь, но еще более топорный, бесцеремонный с подчиненными, о котором вместе с тем нельзя было сострить, как об Александре III, что зря, дескать, говорят, будто бы он похож на Петра Великого с дубинкой: скорее уж дубина, но без всякого «великого». Нет, умен Витте и знаниями умеет распорядиться. И ловок...

На месте убийства Плеве, неподалеку от Балтийского вокзала, был поднят портфель, в котором обнаружили две выписки из писем, перехваченных сотрудниками полиции. В них говорилось о Витте. В одной — что он состоит в тесном общении с русскими заграничными революционными кругами, в другом выражалось удивление, как это правительство держит на таком высоком посту человека, близкого к врагам существующего строя, проникнутого нескрываемой враждебностью даже к личности самого императора.

Плеве тогда ехал на всеподданнейший доклад к царю и, видно, намеревался познакомить его с этими документами. Конечно, министр внутренних дел и сам мог сфабриковать письма. Витте не раз высказывался о нем как о политическом дельце, который может служить и богу и черту, смотря по тому, что выгодно в данном случае для карьеры. Кое-кому показалось уж слишком счастливым для Сергея Юльевича то, что Плеве так и не удалось довести до царя эти обличительные документы. Удивительно счастливым и странным, как и случай с покушением на самого Витте, когда пострадала только... печка в доме графа, в которую через дымоход был опущен снаряд. Газеты подробно описывали это злодеяние, более похожее на спектакль.

«Ловкий, ловкий», — снова подумал Роман Романович, прикинув, что он всего на два года старше Витте, а по служебной лестнице поднимался с отставанием на два десятка лет. «С остзейской методичностью», — сказал бы, наверное, Витте. Он и сам по отцовской линии выходец из прибалтийцев-лютеран, предки которых были голландцами. О последнем Витте не преминул вернуть за обедом у

Рузвельта: учел, что предки президента — тоже голландцы.

Обычно же Сергей Юльевич упоминал о предках по матери, происходившей из рода князей Долгоруких, сподвижников Петра I, а с тех пор, как выдал дочь замуж за чиновника русской миссии в Брюсселе Нарышкина, стал гордиться и новым родством, даже двухлетнего внука называет только по имени-отчеству — Лев Кириллович. Как же: Наталья Нарышкина была матерью Петра II!.. Родство, правда, у Витте получалось очень дальнее, так как дочь-то ему не родная. Настоящим отцом ей приходился некий Лисанович, беспутный человек. Говорили, что Витте отбил у него жену-красавицу, дав две или три тысячи отступного, чтобы ускорить развод. Другие утверждали обратное, что он взял за второй супругой (первая умерла) полтораста тысяч рублей. Как бы то ни было, но мадам Витте до сих пор не принимали при дворе и очень неохотно встречали в петербургском свете.

Возможно, поэтому Сергей Юльевич никогда не упускал случая позлословить о лицемерии официальных блюстителей нравственности, в особенности же не терпел дядю царя, великого князя Алексея Александровича, своего противника в дальневосточной политике. Этот главный начальник флота, генерал-адмирал, «моряк по случаю» и кутила, в молодости из-за неоправданного поведения был направлен Александром III в кругосветное морское путешествие. Однако за границей великий князь, о котором говорили, что размеры его ума обратно пропорциональны тучности тела, развернулся вовсю. В Марселе, сойдя с корабля на берег, он вместе с офицерами ночью отправился в неприличное заведение и учинил там дебош с битьем зеркал и посуды, то есть в истинно российском духе. Была вызвана полиция. Дело замяли с помощью большого штрафа.

А чем лучше великий князь Борис?! Его недавний визит в Америку сопровождался серией оргий с девушками из кордебалета и хористками. Америка запомнила самый выдающийся афоризм Бориса: «Наша жизнь только и может проходить в вине...»

Витте была передана газета «Социалист», издаваемая в Толедо, со статьей о бесчинствах члена российского императорского дома. Эта статья широко цитировалась в левой прессе. Впрочем, скандальное поведение великого князя не помешало президенту Рузвельту устроить в его честь грандиозный прием. Витте негодовал, правда, уже вслед.

«...Хоть и присвоил государь Сергею Юльевичу графский



титул за портсмутские переговоры, но эту свою милость он ему никогда не простит: силой вынудил, — предположил Роман Романович. — По арабской примете, задранный кончик носа выдает самонадеянного себялюбца. У Николая II как раз такой. И вообще, справедливость — калека на одной ноге. Она всегда с костылем, а непорядочность — многоножка, юркая ящерица: оторви хвост — все равно жива, еще быстрее побежит». Последней сентенцией барон охарактеризовал отношение официального Петербурга уже к нему самому, послу.

### **3. НЕОЖИДАННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО**

Розена раздражала усиливающаяся связь министерства иностранных дел с политической службой департамента полиции, с заграничной агентурой охраны, но он понимал: сближение закономерное — иммиграция с каждым годом становилась все более весомым фактором во внешнеполитической работе. Бестолковая внутренняя политика, которую творили в Петербурге бездарные карьеристы, мешала вести дела межгосударственных сношений и все более вмешивалась в них. Несчастливая война с Японией, считал Розен, порождена прежде всего именно этой собственно российской бестолочью и проиграна вовсе не из-за возросшей силы японского оружия, а в первую очередь из-за ослабления внутреннего единства империи.

Взамен серьезной дипломатической работы от него все больше запрашивают информации о политических партиях, о полицейских мероприятиях американского правительства в борьбе с забастовками, о деятельности русских политэмигрантов. Он вынужден действовать на уровне полицейского чиновника, даже входить в контакты с «гороховым пальто».

От консульств ныне требуют не столько содействовать приезжающим в страну соотечественникам, защищать их правовые интересы, сколько шпионить за ними. И ему, послу, в таком духе приходится наставлять своих консулов в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Чикаго, Сан-Франциско, а также находящихся в его ведении в Маниле и Гаване.

На эту не естественную для дипломатов нагрузку ему как-то жаловался и Бенкендорф, досадуя, что русские революционеры как будто нарочно выбирают для своих съездов и собраний Лондон. Что касается Парижа, то там сам посол, можно сказать, находится под контролем охраны...

«Лезут за границу, а у себя внутри не могут как надо

наладить полицейскую службу, — раздражался Розен. — В политическом сыске играют все более важную роль внутренние секретные сотрудники, попросту сказать — провокаторы. Это опасно: дело охраны государственного порядка переходит в руки людей двойных, продажных по обстоятельствам, удерживаемых только за счет подачек, щедрых наградных, разных пособий, пенсий... Провокации как метод имеют значение, когда управляемы, пока представляют единичные факты. Массовые же провокации могут возвратить удар подобно бумерангу. Устроили со своим Зубатовым манифестацию рабочих в Москве у памятника Александру II в годовщину освобождения крестьян, собрались, чтобы возложить венок царю-освободителю, а получилась демонстрация против его внука. Сами же допустили шествие к Зимнему дворцу 9 января, в результате поднялись баррикады в столице...»

— Доставить бы в Санкт-Петербург пятьсот американских полицейских — и никакого Кровавого воскресенья не было бы, — вслух произнес барон, представляя облик удобно одетого рослого «бобби» — в серой каске, с белым полированным кlobом в руке — и сравнивая его с фигурой русского городского — в длинной шинели и огромных сапогах, с путающейся в ногах саблей — «селедкой». Вместо чувства собственного достоинства — бессмысленная преданность в глазах. А нет ничего опаснее бессмысленности, в любую минуту она может переродиться в трусость, предательство...

О заднем уме, которым крепки петербургские политики, свидетельствовало и их запоздалое указание воспрепятствовать выезду Максима Горького в Соединенные Штаты. Он попробовал — и ничего не вышло, кроме конфуза.

В госдепартаменте на его представление ответили:

— Мы внимательно отнеслись к просьбе русского правительства. В северные Соединенные Штаты Америки запрещен въезд довольно многочисленной категории людей: контрактрованным рабочим, лицам, приехавшим на средства благотворительности, анархистам, китайцам, а также страдающим заразными или отвратительными болезнями, как-то: сифилисом, эпилепсией, трахомой. И еще — умалишенным, идиотам, калекам, уголовным преступникам...

Розен нетерпеливо ждал, когда закончится «черный» список.

— ...Ни к одной из означенных категорий писатель Мак-



сим Горький не подходит, — заключил наконец чиновник и тяжело вздохнул, будто вместе с послом сожалел о формальности инструкций.

— Но анархисты?

— И в этом отношении в биографии Максима Горького не нашлось ничего такого, что подпало бы под закон.

— Но его книги!..

— Ознакомились и с книгами, — подтвердил чиновник. — В них нет анархического, только скорбь о страданиях русского народа. А это не может служить препятствием для временного пребывания писателя в Соединенных Штатах. Да и чего стоит, мистер посол, один ваш соотечественник, когда иммиграция русских в Америку приняла хронический характер?..

Эта фраза уже выходила за рамки официального протокола беседы, унижала. Розен, понимая, что отказали окончательно, дал отпор:

— Положим, переселяются не русские, а главным образом из западных областей империи.

Недостаточная осведомленность помешала ему выдвинуть довод, который мог бы оказаться существенным: он не знал, что Максим Горький болен открытой формой туберкулеза — болезнью, с которой въезд в страну тоже запрещался.

13 апреля, то есть когда писатель уже находился в Нью-Йорке, в вашингтонской «Геральд бьюроу» появилось сообщение, что Максима Горького намерен принять президент Рузвельт.

Розен серьезно обеспокоился. Такую встречу могли бы оценить как политическую демонстрацию со стороны американского правительства, акт сочувствия русским революционерам. Надо было срочно искать серьезные превентивные меры, которые упредили бы недружественный шаг, каковым, конечно, посчитает визит Горького к американскому президенту официальный Петербург.

\*

«...Богатый цветущий город разрушен, горит».

«...Больше свободы людям, чтобы они могли развивать свой пылкий ум».

«...В этом преступлении нет злой воли человека, и — право! — такое сознание должно утешать американца. Стране нанесен страшный удар, но — не людьми».

Барон Розен по абзацам пробежал очерк Горького, на-

званный просто «Сан-Франциско». Из консульства ему привезли пакет с газетой «Америкэн» за 20 апреля, в которой он был опубликован. Читая, посол недоумевал, он ничего не видел, кроме общих слов о зависимости человека от слепых сил природы. И вдруг в самом конце перед глазами как плотина:

«...Моя родина содрогается в судорогах страданий по воле людей. В России погибают тысячи по воле людей, которые хотят только власти, и больше ничего. Россия страдает от злых и грубых людей, и это наполняет душу мою тоской и ужасом.

Я переброшен на этот берег океана землетрясением, которое вызвала злая и грубая сила людей, а не стихия, которая не знает, что делает она... А люди знают это и сознательно творят зло и преступление, заливая землю родины моей кровью ее народа.

Америка залечит раны Сан-Франциско, она поможет городу и людям перенести горе, постигшее их...

Кто поможет моей родине, которая хочет свободы, имеет право на свободу, не может жить без нее и все еще не может вступить в бой за свободу?..

Кто поможет родине моей?»

«Это же не соболезнавание разрушенному городу, Америке, это революционное воззвание! — возмутился посол, откладывая газету. — Действительно, зачем было отпускать из России столь яростного пропагандиста? — невольно повторил он вопрос Фрэнка Вандерлипа. — А теперь по задач шлют на генеральное консульство грозные бумаги».

Посол имел в виду официальное извещение мещанину города Нижнего Новгорода Алексею Пешкову о привлечении его к суду за антиправительственную агитацию с предписанием немедленно выехать в Петербург для дознания. Тут же указывалось, что в случае невыполнения распоряжения он будет рассматриваться как самовольно покинувший Российскую империю и, по возвращении в ее пределы, подлежит ссылке в отдаленные места Сибири.

Предписание получили, а как вручить — неизвестно: Максим Горький исчез! Пришлось снова на помощь вызывать гартингского агента Николаева.

Розен вспомнил об охраннике без обычного раздражения. Беседа с ним в тот раз заинтересовала новизной постановки проблемы контроля за эмигрантами. Агент в первые минуты дал понять, что именно он организовал антигорьковскую



кампанию в прессе и снабдил скандальными фактами о писателе и актрисе Андреевой нью-йоркские газеты, в частности известную «Уорлд».

— Пулитцеровскую, — уточнил посол.

— На херстовские у меня уже не осталось финансов, — просто ответил агент. — В Париже на влиятельных сотрудников «Фигаро» расходуется до двадцати четырех тысяч франков в год! Это помогает парализовать интриги, направленные против России.

— Двадцать четыре тысячи?!

— Не удивляйтесь, это крохи, — возразил Николаев. — Вам должно быть известно, что в 1904 году наша казна для того, чтобы избежать излишних волнений среди держателей облигаций русских займов, выделила двести тысяч франков для субсидирования французской печати.

«Да, я это знаю, — подумал Розен, — но, оказывается, операция «эффективного воздействия» на журналистов, порученная финансовому агенту парижского посольства Артуру Рафаловичу, известна и полицейской службе... Создание благоприятного общественного мнения при подготовке нынешнего международного займа обойдется, надо полагать, еще дороже».

— Херстовские журналисты не менее продажны, но пока что шефу выгодна тема «преследуемый Максим Горький». Как же, он выпускает самые дешевые газеты «для бедных», — Николаев скептически улыбнулся, — и даже подмешивает в свои передовые известную долю социалистического сурика! Дело в том, что Херст собирается баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка и для него сейчас важно завоевать голоса левых. Будьте уверены, Максим Горький раскусил или скоро раскусит игру. Тут-то будет конец доброжелательству, так что тратиться на подкуп и не надо.

Розен подумал о логичности суждения агента, который вовсе не походил на ранее представлявшийся ему тип шпиика. Однако пора было переходить к делу, за которым и вызвали гартингского посланца. Посол, приподняв чугунный пресс-бювар, копию Царь-пушки, вынул из пачки бумаг одну, с государственным гербом империи.

— Ознакомьтесь с извещением для вашего подопечного.

Николаев пробежал глазами по бумаге, спросил:

— Что я должен сделать?

— Помочь установить новый адрес жительства Максима Горького. — Пока Николаев изучал предписание, Роман Ро-

манович, вздохнув, будто сбрасывая с себя чиновничью личину, заметил: — Меняются писатели земли русской. Возьмите Короленко. Как говорится, без пяти минут классик. Пострадал за незрелые юношеские убеждения, хотя сибирское искупление обратилось расцветом таланта... Так вот, Короленко, приехав корреспондентом на всемирную выставку в Чикаго, счел необходимым нанести визит в генеральное консульство как русский гражданин, выражаясь по Некрасову.

— Это интересно, — молвил Николаев, искренне удивленный столь уважительным упоминанием фамилий двух писателей-вольнодумцев. — Кстати, Короленко считается литературным крестным Горького. Он помог ему сделать первые шаги в литературе, а когда крестника исключили из членов Академии, то в знак протеста вместе с Чеховым вышел из числа почетных академиков.

— Вот как?! — вставил посол, которому беседа с агентом доставляла удовольствие. — Так, может быть, нью-йоркская пресса не без основания писала, что Короленко намеревался остаться в Соединенных Штатах?

— Вряд ли, — возразил агент. — Хотя бы потому, что в это время между нашим и американским правительством обсуждался проект договора о взаимной выдаче политических преступников.

— Да, помню, — подтвердил барон.

— По-моему, такой договор только бы сплотил эмигрантов, революционизировал их и заставил сконцентрироваться в другой стране. А надо разобщать, разделять! Партийная, фракционная и иная внутренняя разобщенность — вот рычаг, за который следует держаться в борьбе с опасными элементами. Примером служит нынешнее совпадение поездок в Соединенные Штаты двух делегаций — от партии эсеров во главе с Николаем Чайковским и большевистской — горьковской. Они оказались взаиморазрушительными, их противоречия сбили с толку американских доброжелателей, которые теперь не в состоянии понять, какая революция лучше и кто в России за какую республику. Ну а в целом это породило недоверие к русским радикалам вообще. — Агент говорил корректно и вместе с тем уверенно, будто делая заказанный ему в первый визит доклад, и послу это тоже нравилось. — Сейчас в Соединенных Штатах политических эмигрантов из России ничуть не меньше, чем во Франции или Англии, — продолжал он. — Причем сюда бегут и через Владивосток



с сибирской каторги, то есть очень опасные личности. Американские власти не понимают, что русские эмигранты — это не менее взрывоопасный материал, чем, скажем, итальянцы. Тому пример Максим Горький: не успел появиться в Нью-Йорке и сразу же начал с подстрекательства, с призыва к оправданию двух убийц. Чтобы иметь контроль и своевременно организовать контрмеры, неплохо бы тут создать подобие нашего берлинского отделения.

— Интересная мысль, — отметил посол, — хотя я всегда испытываю затруднения, когда речь идет о смешении функций полиции и дипломатии.

— Не о смешении, а о сочетании, позволю заметить, ваше превосходительство. В «Записках о галльской войне» Цезарь писал о таком сочетании в смысле, что смятения во вражеском стане, в войсках, можно добиться, внедряя в их ряды панические слухи, разлагая неуверенностью. Можно сослаться и на факт не столь отдаленного прошлого: сочетание деятельности Фуше и князя Талейрана — людей, лично ненавидевших друг друга, блестяще сказалось на крушении революционного режима во Франции...

— Да, да, — посол остановил словесный поток агента. — Я вижу, вы сведущи в истории, но предлагаю обратиться к сегодняшнему дню. Так как же вручить извещение исчезнувшему благодаря вашим, э-э, контрмерам Максиму Горькому? Объявить в печати через «Уорлд»?

— Ни в коем случае! — торопливо возразил Николаев. — Всякое широковещательное свидетельство о преследовании Горького русским правительством только поднимет его политические шансы среди рядовой американской публики. Не беспокойтесь, ваше превосходительство, он сам объявится либо найдут газеты: слишком крупная цель.

И снова посол не мог не отметить находчивость и логику агента. Чтобы как-то поощрить его и в то же время поставить на место, он заключил:

— Господин Николаев, я непременно найду случай передать господину Гартингу о вашем старании и некоторых проектах. Однако, как свидетельствует латынь, «агент» происходит от слова «действовать». Я настоятельно советую вам в первую очередь руководствоваться все-таки этой энергичной первоначальной сутью.

«Что делать, что делать?» Розен как бы извинял себя за ту не в меру затянувшуюся беседу с деятелем охраны. Должность политического сыщика становится все более необходимой в обществе. Белое здание на Фонтанке, близ Цепного моста, — трехэтажное с фасада и пятиэтажное со двора, в правом крыле которого и размещалось охранное отделение, стало желанным местом для многих. Если раньше сюда на службу сбывали из полков офицеров, совершивших проступки, то теперь голубые жандармские мундиры и белые полицейские с оранжевым просветом на серебряных погонах надевали даже лейб-гвардейцы и камер-пажи. Агентов принимают в салонах, удостоивают орденов, государственных пенсий, делают «почетными гражданами» и даже потомственными дворянами, «вашими превосходительствами», вроде бывшего почтового сортировщика Рачковского или недоучившегося гимназиста Зубатова. И эти люди, судя даже по Николаеву, стремятся оправдать милости и щедроты личной энергией, совершенствованием сыска и охранительных мер.

Лондонский коллега Бенкендорф как-то рассказывал, что его знаменитый родич, Александр Христофорович, при назначении на должность шефа только что установленного 3-го отделения получил из рук Николая I всего лишь... батистовый платочек. Император сказал ему: «Этим ты утрешь слезы матерей и сирот». «Надо полагать, он надеялся, что остальные-то средства утешения и наказания его любимец подберет сам и со знанием дела», — не удержался от сарказма Розен, ощутив снова на миг в себе потомка декабриста...

Со дня визита Николаева прошло порядочно времени, и вот, как и предполагал агент, Максим Горький объявился. Да еще как?! Очерком-воззванием «Сан-Франциско», которым обратился ко всей Америке, к стране, выражая тем самым полное пренебрежение к своим преследователям — русским и американским!..

«Не так ли, Федор Иванович?» — обратился посол к раскрытому томику Тютчева.



## 1. ЧИКАГСКИЙ ЛУП

Экспресс Пенсильванской железной дороги подходил к Вашингтону с получасовым опозданием. Нарушение расписания, чрезвычайное для столичной магистрали, не вызвало особых нареканий со стороны пассажиров. Во всяком случае, Герберт Уэллс их не слышал. Соседи по купе сидели, уткнувшись в газеты, обменивались последними новостями, касавшимися землетрясения в Сан-Франциско.

Писатель держал перед собой вчерашнюю чикагскую «Трибюн», разглядывая снимок двухбашенного здания с провалившейся крыши.

Жирным курсивом выделялись в газете телеграммы:

«Народ Соединенных Штатов собрал в помощь пострадавшим 10 000 000 долларов!»

«Конгресс ассигновал Сан-Франциско 2 500 000 долларов!»

«Юнион пассивик» и «Соушери пассивик» доставили в Сан-Франциско 4603 вагона стоимостью 8 445 400 долларов».

«В Сан-Франциско на 40-й стрит открыт госпиталь для пострадавших».

«Мистер Гарриман, владелец двух крупнейших тихоокеанских линий, закупил в Сакраменто и Лос-Анджелесе продуктов на 20 000 долларов»...

У Герберта Уэллса рябило в глазах: доллары, доллары, цифры с множеством нулей! Любование богатством, размашистой милостью, за которыми само несчастье съеживалось, выглядело убожеством подле золотого порога храма щедрости...

О землетрясении Уэллс узнал по пути в Чикаго. Поезд неожиданно остановился на какой-то крошечной станции. Пульман, в котором ехал писатель, затормозил как раз напротив деревянного бревенчатого вокзала — окно в окно. За широко распахнутыми створками Уэллс увидел человека в сдвинутой на затылок шляпе, читавшего ленту, которая струилась из телеграфного аппарата.

Телеграфист обращался из окна, как с трибуны, к толпящимся на платформе людям, выкрикивая:

— Подземные толчки вывели из строя водопровод!.. Артиллеристы взрывают горящие здания!.. Родители извлекают из-под обломков трупы детей!.. Губернатор Калифорнии

объявил день землетрясения нерабочим!.. Сан-Франциско больше нет! — заключил глашатай уже от своего имени.

Потому и был срочно остановлен поезд, чтобы пассажиры, среди которых могли находиться жители Калифорнии и, уж точно, имеющие там родственников, узнали о катастрофе и, если необходимо, могли переменить маршрут, поспешить к берегам Тихого океана.

Новости накатывались от станции к станции снежным комом. В экстренных выпусках местных газет попадались и такие утверждения, что поднятые землетрясением океанские волны обрушились на побережье Калифорнии и смыли все живое, что подземные толчки распространяются в глубину материка до самого Чикаго.

Однако столица Ближнего Запада спокойно смотрелась своими небоскребами, парками в воды Мичигана. На путях станции Уобаш-авеню Уэллс увидел состав платформ с трехэтажными деревянными домами, которые Чикаго отгружал для Сан-Франциско. В конце поезда было прицеплено несколько рефрижераторных вагонов с консервами здешних всемирно известных боен. Тяжелый запах «мясного города», то есть района сосредоточения этих предприятий, где ежедневно закалывалось и перерабатывалось в консервы, окорока, колбасы и иные мясопродукты до шестидесяти тысяч одних только свиней, проникал в вагон, хотя окна были предусмотрительно закрыты. Поезд проходил по соседству с бойнями, перемежающимися бесчисленными загонами для скота.

В редакции «Чикаго трибюн», куда Уэллс зашел с рекомендательным письмом от лондонской «Трибюн», его прежде всего снабдили красочным путеводителем с картой расположения «мясного города», но он удивил журналистов, отказавшись от экскурсии, от зрелища единственного в своем роде гигантского кровавого представления.

— Должен заметить, что ваш лондонский Кук настойчиво советует туристам знакомиться с машинным конвейером смерти: быстро, гигиенично и все, вплоть до зубов, используется, — пояснил приставленный к писателю репортер. Разговаривая, он почему-то прикрывал рот ладонью. — Это та же коррида! Только тореадор, называемый быкобойцем, ничем не рискует. Правда, может вылететь с работы, если замешкается на миг со своим молотом — не опустит на голову быка.

Так как Герберт Уэллс и на рекламу не отреагировал,



журналист дипломатично перешел на злободневную тему — землетрясение:

— Кук, наверное, уж готовит для любителей острых ощущений вояж из Лондона в Сан-Франциско. Город, возникший на грани суши и моря, оказался на грани жизни и смерти. Стихия!

— Стихия страшна до тех пор, пока человек не научится оценивать ее силы, предвидеть ее.

— Ха-ха! Вы почти процитировали Максима Горького. Он так написал в «Америкэн».

— Что написал?!

— Очерк о землетрясении в Сан-Франциско. Кстати, он собирается посетить Чикаго, — удивил Уэллса еще одной новостью репортер.

— Да?!

— Ему тут будет обеспечено блестящее одиночество, — распространялся журналист. — Чикаго сумеет позаботиться о том, чтобы чистота семейных очагов не была оскорблена присутствием нежелательного гостя.

«Кажется, и этот блюститель чистоты нравов принимает меня за союзника, как и судья Мак-Квина», — мелькнуло в голове у Герберта Уэллса, и поэтому с досады он ответил резче, чем хотелось:

— Любопытно, что бы написала «Чикаго трибюн», при-ми так Франция вашего Франклина? Он ведь тоже был посланцем революции — американской — и ехал в Париж с надеждой найти сочувствие и помощь.

— Бенджамин Франклин — человек высочайшей нравственности! — возмутился собеседник. — Сравнить его с Максимом Горьким по меньшей мере неуместно.

Разгорячившись, журналист опустил руку, и Уэллс понял, почему он ее держал возле рта при разговоре: у него были очень некрасивые, длинные и узкие зубы. Такой жест, вспомнил он, был свойствен Оскару Уайльду, тоже стыдившемуся своих зубов, которые при улыбке буквально безобразили его прекрасное лицо.

«Но у этого-то все под стать зубам», — подумал Уэллс и возразил:

— Не надо так надуваться. Не кто иной, а именно упомянутый вами Франклин утверждал: «Когда спесь садится в карету, позор устраивается на запятках». Не каждому, конечно, дано характера или ума, чтобы отказаться от обшито-го бархатом насеста. Для этого надо быть, например, Чарльзом

Диккенсом, которого шотландцы трижды просили баллотироваться в палату общин — и тщетно! Диккенс даже отказался от милости королевы Виктории, пожелавшей возвести его в дворянское достоинство.

— Тем не менее приятно, когда кто-то из твоих бывших коллег становится одним из руководителей экономики страны, — ответил журналист. — Вы слышали о Фрэнке Вандерлипе?.. Начинал в «Чикаго трибюн» репортером, а теперь банкир. Фрэнк — мастер выжимать крем прямо из молока!

«Вот он средний американец, — подумал Уэллс. — Его идеал — Рокфеллер, Карнеги, Вандерлип, кто угодно, выбравшийся на долларовый олимп из поденщиков: «Значит, и я могу!» Ему импонируют «мамонты характера». «Тебе не следует дружить с бесполезным человеком», — вспомнил Уэллс одну из десяти заповедей мистера Паркера, автора брошюры о способах стать богатым. — Писатель очевидно бесполезен, а такой, как Максим Горький, даже вреден: он охотник на «мамонтов».

— Горького кое-какие газеты уже поспешили назвать послом революционной России в Америке! — Размышление Уэллса было прервано хихиканьем журналиста.

— Что же такого? Имеется прецедент, — нарочито бесстрастно ответил он. — Теккерей в свое время назвал вашего Вашингтона Ирвинга первым посланником Соединенных Штатов, отправленным в Старый Свет.

«Гид» из «Чикаго трибюн», окончательно убедившись в симпатиях английского писателя к русскому социалисту, попытался повернуть разговор:

— Вы, мистер Уэллс, отвергли экскурсию на скотобойню, а ваш коллега из Нью-Йорка Эптон Синклер только и увидел в Чикаго «мясной город». Заработал на этом тридцать тысяч долларов!

— То есть?..

— Недавно опубликован его роман о семье иммигрантов из России, которые не сумели приспособиться к американским условиям, к чикагским темпам работы, поэтому потерпели жизненный крах. Но автор представил все дело так, что виноваты не сами русские недотепы, а только наши порядки — производственные, политические, бытовые. Естественно, что социалистический «Призыв к разуму» первым напечатал эту книгу... И что же это такое?! — воскликнул журналист. — Чикаго кормит пол-Америки пшеницей, мясом, снабжает древесиной, перебрасывает грузы через весь кон-



тинент по своим шестидесяти железным дорогам, по Великим озерам. Чикаго, если хотите, — индустриальное сердце Америки! И вот под это сердце бьют, бьют!..

Уэллса поразили искренность негодования, социальное невежество оппонента, слепота самодовольства... Прекращая спор, он попросил у него нью-йоркскую «Америкэн» с очерком Горького, не догадываясь, что совершает бестактность: «Чикаго трибюн», издаваемая Робертом Маккормиком, являлась в Чикаго основным конкурентом херстовских изданий. Маккормик, как и Херст, изображал себя другом простого американца, что не мешало ему иметь солидные пакеты акций в промышленных компаниях, в том числе и в Пенсильванской железной дороге, по которой ехал сейчас Герберт Уэллс.

\*

В горьковском очерке «Сан-Франциско» Уэллса сразу захватили те строки, которые посол Розен пропускал как малозначимые:

«...Больше свободы людям, чтобы они смогли развивать свой пытливый ум, чтобы они научились предупреждать несчастья, подобные тем, которые поразили Неаполь и Сан-Франциско! Больше знаний людям, больше труда в развитии наук! Мы, на нашей земле, одиноки в пространстве вселенной, пусть же одиночество соединит нас в одну семью перед лицом загадок жизни!»

Так думал и сам Уэллс, который хотел здесь, в Америке, найти хотя бы смутное сознание общей цели, собственной американской Утопии, вместо рассыпчатой жизни, которая объединяет людей только машинными шестеренками, ремennыми передачами или буферами поездных составов — вагон к вагону. Статья Максима Горького тронула его еще и благородством, как бы подняла автора над колготней сплетен.

Уэллс уяснил для себя причину нараставшего раздражения, когда уже сел в поезд, увозивший его из Чикаго на восток, в Вашингтон: ему антипатичны бездумное самодовольство, торгашеский дух, повсюду доминировавшие в Соединенных Штатах над интеллектуальностью, воображением, состраданием. Вот так же деловой квартал Чикаго — Луп парил своими грандиозными бронированными гранитом небоскребами над бескрайним зеркалом озера, готовым напоить весь мир, над дышащими свежестью многокилометровыми линиями бульваров, принимающих под свою прохладу каждого, над прекрасным зданием нового университета, где дол-

жен воспитываться коллективный разум нации, над площадями, где полагалось праздновать и публично спорить, но никак не стрелять в себе подобных, как было здесь, на Хей-маркет.

«Не стрелять же?! — Уэллс задавал этот вопрос Карлу Линнею. Он встретился с памятником гениальному биологу в Линкольн-парке, раскинувшемся вблизи Лупа, а сейчас в вагоне захотел продолжить мысленный разговор с коллегой-биологом, первым догадавшимся переставить человека с постаamenta богоподобия в один ряд с обезьяной. — Вольготно тебе с увековеченным мраморным лбом — все классифицировал в живой природе. А я вот попробовал высунуть нос чуть дальше «био» и прищемил — сразу не стало человека в смысле «вообще». «Вообще» он пока не родился, во всяком случае, пока его не приняла пеленка — батистовая, холщовая или пальмовый лист... Тут-то и начинается другая систематика, другие классы, — стреляющие друг в друга».

В Чикаго с Уэллсом говорили откровеннее, чем в благопристойном пуританском Бостоне. Этот город, в который со всего света прибывало до пятидесяти тысяч иммигрантов в год, напоминает лагерь проспекторов, не очень-то заботящихся о будущем своего прииска, — к такому выводу пришел Уэллс.

Почти тысяча километров от берегов Мичигана до Атлантики, до Вашингтона. Это как пересечь всю Европу от Лондона до Рима. Таковы масштабы страны, в которой от края до края проводится индустриальный, как казалось Уэллсу, эксперимент в потогонном темпе; обществу даже некогда подумать: «А куда все-таки несемся?» Одно ясно, что эти просторы земель, которым удалось избежать европейской судьбы — дробления на государства-карлики, гигантская концентрация промышленности, неистовый урбанизм, стягивающий разнородные массы людей в трудовые общины города, — все это свидетельство коллективистских тенденций, могущих послужить основой для современной Утопии...

...Состав заскрежетал, резко торкнулись вагоны, тревожно прогудел локомотив. Уэллс вглядывался в спешивших по обочине рельсового пути людей, пытаясь понять, что произошло. Из разговоров, доносившихся снаружи, выяснилось — какой-то несчастный итальянец кинулся под поезд.

Происшествие и вовсе испортило настроение Уэллсу. Он подумал о Мак-Квине, которого тоже перерезало, задавило американское общество: в глазах долго стояли два окровав-



ленных брезента, на которых железнодорожники пронесли то, что несколько минут назад было человеком.

Писатель вышел на площадку вагона и принялся рассматривать проплывавшие далекие холмы, зеленые поля, фермы и бегущие рядом три колеи рельсовых параллелей.

Вагон от большой скорости сильно раскачивался. На площадку, широко расставляя ноги, придерживаясь за стенки, за дверные ручки, шагнул детина, похожий разом и на скотогона и на содержателя окраинного салуна. Он остановился возле Уэллса, хрипло вздохнул и выплюнул табачную жвачку. Целил за вагон, но ветер возвратил ему коричневый плевок, приляпав к блестящему башмаку.

«Вот так нам отвечает история», — констатировал Уэллс.

— Проклятый воп! Потеряли из-за него двадцать минут, нет, целых полчаса! — буркнул детина, громко хлопая золотой крышкой массивных часов.

По презрительной кличке иммигрантов — «воп» — Уэллс понял, что сказанное относилось к самоубийце, из-за которого поезд задержали перед самым Вашингтоном.

## 2. В «ГОРОДЕ РАЗГОВОРОВ»

Миновав украшенные статуями сводчатые залы Юнион-стейшн, Герберт Уэллс продолжил путь в город снова по Пенсильванской, но уже асфальтированной магистрали. Обсаженный густо-зелеными вязами проспект казался проведенным по линейке. Оно и верно, гениальная линейка участника Американской революции француза майора Пьера Шарля Ланфана, обретшего здесь отечество, планировала новый Версаль, который служил бы народу, а не услаждению Людовиков. Столица главного государства Ню-ного Света явилась ровесницей Великой французской революции. И Пьер Ланфан, размечая парки и проспекты, площади и фонтаны, желал создать на левом берегу Потомака не просто комплекс правительственных зданий, а материализовать идею гармонии архитектуры с обществом демократии...

«Поразительная чистота по сравнению с Нью-Йорком, с Чикаго», — подумал Уэллс, обратив внимание на ухоженные, выложенные панели и проезжую часть улицы. Не слышно и грохота железных дорог с извивающимися меж скал небоскребов членистыми телами поездов. Да и самих небоскребов нет. Дома в основном четырех-пятиэтажные.

Вашингтон — голова колоссальной страны. Уэллс вычитал в справочнике, что число администраторов государствен-

ной службы тут почти равнялось количеству ученых: первых было десять тысяч, а вторых восемь. Такая пропорция, на его взгляд, могла бы иметь место и во всемирном государстве с плановым хозяйством, где главную роль он отводил науке. В двадцати восьми научных институтах столицы исследователи занимались социальными и экономическими вопросами, естествознанием, математикой и физикой, геологией, этнографией, то есть охватывали самый широкий круг проблем. Словом, город, битком набитый интеллектуалами, всеамериканский дискуссионный клуб, или «город разговоров», как его еще называли.

Уэллс неторопливо шел по Пенсильвания-авеню, наслаждаясь покоем. Лучи послеполуденного солнца, пробиваясь сквозь кроны аккуратно подстриженных деревьев, отпечатывались на панельных плитах затейливыми решетками теней. В дали улицы просматривался жемчужно-серый купол Капитолия, затем открылась колоннада, портики.

Было жарко и влажно, однако не так, как ему обещали: в Вашингтоне, мол, от зноя и туманов нечем дышать. Небо высокое, прозрачное.

Идиллическое настроение владело Уэллсом, пока из облицованных мрамором и гранитом подъездов правительственных оффисов не хлынул людской поток — белые накрахмаленные воротнички и манишки, строгие костюмы. По середине улицы зашуршали черные лакированные кареты ответственных лиц. Однообразный поток будто скрыл под собой и солнечную игру на панелях, и перспективу, смысл тишину. И еще он заметил одну чисто американскую особенность: не смешиваясь с толпой, ближе к стенам зданий, возле их цоколей, текла черная струйка негров, — дворники, привратники, лифтеры, посыльные...

«Нет, тут, пожалуй, не десять тысяч чиновников, а вдвое больше, — подумал Уэллс, которому в чиновной толпе сразу стало душно и тоскливо от ее самодовольной сосредоточенности. — Замкнуты, как кабинетные сейфы. А благородное, прекрасное — оно ищет свет, людские массы, ибо только во славу многих и создается, не нуждается в железных чуланах, в камерах... Но где найти ключи, а еще лучше — один универсальный ключ ко всем чуланам, чтобы распахнуть их разом?.. Невидимое угрожает отовсюду, то есть человек-невидимка вовсе не оригинален». Однако никто не понял, что автор, напустив на Гриффина трактирщика, который расправился с изобретателем, тем самым осудил нынеш-



нее иррациональное общество. Это общество любое великое изобретение выставляет стволom из замочной скважины, защищаясь от наступления социалистического грядущего.

Техническая идея сама по себе всего лишь пружинистый мячик, игрушка между добрыми и недобрыми ладонями, причем вторые обычно оказываются проворнее. Жюль Верн запускает снаряд на Луну, горя стремлением обменяться рукопожатием с селенитами, а его современник, пангерманское ничтожество в каске, Бисмарк, целит ближе и вернее — в столицу мечтателя Жюля Верна, в Париж. И попадает, и сжигает, и рушит!..

Всегда били, жгли, расстреливали мечтателей — на Трафальгар- и Маркет-скверах, на площади Цветов в Риме, на плаце перед Зимним дворцом... Да нет такой центральной площади ни в одном мало-мальски известном городе Европы и Америки, которая не была бы окроплена кровью мечтателя. Давно пора в храмах вслед за «Не убий» провозглашать «Не мечтай».

На пути Гриффина не встретилось ни одного умного, ни даже просто доброго человека, только обыватели, негодяи, вроде однокашника по университету доктора Кэмпбелла, посоветовавшего полиции рассыпать битое стекло по дорогам, чтобы окровавленные следы босых ног человека-невидимки выдавали его.

А первым-то тяжело ранил Гриффина все-таки американец, — отметил Уэллс. — Стреляя в него из револьвера поковбойски, от бедра, выпуская пули веером...»

Внутренне каждый человек — невидимка. Он ведь и сам сейчас идет по Пенсильвания-авеню с думами, опасными для общества «сейфов».

Мысль неожиданно прыгнула:

«А вот Максим Горький — он весь видимый: не только говорит о русской революции, а сам всеми силами разжигает ее пожар. Не потому ли русский писатель с того времени, как появился в Соединенных Штатах, заставляет думать о себе? И все то, что с ним здесь происходит, будто прямо касается Уэллса. Беглого разговора в салоне Уилшайра, конечно, недостаточно для серьезных выводов о его мировоззрении. Ясно одно: Максим Горький твердо знает, что надо делать в России — сегодня, сейчас, — революцию! Зато и порождает к себе такую любовь и такую радующую ненависть».

Размышляя, Уэллс незаметно втянулся в безликий поток «сейфов». Равномерный скрип башмаков был подобен шуршанию битого стекла под подошвами.

\*

Герберт Уэллс не стремился к возведению почтительного книжного памятника над американской историей, его больше интересовало толкование не того, что произошло в век минувший, а чего следует ожидать к 2001 году, к началу будущего века, то есть духовная устремленность общества. Но и тут он столкнулся с «сейфами». Официальные лица будто сговорились не посвящать писателя в служебные дела. Можно было подумать, что они боятся выдать особые тайны. По этому поводу у него возникло сравнение Вашингтона с военным лагерем времени бурской войны. Даже чучела животных в залах Национального музея при Смитсоновском институте на Конститушн-авеню, куда он поспешил прежде всего, вызвали подходящие ассоциации: неестественно сверкающие глаза из цветного стекла таили выражение заговорошников...

Уэллса ошеломила экскурсия по этому музею, громадное богатство хранящихся в нем коллекций. Только профессионально интересных ему экспонатов — зоологических, ботанических, палеонтологических — насчитывалось около трех с половиной миллионов! Вместе с тем крайне четкое определение круга деятельности каждого отдела института натолкнуло на иронический вывод: в Вашингтоне наука столь специализирована и практична, что ученым, занятым прагматическими изысканиями, совершенно некогда отвлекаться на эфемерные общечеловеческие проблемы, тем более раздумывать о социальной сути науки вообще.

Этой твердокаменной практичности соответствовало и главное здание Смитсоновского института. Оно походило на замок — со стенами крепостной толщины, с асимметричными зубчатыми и остроконечными башнями. В одной из них, цилиндрической и самой высокой, напоминающей цитадель, Уэллс заметил семейство сов.

«Совещаются, что ли, по ночам с хозяевами лабораторий?» Писатель испытывал чувство, будто с ним заговорила одна из птиц — очень откровенная, циничная, вроде той, что написала предисловие к фламандской легенде о Тиле Уленшпигеле.

Не обнаружил Уэллс в Вашингтоне и литературной жиз-



ни. В библиотеке Конгресса ему больше говорили о технической оснащённости: любую из миллиона книг, находящихся в хранилище, посетителю доставят меньше чем за пять минут. «Тогда как у вас, в библиотеке Британского музея, на это тратится целых полчаса».

Сидя в читальном зале, под самым куполом Капитолия, в ротонде, круглые стены которой украшали громадные батальные картины, Уэллс с высоты рассматривал город — расходящиеся от серых куртин площадей радиусы улиц, плавную дугу Потомака, будто повисшие в воздухе зелёные шары скверов, овальную изломанность крыш. В центре выпирал высоченный египетский обелиск президента Вашингтона — своеобразная ось, на которую была насажена вся эта градостроительная округлость и обтекаемость, хотя сам Джордж Вашингтон желал видеть город правильным четырёхугольником...

Посетил Уэллс и заседание сената — проходили дебаты по законопроекту о железнодорожных тарифах. На трибуне некто благообразный доказывал необходимость передачи в комиссию по торговле между штатами права устанавливать расценки на проезд и перевозки.

Оратора не слушали. Скучал спикер на своей кафедре, играя деревянным молотком. Сенаторы читали газеты, писали или, позевывая, рылись в бумагах. Время от времени кое-кто из них хлопком в ладоши подзывал посыльного мальчишка с блестящим значком на груди и отправлял за бутербродами или ещё с каким поручением.

На галерее для гостей чувствовалось больше заинтересованности. Уэллс невольно прислушался к разговору соседей:

— ...Разве не знаете, что «Нэшнл сити бэнк» помог кое-кому получить кредиты под бразильский заем, выпущенный для постройки железной дороги от Ла Паз до молодого тихоокеанского порта — Антофагаста?.. Так вот, оказалось, что Фрэнк Вандерлип выговорил право инженерного контроля над строительством и положил в карман не меньше миллиона комиссионных.

— А что скажете о билле по тарифам? Его поддерживает Рузвельт!

— Что я скажу? Да то же самое, что сказал государственный секретарь Рут: «Тэдди больше лает, чем кусает». Билль похоронят, — и собеседники в знак безразличия к оратору зашуршали газетами.

Уэллс вздохнул и достал записную книжку. По бумажному атласу отрывчато покатались круглые буквы:

«В Вашингтоне есть законодательство, которое не соблюдается, правительство, которое не может управлять, двухпартийная псевдопредставительная администрация, которая позволяет процветать коррупции, оставляя для нее лазейки. Конгресс, как конституционное начало, совершенно не соответствует задачам настоящего времени»...

\*

Когда в 1793 году Джордж Вашингтон торжественно закладывал первый камень в фундамент будущего четырехэтажного Капитолия, он закладывал на холме самое большое здание столицы: в городе запретили строить дома выше ста десяти футов.

Резиденцию главы государства Пьер Ланфан запроектировал на соседнем, значительно меньшем холме и на этаже ниже. Возможно, француз, горячий поборник демократии, пытался в этой архитектурной пропорции символизировать мысль о том, что власть народа выше воли любой титулованной личности. Так, во всяком случае, истолковал его замысел Уэллс, который в своей футурологической теории исходил из того, что наука, искусство по своей природе противопоставлены эгоизму личности, совершенствуют последнюю даже вопреки ее желанию, подчиняя общественной разумности. Уэллс, правда, ловил себя на сомнении, что его надежда в значительной степени храмовая: слово «бог» он подменяет «нравственностью».

Пока эти мысли бродили в голове писателя, полторы мили Пенсильвания-авеню, отделявшие Капитолий от Белого дома, оказались позади, — он подошел к решетчатой ограде, за которой в окружении широких газонов с фонтаном в центре виднелось трехэтажное здание с портиком.

«Для американского Лунария, наделенного властью большей, чем обладает король, во всяком случае английский, не столь уж величественный дворец», — подумал Уэллс и тут же отметил отсутствие у входа часовых и слуг в ливреях. Двойные двери в западном крыле дома ему открыл негр-приратник.

Приемная располагалась в обширном вестибюле. Уэллс представился сидевшему за столом чиновнику, который любезно ответил, что о нем уже знают и ждут. Затем уточнил:

— Президент заканчивает пресс-конференцию.



— И бритье, — добавил человек в синем полицейском мундире, сидевший за другим, меньшим, столом, ближе к входной двери.

«А есть все-таки охрана!» — вроде бы даже обрадовался Уэллс: на погонах полицейского он заметил вышитую канителью надпись — «Белый дом».

— Президент не терпит пустой траты времени, экономит его, — сгладил тон реплики чиновник. — Поэтому и назначил пресс-конференцию на двенадцать сорок, то есть на обычное время бритья.

— Это очень удобно: когда скребут верхнюю губу, особенно не разговоришься, — снова прокомментировал полицейский.

— Ваш президент в этом не оригинален, — заметил и Уэллс. — К такой же рационализации прибегали еще короли: в час утреннего туалета обсуждали текущие государственные дела. Правда, с министрами, а тут только репортеры, как я понял.

— В Америке репортеры значат не меньше, чем иные европейские министры, — возразил разговорчивый охранник. — Херст, Маккормик, Сульцбергер.

«Вандерлип», — захотелось Уэллсу продолжить список, но в этот момент за резными высокими дверьми, ведущими во внутренние апартаменты, послышался нарастающий шум, и в приемную ввалилась толпа мужчин с блокнотами, теснясь вокруг плотного белокурого мужчины, потиравшего себе розовые щеки, столь полные, что в них упиралась тонкая золотая оправа пенсне.

В приемной все встали. Уэллс понял, что щекастый и есть Теодор Рузвельт.

Президент остановился посреди помещения, видно заканчивая мысль:

— ...Я не желаю потворствовать Рокфеллеру в его незаконных попытках взять контроль над перевозками нефти. Ловкач — организует пониженные тарифные ставки, чтобы сломать конкурентов! Он мастер коррупции, которой я объявил войну. Придется хорошенько встряхнуть его!

— Но Рокфеллер выиграет и на встряшках, даже на землетрясениях, — доносилось до писателя возражение, в котором ясно прозвучала насмешка. — Сейчас его агенты делают бизнес в Сан-Франциско. Скажите, пожалуйста, мистер президент, скоро ли закончится следствие над «Стандарт ойл»?

— Да, — Рузвельт мотнул головой, — хотя Рокфеллер может купить достаточное число конгрессменов, а в случае необходимости — и суд для защиты своих стяжательских интересов.

Послышался новый вопрос:

— Мистер президент, в Вашингтоне не изменилось мнение о деле Мойера и Хейвуда?

— Нет, не изменилось и не изменится! К сожалению, следствие топчется на месте, а в это время толпы рабочих держат в страхе администрацию Айдахо. Я знаю, что это такое. С Западной федерацией шахтеров мне уже приходилось вступать в борьбу. Ее лидеры придерживаются анархизма. Моя точка зрения тверда — это опасные проповедники недовольства.

Уэллс подошел к группе, чтобы лучше слышать, но президент, не ожидая следующего вопроса, переменял тему:

— Прошу, господа, занести в блокноты дату — 30 июня 1906 года. С этого дня в столичном округе Колумбия вступит в силу режим правильной охоты. Будем бороться с анархистами и в делах охраны живой природы. Прощайте, господа, всего вам хорошего. — Президент дал понять жестом, что пресс-конференция окончена и что далее он отказывается отвечать.

Журналисты расступились, образовав живой коридор, в конце которого оказался Герберт Уэллс...

«Обыкновенная рука, обыкновенные и даже добрые, то есть доброжелательные, глаза за стеклами пенсне с пружинной дужкой, обычная серая пиджачная пара», — отмечал про себя писатель, разглядывая президента, который, улыбаясь маленьким ртом с пухлыми яркими губами, приветствовал крепким рукопожатием искателя Будущего.

«Нарочито-дружески», — подумал Уэллс.

— Очень приятно видеть вас в Соединенных Штатах, мистер Уэллс, — президент произнес стереотипную фразу как-то иным, чем прежде, напряженным голосом, прищурив глаза.

Прием иностранного писателя не являлся в Белом доме исключительным событием. Теодор Рузвельт легко шел на встречи с литераторами, газетчиками. Он первым из президентов учредил регулярные пресс-конференции и, как никто из его двадцати пяти предшественников, широко использовал печать для организации общественного мнения в нужном ему направлении.



Президентом Рузвельт стал 14 сентября 1901 года, сразу после убийства Мак-Кинли, то есть пост занял автоматически, согласно положению конституции, так как являлся вице-президентом. Это «автоматически» ему не совсем нравилось, поэтому переизбрание в минувшем году на второй срок было приятно вдвойне: Рузвельт стремился прослыть руководителем, «любимым народом».

Самый блестящий воспитанник Гарварда, как его рекомендовал Уэллсу профессор Мюнстерберг, действительно являлся незаурядной личностью, стал президентом в сорок два года — столь молодого главы исполнительной власти в Соединенных Штатах еще не знали. В отличие от предшественников, стремившихся завоевать симпатии масс избирателей скромностью происхождения — Линкольн поработал в молодости дровосеком, Джонсон — деревенским портным, Грант — лавочником, — Рузвельт открыто гордился тем, что его предки, выходцы из пионерской семьи, в числе первых стали разъезжать на собственной четверке по аллеям Центрального парка в Нью-Йорке.

Теодор Рузвельт ждал славы президента-интеллектуала и в этом преуспел. Его литературные этюды по истории флота (первая книжка, которую он выпустил через год после окончания университета, называлась «История морской войны 1812 года»), капитальный труд «Завоевание Запада», политические трактаты, памфлеты отличались откровенной воинствующей энергией и тем привлекли доброжелательное внимание высших кругов. Средним американцам Рузвельт нравился своими спортивными и охотничьими похождениями, о которых сам же подробно и красочно живописал в рассказах и очерках: травля волков в Техасе, встреча с медведем-гризли в Скалистых горах, одинокая фермерская жизнь на заброшенном ранчо в Северной Дакоте, в бревенчатой хижине, вся мебель которой состояла из дощатого стола, койки и трех грубых стульев.

Более же всего способствовала популярности будущего президента его книга «Лихие всадники». Она была издана с фотографией автора — мятая униформа, ковбойская шляпа, бинокль на груди. Рузвельт написал ее после испано-американской войны. Собранный им полк кавалеристов-добровольцев из ковбоев Дикого Запада после прибытия с Кубы при высадке на Монтокском мысу в штате Нью-Йорк был встречен с национальными почестями. Тут же, в Монтоке, где разбили военный лагерь, Рузвельт прямо в палатке, не сни-

мая, так сказать, шпор, и начал диктовать «Лихих всадников» — гимн англосакской твердости характера, главным же образом — собственной личности. Кое-кто из военных, правда, говорил, что автор забыл упомянуть о том, как «лихих конников» и его самого спасла в окрестностях Сантьяго негритянская кавалерия.

Сборник речей и очерков Рузвельта «Деятельная жизнь» столь восторженно воспевал солдатское самопожертвование и презрение к слабости, что был даже переведен в Японии в качестве пропагандистской литературы для армии. Отрывки из этой книги офицеры читали солдатам перед боем...

Заботясь об «открытых дверях» и «равных возможностях» американскому крупному капиталу на Дальнем Востоке, Рузвельт в международной политике добивался ослабления как «славянской», так и «желтой» опасности, точнее — взаимослабления соперников Соединенных Штатов. К этому же он стремился, выступая в роли посредника во время портсмутских переговоров. И делал это ловко, с апломбом. «Ковбой из Белого дома», как его именовали друзья и враги, вкладывая в прозвище каждый свой смысл, за свою миротворческую миссию между Россией и Японией был в текущем 1906 году награжден Нобелевской премией мира. И снова завопила пресса: «40 тысяч долларов, всю сумму премии, президент передал в фонд комитета индустриального мира!» Да, тоже мира, но уже на социальном фронте, во имя, как он говорил, достижения взаимопонимания между трудом и капиталом. Руководителем совета этого фонда являлся Оскар Штраус. Тот самый, которого не пожелал принять в гостинице «Бельклер» Максим Горький.

Теодор Рузвельт добивался популярности и в качестве «грозы трестов» затевал судебные процессы над страховыми обществами, крупными железнодорожными компаниями, даже над рокфеллеровской «Стандарт ойл». На обеде в вашингтонском клубе журналистов не побоялся отчитать самого Моргана: потрясая кулаками перед бородавчатым носом магната, угрожал, что если монополисты будут мешать ему принимать меры против экономической бесшабашности, тогда те, кто придет позже, раздавят их. Однако пока что президентской властью реально он давил тех, кто пытался выступать против хозяев монополий.

Президент, узнав, что Уэллс совсем недавно побывал в Гарварде, спросил, какое впечатление производит глава уни-



верситета. Уэллс ответил шуткой, что они вели спор о возрасте Соединенных Штатов и пришли к общему выводу — Америка не так уж молода, как говорят. Она напоминает заневестившуюся миловидную богачку, затянувшую выбор мужа в виде некоего Будущего, хотя уже и боится ждать.

Рузвельт рассмеялся.

— Фантастам все просто — они относят свои благие общественные мероприятия в любую временную даль. Нам же, политикам, кому народ доверил управлять, приходится думать о сегодняшнем и о самом насущном. Но что поделаешь? Линкольн говорил: «Не я управляю событиями, а они мной». — И, беря гостя за локоть, президент продолжил: — Давайте пройдемся до обеда. Я в детстве без конца болел астмой. Отец, чтобы укрепить мои хилые легкие, безжалостно гонял меня по лонг-айлендскому лесу — тогда он начинался прямо за нашей дачей...

### 3. КИПЛИНГ ИЗ БЕЛОГО ДОМА

Герберт Уэллс шел по усыпанной золотистым песком дорожке сада, раскинувшегося позади Белого дома, вслед энергично шагавшему президенту. Глядя в его широкий затылок, красная полоска которого чуть виднелась из-под нахлобученной по самые уши мятой шляпы, и стараясь не отставать от желтых кожаных гетр, он ловил фразы, которые Теодор Рузвельт кидал через плечо, чуть оборачиваясь, сверкая стеклами пенсне и обнажая в улыбке ровные белые зубы. Кончики усов у него при этом сильно вздрагивали. Тембр голоса оставался неприятно напряженным, неестественным. Президент каждую фразу будто отделял красной строкой: абзацем служил странный жест — сжимающийся и тут же убегающий в твердый широкий манжет кулак с выпяченным большим пальцем.

Рузвельт, высказав суждение о легкомыслии прессы («Я был вынужден одного бойкого репортера Эдвина Эммерсона взять на Кубе под арест и привезти на материк в кандалах — он постоянно лгал о моих «Лихих всадниках»), перешел к литературе.

— Современные американские писатели слишком много занимаются задворками общества, — Рузвельт выставил большой палец правой руки и тут же убрал весь кулак в манжет.

Уэллс возразил:

— Разве книги молодого новеллиста Эптона Синклера не

помогают в проведении антитрестовского законодательства?

— Этот тоже из числа навозокопателей.

— Но Геракл...

— Мистер Уэллс желает причислить к социалистам и величайшего героя Древней Греции?!

— Во всяком случае, роман «Джунгли» — талантливая попытка почистить чикагский скотный двор, не менее загрязненный, чем конюшни царя Авгия. Так пишет ваша пресса.

— Сей анархистствующий Геракл, — Рузвельт хмыкнул, — предложил в качестве альтернативы столь осуждаемую вами войну. Революционную! Он прославил забастовщиков и организаторов беспорядков.

В голосе Рузвельта зазвучала искренняя обида.

— А Марк Твен? В Англии его называют «Линкольном американской литературы», — вспомнил Уэллс отзыв Бернарда Шоу.

— Ну вот, вы сразу от славы Греции к нашей славе, — принужденно рассмеялся Рузвельт. — Это рискованная аналогия... Марк Твен, чтобы поддержать звание первого остроумца Америки, высмеял даже доблестного генерала Фунстона, героя Филиппин, который совершил отважный рейд в стан мятежников и тем закончил кровавую войну. — Рузвельт снова повысил голос: — Марк Твен описал этого человека как убийцу, подлеца. Возможно, «Линкольн литературы» и сейчас, когда генерал Фунстон руководит восстановительными работами в Сан-Франциско, опять готовит на него пасквиль... Мне нравится ваш Киплинг. Жизнелюбец! Он прав, кровь должна бурлить. Вспомните, как воскликнул Гёте: «Кровь — это сок особого рода!»

— Да, Киплинг не жалеет чужой крови, — согласился Уэллс, по-своему поняв Рузвельта.

— Как и ваш доктор Моро, который заменил саблю скальпелем. Возможно, это и умнее. В масштабах всего мира любое сражение всего лишь операционная под открытым небом, — попытался Рузвельт усилить свой довод и процитировал:

Несите бремя белых —  
Сумейте все стерпеть.  
Сумейте даже гордость  
И стыд преодолеть...

Это поэт посвятил, кстати сказать, героям Филиппин, то есть и генералу Фунстону.



Уэллс не был лично знаком с Кипплингом. В обществе они встречались только однажды, на приеме в редакции «Национального обозрения», но случая для знакомства тогда не представилось. Популярность Кипплинга Уэллс расценивал как результат погрома англосакскому духу милитаризма, национального тщеславия.

— Кипплинг — выражение беспомощности британского политического воображения, — громко, перебивая Рузвельта, высказался Уэллс. — Он унижает достоинство своего большого таланта, изображая из себя патрона кадетского корпуса. Его солдатские песни с удовольствием распевают садисты в мундирах, шагающие в песках Африки и в джунглях Индии. — Уэллсу тоже вдруг захотелось привести строчки из своего романа «Когда спящий проснется» о карателях, пытавшихся задушить рабочее восстание: «Алло, алло! Черная полиция заняла все важнейшие позиции в городе. Она сражалась храбро, распевая древние песни поэта Кипплинга... Добивала раненых и мучила взятых в плен инсургентов, мужчин и женщин»...

Уэллс спохватился, что не слушает президента, который, ораторствуя, шествовал впереди, загребая башмаками песок, размахивая правой рукой, по-прежнему то сжимая, то разжимая кулак; он успел перехватить лишь два последних слова:

— ...Карта мира.

— Карту земного шара я хотел бы видеть только физическую, а политическая — взгляните хотя бы на Африку — документальное свидетельство кровавых забав истории.

Рузвельт повернулся на ходу кругом, вминая каблуками песок. Он стоял, покачиваясь на носках, выдвинув вперед нижнюю челюсть.

Уэллсу показалось, что его возражение прозвучало невпопад, но выход оставался один — продолжать:

— Человечество уже вышло на прямую дорогу по пути к справедливому обществу, суть которого преподнесли лучшие умы, начиная с Платона, Кампанеллы, а мечтали о котором люди с пеленок цивилизации и государственности. Возможно, даже с тех пор, как научились мыслить отвлеченно, то есть понимать, что орудие для рубки леса — топор — может сечь и человеческие головы во имя приобретения, скажем, второго топора.

Рузвельт, приподняв со лба шляпу, поправил пенсне, заглянул в глаза писателя и уже не увидел там уважитель-

ного внимания, которое ему так импонировало вначале.

— Мы с благодарностью принимаем все полезное от бабушки Европы. Но она из-за старушечьего сентиментализма, а возможно, из-за слабеющих глаз сует в рождественскую корзину и то, что Америка не приемлет.

— Например?

— Ну хотя бы социалистическую теорию. — Рузвельт опять бросил взгляд на собеседника. — Меня сейчас атакуют с двух флангов. Левая пресса добивается оправдания бомбистов Хейвуда и Мойера, пытавшихся создать армию американской Парижской коммуны. (Если уж понадобится противостоять такой коммуне, то я готов снова встать во главе своего Кубинского полка!) А с другой стороны, приходится бороться со злодеями богатства — хозяевами трестов, которые не только угнетают сограждан, а жадностью, тупоумием подливают масло в революционный пожар. Это косвенные соучастники действий анархистов. Но где, скажите, мне брать союзников?..

Рузвельт сощурился, передернул плечами и опять помчался впереди, высказываясь. Из словесного водопада Уэллс выхватил важную фразу:

— ...Незрелая интеллигентная молодежь, удрученная видами нищеты, человеческих страданий, легко пошла на удочку социализма, но развитие нашей страны опровергает пророчество этой теории.

Тут Рузвельт обернулся, спросил:

— Вы знакомы с работами профессора Колумбии Владимира Симковича?.. Очень основательный, хотя и молодой, критик-социолог. Он пишет о Марксе и Энгельсе как о людях, размышления которых в условиях жизни Соединенных Штатов беспредметны. Наши американские социалисты, или называющие себя так, на манер средневековых школьников долбят марксистскую догму, а она уже и для Европы всего лишь ошибка своего времени. Помышлять же о каких-то социалистических Соединенных Штатах — чушь, а на практике это вызывает кровавые события, подобные произошедшим в Айдахо.

Уэллсу так хотелось видеть смелого, мыслящего руководителя страны, а этот был типичным противником марксистов и социализма. Нет, он не желал становиться союзником президента — ни в критике социалистической теории, ни в восхвалении профессора Симковича, с которым встречался в доме Уилшайра и в клубе «Х». В памяти сохранился



даже не столько образ самого профессора, сколько его жены, пристававшей с глупыми вопросами к Максиму Горькому.

— ...Мы, американцы, должны, во-первых, отказаться от незрелых социальных прогнозов. Это пути на ногах прогресса. — Рузвельт показал кулак и тут же упрятал его в манжет. — Во-вторых, ортодоксальный материалистический социализм, типа Марковского, является подрывной теорией, а в-третьих, многие люди, которые именуют себя социалистами, в действительности просто радикальные реформаторы. В большинстве своем они хорошие граждане Соединенных Штатов, которые могут работать душа в душу с правительством, с президентом.

«Он, видно, и меня причисляет к таким же заблудшим «хорошим» радикалам», — с неудовольствием подумал Уэллс, машинально следя за рукой Рузвельта, и возразил:

— Видите ли, мистер президент, о социализме мир говорит все настойчивее как о системе, которая ликвидирует империи, колонии, тресты, развившиеся, как сорная трава в запущенном саду. Что другое сможет смести с земли жестокость конкуренции, кризис и демпинг, баррикады и самого красноречивого революционера — голод?.. Поэтому социализм теперь важнее любой другой науки. Люди жаждут социальной библии... Вы правы, когда резко говорите о трестах, нефтяных и стальных. Это банды узколобых предпринимателей, которые, заботясь только о наживе, дезорганизуют мировую экономику. В Америке жгут пшеницу, а в Индии люди умирают с голоду. Это ли порядок, это ли не безнравственно?! И хотя у нас в Англии девушки из так называемых порядочных семей все еще задумываются, дозволено ли им любить социалистов, дело обстоит куда серьезнее — социализм наступает...

Уэллс прервал мысль, своим многословием он заставил замолчать президента. Но в таком случае зачем этот визит: слушать всегда труднее, чем говорить.

— Резонно спросить, почему англичанам и не начать строить утопическое будущее?

Уэллс не пожелал заметить иронический смысл вопроса, ответил:

— Потому что Америка имеет намного больше предпосылок для такого опыта: территориальная компактность страны при ее безбрежности, несчетные минеральные богатства, благодатное климатическое разнообразие, огромная

масса народа, говорящего на одном языке, и, наконец, отсутствие груза бюрократических и сословных традиций. Все это очень удобно для того, чтобы Америка стала лабораторией для масштабного социального опыта.

— Но покуда ее изображают в виде хитрого мошенника с козлиной бородой, одетого в полосатые брюки и синий сюртук...

— Я уверен, что Америка в итоге выскажется за социализм, — Уэллс набирал уверенности в разговоре. — Да и все люди — они за царство общего братства на земле вместо мелочного разделения на народности, на государства.

— Скорее всё кончится вашими морлоками. У меня нет достаточного опровержения пессимистической интерпретации будущего.

— У человека активной интеллектуальной жизни место скепсису на заднем плане, — Уэллс сказал это так, как будто имел в виду самого президента. — Мои морлоки — всего лишь предупреждение: «Вот что, люди, вас ожидает, если будете придерживаться индивидуалистической системы». Поэтому наиболее серьезный интерес представляют социальные утопии, рассматривающие грядущее с точки зрения отношений между людьми.

— С точки зрения равенства и братства! — снова уточнил Рузвельт.

— Это пароль Великой французской революции, которую американцы считали продолжением своей. Не так ли?.. Лафайет — он у вас самый популярный из французов — даже переслал Джорджу Вашингтону ключ от разрушенной Бастии.

— Прах другого популярного француза — Ланфана, — в тон продолжил Рузвельт, — мы торжественно переносим на Арлингтонское кладбище.

— Ну вот видите. Но, выражая уважение к мужественному прошлому, нельзя не видеть, что Европа и сейчас снабжает Америку многими тысячами своих умелых и в большинстве молодых сыновей...

Рузвельт уже без улыбки оглянулся на писателя, выдвинув как-то по-особенному далеко вперед нижнюю челюсть. Лицо от этого его движения приобрело сердитое выражение. Он напомнил Уэллсу профессора Мюнстерберга, каким тот был к концу беседы, в той же манере и заговорил:

— Похвально, что у Европы столь чувствительное сердце, но шлет она к нам чаще уже не сыновей, а политических пле-



мянников типа известного Рамбó... Цинизм, безответственность стали модой. Организаторами беспорядков у нас, как правило, бывают иммигранты. Они не понимают, что, когда решаются ехать в Америку, то по пути обязаны, обязаны, — повторил Рузвельт, — выкинуть в океан, вместе с другим барахлом, все свое прошлое, заодно и чувствительность социальных снов. Надо слиться с новой семьей, проникнуться ее целью.

«Вот она, категоричность, — первое свойство невежества, — подумал Уэллс. — Еще один «мамонт характера»! А я вроде чудака, «спящего» иммигранта из прошлого столетия, которому, прежде чем постучаться в Белый дом с бестактным разговором, полагалось «проснуться», то есть избавиться от обветшалой мечты о равенстве, о социалистическом строе общества»...

Уэллс невольно представил рядом с собой Мак-Квина в тюремной одежде, Максима Горького на ночной нью-йоркской улице и неподвижное посеревшее лицо Букера Вашингтона. Видение этих людей, ставших в его глазах символами, будто отбрасывало назад Америку больших надежд, празднично развевающихся флагов. Если американское общество безразлично смотрит на такое, держа при этом рот улыбочным до ушей, значит в нем отсутствует чувство морального негодования, вины за общечеловеческие беды. Это уже болезнь бездумья, жестокости.

— Презрение к абстрактной справедливости — ужасно, мистер президент, — вставил в момент «абзаца» Уэллс. — Но я верю в конструктивные силы общественного разума Америки, наконец, в исторический случай...

Рузвельт, выпитив подбородок, сказал:

— Вроде того, который заставил выехать из Лондона вавшего Исаака Ньютона и поселиться на загородной даче. Там в саду на него и свалилось знаменитое яблоко. Не будь этого случая, пришлось бы нам обходиться без закона всемирного тяготения. Но помните ли вы, что это был за случай, выгнавший Ньютона из Лондона?

Уэллс вместо ответа пожал плечами.

— Это была повальная холера!.. Вот так. Нет, я не хочу, чтобы столь дорогой ценой создавалась небесная механика или видоизменялась общественная. Известно, что Ньютон родился семимесчным, наверное, во всяком незрелом плюде таится опасность! — Рузвельт громко рассмеялся и снова помчался по дорожке сада. Более он ни на минуту не ос-

танавливался и не позволял раскрыть собеседнику рта — говорил и говорил. Все так же сверкало при повороте головы пенсне и убегал в манжет кулак с выпрямленным большим пальцем. Казалось, он даже не интересовался, слушает его писатель или нет, будто обращался к вязам, елям и прыгающим на них белкам, к пруду, блестящие полосы которого мелькали меж стволов деревьев.

«Бедная Европа, — мысленно иронизировал Уэллс, едва поспевая за президентом, — каково твоему мечтательному сыну, претендующему на тысячелетнюю дальновидность, нестись за этим американским Киплингом, делающим большую политику прямолобно, с упрямством нагруженного буйвола, с усеченной бюрократическими шорами перспективой?!»

## ГЛАВА XII

### 1. ВСТРЕЧА В БЕРНАРД-КОЛЛЕДЖЕ

В последний день апреля, утром, полисмен, несший службу возле городка Колумбийского университета на Ривенгстон-стрит, уютной зеленой улице, обратил внимание на молодую элегантную женщину, вышедшую из кэба. Резкий сырой ветер с Гудзона принудил ее схватиться за шляпу, парусившую широкими, обшитыми кружевами полями. Она встала перед длинным, тяжелой архитектуры университетским зданием с глубоко вдавленными в каменные стены окнами, овальными и зарешеченными, с верхним этажом, возведенным, очевидно, значительно позже, наполовину из стекла.

По растерянному выражению лица женщины и по ее скромному платью полисмен предположил, что она приезжая, вероятнее всего, иностранка и нуждается в помощи. Одернув мундир и крутнув клобом, он подошел и осведомился, не может ли чем быть полезен леди.

Женщина вместо ответа протянула визитную карточку, на которой значилось: «Джон Дьюи. Профессор. Колумбийский университет. Нью-Йорк».

— Я прошу вас показать мне Бернард-колледж, — медленно, с сильным акцентом произнесла она мягким певучим голосом.

Полицейский вежливо наклонил голову и, взяв даму под руку, проводил ее через улицу, придерживая жестами дви-



жение экипажей и автомобилей. Далее пошел рядом, поясняя расположение учебных корпусов, факультетов. Страж порядка также сообщил, что в университете занимается около двух тысяч студентов, основан он в 1754 году и назван в честь Колумба. И уж в совсем относительной связи добавил:

— В Соединенных Штатах имя Христофора Колумба носят пятьдесят семь городов, столичный округ, многие реки и озера.

Словоохотливость и любезность полицейского были служебными: он в точности выполнял инструкцию, по которой постовым вменялось в обязанность популяризировать достопримечательности страны. При этом, конечно, умалчивалось, что вся эта Колумбова география имела первородную топонимику. Но так уж повелось, что у коренных обитателей завоеватели ни о чем не спрашивают: чванливое конкистадорское невежество прежде всего утверждает себя, отрубая голову прошлому. Дикари из Европы, одетые в латы, так поработали огнем и мечом, что сдвоенный континент, разделивший мировой океан плотиной, стал исторической пустыней; пришельцы смели все: и народы, и города, и даже гробницы. Над государствами майя и ацтеков, над всей самородной цивилизацией лег асфальт новой официальной истории, надежно замуровавшей великое прошлое. В этот асфальт, как бессмысленные штыри, были воткнуты статуи конных и пеших, выпяченных грудей, поднятых рук с мечами...

Показавшаяся в конце квартала лесная опушка вызвала новый прилив экскурсионной разговорчивости у полицейского. Он сообщил спутнице, что там граница самого большого в городе Центрального парка, который занимает между Пятой и Восьмой авеню триста сорок два гектара, и что у входа в этот парк установлен памятник Колумбу.

— Не хотите ли взглянуть? Место так и называется — «Круг Колумба». Это совсем рядом, на пересечении Бродвея и 50-й стрит.

Предложение было высказано явно для вежливости, так как усиливавшийся ветер мешал не только идти, но и говорить. Сочувственно глядя, как женщина мучается со шляпой, придерживая ее уже обеими руками, полицейский пояснил, что такие ветры в начале мая обычны для Нью-Йорка.

— Вам, наверное, сюда! — сказал он, останавливаясь напротив трехэтажного оливкового цвета здания с чугунными воротами перед ним. И, показывая на прижавшиеся к

решетке ограды женские лица, предположил: — Не вас ждут?

В самом деле, раздался радостный возглас:

— Миссис Горькая!

Полицейский вежливо распрощался. Правда, он уже не назвал свою подопечную «леди»: леди не ходят в одиночку по незнакомому городу, тем более с визитной карточкой мужчины. Последняя его фраза: «Америка — замечательная страна!» — прозвучала уже в качестве традиционного официального прощания.

\*

— Мы вас заждались, мадам Горькая. Добрый день, добрый день! — приветствовал гостью на французском осанистый шатен лет сорока — сорока пяти, быстро и очень низко наклонил большую голову, будто уронил ее на грудь.

— Здравствуйте, профессор Дьюн, — ответила Мария Федоровна, поняв, что профессор предлагает в качестве «рабочего» языка французский, и пояснила свое опоздание тем, что остановила кэб не там, где нужно. — Спасибо полицейскому, оказался чрезвычайно любезным.

— Это так естественно, — пояснил Дьюн. — На днях постовым прибавили жалованье, стали платить вместо семидесяти пяти по сто долларов в месяц. Кроме того, вы легко сойдете за американку, за креолку. Вот супруг ваш — только сам по себе. Надеюсь, он в добром здравии?..

Глаза профессора смеялись за стеклами очков какой-то необычайной прозрачности. Разговаривая, он чуть заходил вперед, чтобы показать дорогу в свой дом, расположенный рядом с общежитием колледжа, — странно узкий, из красного кирпича, трехэтажный: на первом этаже — столовая и кухня, наверху — гостиная и библиотека. В библиотеку, перед распахнутыми дверьми которой толпились студентки, и направились.

При появлении Марии Федоровны девушки выстроились полукругом и торжественно запели.

Дьюн снова броском наклонил голову к плечу гостьи.

— Воспитанницы Бернард-колледжа приветствуют вас сочиненной ими серенадой. Этим они выражают высокое уважение.

Мария Федоровна знала, что сам профессор свое отношение выразил, и достаточно ясно. Вслед за коллегой по Колумбии Франклином Гиддингсом, опубликовавшим 26 апре-



ля в журнале «Индепендент» статью «Социальное линчевание Горького и Андреевой», он, тоже публично, назвал яростное преследование русского писателя позорным делом Америки. Продолжением этого протеста являлось и сегодняшнее собрание. Дьюи решил его провести как член центрального комитета общества «Друзья русской свободы». Он считал, что такая демонстрация, сообщение о которой непременно появится в печати, морально поддержит писателя и его жену. Кроме того, этим будет осужден в глазах рядовых членов «Друзей русской свободы» неджентльменский поступок члена центрального комитета общества профессора Феликса Адлера, который пошел на поводу у газетных горилл. Дьюи возмутился, узнав от Джона Мартина о внезапном визите Адлера на Стейтен-Айленд. Через Мартина Дьюи и договорился о выступлении Марии Андреевой перед студентками Бернард-колледжа. Чтобы обезопасить митинг от неожиданностей, он решил собрать его в своем доме, пригласив только старшекурсниц. Это было удобно еще и тем, что общежитие девушек находилось по соседству.

Джон Дьюи устраивал митинг вовсе не из симпатии к революционному марксизму, которого придерживались супруги Горькие, а из педагогических соображений. Он, прагматист, считал себя сторонником системы хорошо продуманных реформ, рассматривал общественное развитие как стремление к гармоничному, «полезному взаимовживанию» людей, естественному, на его взгляд, как смешивание растворов. Общество с добавлением в него все новых моральных и материальных компонентов совершенствуется и усложняется до бесконечности. Именно туда, в бесконечность, и относил Дьюи местонахождение полной общественной гармонии. По Дьюи, само понятие «жизнь» значило то же, что и опыт, на который он незаметно взвалил функции божества.

На инструментальном методе он основывал и свою педагогическую доктрину — все, все исследуйте! Скорее морально взрослейте, чтобы не оказаться впоследствии беззащитными! Удав, например, не может проглотить оленя, олененка — пожалуйста. Отсюда следует вывод: олененок должен быстрее расти, чтобы не стать жертвой.

Дьюи спешил дать своим питомцам порцию политической сыворотки в расчете на то, что они приобретут практическую цепкость и иммунитет к страху перед настоящим, которое он не идеализировал, говоря прямо, что «этот мир ненадежен и опасен». Но страх — «функция среды», его можно

обезопасить. Развивает личность собственное социальное поведение. Дьюи любил повторять психологический тезис своего старшего коллеги, гарвардского профессора, тоже прагматиста Уильяма Джемса о так называемом диаметре личности: «Диаметр «я» прибывает и убывает вместе с полем социальной активности».

Встреча с русской революционеркой тоже должна была послужить целям опытничества, педагогической практики, как наглядный пример общественной предприимчивости, состояния мужества.

— Кто же лучше вас расскажет правду о русской жизни им, еще не обкатанным в позолоченные обертки? — пояснял Дьюи, широким жестом рекомендуя Марии Федоровне аудиторию — милых, не старше двадцатилетнего возраста девушек, одетых, как одна, в белые блузки с широкими рукавами и темные юбки. Мария Федоровна заметила, что таков излюбленный костюм молодых американок — будь то продавщица или богатая наследница. Разница только в том, что одни блузки покупались за семьдесят пять центов, а другие — по пятидесяти долларов. У большинства здесь присутствовавших, судя по пышным кружевным отделкам и плауэнским вышивкам, преобладали последние.

Прошло всего лишь шесть лет, как Бернард-колледж стал составной частью университета и женщинам открылся беспрепятственный допуск в Колумбию для получения степени магистра, а при дальнейшей научной специализации — и доктора. Но университетская программа была построена так, что четырехлетний курс будто отделял студенток от жизни. На философском факультете, где читал лекции Джон Дьюи, изучали мировую литературу, древние языки, философию только в классическом плане, изолируясь чисто «головным» интересом от современных проблем, от практики жизни. Дьюи не разделял такого принципа обучения: надо, чтобы человек в процессе воспитания приобретал уверенность в себе, мог действовать.

Мария Федоровна понимала, что для этих студенток, живущих в комфортабельном общежитии-пансионе, не ведая материальных забот и тем более общественных испытаний, она — пришелец из иного мира, о котором они, возможно, знают лишь кое-что.

— ...Амстердам-авеню в трех кварталах от Колумбии. Я всегда хожу на лекции пешком. Ну а для вас полицейский сыграл роль Страбона, — услышала Мария Федоровна голос



Дьюи, машинально догадываясь, что сказанное относится к ее путешествию с полисменом.

«Только бы поняли, только бы поняли», — с тревогой подумала она о слушательницах, попросила их садиться. Сама же осталась стоять, взявшись обеими руками за спинку стула. Начала очень тихо:

— В сибирском поселке, где от холодов трескается земля, а реки вымораживаются до самого дна, на вершине холма стоит часовня с неугасимым огнем. Часовня возведена над могилой, о которой знает вся просвещенная Россия. В ней погребена — нет, не знаменитость! — обыкновенная русская женщина, совсем молодая. Почему же такая честь, такая святая память?..

Дьюи, который отошел к окну, поглядывал на докладчицу, на студенток и, как бы подтверждая достоверность рассказа, кивал головой с ровным, сдвинутым низко к виску пробормом.

— Почти сто лет назад, а точнее, 14 декабря 1825 года, — продолжала Мария Федоровна, — в Петербурге вышли на улицу войска. Их вывели из казарм революционные офицеры, члены тайного общества, решившие свергнуть царя и установить в стране республику. Отважное выступление было жестоко подавлено. Пятерых его руководителей повесили, а более ста участников — просветителей, поэтов, храбрых офицеров — отправили на каторгу в Восточную Сибирь.

Мария Федоровна передохнула и уже в более живой манере, энергичным окрепшим голосом начала:

— И тогда-то случилось совсем неожиданное, чего мир еще не видывал. Жены этих офицеров — не одна, не две, а большая группа! — потребовали у властей, у самого главного палача — царя, чтобы их тоже отправили на каторжные рудники, к мужьям. В большинстве это были образованные юные женщины, вот такие, как вы. Две из них — еще невесты, но тоже пожелавшие разделить судьбу своих избранников.

Представьте, девушки-американки, вступление в брак такой пары... Тесная и темная церквушка, бряцание кандалов на ногах жениха, упершиеся в спину ружейные стволы конвойных. Это было не только венчание во имя любви, но и клятва на вечную солидарность. И хотя царь лишил добровольных изгнанниц не только имущества, но даже священных материнских прав на детей, он не мог заставить склониться эти прекрасные молодые головы, поступиться верностью.

Вот почему над могилой одной из них, Александры Муравьевой, первой погибшей в сибирском изгнании, пылает вечный огонь! Вот почему потомки этих храбрецов хранят, как реликвии, железные кольца и браслеты, выточенные из оков страдальцев!

Джон Дьюи разомкнул рот с круто опущенными краями — шевельнулась трапеция коротко подстриженных усов: он явно хотел что-то сказать. Профессор почувствовал, что обстановка излишне наэлектризовалась. Об этом свидетельствовали раздумавшиеся щеки слушательниц, затуманенные слезами глаза. Эксперимент выходил из предусмотренных норм. Образно говоря, пена душевного кипения — профессор именно так относился к эмоциям — переливалась за края лабораторной мензурки. Русская актриса умело действовала на воображение. Для того, чтобы напомнить студенткам о себе, о том, что он, их надежный наставник, на страже, Дьюи и решил воспользоваться минутой молчания, сообщил в вопросительной форме:

— Лет пятнадцать назад ваша свободная пресса утверждала, что со времени восстания декабристов в Сибирь сослано семьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят шесть человек?!

— Теперь уже иная цифра, — возразила Мария Федоровна. — Только за последние годы она возросла на десятки тысяч. В среде каторжан и ссыльных стало много женщин. — При этих словах меж девушек произошло движение, и Мария Федоровна тут же откликнулась на него: — Если жены участников восстания 1825 года были только страдальцами, верными подругами мужчин, поднявшихся на царя, то следующие поколения выдвинули из своих рядов уже сознательных, активных противниц режима деспотии. Возвышенные идеалы придали им силы, помогли оторваться от среды, от комфорта, даже от родных семей, чтобы целиком отдаться делу политического освобождения народа. Теперь это уже были соратницы!.. Да, так. Но вместе с тем они оставались и женщинами, полными любви и нежности, выходили замуж. Их браки, не оформленные церковным порядком, считались незаконными для тупой государственной идеологии, хотя каждый такой союз освящала самая горячая и бескорыстная любовь.

Большие лучистые глаза докладчицы вопрошали: «Понимаете ли вы меня, девочки?» О ее собственном душевном состоянии свидетельствовали только сдвинутые брови, на-



пряженность взгляда. Вопрос был не лишний, так как студентки знали сплетни «желтой» прессы об «ужасной» русской актрисе.

Вспышка легких аплодисментов, будто промчавшаяся над головой стая ласточек, прозвучала ответом: эти юные души все понимали и тем самым осуждали ханжескую мораль американского общества.

— Да, одна из особенностей нынешнего русского освободительного движения — массовое участие в нем женщин. — Мария Федоровна поймала себя на том, что процитировала немецкого профессора Альфонса Туна, его «Историю революционного движения в России». — Царские власти однажды организовали политический процесс, посадив на скамью подсудимых сразу сто девяносто три человека. Каждый пятый обвиняемый оказался женщиной! Среди них находилась и Софья Перовская, будущий организатор казни царя Александра II, о которой товарищи ласково говорили: «Белокурая головка с парой голубых глаз». Если уж она, дочь губернатора и внучка министра, пошла против власти, то подумайте, какова эта власть?!

Перовскую повесили. Ее подругу Гесю Гельфман кинули в камеру беременной. Там, на каменном полу, по которому стекала зеленая сырость, она родила. Крошечное дитя — первенца отобрали. Зачем? Чтобы убить. Убили и мать! Палачи у нас даже не закрывают маской лица, как это делали в старину.

— Сансон тоже обходился без маски, — вставил Джон Дьюи, напомнив о «знаменитости» из фамилии потомственных парижских палачей, совершившей казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты.

Профессор говорил, поглаживая волосы. Это был нервный жест, так как темное крыло зачеса и без того выглядело идеально гладким. Дьюи показалось, что эмоциональный накал выступления русской гостьи грозил дезорганизовать рациональность мышления, которую он стремился воспитать у студенчества. Инструменты, то есть и идеи, полезны и действительны лишь по отношению к конкретной цели. Выступление приобрело столь обобщенную политическую окраску, что выходило за рамки частного русского случая, касалось и американского общества.

— Мне хотелось бы напомнить молодежи, с вашего позволения, мадам Горькая, — Джон Дьюи сощурил глаза за очками, — что при покушении на президента Соединенных

Штатов Джеймса Гарфильда — он был убит в том же самом 1881 году, роковым и для Александра II, — газета русских революционеров вышла с траурной каймой. В передовой статье высказывалось мнение, которое я полностью разделяю. Там писалось, что русские революционеры-народники осуждают метод политических убийств в Америке, в стране, где существуют свобода печати, публичный суд и выборная система власти.

Мария Федоровна обменялась взглядом с Дьюи и не могла не отдать должное ловкости, с какой профессор поднимал авторитет американского общества и тем самым косвенно отнес случай с Максимом Горьким к досадным издержкам. Она не стала входить в полемику и, заканчивая речь, призвала американок помочь русской революции, заверив:

— Придет время, когда угнетенный народ России будет управлять страной. Женщины борются за эту будущую свободу, так же как и мужчины. Если мы отдадимся этой борьбе всем сердцем, с твердой решимостью победить, наше дело победит!

Студентки сорвались со своих мест, кинулись к госте и, окружив ее, забросали вопросами о России. Они возмущались, сочувствовали. Им очень хотелось рассказать и о себе, о собственной жизни, мечтах. Кто-то вспомнил, что их бабушки под влиянием Бичер-Стоу, как и русские женщины, тоже пошли в народ, на Юг, чтобы помочь бывшим рабам: устраивали там школы, лечили и иногда дорого платились за эту смелость. Другие говорили, что они готовы добиваться равных прав с мужчинами, права участия в голосовании, бороться за счастливое будущее женщин, но не знают, с чего начать.

— О будущем женщины в сравнении с ее настоящим очень хорошую книгу написал социалист Август Бебель — «Женщина и социализм». Почитайте, — сказала Мария Федоровна. — Учите, книга писалась в тюрьме.

— Интересно о женщине Будущего и у Герберта Уэллса в «Современной утопии», — вновь громко вмешался в разговор Джон Дьюи, для которого прогнозы английского фантаста казались приемлемее в педагогическом отношении, чем крайний радикализм немецкого социал-демократа. Профессор по привычке перешел к обобщению: — Если бы люди во всех делах могли поступать по проверенному практикой определенному плану, им всегда бы благоприятствовало счастье. Не ошибается только опыт! Так сказал Леонардо



да Винчи. Он же заметил, что мудрость — дочь опыта. — Профессор, слегка поклонившись Марии Федоровне, обернулся к студенткам. — К сожалению, мои юные, встреча подошла к концу. Мы утомили русскую гостью. Она справедливо призывала нас к более глубокому и тревожному пониманию действительности... Полтора месяца назад в стенах Бернард-колледжа вы слушали другого нашего почетного гостя — Марка Твена, который тоже убеждал вас внимательнее всматриваться в мир, рациональнее отбирать факты, чтобы память не уподоблялась решетке с редкими ячейками, через которые проскакивали бы золотые зерна познания, необходимые лично каждому при решении им текущих практических задач с минимумом риска...

Мария Федоровна наблюдала, как под благожелательно-обволакивающим тоном заключения Джона Дьюи на губах девушек увяло много вопросов, удовлетворенно подумала: «Нет, им мало познания только во имя текущего и личного: молодость общественно щедра и всегда в поиске масштабного, справедливого, невзирая при этом на степень риска».

Профессор, проявляя еще раз учтивость, под самый конец обратился к докладчице:

— Уважаемая мадам Горькая, вы мне сегодня напомнили об одном из дней Великой французской революции, когда прекрасная и отважная Олимпия Гуж внесла на обсуждение Конвента первую в мире Декларацию прав женщины и гражданки. Увы, ее, то есть Декларацию, отвергли.

— Вероятно, среди депутатов Конвента оказались потомки и тех, кто сжег самую светлую голову и самое благородное сердце Франции — Жанну д'Арк?

Профессор на такой мужской силы выпад только недоуменно поднял плечи.

\*

Марию Федоровну, возвратившуюся паромом на Стейтен-Айленд, обогнал высокий седой мужчина, который быстро шагал вверх по Гримс-хилл, затем свернул к дому Мартинов. Глядя в его удалявшуюся спину, Мария Федоровна подумала, что бесконечные визиты мешают Алексею Максимовичу работать. Она заторопилась.

Сбросив в прихожей шляпку и поправив волосы, сразу же направилась в гостиную, откуда доносились голоса.

Алексей Максимович в домашней фланелевой косоворот-

ке, небритый — брился обычно к обеду, экономя для работы утреннее время, — хмуро смотрел на гостя.

«Да это же Чайковский! — Мария Федоровна узнала эсера и, сухо отвечая на его поклон, подумала: — Наверное, уже успели обменяться первыми «любезностями».

— Вынужден повторить, — Чайковский обратился к Алексею Максимовичу, — что ваш отказ от сотрудничества серьезно вредит делу революции. Только ваше упрямство, извините, — причина развала комитета содействия, в который входил и Марк Твен. Вы не согласны?.. Удивительный народ — большевики: сумели поспорить не только с нами, самой боевой революционной силой, но даже со своими единомышленниками — социал-демократами, меньшевиками. И было бы из-за чего! Из-за двух слов в формулировке о членстве в партии. Да расскажи мы с американской трибуны о такой причине... — Чайковский пожал плечами.

«Как Джон Дьюи», — вспомнила Мария Федоровна прощальный жест прагматиста. Она устроилась в угловом кресле, где обычно сидел Джон Мартин.

— Вы пришли, как я понимаю, не для того, чтобы обсуждать первый параграф устава РСДРП, — заметил Алексей Максимович.

— Да, конечно... За каждым нашим шагом внимательно смотрит пресса, то есть за нашей основательностью. Ее силу вы почувствовали, — Чайковский, не поворачивая головы, искоса взглянул на Марию Федоровну. — Вместе мы сумеем справиться с газетной кампанией. Имя Максима Горького — революционера и представителя свободолюбивой русской интеллигенции — обязано работать на революцию.

Алексей Максимович с большим опозданием предложил гостю присесть и снова попросил перейти к делу. Ему явно претила лесть, как и попытка разделения Горького на два представительства.

— Дело в следующем, — откликнулся Чайковский. — Мне сообщили из Лондона, что в Швеции работает съезд РСДРП и что большевики и меньшевики договорились там о совместных действиях. Вот я и подумал, почему бы и нам, Алексей Максимович, не попробовать? На митингах в Нью-Йорке, Чикаго, Кливленде и Толедо эсеры собрали восемь тысяч долларов. Видите, я ничего не скрываю. Но эту сумму можно за короткий срок удесятенить, если выступать вместе. Давайте договоримся хотя бы об одной поездке — уверен, она будет выгодна и вам и нам. Ваше писательское



имя притягательно и для богатых американских либералов. Уверен, что вас они будут встречать не так, как меня Кросби, известный толстовец.

— И как же он вас встретил? — спросил Горький.

— «Я не могу дать вам денег, — ответил он, морща красивое и умное лицо. — Оружием в мире ничего не изменишь к лучшему». И, посоветовав прочитать его книгу «Жизнеописание Толстого», вежливо проводил меня до выходной двери. Я мог бы и сам дать кое-какие толстовские советы этому бывшему американскому дипломату; — Чайковский усмехнулся и продолжал с прежней откровенностью: — Весной 1875 года в США прибыла группа молодых русских идеалистов — пятнадцать мужчин и женщин. Все отправились в Канзас, чтобы создать земледельческую коммуну. Среди коммунаров выделялись «умственные генералы»: толстовец Василий Алексеев, он был учителем в семье Льва Николаевича, каракозовец Александр Маликов и, наконец, ваш покорный слуга. Первый же неурожай подорвал наши лучезарные надежды и, что того хуже, — банковский кредит. Мы не знали, что Америка добра только к зубастым, беспринципным. Не выдержали и нравственные устои: Алексеев отбил жену у своего собрата Маликова и отправился с ней в Россию. Вернулись на родину и другие. Я не мог: меня ждал там арест.

В веселости повествования Чайковского чувствовалась нарочитость, замечать которую было неловко. И Мария Федоровна удивилась терпению, которое проявил Алексей Максимович, выслушивая биографический этюд эсера... Всё было проще. Максим Горький задумался: как прихотливо пересекаются судьбы. Он тоже отдал дань идее строительства земледельческих коммун. В 1889 году весовщик станции Крутая Алексей Пешков и вместе с ним небольшая группа железнодорожных служащих, «увлеченных идеей самостоятельного личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством». Так письменно информировал Пешков Льва Толстого и просил его от имени своих товарищей выделить «кусочек земли» и оказать нравственную поддержку — выслать «не допущенные в продажу» книги — «Исповедь», «Моя вера»... Ответа не последовало. Попытку создания подобной колонии Алексей Максимович предпринял и позже, в 1895 году, когда жил в Самаре: попробовал организовать аренду земли уже через Короленко. Снова не получилось...

— Да, простите, я отвлекся, — спохватился Чайков-

ский. — Так повторяю: у вас, Алексей Максимович, разговор с Эрнестом Кросби и ему подобными мог бы оказаться продуктивнее.

— Вот что, почтеннейший Николай Васильевич, неужели вы не понимаете, что роль подсадной интеллигентной кряквы для богатых американских либералов, кою вы мне предлагаете, — унижительна?! Это же сродни политической лавочке.

— А это и есть лавочка, то есть Америка, — с досадой ответил гость. — Вы тут ищете понимания, признания идеи русской революции, а я — просто денег. Хоть с кем союз!..

— Как Робинзону — любой бы флаг на море увидеть. А если пиратским окажется? Это не выбор пути, а политическое отчаяние.

— Уж и пиратский? Какая ирония! Я, добывая деньги, бегал в Лондоне в поисках уроков, рюрикович Кропоткин читал платные доклады о русских и французских тюрьмах, изученных собственными боками, отважный, бескорыстнейший Степняк торговался с устроителями его лекций в Соединенных Штатах — чтобы каждая не дешевле пятидесяти долларов... И все это не казалось сделкой с совестью, с либералами. Повторяю: финансовый союз хоть с чертом!

— В данном случае за черта должен сойти Максим Горький, — подкасал Алексей Максимович, не понимая причины нервной откровенности Чайковского.

— Пожалуйста, пусть им буду я, — парировал Чайковский. — Я думаю не о себе, а о своем сыне и о Сашеньке Кропоткиной, которым по девятнадцать, — они родились в лондонском изгнании и чуть ли не в один день, наконец, и о вас, так как гожусь вам в отцы.

Последнее не требовало опровержения: Чайковский вступил в революционное движение в 1869 году, то есть через год после того, как в метрической книге Варваринской церкви Нижнего Новгорода 16 марта 1868 года появилась запись о рождении у мещанина Максима Савватиева Пешкова и его законной жены Варвары Васильевны сына Алексея. «Чайковцы», как именовали себя члены кружка, уже тогда занимались пропагандой народнического социализма, распространяли социальную и экономическую литературу — книги Чернышевского, Бокля, Милля, Лассалья, Маркса. Чайковского дважды арестовывали, должны были привлечь к суду и по процессу 193-х, но полиция не смогла его разыскать.



Чайковский не стал рассказывать, что после неудачи с коммуной в Канзасе он попробовал вступить в американскую религиозную общину шекеров: нашел в ее догматах что-то от социалистических начал — коллективный труд, совместное владение имуществом, постоянное духовное совершенствование. Но, познакомившись близко с «братьями» и «сестрами», обнаружил среди них богачей и бедняков, испытал унижительность религиозного обряда — доводить себя бессмысленными движениями до состояния невменяемости, идиотизма. Вместо строгого безбрачия в секте бытовал тайный разврат. Он сбежал от шекеров и, чтобы прокормиться, пробавлялся случайными заработками, был чернорабочим, плотником на филадельфийских верфях, сезонником на сахарном заводе...

Словом, Чайковский не без основания считал себя многоопытнее в знании американской действительности и искренне не понимал, почему Максим Горький не желает с ним союза. В развитие темы «отцов и детей» заметил:

— Стар становлюсь. Меня иногда американцы называют отцом.

— В политике звание «отец» сомнительно: отцы нередко становятся противниками своих детей и наоборот. Гапо-на называли даже святым отцом, а он повел доверчивых чад на убийство!..

— Да! Должен поставить вас в известность, — будто спохватился Чайковский, оглядываясь на Марию Федоровну. — Гапон оказался предателем. Это доказано. Он казнен революционерами.

То, что Гапон вел провокационную двойную игру, Алексей Максимович заподозрил давно. О причинах загадочной смерти попа трубили многие газеты, высказывались предположения, что найденный на необитаемой даче труп задушенного человека — хитроумная подделка. Сообщая о казни Гапона, Чайковский будто снимал с себя упреки, которые были высказаны ему в гостинице «Бельклер».

— Мы обязаны, Алексей Максимович, выступать вместе. Почему нам не быть перед американцами не представителями партий, а русскими социалистами вообще? Этак в межпартийных драках мы можем забыть о народе, во имя счастья которого и боремся.

— При условии, если забудем считать себя частью народа, — возразил Алексей Максимович. — Социал-демократы пробовали искать соглашения с вашей партией в деле пе-

реброски оружия на «Джоне Графтоне», все кончилось предательством! А сейчас, когда царское посольство со шпиками и в союзе с американскими пришибевыми выживает большевистскую группу из Соединенных Штатов, кто из вас, эсеров, попробовал выступить публично или в печати, поспорить с клеветниками?.. Устное сочувствие наедине, шепотком — оно сродни злорадству. Так что и ваше нынешнее посещение можно объяснить всего лишь желанием использовать мои затруднения с целью нажима.

— Боже мой! — Чайковский вскинул перед лицом правую руку, как бы отгораживаясь от чудовищного обвинения, оглянулся на Марию Федоровну и, наткнувшись на холодный взгляд, воскликнул, почти закричал: — Оказывается, мы, эсеры, находимся еще и в союзе со шпиками, хотя именно вы притащили их сюда за собой. Так что уж считайте — это ваши знакомые!

И тут, совсем неожиданно, Чайковский в последнем предложении о «знакомых» высказал истину, о которой, впрочем, ни он, ни Алексей Максимович даже не догадывались.

...Апрельским днем 1890 года на платформу нижегородского вокзала сошел с московского поезда тощий, небольшого роста пассажир в клетчатых брюках. Через некоторое время человек выбрался на окраинную Мартыновскую улицу и, следя за нумерацией, подошел к обшиту тесом дому с полуподвальным этажом. Осторожно миновав большую лужу, заполонившую проезжую часть улицы, открыл калитку — столкнулся с полным круглолицым блондином.

— Не ошибаюсь — Болеслав Петрович? — обратился приезжий и услышав ответное «да», представился: — Вам должны были сообщить обо мне — Аркадий Ландезен, ну а для таких, как вы, ветеранов движения 80-х, просто Аркаша, если угодно.

Блондин вытаращил глаза и ойкнул, будто пораженный в самое сердце, охватив пухлыми руками длинную шею приезжего, полез целоваться.

Через минуту мужчины вошли во двор дома и по вытертой кирпичной лестнице спустились в квартиру.

— Вот так и живем. Осторожней, мой друг Ландезен, берегите голову. Светлые головы на Руси всюду поджидает опасность...

— Прошу, Болеслав Петрович, при незнакомых обходиться без имен.

— Не беспокойтесь, дома только жена. Ее не бойтесь —



тоже под надзором. — Хозяин, толкнув дверь, закричал в сумрак: — Оленька!

Скрипнула другая дверь в глубине прихожей; в просвете показалась молодая женщина, она с удивлением разглядывала гостя.

— Тсс, — прижал к губам палец супруг, шепотом сообщил: — Это Аркадий Ландезен. Я тебе как-то рассказывал...

— Полно, Болеслав. Из нашего погреба даже твой храп не слышен.

Болеслав Петрович так же шепотом потребовал:

— Ольга, запомни, с этой минуты — никаких имен, никакой географии.

Первым это требование нарушил сам гость. Присев на потертый кожаный диван, он окинул взглядом комнату — голландка, три окна, выходящие на двор, стол, заваленный картами, диаграммами, огромная кровать и как-то никчемно — в дальнем углу — мольберт, сказал:

— Я нелегально... Прямо из Парижа... Царь не уйдет от возмездия... Бомбы изготовлены... Осталось перевезти... Нужны надежные связи... Рассчитываем на Короленко...

— Свяжем, — пообещал Болеслав Петрович. — Мы с ним отбывали ссылку в Якутии. Но лучше, если сходит кто-то менее заметный. Пешков, например, — самородок из народа. Бокая страницами цитирует! Владимир Галактионович к нему благоволит. Как думаешь, Оля?

— Конечно, лучше Алексею.

— Значит, решили, — Болеслав Петрович потер ладонь о ладонь. — Возможно, Аркаша, вам парик надо или в паспорте подчистить? Оленька — мастак! Вон образ губернатора пишет, по самоличному заказу.

Ландезен проследил глазами за пальцем хозяина, показывавшим на мольберт с портретом мужчины в генеральском мундире. Он заметил, что супруга Болеслава Петровича, поглядывая на суету мужа, сжимает большой рот, морщит нос с горбинкой — словно удерживается от желания расхохотаться.

Статистик земской управы Болеслав Петрович Корсак был польщен доверием Аркадия Ландезена, слывшего неистовым бомбистом, и искренне хотел помочь ему. После отбытия ссылки в Киренске он отошел от революционной работы, сочетался гражданским браком с дочерью нижегородского врача, но прежних знакомств не чуждался и при необходимости был готов содействовать.

Ландезен приехал в Россию по заданию охраны, а боевикам из своей группы сообщил, что направляется, чтобы начать конкретную подготовку к покушению на Александра III, то есть — выбор места, времени, условий. Агент сумел связаться с подпольщиками в Москве, во Владимире и сообщил о них полиции. Здесь же, в Нижнем, жертвой был намечен Короленко. Для этого-то и понадобился Корсак. Тридцатипятилетний благодушный статистик оказался отличной подсадной уткой. Ландезен это сразу понял по характеру встречи.

— Мы собираемся к вам, в Париж, — голос хозяйки отвлек Ландезена от размышлений.

— Да, пора! Русская провинция — это болото. Долго им дышать опасно: мысль поражает астма, — подтвердил Корсак и предложил: — Я, пожалуй, сейчас схожу за Пешковым. Он письмоводителем у присяжного поверенного.

Не прошло и часа, как в дверь после осторожного стука просунулась длинноволосая голова, спросила баском: «Можно?» В комнату, сильно склоняясь под притолокой, вошел худощавый, но широкой кости парень, одетый в голубую косоворотку, в сапогах. За ним румяным колобком вкатился Болеслав Петрович.

— Алексей Максимович Пешков, — представился парень, крепко пожимая парижанину руку. Ни о чем не расспрашивая, он пообещал сегодня же вечером сходить к Короленко.

— Вот и отлично! — обрадовался Болеслав Петрович и, потирая пухлые руки, обратился к жене: — А теперь, Лялечка, можно принять пищу.

Женщина, не ответив, начала убирать со стола свитки бумаг.

— Алеша, пожалуйста, переставьте стол к дивану, чтобы удобнее, — попросила она и, видя, что Ландезен тоже поднялся, со смешком посоветовала: — Не унижайте человека... помощью. Этот юноша перед обедом — когда, конечно, таковой у него есть, — десятикратно крестится двухпудовой гирей.

Ландезену показалось, что хозяйка излишне долго задержала взгляд на молодом человеке...

Болеславу Петровичу всегда не хватало выдержки. Служебные дела, требующие большого терпения, вроде оформления почвенных карт, диаграмм, перепоручал жене. Не выдержал он и на этот раз. Гуляя с гостем по городу, Болеслав Петрович нарочно свернул к кладбищу и, обогнув его,



остановился возле двухэтажного дома. Показывая на окна второго этажа, заставленные цветущей геранью, сказал:

— Квартира Короленко. Кабинет выходит в сад.

В этот же момент из парадной двери показался большеголовый кудрявый мужчина. Вышел он, вероятно, на минуточку-две, так как был только в жилете. Он чуть поклонился Ольге Юльевне, будто не замечая мужчин.

— Владимир Галактионович, — зашептал Корсак Ландезену, переходя на «ты». — Сам понимаешь, так вот, ни с того ни с сего, представить тебя я не могу. Пусть уж, как договорились, сначала Пешков зайдет.

На следующий день Болеслав Петрович несколько раз прибежал из управы домой, чтобы справиться — приходили ли Пешков, и наконец, не выдержав, отправился к нему сам. Вернулся смущенным.

— Что-то не так сделал наш сын народа, — он хихикнул. — Словом, Владимир Галактионович просил передать, что в настоящее время он лишен возможности оказать какую-либо помощь эмиграции.

— Почему речь зашла о помощи?! — взорвался Ландезен. — Я же просил всего лишь представить меня, сказать, что имею для него важное поручение. И не больше!

Болеслав Петрович из разговора с Пешковым сделал вывод, что в неудаче со свиданием виноват сам. Но как теперь скажешь, что нескольких секунд случайной встречи хватило Короленко, чтобы отрицательно оценить заграничного посла, «неистового бомбиста»? На предложение посредника — Алексея Пешкова — писатель ответил:

— Нет уж, не знакомьте меня с этим хлыщом, — отказал категорически, не вдаваясь ни в какие подробности.

— Короленко избалован вниманием, — распалялся Корсак. — Победил одного тут растратчика из дворянского банка. И тоже мне богатырь!..

— В нем, и верно, есть что-то от купца Калашникова, — подтвердила супруга. — Крепко сбит, хорош собой.

Ландезен, криво усмехаясь, предположил:

— Ему не понравились мои заграничные клетчатые брюки? Легкомысленно-с...

— Я ему напишу письмо, что дело революции...

— Не надо, Болеслав, так разгораться. — В темно-синих глазах Ольги Юльевны мелькнул холодок. Она подошла к столу, снова заваленному цветными графиками, и принялась подтачивать карандаши, готовясь к работе.

На следующий день случилось еще одно, совсем уж неприятное происшествие. Корсак случайно заметил на конверте, подписанном их гостем, знакомый адрес русского посольства в Париже: «Рю де Гренель, 72». Изумившись, он спросил, кому Аркаша отправляет письмо. Ландезен сильно смутился, ответил, что это вызвано специальной конспирацией. Болеслав Петрович не очень-то поверил, внутри у него неприятно похолодело. Вечером, вернувшись со службы, он узнал, что гость покинул Нижний.

Вскоре, 29 мая, французская полиция арестовала в Париже группу русских политэмигрантов. Ландезена среди них не оказалось. Нашли бомбы, приготовленные для казни царя. Стало известно и об арестах в России, как раз в тех городах, где побывал парижский «революционный» посол. Корсак, наконец-то догадавшийся об истинной роли Аркаши, спешно уехал за границу. Следом за ним, в июне, отбыла и супруга.

...Когда фон Гартинг, отправляя агента Николаева в Америку, нашел нужным его предупредить: «Горький — особенный революционер. Я его хорошо знаю», — он, вероятно, имел в виду свой неудавшийся нижегородский вояж.

\*

В ту же минуту, как только закрылась дверь за Чайковским, Алексей Максимович подошел к Марии Федоровне.

— Ну как, Маша, удачно? — ясно, что он спрашивал о выступлении в Бернард-колледже.

— Хорошие, искренние девушки, но изолированные от жизни. А вот профессор Дьюи разочаровал: американский Милуков или что-то в этом роде. И сочувствие к нам — театральное: через час-полтора занавес опустится и отделит от сцены, от всего тревожащего. Можно будет подняться с бархатных кресел и вежливо, не толкаясь, отправиться к выходу, сесть в экипаж, ткнуть тростью «ваньку» и, покойно покачиваясь на рессорах, еще раз по пути домой пережить увиденное и услышанное. В итоге — высококравственное и лично безопасное приобщение к общественной проблеме, — говоря, Мария Федоровна жестом, мимолетным взглядом дорисовала образ либерала, и хотя сделала она это весело, Алексей Максимович заметил, что улыбка у нее вроде той, что была на пароходе в шторм, в качку...

— Ты, Маша, не переживай, принимай, как естественное. Это ужинающая психология, будь то в России или в Америке.



ке. Идейная мимикрия! Я тоже здесь устал более всего от общих слов о социализме, от общего сочувствия к страданиям русского народа, от благожелательности «вообще». Вроде дипломатов, не доверяющих друг другу, стремящихся сочинить только преамбулу к хорошему договору, но без касательства к конкретным статьям, к обязательствам. Доброжелательство на час. Я утром написал письмо-обращение к американским собратьям-писателям, где прошу их перейти наконец от общего к делу помощи нам. Ты перепечатай поскорей, пожалуйста... Да, чуть не забыл, — Алексей Максимович шагнул к библиотеке. — У меня сюрприз для тебя. Пришла почта из Берлина — целый пуд! — там есть несколько газет из Австро-Венгрии со статьями о выступлениях Художественного в Праге. Как раз в дни, когда мы плыли в Нью-Йорк.

Мария Федоровна, посмотрев на разложенные по столу, по дивану и даже по полу пачки писем, газет и журналов, благодарно кивнула, принимая из рук мужа «сюрприз», и, как бы поощряя его к дальнейшей работе, немедленно направила к себе.

Ее комната, кабинет Пристония, — сама хозяйка переместилась в спальню — была солнечной и уютной. Светло-зеленая обивка мебели, низкой и мягкой, создавала уют, золотисто-лимонные шелковые гобелены с пейзажами: горы, мостики и беседки, резвящиеся по берегу озера дети; ширма с вышитыми на ней карликовыми соснами, двинь створки — и деревца оживут, перекосятся, как на морском ветру...

И каким-то диссонансом всему этому, настраивающему на благодушную созерцательность, нежность, со стены строго глядел барельеф лика Аристотеля — с подчеркнуто широким и выпуклым лбом.

Этот диссонанс в доме Мартинов замечался повсюду. Судя по множеству поделок из китайского и японского фарфора, индийской бронзы и египетской керамики, тут любили, если не обожали, Восток, — его предметы и по расположению находились ближе к человеку, интимнее, а то и вовсе рядом, перед глазами — на столах, полках, подставках... А с высоты, со стен на них с суровой доброжелательностью законоучителя взирала греческая античность.

Дуализм в обстановке, однажды пояснила Марии Федоровне Пристония, отражал разлад вкусов ее отца, доктора Пристона, который смолоду увлекался цивилизациями материкового Средиземноморья, а затем еще более горячо заини-

тересовался Востоком — как в области искусства, так и медицины. Единственную дочь он почти всегда брал с собой в далекие поездки. И, в частности, обстановка кабинета — это вещественный след их последнего путешествия в Японию. Джон Мартин, утверждала Пристония, — сторонник восточной увлеченности ее отца, для нее же близка любовь его молодости — Древняя Греция. Оттого-то и сохранился здесь, в бывшей спальне доктора, барельеф Аристотеля, хотя он и вне общего стиля обстановки.

Вероятно, отцовским наследством оставался в доме на Гримс-хилл и «докторский» порядок, твердо налаженный быт. Но этот порядок и трогательная забота хозяев, казалось Марии Федоровне, как-то уводят, отдаляют от родины, от детей, от любимой сцены. И хотя сейчас перед ее глазами на полосе пражской газеты был изображен купол Национального театра, где выступала труппа Художественного, ей представлялось другое — сумеречный зал с темной дубовой мебелью и такой же отделкой лож — детище академика Шехтеля, по чьему проекту реконструировали в храм Мельпомены обыкновенный московский особняк в Кавалергардском переулке, видела над сценой родной талисман — чайку с распластанными крыльями на серо-зеленом занавесе.

Театр показывал в Праге «Царя Федора», «Дядю Ваню» и «На дне». Как и в Берлине, более всего места печать уделяла горьковской вещи, писала о стремлении ее глубоко несчастных героев к правде, к солнцу, о вере автора-бунтаря во всемогущество человеческого интеллекта.

Язык, хотя и незнакомый, но славянский, — читать и понимать можно, но Мария Федоровна понимала и то, о чем не писали газеты: бушующий зал Пражского театра и тысячная толпа на площади, приветствовавшая актеров словами «Слава России!», являлись выражением не только признательности великому искусству, но и солидарности с борющимися за свободу братским народом. Спектакль «На дне», конечно же, был воспринят в Праге как общественно-политическое событие!..

Могла ли она сама до пьес Максима Горького — во всех сыграла первые роли! — столь глубоко взглянуть в жизнь тех, кто прозябал в подвалах, да и в людей своего круга?.. Еще задолго до личного знакомства случайно увиденный в «Северном вестнике» горьковский рассказ «Мальва» потряс ее неукротимой энергией, живой радостью и вместе с тем болью мироощущения, отрицанием условностей, сковывав-



ших чувства. Она была захвачена новаторской мощью, огромностью дарования молодого писателя, а позже — и самой личностью. Да разве одна она? Вся труппа театра, даже те, кто не разделял его убеждений! Премьера спектакля «Дети солнца», состоявшаяся перед самым Московским восстанием, шла под охраной рабочей дружины, отгонявшей банды черносотенцев. А в дни восстания в фойе театра развернули лазарет. Возле раненых боевиков дежурили артистки!..

Мария Федоровна, ранее тщательно скрывавшая свою принадлежность к РСДРП, была взята полицией на заметку за действия противоправительственного характера, за близкую связь с «подозрительными лицами», в особенности с Максимом Горьким, «человеком, крайне неблагонадежным в политическом отношении», как отмечалось в докладе московского охранного отделения. Ей стали препятствовать выступать на благотворительных концертах, догадываясь, что собранные средства шли на нелегальные дела. Приходилось становиться изобретательной. Так, когда артисты решили отчислить сбор с одного спектакля «На дне» в фонд стачечников, на афише замаскированно написали: «В пользу семейств, пострадавших от последних забастовок»...

Мария Федоровна и сейчас намеревалась передать в партийную кассу сто тысяч рублей! Владелицей столь значительной суммы она стала случайно, по завещанию Саввы Морозова, который оставил ей письменное разрешение распорядиться этими деньгами так, как найдет нужным. Но распорядиться не успела: родня Саввы подняла шум — Андреева, мол, со своими друзьями-бунтовщиками ограбила слабовольного человека, и на наследство пока наложен севестр.

Ни Алексею Максимовичу, ни ей Морозовы даже не позволили проститься с Саввой, его тело тайно перевезли из Франции в Москву. Преданного друга Художественного театра, который в родственном кругу оказался, как говорил Горький, «белой вороной», похоронили среди купцов-старообрядцев на Рогожском кладбище...

Листая газеты, Мария Федоровна поймала еще одну заметку о Художественном: русский посол в Берлине Остен-Сакен принял у себя Станиславского и Немировича-Данченко. Сообщалось, что прием был «весьма сдержанным». А каким же еще? Ясно, что граф вынужденно отдал дань общественному мнению. И «под занавес» этого газетного обзора — вырезка из берлинской «Форверст» со статьей об ут-

реннике, состоявшемся 10 марта в Дойч-театр, с таким комплиментом: «Огромный актерский талант продемонстрировала Андреева, читавшая отрывки из пьесы «На дне».

...Нет, ей невозможно представить свое прошлое без Художественного, без Максима Горького — просто не состоялась бы жизнь, то есть была бы обычной, хотя и безусловно более легкой. Марии Федоровне запомнился разговор в гостиной Мартинов с толстовцем Эрнестом Кросби, о котором сегодня упомянул Чайковский. Кросби зашел к Горькому, чтобы засвидетельствовать, как он сказал, свое уважение и сообщить, что готовит к изданию в Соединенных Штатах «Воскресение». Вспоминая о своем последнем посещении Ясной Поляны, американец заметил, что секрет популярности идей Льва Толстого в том, что они заставляют относиться с любовью ко всем людям — к любым!

— То есть как — к любым? — быстро переспросил Алексей Максимович. — Невозможно, скажем, любить гадких, грязных...

— Но, мистер Горький, — возразил Кросби, — ваше творчество тоже пропагандирует любовь к человеку.

— Не надо столь обобщенно оперировать словом «любовь». Она бездеятельна, безродна и не оплодотворяет добром, когда исходит от тупеядствующих или юродствующих. Любить — это бороться за человека, поднимать его в нравственном и материальном смысле. Или, наконец, любовь женщины — чудо! Но и это чудо не должно нести с собой обернутые в розовую бумагу цепи...

Собеседники остались явно неудовлетворенными встречей. Что поделаешь, Горький всегда был резок и требователен, если затрагивалось в споре важное, а к себе — и вовсе беспощадным. Испытывать это нелегко не только чужим, но и даже самым близким...

Мария Федоровна отложила газеты и присела к столу, на котором находился «ремингтон» с русским алфавитом, а сбоку тонкая стопка исписанной бумаги — листы в клеточку, необычайно широкого формата, и каждый разделен карандашной линией на две неровные половины — левая примерно вдвое уже. В правой содержался основной текст, а слева — добавления. Все лишнее жирно зачеркнуто двойными параллельными линиями и еще обведено сбоку, варианты взяты в скобки. Заглавие было выписано чуть не вплотную к верхней кромке — «МАТЬ».

Этим самым жизнелюбивым в мире словом Максим Горь-



кий назвал свой новый роман. Давалась вещь ему необычайно трудно: впервые в русской литературе он решил рассказать о сознательном социал-демократе рабочем, о его матери, ставшей сподвижницей, об истоках их революционности. Роман был задуман давно; после первомайской демонстрации в Сормове в 1902 году. Сормовские события и должны лечь в основу новой книги.

Судя по почерку — округлому, спокойному, наклоненному чуть влево, без резких обрывов в окончании слов,—перед Марией Федоровной лежал уже не первый вариант начала:

«В слободе Покатой люди жили для фабрики и жизнь их... — Тут строки обрывались, продолжение следовало на правой половине: — ...была страшна своей пустотой. Ее главная цель — сытость тела — унижала людей, искажая их души, в ней (был) горел всегда один смысл — работа и все привыкли к этому, все (жили, старались делать) хотели возможно больше заработать в шесть дней для того, чтобы больше съесть и выпить в седьмой...»

Мария Федоровна с сожалением прекратила чтение, положила страницу и взяла в руки другую рукопись, которую Алексей Максимович просил перепечатать сегодня же, — открытое письмо к литераторам Америки. Пробежала глазами первые строчки: «Вам, рыцарям духа, не должны быть безразличны судьбы моей родины, страдания русского народа!..»

Мария Федоровна поежилась — ее слегка знобило, — видно-таки простудилась утром на сыром ветру. Преодолевая слабость, поудобней присела к столу, вложила в машинку чистый лист и тронула клавиатуру...

## 2. ОШИБКА

...Алексей Максимович не мог оторвать взгляда от очерченно-го красным карандашом столбца в нью-йоркской «Геральд». Перевод текста, сделанный Зиновием, лежал сбоку:

«Сегодня получила письмо Алексея Максимовича Пешкова—Максима Горького, которое подтвердило сведения, сообщенные газетными телеграммами о приеме, оказанном ему Америкой. Очень возмущена вторжением в столь личную интимную жизнь человека и удивлена, что американцы—граждане свободной страны, создавшие столь широкую политическую свободу, не свободны от предрассудков, уже мертвых у нас в России.

*Екатерина Пешкова».*

Алексей Максимович положил перед глазами еще одну вырезку—другое письмо Пешковой, адресованное петербургскому представителю «Ассошиэтед пресс», некоему Томпсону:

«Отвечаю лично вам, а не агентству. Убеждена, что Алексей Максимович подобного заявления не делал. Очевидно, известие, сообщенное вашему агентству, вымышленное. Удивляюсь интересу к вопросам столь личного интимного характера».

«О чем мог спрашивать мистер Томпсон? Что-то явно провокационное. Молодец Катя — мудро ответила! По существу, отчитала Америку вместе с ее свободной прессой. Спасибо...»

Алексей Максимович выдвинул верхний ящик стола, где находилась пачка чистой бумаги в клеточку. Тут же лежали цветные почтовые открытки: дома-небоскребы, ночной Нью-Йорк, индейцы в национальной одежде. Эти яркие открытки Алексей Максимович подобрал специально для детей. Слал их, как и письма, в Берлин на адрес Ладыжникова. Оттуда, по договоренности, всю его почту должны были переправлять в Россию уже в других конвертах, по нейтральным адресам. Например, для Кати, в Ялту, — через знакомого доктора Александра Николаевича Алексина. Катя жила там вместе с детьми на даче, принадлежащей писателю-народнику Елпатьевскому, бывавшему редкими наездами.

Алексей Максимович хорошо знал эту просторную двухэтажную дачу на склоне лысой Дарасановской горы, неподалеку от помпезного дворца эмира Бухарского, — с широкой веранды, возвышавшейся над небольшим садом, проглядывался весь полукруг Ялты и море.

«Сейчас в Ялте свирепствует генерал Думбадзе — крымский Трепов, которому ничего не стоит арестовать Катю. За что? Хотя бы за то, что она мать детей Максима Горького...»

Дети, дети! Он в августе прошлого года твердо обещал приехать к ним в Крым повидаться и не смог: как раз в августе пытался помочь добыть оружие с «Джона Графтона», ездил в Гельсингфорс. Затем начались хлопоты с «Детями солнца». Цензор запретил показ пьесы, постановку которой готовили сразу два театра — Петербургский драматический Веры Федоровны Комиссаржевской и Московский Художественный, — пришлось добиваться разрешения через главное управление по делам печати. Потом опять неотложное — выпуск первого номера легальной большевистской газеты



«Новая жизнь», формирование редакции. И при всем этом — постоянная забота о деньгах для партии: на издание, на вооружение рабочих дружин, в забастовочный фонд. И так до самого Декабрьского восстания в Москве, когда его квартира в доме на углу Моховой и Воздвиженки оказалась перевалочной базой и связным пунктом Боевой технической группы, охранялась дружинниками. После подавления восстания в квартиру нагрянула полиция, но ничего не нашла. А сами хозяева, Максим Горький и Мария Андреева, ночью отбыли с товарной станции в Петербург.

Он опять на ходу, с вокзала, писал Кате, просил объяснить Максимке причину его крайней занятости. Тревожась о здоровье мальчика, у которого весной случились неожиданные боли в сердце, Алексей Максимович теперь уже обещал в феврале быть в Ялте и слал ребятишкам пестрые открытки — сначала с осенними русскими видами, потом — зимними из Финляндии, весенними — из Швейцарии, наконец, последнюю, европейскую, — из Шербурга, с фотографией порта.

Он написал десятилетнему Максимке из Нью-Йорка горькую правду, что сможет приехать к нему только тогда, когда в России будет конституция, а что это такое — предлагал спросить у мамы. Писал совершенно серьезно, как взрослому. Он и из Глиона наказывал: «Спроси маму, что я делаю, и ты поймешь, почему я не могу теперь видеть тебя, славный мой!»

Алексей Максимович вообразил, как его Максимка, разложив по столу эти открытки, следит за путешествием отца по глобусу и поясняет малышке — Катюше, которая на три года младше, где эта Америка, и чем там занимается их папа, почему он не с ними.

Девочка, лобастая, большеглазая, хмурится: для нее еще не существует причин, из-за которых отец не в состоянии быть рядом. Дочка и родилась в трудное время: он только-только вышел из нижегородской тюрьмы...

Алексей Максимович снова скосил глаза на газетные строчки и задумался:

Очень нелегко было Кате послать эту телеграмму в «Геральд», она знала, что рядом с ним другая женщина. И он, пожалуй, обратившись к ней за таким посланием, поступил не совсем деликатно, хотя беспокоился, конечно, не за себя, а за дело, ради которого приехал в Америку... Слишком торопился и поэтому совершил ошибку, если не глупость: за-

ставил зря волноваться Катю. За восьмилетнюю совместную жизнь она достаточно повидала его ошибок, начиная с орфографических, которые исправляла по обязанности корректора «Самарской газеты». Пора бы уж и не тревожить ее своими неудачами, писать о них пореже, но странно — он испытывал непреодолимое желание не прерывать разговор. Так много и подробно писал, словно вел дневник.

Что он принес ей — маленькой суровой Катюше Волжиной, родители которой были против их брака? Тревожную жизнь, материальные заботы, довольно-таки неясное будущее и подшибленное здоровье. Несмотря на все испытания, Катя осталась близкой его сердцу...

\*

До слуха Алексея Максимовича донесся равномерный стрекот. Он понял, что это работает Мария Федоровна, печатает его обращение к литераторам Америки. Хорошо, что она сразу ушла к себе. Ему просто необходимо побыть одному, закончить просмотр наконец-то прибывшей через Берлин почты, столичных и московских газет, журналов и спокойно подумать.

Алексей Максимович предполагал, что последний визит Чайковского был связан с газетной заметкой, объявившей, что Горький намеревается начать агитационную поездку по городам Соёдиненных Штатов. Сообщение на этот раз, как говорится, соответствовало действительности. Убежденность в необходимости такой поездки поддержал в писателе и поток писем, который направился на Стейтен-Айленд, как только пресса дала знать о новом местопребывании русских.

Почтовый ящик в доме на Гримс-хилл, с бронзовой пластинкой, на которой было выгравировано по-древнегречески гиппократовское — «Жизнь коротка, искусство долговечно», свидетельствовавшее о профессии бывшего хозяина дома, стал тесен. Лизи приходилось выходить навстречу почтальону, чтобы принять пачки писем для мистера Горького. В большинстве их выражалось чувство высокого уважения к революционной России, к самому писателю. Иногда из конверта выпадала долларовая бумажка — скромная рабочая помощь.

Приходили и другие письма, написанные на русском языке: товарищеские — от иммигрантов, угрожающие — от врагов. Одно даже с черносотенным предупреждением: «Жди пулю в лоб!»



Социалисты Сент-Луиса обратились к нему через журнал «Лейба»: «Прими наше сердечное приветствие, Максим Горький! Всякий раз, когда ты прибудешь в долину Миссисипи, социалисты Сент-Луиса окажут тебе горячий прием. Ни царские агенты, ни газетные органы Уолл-стрита не смогут ослабить доверия и нашего восхищения и любви к тебе, наш товарищ и друг Максим Горький.

Мы будем сражаться в ваших битвах, битвах русского народа, в битвах человечества!»

— И вы будете меня убеждать, что с поездкой не стоит торопиться? — спрашивал Алексей Максимович Буренина, которому чудились новые провокации.

Но когда речь зашла о том, что Максима Горького должна сопровождать Мария Федоровна, запротестовала Пристония Мартин. Она сказала, что Мария еще нездорова, ей совершенно необходим покой. Наконец, ее нельзя подвергать повторному риску встречи с подкупленными негодями — русскими и американскими.

Поездка, по мнению Алексея Максимовича, была необходима не только с целью сбора средств, но и для разоблачения нового орудия самодержавия — Думы. Он начал срочно готовить речь, которую так и озаглавил: «Царь, Дума и народ». Открытие Думы возбуждало в печати разные толки о либерализме самодержавия, о смягчении его режима, даже о конституционализме. Для опровержения нужны были свежие материалы из России. Алексей Максимович понял, что факты — это то, что сильнее всего действует на практический склад ума американцев.

Первой российской почтой он был недоволен. Раздраженно перекидывая страницы, видел либо приторно-сдобное словословие, вроде обширной статьи в «Знании и Пользе» — «Великое накануне», либо общие рассуждения. Правда, в майском номере «Вестника Европы» попалась корреспонденция с информацией о результатах выборов в Думу. Написанная в кадетском духе, она все же выражала тревогу по поводу царящих в обществе сомнений — будут ли выполнены наказания, которые дали депутатам избиратели. Последний раздел начинался с многозначительного вопроса: «Разгонят ли Думу?»

— Обязательно разгонят! — ответил неизвестному автору Алексей Максимович, выделив карандашом строчки.

Издания, похоже, подбирались специально: чуть ли не в каждом содержались материалы о Максиме Горьком, о его

триумфальном прибытии в Соединенные Штаты и о скандальной истории с выселением из гостиниц. Перемежались быль и небыль, путались имена. «Биржевые ведомости», комментируя причины скандала, утверждали, что произошел он из-за вражды газетных издателей — конкурентов Помцера и Гирста (ясно, что «Биржевка» имела в виду Пулитцера и Херста), так как второй-де сумел «перехватить» Максима Горького и заключить с ним выгодный контракт. Суворинское «Новое время» — политическую направленность этой газеты еще Салтыков-Щедрин охарактеризовал двумя словами: «Чего изволите?» — утверждало, что Горький как гастролер революции потерпел в Америке сокрушительное фиаско и что американцы по чистой случайности принимают его за выразителя взглядов русской интеллигенции, за истинного революционера, что в основе его непримиримости к существующему в России правопорядку лежат всего лишь личные неурядицы и цинизм. Такой «лжереволюционности» газета противопоставляла истинную пламенную философию энциклопедистов Западной Европы, боровшихся за «...долговременное возрождение, за реформацию».

«Вестник Европы» тоже не забыл Максима Горького. Журнал, извещающий читателей о выходе в свет 9-й книги товарищества «Знание», подчеркнул, что основой нового сборника является помещенная в самом его начале пьеса М. Горького «Варвары».

Алексей Максимович пробежал глазами комплименты: «мастер диалога», «художник быта и резко очерченных типов», выделил суть, по которой выходило, что пьеса представляет всего лишь продолжение темы «Детей солнца», ее сюжет и идея шаблонны и бледны, герои — «самоновейшие интеллигенты» — уже порядочно приелись. Произведению недостает сочности, красок и жизни.

Нечто подобное Алексей Максимович слышал раньше и о «Дачниках» — «тяжело, бесформенно, длинно», «ни жизни, ни людей, сплошная хлесткая ругань, проповедь». Пьесу не поняли даже в Художественном театре, посчитали «оплевыванием» интеллигенции.

Владимир Иванович Немирович-Данченко написал автору огромное критическое письмо. А ведь и верно, пьеса была плевком, но в кого? — в забывчивых иванов из интеллигенции, в тех, кто перечеркнул свою святую обязанность — заботиться о чаяниях простого люда. Такое забвение сродни предательству.



На первом представлении «Дачников» в Драматическом театре Комиссаржевской собравшиеся в ложе Дягилев, Мережковский, Философов и другие деятели из «Мира искусства» пытались шиканьем и репликами сорвать спектакль, но были задавлены овацией: демократический зритель принял пьесу, понял, против кого она направлена. Когда после третьего акта Алексей Максимович вышел по вызову публики к рампе, то среди аплодисментов раздались громкие радующие возгласы: «Спасибо, товарищ!», «Долой мещанство!», «Ура!», а в адрес шикающих — «Пошляки, вон из театра!». Он видел в этом зале горящие глаза союзников и удаляющиеся фрачные спины «Мира искусства» во главе с маленькой умной бестией — Мережковским.

При этом воспоминании Алексей Максимович даже сейчас почувствовал жжение: будто из того прошлого упала ему на душу искра. Что ж, если либералы из «Вестника Европы» желают рассматривать «Варваров» как идейное продолжение «Дачников» или «Детей солнца», то пожалуй-ста — он заранее предвидел и даже желал вызвать у сытого и образованного самодовольства эти злобу, вой и грёхот. Вой вызовут не только «Варвары», но и целиком содержание 9-й книги «Знания». Взять хотя бы рассказ Серафимовича «Похоронный марш» — о солдатах, отказавшихся стрелять по революционной демонстрации.

Алексей Максимович, досматривая «Вестник Европы», обратил внимание на публикацию нового романа Герберта Уэллса «Киппс», отметил это место закладкой и закрыл оранжевую обложку журнала.

\*

...Вот ведь как бывает. Пока Алексей Максимович читал заметки, написанные его явными противниками, он испытывал острое чувство удовлетворенности — встреча со старыми знакомыми лицом к лицу! Огорчение поджидало его в последней пачке, в которой была собрана публицистика доброжелателей.

Эти авторы, негодуя по поводу ханжества буржуазной морали Америки, главным объектом критики избрали Марка Твена. В подборке оказалась даже брошюра, изданная спешно, способом электропечати, в Петербурге, — «По поводу Максима Горького и Марка Твена». В ней на шестнадцати страницах уместились две статьи: «Недоумение» и «Пустяк ли это?»

Алексей Максимович, пытая папиросой и разгоняя рукой дым, выхватывал глазами отдельные куски:

«...Мы не спрашиваем, откуда та буря негодования, которая по поводу Горького разразилась в Нью-Йорке на самых глазах статуи Свободы. Ни для кого уже не тайна, что эта свобода достаточно сомнительна... Нас интересует вопрос: каким образом во главе этой бури оказался сам Марк Твен?

...Может быть, Марк Твен происходит по прямой линии от аристократических предков?..

...Называя госпожу Андрееву своей женой во всеуслышание всей Америки, Горький тем самым выполнил первое необходимое условие гражданского брака, отсутствие которого из остальных условий так возмутило Марка Твена. Мы не смеем заподозрить его в том, что он придает такую важность простому акту записи, такому важному для всякого лавочника. Но если нет, то что его заставило встать во главе протеста? Страх перед «общественным мнением»? В таком случае мы очень благодарны Марку Твену, давшему России мощный повод гордиться своими писателями, которые всегда имели мужество быть в меньшинстве и никогда не трепались в хвосте «общественного мнения»...»

Алексей Максимович обратил внимание на подпись автора статьи — Людмила Шаргай, и не смог вспомнить, кто это. Возможно, псевдоним.

В таком же полемическом духе была написана и вторая статья, которая начиналась с вопроса «Где Горький?».

«Дикие нравы и обычаи сплошь и рядом упраздняют законы, — негодовал автор, скрывшийся под безымянным — «Мечтатель». — Лучший пример — Америка, о которой один из американских писателей говорил, что в ней существуют все свободы, но никто ими не пользуется.

Марк Твен поступил как трус, и во всей истории с Горьким единственно глубокое и необычно возмутительное — трусость Марка Твена...»

Алексей Максимович со вздохом отложил брошюру, снова взялся за газеты. Московское «Русское слово» извещало читателей в сенсационном духе: «Марк Твен и комитет по приему Горького отказались от заботы о нем. В настоящее время Горький покинул Нью-Йорк. Дальнейший маршрут его неизвестен»; «XX век», один из либеральных органов, появившийся на свет в дни революции, пространно доказывал, что «инцидента, подобного горьковскому, в России не



произошло бы, так как русская интеллигенция более перedoвая, чем американская, к тому же менее «капиталистична» и «буржуазна».

Читать рассуждения о «хорошей» русской интеллигенции было неприятно еще и потому, что в ее ряды газета, очевидно, записывала и Максима Горького. Но апогей либеральной критики Алексей Максимович обнаружил в номере «XX века» за 9 апреля, то есть 22-го по новому стилю.

### «Протест писателей

М. г. американцы оскорбили русского писателя Максима Горького и русскую женщину М. Ф. Андрееву, грубо вмешались в их интимную личную жизнь.

Мы, русские писатели, менее всего ожидали встретить такое попрание основных условий культурной жизни со стороны американских писателей, представителем которых является Марк Твен, и выражаем им по этому поводу свое глубокое негодование».

Ниже следовало двадцать шесть подписей, проставленных в большинстве по алфавиту, среди которых Алексей Максимович отмечал «знаньевцев» и просто хороших знакомых литераторов: Федор Сологуб, Иван Потапенко, Тан-Богораз, Мамин-Сибиряк, Чириков, Василий Немирович-Данченко...

Довольно случайное соседство. Если плодовитого брата режиссера Московского Художественного Алексей Максимович именовал Неистович-Вральченко за его ура-патриотические очерки с маньчжурских полей, то к Мамину-Сибиряку относился с почтением, как к писателю воистину русскому, интересному, сожалея, правда, о его скудно развитом социальном чувстве и о том, что человек он необщественный.

А Потапенко-то! На памятном первом представлении «Дачников» он кинул во всеуслышание, прямо в глаза Мережковскому: «Только в России возможна такая глупость — шикать человеку, каждое слово которого — правда», а теперь не понял, что «протест» — вопль обрадовавшейся скандалу либеральной тетки, не замечающей в своем глазу бревна.

Алексея Максимовича особенно раздражали бесчисленные упоминания имени Марка Твена, оскорбления в его адрес. Такая близорукая попытка превратить в козла отпущения крупнейшего демократического писателя — сродни убийству

его как друга русского революционного народа. Либеральное морализирование, стремление доказать наличие какой-то большей, чем в Америке, нравственной свободы в России только отвлекают от главного — от борьбы с «родной» российской реакцией.

Алексей Максимович, в котором закипало раздражение, прошелся по комнате, потирая грудь и стараясь кашлять как можно тише, чтобы не услышала Мария Федоровна, а когда в легких отпустило, снова уселся за стол с резными ножками, окованными бронзой в форме львиных лап.

Откинув и пригладив ладонями длинные густые волосы, спадавшие прядями на шею и на уши, Алексей Максимович потянулся за ручкой. Покрутил ее между пальцами и начал кидать оторванные друг от друга буквы:

«Уважаемый господин редактор!

Я прочитал в Вашей почтенной газете несколько писем, вызванных возмущением по поводу инцидента со мной в Нью-Йорке. Моя благодарность авторам писем за их прекрасные чувства — безгранична. Но они, мне кажется, слишком волнуются и чрезмерно резко формулируют свои мнения об американцах. Прежде всего — доза яда, выпитая здесь мною, не так велика, как это кажется тем, кто, видимо, мало пил его. Я ведь слишком хорошо иммунизирован всевозможными ядами в России для того, чтобы страдать от нескольких капель американского яда. Наконец, авторам писем должно быть известно, что во всех странах мещане — люди единственно праведные и что именно они всюду являются наиболее строгими жрецами морали. Мещанин невозможен без морали, как удавленник без петли».

Алексей Максимович, успокаиваясь, продолжал развивать мысль о сущности мещанства — эгоистичного душевного захолустья, российского, американского, чьего угодно.

«Не следует нападать также на почтенного Марка Твена. Это превосходный человек, но он стар, а старики очень неясно понимают значение фактов, чему печальным и ярким примером служит наш великий гений Л. Толстой».

Да, очень печальным примером. Когда после Петропавловки Алексей Максимович поселился с Марией Федоровной под Ригой, в Эдинбурге, то самым неприятным событием для него явилось выступление Льва Толстого «Об общественном движении в России». Статья предназначалась для иностранных газет, но ее подхватила и распространила



русская реакционная пресса. Еще бы! Писатель, к голосу которого прислушивался весь просвещенный мир, назвал деятельность русских революционеров неразумной и несвоевременной, доказывая, что в основе прогресса лежит религиозно-нравственное совершенствование.

Алексей Максимович увидел эту статью, вернее ее изложение из лондонской «Таймс», в «Русских ведомостях», уже на следующий день отправил в Петербург письмо для передачи его в печать и пересылки подлинника Льву Толстому в Ясную Поляну.

Максим Горький, отстаивая честь революционеров и их дело, писал Толстому, что заслуженное имя величайшего из современных художников слова не дает ему права быть несправедливым к людям, которые бескорыстно и искренне любят народ и работают для него не менее, чем он сам.

Еще тяжелей ему было бросить этому столь дорогому для него человеку упрек, даже не упрек, а жестокое обвинение:

«Вы уже не знаете, чем живут простые рабочие люди нашей родины, Вы не знаете их духовного мира, Вы не можете говорить о желании их — Вы утратили это право с той поры, когда перестали прислушиваться к голосу народа».

В письме Горький обращался к Толстому по титулу — «граф», этим сознательно подчеркивал родословную близость писателя к тем, кто не имел и никогда не будет иметь ничего общего с трудовым народом...

Алексей Максимович задержал уже отправленное письмо. Оно показалось ему слишком резким и, что хуже, невольно влилось бы в хор тех, кому любой повод лягнуть национального гения — идейное или спекулятивное благо. А ошибки гениев, считал он, — результат изувеченности самой нации ее историческим прошлым. Это прошлое нация непременно изживет, отторгнет, как струппя минувшей болезни.

Вот и Марк Твен. Что значит его сожаление об «ошибке» Максима Горького, привезшего в Америку невенчанную жену, по сравнению с заявлениями, сделанными для всей страны о России? Это ведь сказал он, а не Хилквит, не Уилшайр, не Каган, что «баррикады декабря 1905 года в Москве понятны американцам и что такие события нельзя оценить в долларах». Это ведь его слова: «Я слишком стар, чтобы быть сентиментальным, но достаточно молод, чтобы искренне желать помочь ей». Кому ей? Конечно, революции!

Алексей Максимович, машинально разминая в пепельни-

це потухшую папиросу, уставился в кипу газет, сверху которой лежал «XX век» с «Протестом». Воображение рассаживало в ряд его авторов — двадцать шесть знакомых русских литераторов, пристраивало к ним и двух неведомых — Людмилу Шаргай и «Мечтателя». Что еще написать им, любезным, но ничего в этой истории не понявшим людям?..

Обязательно о том, что он не намеревается угодить американскому обществу: «Угодливость, даже когда она является программой либеральной партии, не достигает цели — это факт, в котором скоро убедится вся Россия», — и о том, что за него вступились многие передовые американцы — профессора Гиддингс и Мартин, рабочий лидер Дебс, молодой писатель Скотт и другие...

Алексей Максимович снова сделал передышку, обдумывая заключительную фразу:

«Извиняюсь за эти дразги, отвлекающие внимание авторов письма от событий на родине и побудившие их направить энергию своих чувств за океан, а не куда-нибудь ближе. Например, в окрестности Петербурга, на набережную Невы. А впрочем — все на свете развивается по линии наименьшего сопротивления».

В конце концов — спасибо за внимание! Я всегда думал, что свободы духа в России больше, чем где-либо. Если бы к этому прибавить побольше энергии, мы, вероятно, быстро бы сделали то, что необходимо давно сделать и от чего так часто нас отвлекают в сторону мелочи и пустяки».

Поставил точку и сказал себе: «Впрочем, не совсем мелочи и пустяки в данном случае. Но возводить только публицистические плотины из опровержений, протестов — это способствовать превращению потока клеветы в застойный пруд с зыбким дном».

Он обязательно сделает в Америке свое дело. Он расширит круг друзей русской революции. Обязан!..

Равномерный стрекот пишущей машинки за стеной буд-то усилился, и в памяти телеграфно ложился текст обращения к литераторам Америки:

«Русское правительство века держало народ в цепях физического насилия, в темном плену предрассудков, веками развращало душу народа. Но жив народ и жива душа его! Народ восстал, испуганное правительство уступило требованиям его, он поверил обещаниям бесчестных, и они обманули народ. Они обещали ему свободу и дали тысячи смертей,



они обещали ему конституцию и создали гнусную пародию на нее. Русский народ наконец понял, что он ничего не получит, если сам не возьмет»...

### 3. СНОВА УИЛШАИР

Мелодичные звуки гонга позвали всех обитателей дома к обеду.

Алексей Максимович подумал, что в России такого рода приглашение он слышал у Репина, в его «Пенатах». У того столовая целиком была диковинкой: вращающийся стол для самообслуживания, вегетарианское меню, обязательность правил дома для всех и — трибуна в углу гостиной, с которой оштрафованный за нарушение этих правил был обязан расплачиваться артистическим, литературным или любым другим экспромтом.

Алексей Максимович неохотно отложил «Вестник Европы» с новым романом Герберта Уэллса «Киппс». Роман показался ему новым и для духа английского писателя и для его стиля. Со страниц, написанных неторопливо, со множеством деталей, заговорили англазированные арзамасы. В их крапивной духоте глохла судьба мальчишки, мечты которого были обрезаны границей прилавка мануфактурной лавки. Мальчик на побегушках, по словам автора, «захваченный зубцами бессмысленного лавочного колеса», — Алексею Максимовичу это очень знакомо, но почему к столь ординарной судьбе обратился прославленный фантаст? Не знал Максим Горький, что именно так, в мануфактурной лавке, начиналась юность самого Герберта Уэллса...

В дверях столовой Алексей Максимович столкнулся с Джоном Мартином. Джон, вероятно, только что появился дома, так как на лбу у него резко выделялась красная полоса от шляпы. У Алексея Максимовича заблуждала по лицу улыбка, сгоняя к вискам морщинки, шуря глаза. Джон Мартин с каждым днем нравился ему все более: неизменная ровность, отсутствие двуличия, убежденность в торжестве социалистического переустройства общества. Правда, когда они начинали разговаривать по вопросам политики, сразу возникали недоразумения, и не только из-за языкового, но и из-за мировоззренческого барьера. Как Мария Федоровна и Пристония ни старались, но даже общеизвестное — «социальная справедливость» и «ответственность правительства», «анархизм» — приобретало при переводе различный смысл. Вместо заботы о точности каждая начинала отстаивать свои взгляды. Пристония никак не могла четко представить себе

разницу между эсерами и социал-демократами, а в социал-демократической партии — между большевиками и меньшевиками. Марии Федоровне для пояснения надо было найти аналогии в американском рабочем движении, но с большевиками тут сравнивать некого.

— Скажи, меньшевики — это что-то вроде фабианцев, только еще вежливее, они из вежливости даже Маркса признают, — однажды посоветовал Алексей Максимович, досадуя, что Мартины никак не поймут разницу между революционным, то есть левым, и оппортунистическим, правым, крылом рабочего движения в России.

Супругам Мартинам было ясно, что Горький и его друзья — социалисты более радикального толка, чем, например, Хилквит, но им искренне хотелось понять их и помочь в выполнении задачи, с которой те прибыли в Соединенные Штаты. Мартинам было приятно общество русских, которое превратило их прежде довольно тихий дом в своеобразный клуб.

Алексей Максимович был прав, догадавшись, что хозяин только что появился в доме. Джон Мартин задержался в Обществе этической культуры, упрасивал Феликса Адлера организовать выступление Максима Горького, чтобы члены общества могли основательно познакомиться со взглядами русского писателя. Отказ был очень вежливым, но категорическим.

Другая неприятность оказалась серьезнее. Серию выездных митингов новый комитет Горького, которому присвоили официальное название «Друзья русского народа», рассчитывал начать с Бостона. Наметили дату — 2 мая, перенесли на 3-е, на 6-е, теперь вот снова отодвинули, уже на 16-е! Дело в том, что устроителям митинга, бостонским социалистам, никак не удавалось снять подходящее помещение. Владельцы общественных залов требовали от них особых гарантий на сохранение порядка при выступлении русского писателя. Не было ясности с датой митинга и в Чикаго. В качестве обобщающего разъяснения можно было признать одну из статей «Трибюн», в которой писалось, что Максим Горький мог бы рассчитывать на поддержку, принадлежи он к числу «тех русских, которые законными и мирными путями пытаются либерализовать институты империи». Другая чикагская газета, «Геральд», была откровеннее, предупреждала, что Максиму Горькому в их городе придется испытать на себе «пример силы общественного мнения в Соединенных Штатах, которое превышает силу царей».



Джон Мартин, сообщив об этих новостях, удивился равнодушию, с которым Горький их принял, отнес это к затяжной форме передачи разговора через двух переводчиц — своеобразный словесный буфер, смягчавший неприятную суть.

Но у него имелась в запасе и хорошая весть. Когда в столовой собрались все: Мария Федоровна, Пристония и Буренин, — он громко сказал, что договорился нью-йоркский митинг провести в Карнеги-холл. В заключение воскликнул:

— В нем выступал сам Чайковский!

И вот теперь-то совсем неожиданно Максим Горький вспылил:

— Позвольте, почему «сам Чайковский»? И почему я должен радоваться тому, что этот фонтан пустопорожнего красноречия бил со сцены, которая ныне предлагается мне? Если американцам нравятся искать в словесном пару миражи революционности...

Пристония Мартин переводила взгляд то на Горького, то на Марию Федоровну, пытавшуюся что-то сказать мужу. Но Алексей Максимович не обращал внимания на ее знаки.

— Черт возьми, не видеть, что это уже отработанный пар, дистиллированная вода!

Лицо Джона Мартина, когда он наконец понял причину гнева писателя, просветлело.

— Но я говорю совсем о другом Чайковском, — сказал он еще громче. — О нашем знаменитом композиторе!

— Ну конечно, — подтвердила Пристония и добавила, что она хорошо помнит приезд Чайковского в Нью-Йорк.

Алексей Максимович смущенно развел руками.

— Я тогда едва уговорила отца достать билет на музыкальный фестиваль, который открывался в новом Карнеги-холл, — тараторила Пристония. — Боже мой, это было уже пятнадцать лет назад! Да, да, в начале мая 1891 года. Чайковский дирижировал своим знаменитым Первым концертом. Исполняла немецкая пианистка Адель дер-э Аус.

— Она несколько суха, — заметил Буренин, который что-то чиркал карандашом на листе нотной бумаги.

— О! Такого музыкального торжества я больше не наблюдала. Даже самого Эндрю Карнеги проняло, его не унавали. Обычно сдержанный, он не отходил от Чайковского. Кстати, знаете, Карнеги ведь русофил, бывал и в Москве, собирался русский хор оттуда привезти.

— Я вынужден извиниться перед памятью Петра Ильи-

ча, — смог наконец вставить Алексей Максимович. — К меченату, правда, особых чувств в себе возбудить не могу. У нас богачи перед смертью, чтобы спасти душу, строят церкви. Построить концертный зал — безусловно умнее.

— Чайковский выглядел намного старше своего возраста, — продолжала Пристония. — Совсем сед и лысоват. Когда в зале узнали, что ему чуть за пятьдесят, поразились.

— Особенно дамы, — заметил Джон Мартин.

— Разумеется, дамы в первую очередь, — подтвердила Пристония. — Я сама вместе с другими ждала Чайковского у выхода, но он сел в карету и уехал, можно сказать, скрылся.

Недоразумение с однофамильцами было исчерпано. Окончательно же поднял настроение приход Зиновия. Он появился в столовой последним и, прислонившись к косяку распахнутой двери, позируя, замер как в раме. Борода у него была сбрита, вместо копны волнистых волос на голове лежала туго заглаженная с помощью лака сияющая прическа на косой пробор. На носу, закрывая пол-лица, торчали огромные очки в черепаховой оправе.

Алексей Максимович, обрадовавшийся поводу изменить разговор, спросил:

— Где же, любезнейший, оставили свои кудри? Что это за жирный черный лишай на вашей голове вместо радовавшего растительного естества? А эти выскoblенные щеки — не свидетельство ли американизирования некоего молодца с Волги? Такого даже в Арзамасе не приняли бы за заговорщика.

Пока Алексей Максимович говорил, Зиновий ежесекундно менял позы: становился вполуборот, подбоченивался, скрещивал на груди руки, закладывал ногу за ногу, словом, дурчился.

— Волосатость являлась выражением невежества и нелояльности лишь в петровские времена, — возразил он. — Кстати, вы не заметили, мой учитель, что диалог с вашей стороны напоминал разговор Матвея с Дымой? Услышь Владимир Галактионович, он бы мог кое-кого обвинить в плагиате.

— Вери велл, вери велл! — ответил Алексей Максимович.

— Что пристал к мальчику? — вступилась Мария Федоровна. — Вот и хорошо, что сбрил бороду. Я сама подарила ему безопасную бритву.



Мария Федоровна подошла к Зиновию и, поглаживая его по щеке, пропела по-немецки на манер причитания:

Не ходи по переулку,  
Где те очи квартируют:  
Хоть шадят тебя их взоры,  
Но они восторжествуют.

Мария Федоровна начала было повторять французской прозой эту строку из Гейне — она подшучивала над привязанностью Зиновия к молоденькой учительнице, знакомой Мартинов, — но ее остановил стонущий выдох хозяйки дома: — Майн гот, майн гот! Вы знаете немецкий и молчали! — стонала Пристония и вдруг затараторила: — Это же мой родной язык! При жизни отца мы говорили только на немецком.

— В доме моих родственников по матери, у которых я подолгу жила, — тоже. Они — немцы из Риги.

— Как хорошо, как хорошо! — радовалась Пристония. — Теперь мы сможем прекрасно понимать друг друга.

Из-за приятного открытия обед несколько задержался. Тем более что стол накрывать приходилось самим: прислуга отпускаясь под воскресенье. Это в доме Мартинов было правилом. Мария Федоровна такие дни даже любила, так как могла выбирать еду по вкусу — сытнее или солонее. В американском меню, казалось ей, слишком много сладкого. Даже салат — из фруктов.

— Я после чтения «Джунглей» долго не могла есть мясо, — пожаловалась Пристония, передавая Марии Федоровне холодный ростбиф, следом — гарнир, нарезанную дольками морковь и строганный хрен.

Речь зашла о последнем романе молодого писателя Эптона Синклера, посвященном трагической судьбе семьи иммигрантов из России — жертве чикагского «мясного города». О книге говорили и в общежитии литераторов на 5-й авеню. Алексей Максимович запомнил оценку Лероя Скотта: «Хозяева боен — людоеды. То, что они предлагают в виде сосисок и груденок, включает приправу из костей и мускулов рабочих».

— От чикагского мяса после выхода романа отказались даже многие магазины: покупатели бойкотировали, — заметил Джон Мартин.

Зиновий оторвался от тарелки, поправил очки и добавил: — Выражая этим в первую очередь, конечно, протест

эксплуатации, а уж затем — естественную брезгливость. Американцы исключительно чтят гигиену и выдержку. Мой патрон, узнав, что я его покидаю, даже не проронил слезинки. А ведь такая потеря для журнала.

Алексею Максимовичу была понятна некоторая взвинченность крестника: он брал его с собой в поездку и поэтому предложил уйти от Уилшайра. Паренек, живой, улыбчивый, вносил дух бодрости, непосредственности. Алексей Максимович относился к нему с ласковой снисходительностью, Мария Федоровна — даже с нежностью...

— Мой земляк, прекрасный писатель Короленко, о котором вы слышали от сего отрока, — Алексей Максимович кивнул на Зиновия, — рассказывал, что во время Чикагской всемирной выставки он тоже посетил бойни, а после целую неделю не мог смотреть на мясо.

Вмешался Джон Мартин:

— Синклера пытались даже привлечь к суду за клевету. Но тут как раз произошло несколько случаев массового отравления консервами в американской армии, и Конгресс был вынужден заняться выработкой закона о доброкачественности продукции.

— Американские «бифы» с головой коровы на красной этикетке хорошо знакомы и желудкам русских военных, — подтвердил Буренин. — В русско-японскую войну на маньчжурский фронт была доставлена огромная партия залежалых консервов. От них отказались и офицеры и солдаты.

— Да, да! Синклер пополнил общество вегетарианцев. — Пристония обратилась к супругу: — Но я в их число, не надейся, не войду, хотя твой любимый Бернард Шоу готов все человечество перевести на лошадиный корм.

— Надо есть коренья и траву, — возразил Джон Мартин, поглядывая с ухмылкой на жену. — И не есть ни мясо, ни рыбу — это закон.

— Не лакать языком, — ответила Пристония с гримасой, кивая на бокал с красным вином, который Джон подносил ко рту. — И не ходить на четвереньках — это закон. Разве мы не люди?

За столом рассмеялись — поняли, что супруги разыгрывают сцену из знаменитого уэллсовского «Доктора Моро».

Алексей Максимович подумал, что в этом доме так часто произносят «Герберт Уэллс», как будто он тут присутствует.

— Кстати, яблочные пироги — вовсе не национальное



американское блюдо, как некоторые считают. — Пристония, отрезав большой кусок, подала его Марии Федоровне, пояснила: — Яблочный пирог привезли в Америку мы — немцы с Рейна. Здесь только придумали есть его с молоком. Чаще, Маруся, обращайтесь к этому обычаю. Разве так полагается выглядеть молодой женщине? — Пристония нажала пальцами на свои пухлые щеки, ввалив их.

Мария Федоровна благодарно наклонила голову. «Не так уж и молода», — подумала она. Ее несколько смущала материнская форма обращения Пристонии, которая была старше ее всего на семь лет. Обманчивая моложавость! Давеча, поглаживая щеку Зиновия, она невольно представила на его месте своего Юрия. Ему уже восемнадцать! Как живет, как учится, как здоровье?..

— Пристония Ивановна! — очень громко обратился Зиновий к миссис Мартин.

На странное обращение обернулись все.

— Разрешите называть вас так, по-русски? — Зиновий лучезарно улыбнулся, специально для хозяйки. — Ваш отец носил имя Джон, то есть, по-нашему, Иван, — взялся он пояснить образование русской формы «имя-отчество».

— Ну конечно! — Пристония захлопала в ладоши и попробовала сквозь смех выговорить «Пристония Ифановна». Ей нравилось звучание русского языка, научилась понимать «спасибо», «прошу», «до свидания» и даже «черт возьми», произносимое в минуту досады Горьким.

— Пристония Ифановна, — попытался повторить и Джон Мартин. — Гм, моего отца тоже звали Джон. Означает ли это, что я Джон Ифановна?

Русские рассмеялись, веселее всех — Зиновий. Он взялся учить:

— Иван Иванович, Иван Иванович...

Упражнение, которое продельвали хором, прервал стук молотка в парадную дверь. Деревянный молоток, как и бронзовая пластинка с изречением «отца медицины», тоже представлял собой домашний анахронизм, оставшийся от старого доктора Джона Пристона.

Хозяева недоуменно, даже недовольно переглянулись.

Алексей Максимович снова подумал о сходстве с «Пенатами». Репин не терпел, когда к обеду являлись незваные гости. В его доме висело не совсем этичное объявление, предупреждающее, что к обеду остаются только приглашенные.

Неожиданным гостем оказался Гейлорд Уилшайр.

Поездка на Стейтен-Айленд была неожиданной и для самого издателя. Встревожило его, в сущности, незначительное обстоятельство — уход Зиновия Пешкова. Во-первых, неприятно, когда в тебе перестают нуждаться сотрудники, а не ты в них, а во-вторых, это походило на сигнал, что в нем перестает нуждаться и сам Максим Горький. Последнее уже наносило ущерб Уилшайру как социалистическому деятелю, могло отразиться и на тираже «Уилшайрс мэгэзин».

С историей Максима Горького связывал он и безразличие, проявленное к нему Гербертом Уэллсом, который после приема более уж не заходил, не обращался ни с какой просьбой, если не считать телефонной справки об исчезнувшем Максиме Горьком.

Уилшайр считал, что нашел хороший повод для визита — выход майского номера «Уилшайрс мэгэзин», где напечатана его статья об усиленном проникновении социалистического мировоззрения в художественную литературу. Список гениальных писателей-социалистов он начал с Максима Горького, поставив за ним Толстого, Золя, Лондона, Синклера.

Появившись у Мартинов, Уилшайр немедленно почувствовал, что удивление хозяев и их гостей смешано с прохладцей.

— О, мистер Уилшайр! — преувеличенно обрадовалась Пристония, взмахнув широкими рукавами белой кофты, украшенной красным галстуком. — Мы только что говорили о вашем знакомом, о Синклере, и его «Джунглях». Я прочла роман единым духом, однако заметила, что автор нашел в нем место и для вас. Или я ошибаюсь?

— Да?! — не то удивился, не то подтвердил издатель, понимая, что хозяйка, исполняя свой долг, спешит к нему на помощь.

— Если угодно, я докажу, — обратилась Пристония уже ко всем.

Никто, конечно, не стал возражать. Пока переходили в гостиную, Пристония успела принести книгу.

— Пожалуйста, пожалуйста, — говорила она, отыскивая нужную страницу. — Вот, послушайте о социалистах, которые помогли герою книги определить путь: «Среди них был человек, которого называли «миллионером-социалистом». Он нажил состояние и истратил почти все свои деньги на выпуск



журнала, издание которого из-за притеснений почтового управления пришлось перенести в Канаду. Это был флегматичный человек, меньше всего похожий на социалистического агитатора...»

— Довольно, — попросил Уилшайр, забирая книгу. Он не раз читал эти строки, посвященные действительно ему. С каждым разом они нравились ему все меньше: не так уж приятно слышать о флегматичности. И сам знает, что сух, не умеет держать «нараспашку» не только душу, но и рот, предпочитая речам статьи. Да, ему не хватает темперамента и обаяния. Уилшайр — не трибун! Не Юджин Дебс, которого тот же Синклер именует знаменосцем. Уилшайр не kinetic призыва: «Восстаньте, рабы!», как сделал Дебс после ареста Хейвуда и Мойера, не пригрозит властям, что если попробуют расправиться с арестованными, то «миллион революционеров выступит против них с оружием в руках», не рискнет дать совет губернаторам штатов Айдахо и Колорадо готовиться на тот свет... И это не пустые слова! Еще на памяти всех «восстание Дебса» — Пульмановская стачка под Чикаго: армия в полтораста тысяч забастовщиков на два месяца парализовала движение на железных дорогах страны... Он, Уилшайр, и сам однажды поддался обаянию и напору Дебса: в ноябре 1899-го согласился финансировать его пропагандистскую поездку на Дальний Запад. В Лос-Анджелесе заслушался выступлением этого агитатора о грядущем братстве...

Да, Дебс — трибун! Еженедельник «Призыв к разуму» с его статьями рабочие ждут как выброс красного флага. И только подумать, полуцентовая газетка в четыре страницы, выходящая в канзасской глуши, в Джирарде, получила такой вес?! Говорят, в ее активе тридцать тысяч корреспондентов. А «Уилшайрс мэгэзин» приходится порой чуть ли не наполовину заполнять самому редактору... «Глухой Джирард!» А ведь в этом городе еще в 1901 году были изданы рассказы Горького — «Челкаш», «Двадцать шесть и одна»... И по цене, рассчитанной на рабочих, — по двадцать центов за книжку. Сразу раскупили!..

В Джирарде Дебс напечатал и свой памфлет о Максиме Горьком, заявив, что писателя преследуют не из-за истории с женой, а из-за его телеграммы Хейвуду и Мойеру.

Уилшайру казалось, что американское социалистическое и профсоюзное движение слишком уж восторженными глазами смотрит на русскую революцию, ищет в ней образец

решительности действий. Организация «Индустриальные рабочие мира» — ИРМ объявила себя по примеру русских производственных профсоюзов классовой организацией, не имеющей ничего общего с предпринимателями, то есть и с ним, с Уилшайром. И, уточняя позиции, добавила, что она добивается в Америке того, чего в России — Максим Горький.

В глубине души Уилшайр испытывал сомнение в целесообразности собственной политической акции — публикации в «Уилшайрс мэгэзин» призыва к забастовке в защиту Хэйвуда и Мойера, а также горьковской телеграммы. Это могло серьезно отразиться на его взаимоотношениях с умеренными лидерами, хотя бы с влиятельным председателем Объединенного профсоюза горняков Джоном Митчелом. Основания для такого заключения имелись. 14 апреля, то есть в день появления в газетах телеграммы Горького, «Америкэн» сообщила о скорой встрече русского писателя с Джоном Митчелом. Естественно, что писатель рассчитывал найти с руководителем профсоюза общий язык и ожидал содействия в организации сбора средств в фонд русской революции. И вдруг Митчел, сославшись на безотлагательные дела, не указывая, на какие именно, отказался от намеченного свидания и даже не предложил нового срока...

Дело в том, что этот профсоюзный босс не разделял радикализма руководителей Западной федерации горняков и проявление солидарности с ними воспринял как покушение на свой авторитет. Он открыто проповедовал «бракосочетание труда и капитала», стремился доказать, что вражда между трудом и капиталом не является неизбежностью, скорее, наоборот, их интересы совпадают в главном: один не может существовать без другого.

Поговаривали, что влиятельность Митчела в промышленных кругах объяснялась его умением улаживать трудовые конфликты с минимальными потерями для компаний. Более того, его прямо обвиняли в срыве забастовки в Колорадо: отдал приказ горнякам — членам Объединенного профсоюза выходить на работу, то есть разбил единство бастующих.

И Самуэль Гомперс, глава АФТ, пригласил в свою вашингтонскую резиденцию не Максима Горького, а Николая Чайковского! После беседы даже вручил этому русскому социалисту официальное письмо, обязывающее местные профсоюзные организации проявлять к нему особое внимание.

Вот и выходило, не то он, Уилшайр, плыл по течению, не то сознательно наживал себе врагов. И что вовсе стран-



но, с выходом в свет переписки Горького с узниками тюрьмы в Бойси появилось отчуждение между ним и писателем. Правда, можно найти удобное, успокаивающее объяснение — сплетня! Собственными ушами слышал в клубе «Х» реплику, будто бы идея отправки телеграммы в тюрьму принадлежала Уилшайру, хотя в действительности он всего лишь помог отредактировать текст перевода на английский. Каждое слово согласовывалось через Марию Андрееву — об этом сам ее просил во избежание недоразумений, прежде чем появилась подпись «М. Горький».

Вот почему, когда разнесся слух об активной роли редактора «Уилшайрс мэгэзин» в организации горьковской телеграммы, он отправил в нью-йоркские «Джорнэл» и «Экспресс» письма, в которых пояснил, что его личное участие в переписке Максима Горького с руководителями забастовки горняков ограничивалось чисто технической стороной.

Заявление появилось в печати, однако никем из русских о нем не было сказано и единого слова — как будто не заметили. Вполне возможно, что Горький оценил его как отступничество...

Такие-то нерадостные мысли вызвала у Генри Уилшайра случайно вычитанная о нём цитата из «Джунглей». Закрыв с хлопком книгу, он тоже резко, как будто перевернул лист в самом себе, сказал:

— Надо быть спокойнее: истинная убежденность сочетается с выдержкой. — И без перехода обратился к Максиму Горькому: — Когда вас встречали, Синклер тоже находился в порту.

— Обидно, что не познакомились, — пожалел Алексей Максимович. — Было бы приятно поговорить с таким отважным человеком.

— Да, он воистину отважный, — подтвердил Уилшайр. — Все деньги, что получил за «Джунгли», вложил в аренду поместья в штате Нью-Джерси — большое трехэтажное здание и при нем девять с половиной акров земли. Он там организует что-то вроде писательской колонии на кооперативных началах, уже и назвал — Геллион-холл. Жить можно с детьми, плата минимальная и все условия для работы: тишина, Гудзон в полумиле, свежие продукты... Уэллс разговаривал с Синклером и одобрил это начинание.

— Да, жалею, что мы не встретились, — повторил Максим Горький.

— Впрочем, Синклер мог не подойти к вам еще и по-

тому, что плохо знает французский, — предположил Уилшайр. — Говорить не может, только читает. А беседа велась на французском.

— Миссис Горькая прекрасно говорит и по-немецки! — Пристония принялась рассказывать, как узнали об этом.

— Да?! — Уилшайр нашел нужным улыбнуться, ноздри его острого носа раздулись вроде бы от едва сдерживаемого смеха. Ответил он весело, в тон хозяйке, и тоже по-немецки: — В юности я учился в Цинциннати. В этом городе некоторые улицы словно целиком перенесены из Гамбурга. Даже городской канал называется Рейнским.

Веселость издателя не затронула Марию Федоровну. Уилшайр стал ей антипатичен не только недальновидным поселением Горького в так называемом «фэмили-отель», но и практической безучастностью в горьковских делах, двусмысленным отношением к телеграмме Хейвуду и Мойеру.

— ...Мне искренне хочется поздравить вас с замечательной статьей о Сан-Франциско, — услышала она новое обращение Уилшайра к Алексею Максимовичу, вынужденная прервать свои раздумья, начала переводить: — Но мне кажется, что в прессе царствует некое однообразие, которое я бы назвал ужасоманией. Подсчитывают только разрушение и скорбь. В этой катастрофе имеется и положительное: теперь можно город перестроить по современному плану, снести трущобы. То есть землетрясение обещает людям много работы!

— В первую очередь гробовщикам и могильщикам, — хмуро возразил Алексей Максимович. Разговаривая, он громоздил в большой бронзовой пепельнице в забавные кучки гильзы, спички, бумажки и поджигал их одну за другой, имитируя костры.

Уилшайр решил подойти с другой стороны:

— У моего друга Джека Лондона, — он секунду помедлил, — из-за этого землетрясения нарушился план морского путешествия. На злосчастное восемнадцатое апреля, на утро, он назначил закладку яхты в порту Сан-Франциско... Все сгорело вместе со стапелями — и строительные материалы, и снасти...

Уилшайр после такого вступления ожидал восклицания: «Да неужели?!», «Как жаль!» — или чего-либо подобного. Тогда бы он мог сказать, что Джек Лондон посвятил его в план путешествия еще в январе, во время приезда в Нью-



Йорк для чтения лекций. Но никаких знаков повышенного внимания не последовало, поэтому он решил и далее «играть на повышение».

— Джек хотел, чтобы в финансировании его путешествия принимали участие газеты и журналы, но особо желающих не видно. Точь-в-точь как получилось с ныне знаменитыми «Людьми бездны». Один лишь «Уилшайрс мэгэзин» рискнул поместить эту вещь об ужасах лондонского Ист-Энда со смелым политическим выводом: «Цивилизованное общество должно быть перестроено и отдано в руки надежного управления».

— Страшная в своем обличии книга, — подтвердил Джон Мартин. — Но скрупулезно правдивая... Когда-то в молодости по поручению фабианского общества я готовил доклад об Ист-Энде. Для исследования выбрал три квартала — Бетналь-грин, Спиталфилдз и Уайтчэпль, о последнем упоминает Джек Лондон. Они не самые ужасные в «Бездне», а обычные, где ютится трудовой люд. Что же я обнаружил с первого взгляда? Работу без нормы, жизнь впроголодь и невероятную скученность. Если в среднем по городу на каждом квадратном акре проживает пятьдесят семь человек, то в Спиталфилдзе — по триста пятьдесят!

Джон Мартин, убедившись, что цифра произвела впечатление, продолжил:

— Мне хотелось быть объективным. Поэтому я посещал не только потогонные портновские мастерские — кстати сказать, лондонские и нью-йоркские швейники спорят, кто первым внедрил эту истязующую нервы систему труда, — но и благотворительные столовые. Побывал и в благотворительной читальне, где бездомные дремали над «Оливером Твистом», ничуть не ужасаясь образом злодея Феджина, учителя воровского искусства. Я прошел по этим обездоленным кварталам, как по Дантовым кругам, повидал иллюстрации пострашнее, чем у Гюстава Доре. Его представления об аде — это муки одиночек, наказанных богом за личные грехи. Тут же — даже младенцы, только что увидевшие солнечный свет, уже наказаны за грехи нашего эгоистично устроенного общества!

Пристотния Мартин, которой показалось, что супруг несколько затянул свои комментарии, нашла повод, чтобы обратиться к Максиму Горькому:

— Джек Лондон — ваш единомышленник: вы описали русское «дно», а он английскую «бездну». Политическое

единодушие с вами он продемонстрировал и в статье о «Фоме Гордееве».

Миссис Мартин могла бы усилить довод, знай она, что и русская критика заметила общее в произведениях Лондона и Горького. Скорее всего из-за желания подчеркнуть это идейное сходство первый русский перевод очерков «Люди бездны» вышел даже под горьковским заглавием — «На дне»!

— Джек утверждает, что Максим Горький принял с плеч Тургенева и Толстого почетную мантию и носит ее с истинным величием, — попытался перехватить инициативу Уилшайр.

Алексей Максимович охладил собеседников:

— Не так! Придется ждать сто лет, а возможно, и больше — до следующего Толстого... «Фому» нью-йоркского издания, помню, прислали мне в Крым. Как перевели книгу, судить не берусь, но, надеюсь, не так, как иллюстрировали: вместо купца — растрепанный клерк, чревоугодника и драчуна дьякона превратили в лысого иссохшего патера. И уж вовсе непонятно к чему вставили в книгу репродукцию репинских «Бурлаков».

Выход летом 1901 года в Нью-Йорке «Фомы Гордеева» означал признание Америкой творчества Максима Горького. Издательская фирма «Скрибнер и сыновья» запросила у автора разрешение на публикацию и других его произведений.

Уилшайр кашлянул, решил все-таки продолжить о Джеке Лондоне:

— Сейчас Джек пишет политический роман «Железная пята». Я уже дал объявление в «Уилшайрс мэгэзин». Тоже первыми опубликуем.

— Говорят, вы чрезвычайно мало платите авторам, — вставил Джон Мартин. — А Лондон не так богат.

— Разве не знаете, что у Джека правило — в социалистических изданиях публиковаться вообще без гонорара.

Уилшайр остался доволен своей фразой: не ответил на вопрос и кинул упрек Максиму Горькому, пока что ничего не предложившему в «Уилшайрс мэгэзин». Тем неожиданнее и, как ему показалось, назойливо прозвучало снова со стороны Джона Мартина:

— Вы дока, мистер Уилшайр, по финансовым делам. Как вы смотрите на возможность займа Комитету Горького?

— И в сумме?..

— Пятьдесят тысяч долларов.



— И под обеспечение?

— Под расписку самого Максима Горького, который обязуется покрыть основную часть займа вместе с процентами уже к осени.

Обмен вопросами и ответами был столь стремителен, что Пристония в переводе объединила их в одну фразу. Но Алексей Максимович попросил быть поточнее: ему очень хотелось верить в реальность займа. Он и Красину написал, что надеется скоро направить для партии крупный денежный перевод.

— Попробуйте обратиться к нью-йоркскому банкиру Джорджу Фостеру Пибоди или... — Уилшайр перебирал имена известных ему богатых либералов, членов старого общества «Друзей русской свободы», но уже про себя решил, что Максим Горький так панически перепугал всех телеграммой Хейвуду и выступлениями, что никто из имущих не поставит под его расписку и цента.

Конечно, Джон Мартин, начав этот разговор, рассчитывал и на него, Уилшайра, но именно сейчас он не мог расстаться с наличными: дела шли не столь хорошо. Тревожили участвовавшая лихорадка на бирже, повышенный сброс акций — предвестники экономической бури, из которой не каждому выплыть.

— Настают трудные времена, — сказал Уилшайр. — Заем сделать очень не просто. Мне нынешняя ситуация напоминает 1896-й, когда погоня за наличными напоминала сан-францисскую панику. Буря может начаться с пустяка. В милом моему сердцу Цинциннати она началась — с чего, думаете? — с драки двух кэбменов. Судьбе было угодно, чтобы их экипажи столкнулись возле банка. Одна из лошадей вышибла дышлом раму окна. Директор приказал немедленно отремонтировать и временно не производить операции. Зевакам это показалось подозрительным. По городу за какие-то полчаса разнесся слух, что банк приостановил платежи. И сразу подвалила толпа вкладчиков, началось изъятие наличности. К вечеру банк был опустошен...

Уилшайр пытался рассказывать весело, но история с дракой кэбменов ни у кого не вызвала улыбки. Стало понятно, что в деле с займом Максиму Горькому он участвовать не желает.

— У комитета существует другой путь, — Уилшайр не собиравшись и намеком обнаружить, что он тоже понимает хозяев и русских гостей. — Сейчас благоприятный момент: в

Петербурге начинает работать парламент — Дума. Какое бы надежное демократическое правительство ни встало на место нынешнего, прогоревшего в политическом и военном отношении, американцы откроют ему кредит. Почему бы Максиму Горькому не попробовать проявить себя в качестве посредника между этим будущим правительством и Америкой? То есть предложить что-то деловое с точки зрения финансовых кругов. Это может быть, к примеру, проектом договора о совместной эксплуатации недр Северной Сибири или Приморья. В глазах бизнеса такое может показаться выгодной перспективной сделкой с русским радикальным движением. Пусть рискованной, но риск — это норма бизнеса.

Джон Мартин, пока Уилшайр развивал свое предложение, с тревогой ждал, что с минуты на минуту произойдет неприятное объяснение, как было из-за путаницы с Чайковским. Но Максим Горький, наоборот, повеселел:

— Вот это деловые люди «свободной Америки»! Заранее готовы закупить у революции Сибирь. Ай да сукины дети, ай да пройдохи!

— ...Как вы оцениваете американский проект железной дороги Аляска — Сибирь? — продолжал Уилшайр, не ведая о горьковской характеристике «сукины дети» и «пройдохи», так как эти слова Мария Федоровна при переводе опустила. — Особое совещание под председательством Витте, кажется, доброжелательно отнеслось к нему.

— Отдать железную дорогу через Восточную Сибирь под контроль иностранному капиталу означает открыть перспективу превращения этой части страны в полуколонию, по меньшей мере — в средство для грабежа чужих богатств...

— Не будем строить пирамиды на песке. — Джон Мартин решил, что его предложение о займе отвергнуто.

Уилшайр усмехнулся, возразил:

— Мистер Мартин — превосходный историк, но плохой геолог: пески на севере Африки — наносные. Так что пирамиды возведены на скальном основании, как на граните Манхаттана — Уолл-стрит...

— ...Тянувший руки через Берингов пролив и через Китай к богатствам Сибири, — добавил Алексей Максимович. И вдруг заговорил совсем другим, холодным тоном: — Деловой Америке не следует рассчитывать на Думу, гнуснейшую пародию на народное представительство. Она будет сметена вооруженными массами! Но русскому народу нужна



помощь — сейчас, немедленно. Он сумеет отблагодарить за нее...

Джон Мартин глубоко вздохнул, пожевал губами, что у него всегда означало — сейчас скажет что-то нелицеприятное по отношению к присутствующим.

— Мистер Горький, к сожалению, не знает, что благодарность — не тот товар, который котируется на нью-йоркской бирже, — резко произнес он. — В политике, в науке, даже в социализме американцы руководствуются выжидательной «dollar diplomacy». Тут бы Фабий Кунктатор оказался самой высоконравственной личностью.

Уилшайр вперился взглядом в Мартина: для фабианца фраза невероятная! Он связал ее с экстравагантным красным галстуком на кофте Пристонии. Супруги Мартин в последнее время явно полевели.

— Вы спешите с вооруженной революцией. Надо ли так? — спросил издатель Максима Горького. — Джек Лондон обещает победу социализма в Америке только в двухтысячном году.

— Возможно, — ответил Алексей Максимович. — У американских рабочих, видимо, пока еще не хватает того, чего у их русских собратьев с избытком, — клокочущей ненависти к угнетателям.

— Организованной ненависти! — энергично подтвердил Уилшайр, как будто хлопнул сам себя по лбу. Фраза вырвалась машинально — как продолжение кем-то сказанного в Чикаго на первом съезде индустриальных рабочих мира: «Солнце социалистической республики поднимется сначала над горизонтом славянской страны».

Никто не хотел поддерживать угасающий разговор. Все присели, как это бывает перед отъездом, можно подумать, ждали, когда же отбывающий, то есть Уилшайр, поднимется и тем подаст знак, что исчезает. Буренин по-прежнему водил карандашом по бумаге. Пристония устроилась возле шахматного столика. Зиновий незаметно вышел: все еще испытывал робость или неловкость перед бывшим хозяином.

Мария Федоровна листала «Уилшайрс мэгэзин». На последней странице за списком книг, выпущенных «Уилшайр бук компани», — по социализму, анархизму, экономике и антисоциализму, как сообщалось читателям, выделялась красочная реклама — приобретать акции золотопромышленной «Бритиш Гвиана голд компани» с обещанием дивиденда по

двадцать пять долларов на каждый доллар, вложенный в дело.

«Не социалистический журнал, а какое-то жульничество, — подумала Мария Федоровна. — Циник, нажил миллион, дурача поочередно и социалистов и их противников».

— Опаздываю на паром, извините, — спохватился Уилшайр и встал.

Доброжелательнее всех с ним попрощался Буренин, так показалось Уилшайру. Этот молчаливый человек все время что-то писал на нотном листе. Уилшайр подумал, что, возможно, он стенографировал для истории его беседу с Максимом Горьким. Такая предусмотрительность еще более настроила его в пользу секретаря Горького.

После ухода издателя Мария Федоровна завладела «стенограммой», оставленной Бурениным на рояле.

— Николай Евгеньевич, так нельзя!

— То есть?

— Зачем это? — Мария Федоровна показала на разкиданные по бумаге профили лица Максима Горького — смеющегося, хмурого, негодующего, сосредоточенного...

— Почему бы экс-студенту Академии художеств и не запечатлеть?

— Такая небрежная графика неуважительна по отношению к Алексею Максимовичу!

Буренин оторвался от рисунков и с изумлением взглянул на Марию Федоровну, в голосе которой почувствовал слезы. Он пожал плечами, отошел к окну.

Начался дождь — мелкий, едва различимый. На яблоне, росшей напротив окна, вдруг засиял ранее невидимый многогранный паутинный, распухший от облепивших его капель. В серебристо-серую каплю превратился и владелец воздушной сети, притулившийся в одном из ее уголков.

...Джон Мартин незаметно передвигался к шахматному столику, над которым склонилась жена.

— Прошу, Пристония Ифановна. — Он двинул коня через пешки.

— А, спасибо, Ифан Ифанович.

Супруги обменялись улыбками — им определенно понравилась русская форма обращения, в которой содержится память об отце.



# 1. КОГДА РЕКИ СЛИВАЮТСЯ

«Утюг» — трехгранный небоскреб на углу Бродвея и 23-й, обращенный углом к площади

Мэдисон-сквер-гарден, делил своим выдвинутым и лишь слегка закругленным острием людской поток на две главные струи — предвечернюю самодовольную толпу, фланирующую по «Млечному Пути», и одетую попроще, направляющуюся в сторону Нижнего Манхэттана, в его северо-восточную часть, в Ист-Сайд.

Это место — одно из самых оживленных, здесь скрещиваются линии трамваев, надземной железной дороги и метро. Однако вывешенная на «Утюге» реклама, инкрустированная цветными электроогнями карта Нью-Йорка, зазывала на трех языках — английском, французском и немецком — пользоваться для знакомства с городом и его окрестностями только автотранспортом: скорость, удобство.

Один из таких экскурсионных автобусов — голубой, с высокими бортами, стоял наготове возле туристской конторы, притершись шинами к каменному крыльцу. Пассажиры располагались в открытом кузове на ступенчатых, как в амфитеатре, в четыре ряда скамьях. На последнем, то есть на самом высоком ярусе, сидел с краю, опершись обеими руками на трость, Николаев.

Прошло всего лишь десять дней, как мы оставили агента в гостинице «Реджис-отель», беседующим с послом Розеном, но из его облика что-то ушло, как будто бы, совершая утренний туалет, человек или сильно торопился, или одевался в темноте, в крайнем случае не пользовался зеркалом: не очень гладко побритая шея, набок повязанный галстук, прилипший к рукаву волос... Так внешние мелочи, вроде плохо обметанных петель или безвкусно подобранных пуговиц, порой больше выдают материальное состояние и общественное положение владельца костюма, чем выпяченная грудь или самоуверенный тон. Недаром же говорят англичане: человека делает портной.

В данном случае некоторое забвение агентом своей внешности явилось следствием его визита к барону Розену: всю последнюю декаду апреля он выполнял задание посла — писал обзор о деятельности русских политэмигрантов в Нью-

Йорке. При этом обращал особое внимание на резкое увеличение в 1905 году, а также в начале текущего, 1906-го, числа поездок в США разного рода оппозиционно настроенных личностей, не только эсеров и бундовцев, но и толстовцев, сектантов и — что подчеркивал особо — прибытие первой делегации русских социал-демократов во главе с Максимом Горьким.

Для того, чтобы поставить заключительную строку в обзоре, сделать его убедительнее и оперативнее, требовались свежие личные впечатления. Вот почему Николаев и решил сегодня, 1 мая, проехаться по кольцу набережных Нью-Йорка, так как такой маршрут предполагал заезд в рабочий многонациональный район — Ист-Сайд, где проживало немало выходцев и из России.

Когда все места в автобусе оказались занятыми, вошел экскурсовод с фотоаппаратом.

— Леди и джентльмены, — обратился он к пассажирам, — по пути мы будем фотографироваться. Снимки можете получить позже в конторе фирмы — 25 центов за каждый вид.

Как будто следуя светящейся рекламе, гид повторил объявление на французском языке и, что для Николаева оказалось приятной неожиданностью, — еще и на русском. Чистый выговор свидетельствовал также, что он и сам из эмигрантов и, судя по отсутствию в речи английских ходовых словечек, из недавних. Николаеву даже показалось, что раньше встречал этого молодого, скорее же молоджавого, человека со смеющимися острыми глазами, выражение которых никак не вязалось с добродушным, румяным лицом.

Предложив пассажирам устраиваться поудобнее и запечатлев их через фотообъектив, гид принялся помогать шоферу, рослому негру в форменной фуражке, пристегивать возле резиновой груши клаксона небольшой красный флажок.

«Даже так?» — подивился Николаев своей удаче: не успел сдвинуться с места — и уже политический материал.

— Прошу внимания, леди и джентльмены! — предупредил гид, оборачиваясь к пассажирам.

«Ну да, «леди и джентльмены», — Николаев хмыкнул, наблюдая за устраивавшимися пассажирами, выглядевшими достаточно скромно для столь торжественного обращения,



если не считать чопорной пары — он в картузе, она в шляпке с малиновыми околышами, на которых значилось золотой вышивкой — «Армия спасения». У женщины на рукаве был еще пристрочен галун, явно обозначающий ее старшинство; она и держалась соответственно — большинство экскурсантов, очевидно, являлись подопечными «Армии спасения».

Автобус тронулся и стал разворачиваться, объезжая двадцатизатяжную громаду «Утюга» — единственного небоскреба на площади. Позади и возле него поднимались разно-стильные дома в шесть-семь этажей. Над окнами сверху до низу топорщились парусиновые козырьки, хотя солнце уже садилось: длинная густая тень от «Утюга» легла на площадь, перечеркивая уличную сумятицу.

Гид, продолжая стоять, только опираясь на обшитую темным сукном перегородку, которая отделяла отсек шофера от пассажирского отделения, давал характеристики встречным достопримечательностям — памятникам, театрам, музеям, изредка прикладывался к фотоаппарату. Когда по пути к Баттери-парку стали пересекать Уолл-стрит, он обратил внимание экскурсантов на осевшую темно-красную церковь Святой Троицы.

— Одна из четырехсот в Нью-Йорке. Построена на благой вклад английского пирата, капитана Кида. Капитан оказался весьма предусмотрителен в смысле спасения души: вскоре ему пришлось помереть на виселице. Это произошло в Лондоне, ровно двести лет тому назад. С пиратства, кстати сказать, началось и богатство Морганов. Генри Морган — корсар Карибского моря! По-видимому, отдавая дань прошлому, старый Джон назвал свою яхту «Корсар», даже ее корпус выкрасил в черный цвет. Не флаг же черный поднимать?! Ну а ныне потомки морских «джентльменов удачи» промышляют уже на суше. Видите, какие береговые корабли возвели, — гид показал на угловое (Уолл-стрит — Бродвей) здание с высоким цоколем. — Тоже Морган — Дж. Перпонт плюс компания.

— Может быть, в гости заглянем? — попытался кто-то из пассажиров подстроиться под тон экскурсовода.

— Почему бы и не зайти?! Сам Иисус Христос в Евангелии от Луки советует: «В какой дом войдете, в доме том и оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть: ибо трудящийся достоин награды за труды свои». — Сарказм проповеди гида вызвал усиленное движение среди экскурсантов. Сосед

Николаева в униформе «Армии спасения», не меняя деревянного положения, возразил:

— Не давать же равные шансы и дуракам? — Вероятно, себя он причислял к «умным». — Америка — великая страна.

— Конечно! — бодро согласился гид и, показывая на Баттери-парк со знаменитым аквариумом, добавил: — Убедитесь сами, здесь даже океанские акулы мирно соседствуют с береговыми.

«И, милый, да ты прямо просишься в мой обзор!» — все более радовался своей поездке Николаев, отдавая должное агитационному остро словию соотечественника.

От пристани, к которой подходили паромы со Стейтен-Айленд, расположенной напротив Баттери-парка, автобус повернул вверх, по береговой линии Ист-Ривер. Этот полуторакилометровой ширины рукав — своеобразный аппендикс устья Гудзона с претензией на морскую самостоятельность и на реку... без истока — являлся портовым пристанищем для неряшливых с низкой посадкой сухогрузов, буксиров и паромов прибрежных линий. Морской зверинец, ошетинившись мачтами, трубами, свистел, сопел, гудел на все голоса.

— Три тысячи сигналов только за ночь, то есть по пяти раз каждую минуту, — констатировал гид уже в чисто американском духе.

Чем далее к северо-востоку Манхэттана продвигался автобус, тем более углублялся в Ист-Сайд. Однообразные узкие улицы этого района сваливались, стекали своими запахами, мусором, да что там — самой жизнью — вниз к портовым докам, пирсам, угольным складам. Дома — узкие, как правило, в три окна по фасаду — были так плотно сбиты, что разделялись только углами крыш. Оттого верхняя линия такой улицы походила на зубья плохо выправленной пилы.

\*

Наперерез движению автобуса вышла колонна людей с развевающимся бело-зеленым знаменем, на котором была вышита арфа. У каждого в руке виднелся еще красный миниатюрный флажок.

— Представители Ирландской социалистической федерации, — пояснил гид, фотографируя шествие. — Портовые грузчики, ремонтники, такелажники из Бруклина. Направ-



ляются в Купер-юнион — там сегодня первомайский митинг.

— Купер-юнион, кажется, по нашему маршруту? — спросил Николаев, почти уверенный в положительном ответе.

— Да, — ответил гид. — Мы там вскоре побываем. Этот объект входит в число экскурсионных достопримечательностей.

«И только ли потому ты стремишься туда?» — усомнился Николаев.

Возле Томпкинс-сквер, крупного зеленого массива и площади Ист-Сайда, автобусу снова пришлось снизить скорость — людей становилось все больше, и они не желали уступать дорогу, даже не обращали внимания на гудки.

Одному из демонстрантов, видно, пришло в голову использовать едва двигавшийся автобус как временную трибуну. Он вскочил на подножку возле шофера и, размахивая шляпой, чтобы обратить на себя внимание, выкрикнул:

— Помните кровь рабочих, женщин и детей, пролитую здесь, на Томпкинс-сквер?!

— Вот такое же многотысячное шествие через эту площадь состоялось в прошлом году, — пояснил гид пассажирам. — В память жертв Кровавого воскресенья в России.

Люди в колонне оборачивались, принимая машину за агитационную, и когда оратор вновь воскликнул:

— Помните своих чикагских братьев, мучеников Хеймаркет?! — в ответ взметнулись руки с алыми флажками и раздалось как клятва, как вызов:

— Помним, помним!..

— Так не позволим же, чтобы стали жертвами и наши товарищи из Колорадо!

— Не позволим! — На этот раз в хор ворвались высокие женские голоса — колонна пополнилась толпой женщин, вышедших из ворот швейной фабрики. Ист-Сайд — это двадцать тысяч швей, получавших по пять-шесть долларов в неделю за потогонный труд. В этом секрет дешевизны пошитой ими мужской одежды — приличной, стандартной, с расчетом на любое захолустье и на любой «Бродвей»...

Процессия растянулась более чем на милю. Голова ее уже приближалась к 3-й авеню, над которой проносились поезда надземной железной дороги, — грохот заглушал ора-

тора, и он, соскочив с подножки автобуса, присоединился к товарищам.

В положении невольного демонстранта, вспомнил Николаев, вот так же пришлось оказаться и в прошлом году в Париже. Это случилось на следующий день после 9 января. Тогда русское посольство осадили студенты. Продираясь сквозь их волнующуюся и кричащую массу, он вынужденно разевал рот, чтобы не заподозрили в нем филера, и выкрикивал: «Долой банду, которая под именем правительства управляет русским народом!», «Между царем и народом ныне поток крови!»... Когда же наконец сумел проскользнуть в помещение агентуры, то услышал возмущение уже с другой стороны — фон Гартинга:

— ...Они хотели бы, — жест рукой в сторону зарешеченного окна, — чтобы государь появился на балконе Зимнего с фригийской шапочкой на голове и чтобы по вечерам террористы отплясывали карманьолу на площади вокруг Александрийского столпа... Куда смотрит полиция?!

На французскую полицию, однако, было грех сетовать. Сам Клемансо, став министром внутренних дел, объявил себя главным сыщиком республики и двинул на усмирение забастовавших шахтеров Па-де-Кале войска. Тот «либерал» Клемансо, который ранее осуждал «Дело Дрейфуса», а в 1890 году, как депутат парламента, потребовал от министра внутренних дел Константа, чтобы русских революционеров, жертв провокатора Ландезена, не выдавали царским властям. Теперь же с Ландезеном-Гартингом он уже действовал рука об руку. И демонстрация, из-за которой негодовал глава заграничной агентуры, была решительно разогнана.

— В России такой людской поток сравнили бы с Волгой, — услышал Николаев гйда, явно любовавшегося колоннами, и подумал: «Могли бы так и во Франции»...

Агент был прав: в Париже есть улица, названная по имени великой русской реки, она проходит возле кладбища Пер-Лашез. И вот по ней, «Волге», как раз в день петербургского 9 января рабочий Париж проводил в последний путь Луизу Мишель, героиню Парижской коммуны. Похоронную процессию обрамляло войско полицейских — боялись, а вдруг она воскреснет. Нет, не Луиза, а Коммуна!

«Так что Волга впадает в Парижскую коммуну... Такая-то новая география, молодой человек». Николаев, мысленно обращаясь к гиду, хмуро разглядывал колышущееся люд-



ское море. И вдруг ощутил в себе горячее желание увидеть — сейчас же, немедленно! — вылетающую из-за угла наметом, с гиком, на золотистых дончаках сотню чубатых молодцев в шароварах синего сукна с красными лампасами, с поднятыми нагайками!..

Демонстранты подступали с востока к финансово-политической цитадели Нью-Йорка, к его центру, где улицы, ухоженные, с массивными многоэтажными зданиями, выполняли роль крепостных стен... В том месте, где к оси «цитадели», Бродвею, приближается его жалкое подражание — Бауэри-стрит с ресторанами-притонами, театрами и гостиницами, выполнявшими роль тайных публичных домов, ночлежками и часовнями «Армии спасения», на этой границе роскоши и нищеты расположился заставой Купер-юнион — театрального типа здание с бельведером. Построил его еще в середине прошлого века Питер Купер, миллионер, по преданию выбившийся «в люди» из бедняков...

Купер задумал создать технический просветительный центр для рабочих, оборудовал различные лаборатории, купил библиотеку, выделил фонд для премирования изобретателей. Более умелые руки — это же выгодно! И Купер рассчитал, что затраченный капитал вернется с немалыми процентами, то есть приумноженный повышенной производительностью труда. При этом по закону ассигнованные им на благотворительные цели восемьсот тысяч долларов не обкладывались государственными налогами, так же как, скажем, пожертвования доброхотов, вроде капитана Кида, — на церковные свечи.

Купер подумал не только о себе. Его зять, сталепромышленник Абрам Хьюитт, тоже прослыл реформатором, благодаря чему на выборах мэра Нью-Йорка в 1886 году он сумел получить дополнительные голоса и оттеснить баллотировавшегося на этот же пост Теодора Рузвельта. А внучка Питера Купера, миссис Сарджент Крэм, супруга прожженного конгрессмена от демократов?.. Она помогла мужу завоевать популярность среди простых людей тем, что тоже числится в друзьях рабочих, в пацифистках. Недавно миссис Крэм приобрела участок земли на углу 5-й авеню и 110-й стрит, публично объявила, что на этом месте построит пропагандистский «Дом мира»...

Словом, он был сметливым и дальновидным парнем, этот Купер. Конечно же не Джеймс Фенимор из Куперстауна, который славил в своих романах бессребренников, вроде Ко-

жаного Чулка. Нет, Питер стоял за «чулок», за «сейф», за золото и серебро!..

Историю Купера Николаев узнал из путеводителя по экскурсионному маршруту. Но сейчас, в действительности, он заметил еще одну деталь — Купер-юнион располагался по соседству с церковью Божьей Милости и полицейской частью. Весьма красноречивое триединство!

Перед самым зданием Куперовского центра возвышалась над землей примерно на пять футов деревянная платформа. На ней играл оркестр. Музыканты, как один, были одеты в красную форму. Сбоку платформы, драпируя ее, раскинулись крыльями лозунги: «Тот, кто поднял красный флаг, будь то в России, в Америке или в Африке, — принадлежит к семье революционеров!» и второй — «Свободу Уильяму Хейвуду!».

Николаева более задел последний лозунг: снова Хейвуд! Это имя газеты постоянно ставят рядом с Горьким, начиная с 14 апреля, то есть с того дня, когда русский писатель отправил телеграмму-приветствие узникам окружной тюрьмы в Бойси. Вначале Николаев даже радовался: Максим Горький дал повод обвинить себя во вмешательстве во внутренние дела страны, совершил явный тактический просчет. Однако, совсем неожиданно, вызов писателя сильным мира сего и открыто высказанная симпатия американским бунтовщикам нашли горячую поддержку не только со стороны левой печати, рабочих-социалистов, но и в среде интеллигенции, ученых, тем более что юридическая непродуманность ареста руководителей забастовки в Колорадо, то есть «грубая работа» властей штата, породила раздражение даже в федеральных кругах.

Николаева озадачивало и другое: Максима Горького стали рассматривать не просто как противника царского режима, литератора, а как авторитетного деятеля будущей республиканской России, который поднимает вопросы ее предстоящих экономических и культурных взаимоотношений с Соединенными Штатами, подчеркивая при этом глубокое уважение к американской нации.

Такой поворот сбивал накал скандальной шумихи вокруг имени Максима Горького как «аморальной личности», отодвигал на второй план газетную операцию, проведенную политической агентурой, то есть им, Николаевым.



...Николаев решил, что экскурсии с него довольно. Пассажиры на высоких скамьях оказались блокированными демонстрацией, будто выставленными на всеобщее обозрение, а гид исчез. Агент покинул автобус и стал пробираться сквозь толпу к Купер-юнион.

— В Париже сегодня забастовало двести тысяч!.. Парижские вокзалы забиты; состоятельные люди в ожидании беспорядков покидают столицу!.. Биржа закрыта! — раздавались выкрики мальчишек, предлагавших вечерние выпуски газет.

«Вот оно как?!» Николаев представил заполненные народом парижские проспекты и бульвары.

Беспрерывно подавая гудки, к подъезду Купер-юнион подъехал арестантский автомобиль-фургон «черная Мария». Из него вышел наряд полиции и, раздвигая людей дубинками, направился к зданию.

Николаев приналег и оказался в своеобразной воронке, которая образовалась в толпе позади строя полицейских, — нога в ногу проследовал за ними в помещение.

— ...Даже жестокости, совершаемые царем в России, даже побои надсмотрщиков на наших бывших рабовладельческих плантациях не могут сравниться со зверствами, которые творятся в Колорадо, — доносилось со сцены, украшенной лозунгами и знаменами. — За пятнадцать месяцев забастовки там убито сорок два горняка, сто двенадцать ранено, почти полторы тысячи брошено за решетку. Палач Колорадо, генерал Белл, один из соратников-головорезов Тэдди по войне на Кубе, превратил в тюрьму даже церковь!.. А теперь хозяева рудников собираются под личиной закона убить Уильяма Хейвуда. Не пора ли нам начинать учиться решимости у русских революционеров?!

К президиуму подошла молодая женщина и положила на стол бумажный листок. Председатель, остановив жестом выступавшего, высокого человека с тощими бритыми щеками, сказал, обращаясь к залу:

— Товарищи, наш оратор вспомнил о революционерах России. Поэтому, я думаю, сейчас вполне уместно зачитать телеграмму, поступившую в адрес нашего митинга от одного из таких русских, от писателя Максима Горького! — Председатель поднял телеграмму над головой и, переждав возгласы одобрения, поднес ее к глазам. — «Председателю

Майской демонстрации. Купер-юнион, Нью-Йорк-сити. Друзья и товарищи! Глубоко сожалею о том, что, будучи занят, вынужден лишить себя удовольствия участвовать вместе с вами в праздновании международного праздника солидарности труда... Солидарности труда! — громко выделит председатель и продолжал чтение: — «...Примите мои искренние поздравления и твердую уверенность в конечной победе правды и разума во всем мире».

— Во всем мире! — повторил уже самостоятельно зал.

— «...Всем сердцем прошу вас от имени русского народа, — читавший снова посмотрел в зал, — помочь ему в его смертельной героической борьбе с беспримерной тиранией русского деспотизма. Его победа будет победой угнетенных всего мира над угнетателями».

— Победой над угнетателями! — скандировал зал.

В эту минуту боковые двери распахнулись — в помещение вошли полицейские. Рассредоточившись, они встали возле стены, на которой алел лозунг: «Когда рабочий начинает мыслить, капиталистов охватывает дрожь».

Переждав сумятицу, чтец повысил голос:

— «...Ваша помощь и сочувствие в этом огромном деле будет поддержкой для всего русского народа, революционного пролетариата и ускорит день его победы. Максим Горький».

Зал бушевал несколько минут. Председатель, стремясь пересилить шум, напряг голос:

— Будем беречь время и проявлять уважение к дорогим гостям, которым, конечно же, тоже не терпится поздравить нас с Первым мая, — он сделал легкий поклон в сторону полицейских, вызвав тем общий хохот. — Учитывая, товарищи, ваши выступления и аплодисменты на телеграмму Горького, я предлагаю внести в резолюцию митинга добавление в таком духе: «Русский рабочий класс разгибает могучую спину, стряхивает феодализм и самодержавие, предъявляет свои экономические требования капитализму, готовится заложить основу будущей социалистической республики».

Оратор сделал паузу, чтобы подчеркнуть свое предложение, и продолжал:

— По-моему, также есть смысл объединить кампанию по сборам средств в фонд защиты Хейвуда и его товарищей, о чем мы уже договорились, с пополнением горьковского фонда помощи русской революции: сборы проводить вместе,



а потом разделить на две равные части. Это будет и выражением общности наших целей, интернациональной солидарности. Именно теперь из России, с северных берегов, потёк к нам встречный Гольфстрим — революционный жар сердец русских рабочих. И пусть рушится царизм, пусть спасается французская буржуазия, пусть корчится американский капитализм — в борьбе мы едины!

При последних словах среди полицейских произошло движение, и от их синемундирной группы отделился один, по-видимому, старший — в ярко-желтых гетрах до колен, с никелированной бляхой на груди, — двинулся прямо на сцену. Следом за ним поднялся еще и штатский.

— У нас официальное разрешение на митинг, — спокойно объяснил офицеру председатель.

— Знаю. Но вы его пытаетесь превратить в противоправительственное собрание, которое принимает подрывной характер. Поэтому я вынужден предупредить...

Пока шло объяснение, девушка, принеся телеграмму Максима Горького, поднялась из-за стола. Держа в вытянутой руке мужское кепи, она громко обратилась к залу:

— Товарищи! Прошу жертвовать ваши трудовые центы в фонд солидарности «Хейвуд — Горький»!

Штатский коллега полицейского попытался встать перед девушкой, но произошло неожиданное: она подбежала к кулисе и, сорвав с нее звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов, накинула его на плечи подобно мантии. Шагнув прямо на штатского, потребовала:

— Долой шляпу перед государственным флагом республики! Прочь с дороги!

И шпик, «сервис-мен» — это был явно он, — сдернул котелок, недоуменно обернулся к офицеру, которого такой маневр тоже поставил в тупик.

Девушка, не медля ни минуты, подбежала к краю сцены и, прыгнув на поднятые ей навстречу руки, двинулась далее уже между рядов, протягивая кепи.

— В фонд Большого Билла и Максима Горького! В фонд революционной солидарности! Кто сколько может.

Полицейские, которые стояли возле прохода, перебирая ремешки дубинок, по сигналу начальника ринулись в гущу митинга, стремясь перехватить девушку.

Люди сомкнулись, не обращали внимания на требования разойтись. Яркие фонари освещали искаженные ненавистью лица. Неслись издевательские возгласы:

— Вы бы лучше попробовали дубинками сшить себе штаны!..

— Или сварить стали!..

Когда один из «бобби» все же добрался до сборщицы и, сдернув с нее флаг, взмахнул дубинкой, то оказавшийся рядом парень подставил руку, принимая удар на себя. Другой полицейский выхватил револьвер и угрожающе нацелился на защитника. Парень крикнул по-русски:

— Эх вы, американские казаки!

«Да это же наш гид!» — узнал смельчака Николаев.

Люди быстро продвинули девушку в глубь зала и, закрывая собой, продолжали передавать ей центы и даже доллары.

Полицейские, рассвирепев, принялись бить и арестовывать уже без разбору.

Николаев, который оказался в самой середине свалки, успел заметить, как над его головой промелькнула тень — и тут же из глаз посыпались искры, — это на него опустился клуб. Затем крепкая рука поволокла к выходу. Отбиваясь тростью, агент пытался вывернуться, но напрасно — только почувствовал, как затрещал воротник у пиджака и хрустнула под ногами трость. Его засунули в фургон, сопроводив это движение чисто русским «лещом».

Задыхаясь от злости на нелепость происшедшего, Николаев ощупал голову, шею, пытаясь привести себя в маломальский порядок: выправил сплюсненную шляпу, пригладил воротник. Пожалел о трости — купил в прошлом году на Невском: «И дым отечества...» Постепенно успокаиваясь, уже иронически подумал: «Вот и познал американских союзников по охране правопорядка»...

За стенками «черной Марии» шумели демонстранты, рвались к арестованным на выручку. Наконец загудел мотор, и машина, дрогнув, двинулась толчками, поминутно притормаживая, очевидно, пробивалась сквозь толпы, окружавшие Купер-юнион. И хотя полицейская часть располагалась по соседству, ехать пришлось кружным путем.

— Был бы с нами Хейвуд, — сожалел кто-то сквозь стон.

— Он вообще еще ни разу не бывал в Нью-Йорке, — поправили его.

— Баррикады нужны. Вот так-то, милейший.

Николаев, прислушиваясь к интонаций заговорившего о баррикадах, понял, что это снова гид из автобуса. И теперь уж ясно вспомнил, где и когда услышал этого человека впер-



вые — на «Кайзер Вильгельм дер Гроссе», он переводил Максиму Горькому с английского на русский речи и тосты за банкетным столом у капитана.

«Надо же, при свете по обличью не узнал, а в темноте прояснилось», — подумал Николаев, определяя по голосу и другого собеседника, того самого оратора, который с трибуны рассказывал о зверствах военщины в Колорадо, а теперь спорил с гидом.

— Будем смотреть фактам в глаза, — говорил он. — Рабочий класс у нас еще не имеет достаточно мощной политической организации, поэтому не может решиться на всеобщую стачку, как русские. Так пишет и орган ИРМ «Индастриал воркер».

— Почему все-таки Максим Горький не приехал на наш митинг? — спросил кто-то из арестованных.

— В газетах писали, что он завтра выступает в Бостоне с докладом, — ответил гид. — То есть сегодня должен отправляться туда.

— Настоящий человек! Умеет драться, — продолжал первый. — Он — единственный из иностранцев, кто честно и прямо приветствовал наших отважных горняков. Даже его боевой соотечественник Чайковский не проронил по этому поводу ни слова...

Машина резко затормозила. Послышалось требование выходить. Николаев ощутил от толчка острую боль в голове и стал выбираться из фургона.

По вечерней улице гулял сквозняк, вырываясь из узкой щели переулка, словно из форсунки, пронизывая сыростью.

Дежурный полицейский принялся регистрировать арестованных. Николаев представил свой русский паспорт с визой.

Полицейский, даже не взглянув, рывкнул:

— Убирайся, не мешай!

Николаев понял, что «убирайся» вовсе не означает разрешения покинуть полицейскую часть, скорее требование — не мешать работать.

В камере он опять оказался по соседству с круглолицым. «Судьба, — подумал он. — Возможно, продолжим знакомство еще и в другой полицейской части, скажем, в Москве или в Петербурге...»

Иронизировал Николаев уже без охоты. Мысли работали в ином направлении: как воспримут его арест в генеральном консульстве, в посольстве — барон Розен, кажется, не обладает большим чувством юмора.

На следующий день Николаев познал побудку по-американски: раздался резкий звонок, и в тот же миг дрогнули подпорки под койкой, приставленной плотно к стене, и она, подобно вагонной полке, начала опускаться одной стороной. Не спрыгнешь вовремя — окажешься на полу.

— Страна техники! — буркнул гид, потягиваясь. Рассмотрев товарища по камере, узнал в нем вчерашнего экскурсанта, развел руками и рассмеялся: — Прошу извинить, вот эта-то достопримечательность по плану нашей экскурсии не предусматривалась. Кви про кво!

«Оказывается, ты еще и латынь знаешь», — подумал Николаев и промолчал.

К полудню состоялся разбор дел арестованных. Пожилой полицейский офицер, тот самый, что поднимался на сцену и запомнился Николаеву, полистав его паспорт, заметил:

— Мы не мешаем распространению умеренных социалистических идей, но русские придают им анархический характер.

Николаев давно уже уяснил, что начальство во всякой стране любит, чтобы его выслушивали с готовностью, поэтому ничего не возразил.

— Отпускаю вас под честное слово. Обвинение предъявят позже, скорее всего это будет... — Полицейский, раздумывая, побарабанил по столу пальцами. — Возможно, так: «За нарушение движения транспорта». Безобидно, но придется уплатить штраф. Хотя вы уже сами себя наказали, — взглянул он на оторванный воротник. — А вообще-то вас, русских, надо судить за проигрыш войны Японии. Не смогли справиться с морской черепашкой, пощекотать у нее живот. Хе-хе-хе! А туда же, лезете в американские дела. Прощайте!

## 2. ПОЛЕТ МОЛИ

Два человека собирали самым аккуратным образом печатные сведения о пребывании Максима Горького в Соединенных Штатах. Тот и другой абонировались в нью-йоркском бюро газетных и журнальных вырезок. Этими подписчиками были Буренин и Николаев. Первый, накапливая материалы, думал об Истории, другой — о сегодняшних, служебных обязанностях. Соответственно формировались и досье: Буренин систематизировал вырезки по хронологии, а Николаев — тематически.

Занимаясь в тишине и уединении, Николаев испытывал даже эстетическое наслаждение, анализируя каждый новый



шаг поднадзорного и предугадывая следующий. Кажущиеся биографические странности вдруг соединялись в нечто стройное, занимательное! Ему нравилось расставлять цветными карандашами стрелки, указатели, круги... Фамилия, обрстая фактами, будто запутывалась в паутину. Он считал себя кабинетным разведчиком, исследователем и презирал наружный досмотр как дело ног, а не головы, как обитую воющей клеенкой кушетку в полицейских дежурках...

Почта для Николаева адресовалась на генеральное консульство. Туда же приходили и конверты из бюро вырезок. Сегодняшние новости агента не радовали. Сортируя заметки, раскладывая их наподобие пасьянса, веером, в две колонки — по левую «за» Максима Горького, по правую — осуждение, — он наглядно убеждался, что левая растет быстрее.

«Да и по материалу весомее», — подумал агент, подкладывая туда же вырезку из «Обзервер» с «Открытым письмом М. Горького к литераторам свободной Америки», затем — его же приветственную телеграмму в адрес первомайского митинга социалистов Нью-Йорка. Телеграмма была напечатана в еженедельнике «Викли пипл» вместе с отчетом о митинге в Купер-юнион. Николаев, прочитав заметку, реально ощутил горячее дыхание огромного зала, увидел искаженные раскрасневшиеся лица демонстрантов и полицейских, взметнувшийся над собой клоб...

Продолжая раскладывать пасьянс, он ниже вырезки из социалистического «Викли пипл» положил колонку херстовской «Америкэн» со статьей Максима Горького «Сместить и покарать Витте!», в которой писатель обрушивался на виттievскую Думу, доказывая, что она будет органом либералов, не способных на решительные шаги, и что народ, отвергая ее, готовится к вооруженному восстанию.

Рядом с этой яростной публицистикой бесконечно и бескровно выглядели заметки, которые группировались в правой части «пасьянса». «Прислушиваясь к Горькому, американский народ должен понять, что Горький не является ни либералом, ни реформатором, а чистейшим и настоящим революционером, — пугала «Стар» и, ссылаясь на заявление русского официального лица, добавляла: — Он, без сомнения, талантливый писатель, может быть, даже гений, и многое из того, что говорит в отношении условий, существующих в России, является, без сомнения, правдой, однако следует понять, что его целью является не реформа, а революция».

«Именно, не реформа, а революция! — повторил Николаев. — Потянуть бы из-под вас перины, сразу бы поняли, что это такое», — обращался он уже к американским политикам, протесты и статьи которых напоминали ему выкрики нервных больных.

Вслед за разъяснениями «официального лица», который желал выглядеть объективным, Николаев также в правую колонку отложил заметки из сент-луисских газет — «Стар кроникал» и пулитцеровской «Пост диспетч», требовавших изгнания Максима Горького из страны. И сразу же, будто в качестве ответа, перебросил влево вырезку из социалистического журнала «Лейба», тоже выходившего в Сент-Луисе. Там в солидной статье доказывалось, что сенсация о Максиме Горьком поднята в «желтой» прессе по приказу финансовых разбойников с большой дороги, в числе которых и Морган, — они злобствуют потому, что русский революционер-интернационалист разоблачил цели грязного займа, в который банкиры Уолл-стрита хотели бы втянуть американский народ. Отношение же простых людей к писателю подчеркивало еще и объявление о том, что в Сент-Луисе готовится спектакль «На дне». Афиши напечатаны с портретом автора!..

Неожиданным для Николаева оказалось сообщение «Уорлд» о выступлении Марии Андреевой в Колумбийском университете. «Студентки Бернарда секретно приветствовали мадам Горькую! Дело об участниках встречи подлежит политическому расследованию...»

«Хватилась унтер-офицерская вдова, — раздраженно подумал Николаев, подразумевая под «вдовой» газету. — Андреева стоит картечи, а по ней влопыхах палили бекасиной дробью. Митинг в университете и отчет о нем, понятно, сразу подняли ее на высоту страдальцы за народ».

«Джон Дьюи должен уйти!» — поймал он выкрик в статье, обвинявшей профессора — организатора митинга в грубом промахе политического характера и в том, что показал дурной пример. В адрес администрации Колумбии тоже было сказано, что в Бернад-колледже сложилось «сомнительное положение, когда девушки-студентки слишком много уделяют времени чтению периодической прессы».

«Конечно, надо так, как придумали издатели в Париже: с недавнего времени стали отмечать в книжных каталогах произведения, которые не следует читать невинным девушкам. Лучшей рекламы и не предложишь», — иронизировал



Николаев, заканчивая просмотр последних двух заметок, доставленных из бюро вырезок. В одной, опубликованной в «Трибюн», утверждалось, что власти Провиденса не разрешили Максиму Горькому выступать в их городе, — рука агента метнулась направо, а во второй, телеграмме агентства «Ассошиэйтед пресс», что Горького и путешествующую с ним «на положении жены» Марию Андрееву ждут в Чикаго, где намечено три митинга с докладами писателя...

«Надеялись, что Максим Горький поднимет руки или впадет в панику, сделает торопливые шаги, которые его скомпрометируют, — злился Николаев, не находя места, чтобы уложить последнюю телеграмму, — левый край стола был уже переполнен вырезками. — А обвиняемый даже не пожелал продолжить разговор на тему о своих отношениях с Андреевой. Денверская «Рипабликэн» додумалась до предположения, что не кто иной, как Андреева, сдерживает Максима Горького от опрометчивых поступков, которые могли бы вызвать в Соединенных Штатах нежелательные политические последствия. Более того, газета косвенным образом выразила актрисе благодарность: «Возможно, что мы так никогда и не узнаем, как многим обязаны той, которая считается миссис Горькой».

«...Ну-с, и что же вы теперь намерены предпринять, дорогой? — будто услышал Николаев голос с рю де Гренель. — Я же говорил вам, что обычные приемы тут не годятся».

И в самом деле, последние новости обескураживали. Прошел даже слух, что антигорьковскую кампанию затеяла «Уорлд» и только потому, что Горький не пожелал иметь с ней дело, заключив договор с «Америкэн». То есть вся дискуссия являлась средством сведения счетов в меркантильной ссоре конкурентов — Пулитцера и Херста, а читающая и негодующая публика выполняла роль размахивающих руками кукол.

По статистике бюро вырезок выходило, что о Максиме Горьком постоянно писали шестьдесят газет. Но сегодня вот откликнулось только пятнадцать: публицистический шторм стихал. Как оживить его?..

Николаев, раздумывая, глядел через широкое окно с бронзовыми рамами на Нью-Йорк, пытаясь среди стенных граней отыскать кусочек свободного горизонта. Взгляд невольно пригибал железный скелет строящегося небоскреба компании «Зингер». Пресса славил его высочайшим не

только в Нью-Йорке, но и во всем мире — шестьсот двенадцать футов!

«Около восьмидесяти восьми саженой, — перевел на русскую меру Николаев. Припоминая темно-серое здание русского филиала этой фирмы, построенное два года назад на Невском, напротив Казанского собора, он еще раз уточнил: — В Петербурге семиэтажное, а тут такая высота только у башни над крышей».

Грандиозность новостройки, надо полагать, отражала идею космополитической значимости «The Singer Manfg. Co», снабжающей швейными машинками весь мир. Реклама фирмы с фабричным клеймом, в центре которого извивалась в виде долларового обозначения нить, кричала с журнальных обложек, сообщала, что Зингер имеет тысячу собственных магазинов!..

Сбоку строящегося небоскреба торчал готический карандаш шестнадцатизэтажной редакции «Уорлд». Николаев, рассматривая сверкающую на солнце частую ячею окон, представлял за ними лица знакомых журналистов. Он свободно ориентировался в стеклянных клетках-репортерских не только в «Уорлд», но и «Америкэн», «Джорнэл». Его там принимали за своего коллегу, прекрасно осведомленного в русских политических делах, пишущего в петербургские газеты. С ним даже искали знакомства. Во всяком случае, Карл Декер стал подходить к нему как к старому приятелю и, здороваясь, норовил еще и стукнуть ручищей по плечу или пощупать бицепсы. Благодаря Декеру Николаев стал вхож в социалистический клуб «Х» и был там представлен самому Артуру Брисбену.

«...Так как же, дорогой, будем дальше с Максимом Горьким? — задал уже самому себе вопрос Николаев. — Предпринять кое-что можно, я уже попробовал», — мысленно отвечал он и себе и фон Гартингу, представляя шефа за парижским столом красного дерева.

Суть «кое-чего» заключалась в следующем. Из русских газет, которые агент регулярно просматривал в генеральном консульстве, он узнал, что в Москве идет судебный процесс, который возбудило семейство Саввы Морозова после его смерти. Морозовы опротестовали законность воли покойного, передавшего актрисе Московского Художественного театра Марии Андреевой свой страховой полис, подписанный на предъявителя.

Конечно, не было ничего особенного в том, что основной



акционер и директор театра завещает перед смертью какую-то сумму одной из лучших актрис. Но реакционная петербургская и московская пресса постаралась раздуть судебное дело в скандал, в сенсацию, связав его еще и с именем Максима Горького. Получался уже не дар мецената во имя таланта, поощрения искусства, а вымогательство у психически больного человека капиталов на революцию, то есть на незаконное деяние. Николаев рассчитывал и на то, что изображение американского обывателя взбудоражит и величина морозовского страхового полиса — сто тысяч рублей!..

При первой встрече с Брисбеном он и выложил эту новость. Раскланиваясь, Николаев заметил, что искал возможности познакомиться с мистером Брисбеном еще в прошлом году в клубе литераторов Нью-Йорка, то есть в «Лотос-клуб», где через два дня после подписания мира давался обед в честь русской делегации.

Высказал сожаление и Брисбен, оценив представительский уровень нового знакомого: на этот обед приглашались только видные журналисты. Николаев же был уверен, что роль, в какой он находился в «Лотос-клуб», сейчас разоблачить невозможно, так как гостей собралось много, столы, пришлось расставлять в двух залах.

— Банкет слишком заофициалили, — вмешался Декер. — Тосты за царствующую особу, за президента, государственные гимны... Спасибо Витте, внес дух непосредственности.

— Объявил себя бывшим журналистом, — подхватил Николаев, — даже поднял бокал за прессу.

— За великую американскую прессу, сказал он! — уточнил Декер.

— Разве так? Я понял несколько шире, в духе эпитафии, тисненного на обеденной карточке. «Перо могущественнее меча!» — парировал Николаев национальное самодовольство американца и, смеясь, добавил: — Эти слова с наибольшим основанием может теперь повторять Диллон из «Дейли телеграф»: он стал обладателем исторического экспоната — принадлежащим ему вечным пером Витте поставил подпись на мирном договоре.

— Не совсем так. Подписи поставлены гусиным пером. О писчих принадлежностях долго спорили — нужны были «нейтральные».

— Вечность чернильных перьев сродни вечности договоров, — заметил Брисбен, едва разомкнув бескровные гу-

бы. — Тэдди тоже предусмотрительно приобрел сувениры — кресла главных уполномоченных. Возможно, предполагает еще раз посадить их напротив друг друга.

— Не их, так других, — молвил Декер.

— Скажем, американских и японских, — предположил Николаев.

— Для переговоров в любом варианте требуется по меньшей мере пара стульев, — не пожелал заметить шпильки Брисбен. — А Диллон всегда в поисках кумира либо в хождениях вокруг него. Вот и вокруг Витте.

— Я бы сказал — «возле», по касательной: соприкосновение точечное, то есть неглубокое, несекущее, — возразил Николаев, довольный литературностью своего возражения, и тут же забросил удочку: — Диллон и врага Витте Максима Горького именует народным трибуном, которым будто бы любитесь все русское общество, от марксистов до охранителей режима... Кстати, сейчас в Москве начался процесс: Мария Андреева, небезызвестная «великой прессе», — жест в сторону Декера, — незаконно получила сто тысяч рублей от миллионера-фабриканта Морозова, который застрелился. Замешан и Максим Горький.

«Ага, поймали кость!» — оценил Николаев мгновенное общее молчание за столом и продолжал словами где-то читанной статьи:

— Впрочем, для Горького, изображающего Россию в виде кабака, где все слои общества утопают в океане водки и политических раздорах, такое судебное дело вполне ординарно. Сюжет для новой скандальной повести, и только.

— Сюжет с рождения дохлый, — заявил Декер, то ли пойдя в атаку, то ли подзадоривая. — Кто поверит, чтобы денежный мешок да добровольно, без выгоды?.. Чушь!

— Думаю, Морозов не без расчета вкладывал деньги в революцию, — пояснил Николаев. — Но он в ней разочаровался и покончил с собой.

— Так все-таки деньги-то на революцию?! — переспросил Брисбен, увидев в этом слове моральное оправдание Андреевой и Горького.

— Ну да, — зло, будто огрызаясь, подтвердил Николаев. — Потому что миллионер никак не мог сообразить, чего ему больше хотелось: то ли конституции, то ли севрюжины с хреном, как изволил выразиться о таких бесящихся с жиру либералах один остроумный писатель...

Агент чувствовал, что светло-голубые, вроде бы пустова-



тые, в действительности же очень зоркие глаза ведущего редактора херстовского объединения будто читали его мысли. Так оно и было на самом деле: Брисбен обдумывал новость, сказанную, как он понял, в виде приманки. По раздраженному тону собеседника Брисбену стали ясны его симпатии и антипатии. Херст несомненно проявил дальновидность, печатая материалы о Максиме Горьком. Игра, как говорится, стоила свеч: горьковская тема — золотая жила, которая по сей день продолжала поднимать тиражи газет и вместе с тем создавать издателю популярность, то есть позиция элементарной объективности оказалась в данном случае самой выгодной.

Брисбена тревожило иное: Максим Горький не спешил с обещанными очерками о России. Правда, первую свою значительную вещь, «Сан-Франциско», он передал в «Америкэн». Благодаря высочайшему благородству тона этот очерк оказался кляпом для разинутого рта той же «Уорлд», то есть ударом по сопернику Херта Пулитцеру... И теперь после «Сан-Франциско» публиковать сенсационный материал о Максиме Горьком, будто бы пытавшемся обокрасть миллионера, совершенно нелепо: читатель встретит это как типичную утку, запущенную в печать с явным опозданием, жалким подражанием пулитцеровской...

Когда Брисбен, сославшись на неотложные дела, покинул клуб «Х», Николаев поспешил сказать несколько слов о его принципиальности, чем вызвал скептическую усмешку у Декера.

— У него, как и у шефа, главный принцип — никаких принципов плюс упрощенное деление людей на две категории — на дураков и умных. Наверное, догадываетесь, дураки — это читатели...

Что ж, для Николаева такая точка зрения не из числа порочащих. Он возразил:

— Деньги дураков — добро умных, так говаривал небызвестный француз. Тем более, что умным легче принимать любые ценности как раз от дураков. Почему короли держали при себе шутов? Для ценных, умных советов. Если же неудача, вину на кого легче свалить? На дурака...

«И в самом деле, сюжет об ограблении Морозова — «дохлый», — повторил Николаев слова Декера и тем обрывая воспоминания о разговоре в клубе «Х». — «Редает облаков летучая гряда»...

Агент понимал, что главная гроза над головой Горького

пронеслась. Да и можно ли его испугать сомнительным процессом о страховом полисе, когда не пожелал зайти в генеральное консульство по судебной повестке, угрожавшей Сибирью? Отсылая ему на Стейтен-Айленд это извещение, в конверт положили вдобавок записку из «Русского слова», утверждавшего, что против Горького возбуждено еще одно преследование — за публикацию в парижском журнале «Красное знамя» статьи «Не давайте денег русскому правительству».

«Мелите, мелите, самодовольные пузыри, черт бы вас побрал! Ждите, сейчас он прибежит исповедоваться». Эту фразу Николаев адресовал не только прессе, но и посольству. С того дня, как барон Розен отбыл к себе в Вашингтон, от него ни слова. Странный финал после многообещающего разговора в «Реджис-отель»: «Я непременно передам о вашей энергии и старании господину Гартингу. Интересно и ваше предложение о создании постоянной агентуры»... Он ответил барону: «Смею заметить, ваше превосходительство, что дело мы поставим образцово», — намекая местоимением «мы», что готов разделить авторство с заинтересованной стороной.

Никак не отреагировал посол и на его последний обзор с описанием первомайского митинга, если не считать упрека, услышанного в консульстве — буквального повторения сентенции полицейского чина: «Стоило вам лезть в американские дела?» Экая политическая слепота! «Толкует о лояльности Короленко, — продолжал Николаев о Розене, — почтил, видите ли, личным посещением консульство! — а того не знает, что тогда же в департамент на Фонтанке поступили сведения о свидании писателя в Лондоне со Степняком-Кравчинским, убийцей шефа жандармов, затем в Нью-Йорке — уже с целой группой государственных преступников, бежавших за границу, перед которыми выступал с проектами о парламентской России. Короленко ораторствовал, не ведая, что хозяин квартиры, эмигрант Конон Еваленко, десятый год служит внутренним агентом...»

В Нью-Йорке, считал Николаев, можно ничуть не хуже, чем в Париже, наладить отношения с «Secret service», с тем же агентством Пинкертона — его детективы следили за Короленко, — и, конечно, с прессой. Это уже опробовано им, Николаевым. Что касается связей с официальными лицами, тут внес вклад сам Витте, который в прошлом году вместе с Розеном зашел в нью-йоркское полицейское управление на



Малберри-стрит, 300; даже не погнушался ознакомиться с картотекой преступников, посоветовал особо выделить политических, как наиболее опасных, — так, мол, всегда делает русская полиция. А разве не свидетельство взаимопонимания: в Шлиссельбургской крепости камеры тюрьмы перестроили на американский лад — этажи сделали открытыми, разделив только решетками? Все на виду, как в зверинце! Вот бы и Максима Горького в такую посадить: в ней-то пьес не напишешь...

Николаев ощущал в себе рождение чувства личного ожесточения к Максиму Горькому: неудача с преследованием писателя может дорого обойтись. И уж наверняка не избежать крупного разноса по инстанциям: министр внутренних дел выговорит директору департамента, тот — начальнику охранного отделения, последний — Гартингу. Так было в 1903 году после неудачного визита царя в Италию. Тогда Николаева в числе других агентов откомандировали для охраны царской особы — и он тоже рассчитывал на повышение по службе. А вышло...

Император, миновав границу, смог добраться окольной дорогой только до королевского замка Ракконджи. Но и туда ехал не через радостные толпы встречающих, а сквозь строй солдат и полицейских. Вместо приветственных возгласов со всех сторон — из-за углов домов, из окон, из-за кустов — раздавался униженный свист. «Освищать русского царя-тирана!» — открыто призвали социалисты Италии, и население их послушалось. Кое-где даже осмелились обвить траурными лентами национальные флаги! После такой враждебной демонстрации Николаю II ничего не оставалось делать, как отменить официальную поездку и написать Виктору-Эммануилу, что свидание откладывается и что он не распространяет своего неодобрения на членов «смущенного правительства». Ну а причастные к несостоявшемуся визиту русские вместо ожидаемых наградных и орденов получили нагоняй. Посла в Италию Нелидова немедленно отозвали, позже перевели в Париж.

«Теперь бы и меня так, в виде наказания, из Парижа — в Нью-Йорк, а то сунут в какую-нибудь балканскую дыру — и конец карьере... Если, конечно, раньше не пришибут революционеры. — Николаев невольно вспомнил о мраморных досках на стене департамента с именами погибших на посту сотрудников. — Видно, братец, судьба: не ходить тебе по белокаменной лестнице главного подъезда, а по-прежне-

му использовать «лаз», специальную калитку, быть рядовым «фуксом», то есть лисицей, или, еще хуже, в соответствии с бильярдной терминологией, — случайно заброшенным в лузу шаром...»

Николаев, закончив разбор почты, заколол вырезки в «горьковской» папке. Он понимал, что занимается сейчас только ех offiсi, то есть по должности, вдохновение, увы, минуло. Полистал в заключение свежий майский номер «Уилшайрс мэгэзин» и тоже нашел о Горьком: «Слушая Горького, чувствуешь, как закипает кровь и пробуждается воля к борьбе».

«Вот оно и выходит: «Перо сильнее меча», — подумал агент, снова вернувшись к разговору с Декером и Брисбеном в клубе «Х». — Максим Горький, можно считать, разрубил узел вроде бы хитроумно сработанного скандала, а автора отбросил назад к «лазу»... Может быть, и мне попробовать это оружие — перо? — хихикнул Николаев. — Стиль у меня находил сам Гартинг. А Карл Декер даже высказал удивление, что я до сих пор никак не откликнулся на историю преследуемого соотечественника, добавив: «Наверное, придерживаете как бомбу сенсационный материал. Вы же столько нам помогали, в особенности «Уорлд»... Замечание походило на намек, на издевку и вместе с тем — на товарищеский совет.

Он и правда мог бы написать о Горьком поинтереснее американских свистунов, которые заполняют газетные столбцы на манер полицейской анкеты: «Скулы широкие, глаза светлые, правдивые, волосы темные и густые» — и тому подобное. Тиснуть что-то существенное — вот тебе известность и гонорар. Ведь только благодаря журналистике имя неведомого банковского клерка Америго Веспуччи, в правдивости записок которого наука сомневается до сего дня, присвоено материку!.. К сожалению, столь воодушевляющих примеров с сыщиками не имеется, скорее наоборот: в Америке позорно закончилась служба Конона Еваленко, уволенного за «крайнюю нечестность», хотя ложь всегда являлась вспомогательным сырьем для шпионского делопроизводства; сюда же сбежал убийца подполковника Судейкина, его самый доверенный агент Сергей Дегаев, и исчез; погиб в Техасе Подлевский, секретный сотрудник жандармского генерала Селиверстова, убиенного им среди бела дня в Париже, в гостинице на Итальянском бульваре...

Впрочем, и журналистика — палка о двух концах. Даже



Плеве, мнивший себя политическим оракулом, попробовал — и был высмеян на всю Европу. Затеял сразу на страницах французских «Фигаро» и «Время», а также английского «Ревью оф ревьюс» дискуссию с «Эропэен», просоциалистическим еженедельником, выходившим в Париже. «Эропэен» раскритиковал полицейские преследования в Финляндии. Плеве, подобно быку в фарфоровой лавке, ринулся в полемику, подписываясь «Русский». Считал, видимо, что таким псевдонимом сохраняет в тайне свое имя и звание, но статьи при этом слал, отпечатанные на бланках... министерства внутренних дел.

Разоблачение вылилось в скандал. Можно сказать, каждая суббота — день выхода «Эропэен» — превращалась для русских официальных лиц в день позора — так хлестко раздвигались в журнале с министром-литератором. Но если бы только высмеивали лично, была скомпрометирована внутренняя политика и нанесен ущерб политическому сыску, его агентам за границей...

У любого человека должен быть хоть крохотный островок для отрешенности, прибежище душевного отдыха. У Николаева такого не имелось, как и родового дома с классическими колоннами, с парком для уединений. Да и не любил он самосозерцания. Настроение недовольства собой, которое агент испытывал, правильнее было назвать досадой: не может найти запасного варианта.

«А почему бы все-таки самому не попробовать развить сюжет «Горький — Морозов — Андреева?» — вновь застучало у него в голове. — Для начала организовать интервью с кем-либо из генерального консульства, попросить прокомментировать эту, сенсационную в чисто американском духе, историю о вымогательстве ста тысяч и о том, что писатель знал, на какие цели деньги предназначаются, то есть он — соучастник...

Кого же пригласить на пресс-конференцию? Николаев, как бы советуясь, опять мысленно вернулся в клуб «Х» и заглянул в светлые, казавшиеся фарфоровыми глаза Брисбена. Если ведущий журналист посетит русское консульство — уже козырь. Неплохо бы затем закрепить беседу за дружеским ужином. Во сколько это обойдется?..

О деньгах Николаев задумался не случайно. За полтора месяца жизни в Нью-Йорке он порядочно поизрасходовался, даже был вынужден отказаться от наружного наблюдения за Горьким. На оплату филеров Гартинг выдал по париж-

ским нормам, где слежка за одним человеком обходится в тысячу франков в месяц, то есть около двухсот долларов. В Нью-Йорке этого недостаточно.

Не приходилось более рассчитывать и на посольство. Несмотря на приказ самого Розена, в генеральном консульстве Николаеву крайне неохотно, как стороннему просителю, выписали чек. Правда, в связи с этим выяснилось любопытное обстоятельство — хранилищем своих фондов русское посольство, оказывается, выбрало «Нэшнл сити бэнк»! В здании старомодного стиля на Уолл-стрит, на деловой этаж которого вели прямо с улицы марши ничем не украшенной лестницы, было сумеречно. Служащие в клетках-отсеках казались теньями. Только в одном месте перед широким окном возвышалась над полом на ступень открытая платформа, на которой сидело до десятка клерков.

Когда Николаев уже укладывал в бумажник полученные деньги, то заметил, что первый ранее пустовавший стол занял человек с очень знакомым лицом. «Ба, это же Фрэнк Вандерлип!» — узнал он прошлогоднего визитера Витте...

Пришлось Николаеву сократить и личные расходы и прежде всего сменить отель, пожиравший основную часть содержания. Он с грустью вспоминал о Париже, где сколько угодно уютных и недорогих гостиниц, в которых можно жить и неделю и две, ничего не платя за номер, при этом еще получая по утрам и вечерам хозяйский кофе с булочкой. Правда, там не найдешь приличной квартиры, если следом за тобой не прибудет обстановка стоимостью по меньшей мере эквивалентной годовой плате... Париж был его домом. В России он бывал все реже, его не тревожила собственная многим русским особая тоска по родине. «Где тепло, там и родина» — это изречение горьковского Луки из пьесы «На дне», запомнившееся ему после посещения берлинского «Deutsches Theater», удивительно совпадало с его нынешней житейской философией.

И все же...

В детстве, занимаясь коллекционированием бабочек, он поражался изворотливости домашней платяной моли, отсутствию системы в полете. Казалось, невозможно предугадать ее маневры, скоординировать с ними движения своей руки. А ведь весь секрет — моль избегает прямых: опасно. В этом и заключена логика всякого мельтешения. Прямые — удел сильных, независимых. Счастливый удел!..

Особенно Николаева унижало чувство зависти к людям,



финансово независимым. Но почему тот же Максим Горький, зарабатывая многие тысячи в России и за границей, живет на кошт среднего студента, а основной доход от выхода книг и театральных постановок отдает на революционную работу? Его подруга тоже пренебрегла богатством, толпой воздыхателей с титулами и мошной... То есть выходило, что сам он, Николаев, вертясь изо всех сил, стремится к пустякам — носится за мнимыми благами.

«Конечно, деньги — это невежество. Только нам без этого невежества никак нельзя», — пришли ему на ум слова героя пьесы Островского, они успокоили и развеселили, вернули к деловым размышлениям.

### 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В то время, когда агент департамента полиции изучал «пасьянс» из газетных вырезок, продумывая новую атаку на Максима Горького, посол Розен в своем кабинете в Вашингтоне играл в настоящий. Устроившись в кресле возле круглого столика с непомерно тонкими ножками, он перекладывал с места на место атласные карты, добиваясь желаемой комбинации. Пасьянс — игра людей, предпочитающих сосредоточенность, значит, и дипломатов. Но сейчас Роману Романовичу просто захотелось занять себя: он ждал с часу на час сообщения об открытии в Петербурге Государственной думы. В тревожно-выжидательном состоянии находилось и всё посольство — комнаты затаились.

О Думе ему вчера напомнил и Фрэнк Вандерлип, приехавший по своим делам в Вашингтон и пожелавший перекинуться несколькими словами по телефону. Любезность Вандерлипа, конечно, продуманная. Иначе это означало бы еще одно бестактное напоминание, что «Нэшнл сити бэнк» не пожелал участвовать в русском займе. Звонок вице-президента банка мог означать и замаскированное извинение в смысле, что лично он тут ни при чем.

То, что при подписании 22 апреля в Париже международного пятипроцентного займа на два миллиарда двести пятьдесят миллионов франков отсутствовали представители Америки, Роман Романович принял как удар и по собственному престижу. Ему до последнего дня казалось, что Уолл-стрит поймет выгоду участия в таком займе: высокий процент привлекателен для открытой продажи облигаций публике, это могло в свою очередь вызвать на бирже подъем курса других русских ценных бумаг и пробудить большую заинтересо-

ванность в экономических делах России, не говоря уже о политических соображениях. Франция, ставшая за последнее десятилетие главным ростовщиком Российской империи, зарывается. Активное участие американцев в займе помогло бы разжать военно-экономические клещи, в которые Кэ д'Орсэ пытается превратить франко-русский союз. И новый заем России — международный только символически: Франция взяла на себя более половины его покрытия — один миллиард двести миллионов франков! Остальное поделили финансовые дома Англии, Австро-Венгрии и Голландии.

Негодую, Роман Романович исподволь понимал, что американцы не доверяют кредитоспособности русского государства из-за непрочности внутреннего положения. Россия уже второй год — театр непрерывных военных действий извне и внутри. Со стороны правительства для карательно-полицейской службы мобилизованы не только донские казачьи полки, но и двести тысяч армейских войск и вся полиция.

Бурлит и его милый фатерлянд — Прибалтийский край, объявленный на военном положении. Там воюет генерал-майор Орлов, командир уланского полка императрицы, интимно близкий, говорят, к ней человек. Этот придворный лизоблюд ухитрился за два месяца расстрелять и повесить без суда почти тысячу человек! Таким произволом можно лишь усилить политический кризис.

Какое-то безвременье, смута... А русская дипломатия должна демонстрировать апломб и самоуверенность. Роману Романовичу было нестерпимо стыдно на днях вручать государственному секретарю ноту с предложением созыва конференции мира в Гааге. Самодовольно и вместе с тем наивно звучало начало ноты: «Принимая на себя почин созыва второй конференции мира, Императорское правительство имело в виду необходимость дать дальнейшее развитие человеколюбивым принципам...». Говорить о миролюбии, человечности, когда внутри собственной страны идет кровавая война правительства с подданными?!

Конечно, нельзя затягивать с заключением займа, торговаться с Америкой, — нужда в кредитах крайняя: надо штопать прорехи, вызванные позорной войной с Японией, и усиливать фронт против революции. Затяжка опасна еще и потому, что Дума могла попытаться опротестовать заем.

О скудности российских финансов напоминала Розену даже обстановка его посольского кабинета: потертая кожаная мебель, тусклая полировка книжных шкафов, кресла —



старые, продавленные: сидишь в них так низко, глубоко, что кажется, ощущаешь пол. Унизительно!

Роман Романович вздохнул. В прошлом году здесь, в Вашингтоне, он нарочно провез Витте мимо грандиозных английского и германского посольств в свое — невзрачный трехэтажный особняк. Он просил Витте помочь добиться выделения средств на покупку собственного здания, как это давно сделано в Париже, Берлине. В крайнем случае получить разрешение снять на большой срок что-то достойное, как в Лондоне, где на пятьдесят лет арендовали в самом центре города, на Чэшем-плейс, шестиэтажный дом с приемными залами, прекрасной квартирой для посла, даже с отдельными комнатами для прислуги.

Так раздумывая, посол продолжал рассеянно составлять пасьянс. Убедившись, что игра не получается, он сказал себе: «Fair play», будто подозревая, что пытается ловчить, отошел к письменному столу. По обе стороны чернильного прибора из розового гранита лежали календари, русский и американский. Ближе к краю стола возле пресс-бювара серебрилась перламутровой инкрустацией шкатулка для сигар. Роман Романович протянул к ней руку, неторопливо открыл, взял сигару и ножницы, стал закуривать. За это время его глаза изучили ярко расписанный численник с означенным черным, как и следовало в будни, днем 27 апреля.

В посольстве знали и подшучивали над страстью барона к дешевому сытинскому изданию. Кое-кто из недоброжелателей видел в этом проявление демократизма посла, позволявшего держать на служебном столе простой мужичкий лубок.

На американском календаре нового стиля значилось 10 мая.

Роман Романович, сравнив даты, подумал: «Будто нахожусь разом в двух временах». Потягивая сигару, он испытывал удовлетворение от своих рассуждений. Впрочем, за границей Роман Романович всегда чувствовал себя большим патриотом, чем в России.

Любопытно, какие свободы потребует русская Государственная дума? Ее открытие должно уже состояться. Роман Романович без особого труда мог представить процедуру — ее многократно обсуждали, собирая материалы из истории парламентов разных стран, ввязывая в это и дипломатов. Он вообразил Зимний дворец, Иорданский проезд, мраморную лестницу, по которой направляются наверх люди в пид-

жаках, поддевках и сюртуках. Церемониймейстеры с жезлами в руках ведут их мимо застывших часовых через Николаевский зал в Георгиевский... Одну сторону тронного зала уже заполнили члены Государственного совета, придворные чины в мундирах, при лентах и орденах. В этой сановной толпе — и Витте.

Распахнется парадная дверь — высшие чины внесут регалии: знамя, печать, скипетр, державу и корону. Следом войдут царь и две царицы — царствующая и вдовствующая, великие князья и княгини. Царь обратится к собравшимся с краткой речью. Затем все прокричат «ура», и после молебна царское семейство с приближенными отправятся к себе, а депутаты на специально поданном пароходе поплывут по Неве на Шпалерную, к Таврическому дворцу, то есть тоже к себе — на первое заседание Государственной думы.

«Вот так-то, государь император. Ваш батюшка Александр III все парламенты именова! «балаганами», вы же благословляете тронной речью».

О царе Роман Романович подумал безразлично. Человек, не имеющий друзей, никому не доверяющий и неудачник еще: в юности отправился в путешествие — получил в Японии саблей по голове от полицейского, женитьба совпала со смертью отца — вместо радостных торжеств траур, стал венчаться на царство — первопрестольная отметила это событие Ходынкoй... К тому же неблагодарный и бессердечный, как сказал о нем даже не очень смелый министр иностранных дел Ламздорф. «Трусливый и недалёковидный, — захотелось дополнить характеристику венценосца Розену. — Хватило ума, когда восстал броненосец «Князь Потемкин», обратиться за помощью к турецкому султану! Ну и был, конечно, высмеян заграничной печатью, даже лондонской «Таймс»...»

Разволновавшись, Роман Романович машинально взял новую сигару, хотя придерживался правила ограничивать себя днем до обеда только одной. Повертел в руках шкатулку, выделанную в виде соснового поленца, с перламутровыми стрелками, напоминавшими серебристую зимнюю хвою.

«Обыкновенная эстляндская сосна. А сигары в ней настаиваются: покуришь — будто в родном бору погулял. «И дым отечества нам сладок и приятен...» Кому как!» — внутренне усмехнулся посол. Шкатулка — презент жены. Месяц назад она уехала в Европу, в Швейцарию, в Коппе.



Врачи обнаружили у их единственной дочери болезнь сердца, считают это следствием ее пребывания в малолетстве в высокогорной столице Мексики. Впрочем, супруга все равно нашла бы, если не у дочки, то у себя, болезнь или иной повод, чтобы покинуть Америку на все лето, как это делала всегда. Большую часть времени года он находился в одиночестве, хотя, увы, тоже не так уж здоров. Покуривая, Роман Романович загляделся на свою руку, покрытую крупными веснушками, на сухую, шелушащуюся кожу, вспухшие темные вены, — обиженно подумал о наступающей старости, об одиночестве. И уж вовсе нелепо вспомнилось, что в Коппе, на берегу Женевского озера, могила знаменитой Жермоны де Сталь, которая пожелала быть похороненной рядом с отцом, не менее знаменитым банкиром Неккером, безуспешно спасавшим государственные финансы Франции от расточительности и глупости Людовика XVI...

«Ничего, послы редко умирают и никогда не подают в отставку, — пришла в голову Розена шутливая пословица французских дипломатов. — И чего сетовать на жену, она ведь не Анна Васильевна, отправившаяся в Сибирь на рудник к мужу-каторжанину, герою 14 декабря...»

\*

Роман Романович поднял глаза на появившегося секретаря посольства, глядел не в лицо, а на руки: ждал телеграммы об открытии Думы.

Чиновник, отвечая на вопрос, отразившийся на лице посла, пояснил:

— Ваше превосходительство, у меня дело, заслуживающее вашего внимания.

— Прошу.

Секретарь открыл кожаную папку с гербом и вынул бумажный лист книжного формата, перегнувшись через стол, положил его перед послом.

Роман Романович достал очки и, не надевая, приставил их к глазам... Чтобы скрыть изумление, он очень низко наклонил голову. Перед ним лежала репродукция фотографии знакомого инженера, кузена вице-президента «Нэшнл сити бэнк» — продолговатое, с прямым носом лицо, сжатые в линию тонкие губы, выдающийся подбородок, прищуренные, в упор смотрящие глаза.

Человек стоял в теплом полупальто с поднятым воротником, в кепи, обутый в сапоги с зашнурованными впереди го-

ленищами. В руке он держал геологический молоток с длинной ручкой. Фотография была групповой: рядом с инженером — две женщины, по обличью эскимоски, по бокам — собаки, а позади — берег покрытого льдами моря.

Розен вглядывался в северянок, мысленно ставя на их место супругу и сестру банкира, заменяя меховую одежду на легкие платья, а среди собак пытался найти пса, скульптуру которого видел в саду...

— Так что же? — спросил он чиновника, не желая сообщать, что лицо человека на фотографии ему знакомо.

— Вашингтон Бейкер Вандерлип, кузен вице-президента «Нэшнл сити бэнк». И знаете, где сделана эта фотография?.. Чукотский берег! Мне сказано достоверительно, что кузены заходили к старому Рокфеллеру, чтобы показать карту Гижигинского края и Чукотки с нанесенными на ней месторождениями золота и нефти, обнаруженными Вашингтоном Вандерлипом. Известно, что Фрэнк Вандерлип — любимец президента банка Стилмэна, две дочери которого замужем за сыновьями Рокфеллера. То есть вполне возможно, что Фрэнк нацеливается организовать консорциум, — он большой мастер. Карта в данном случае — реклама и документ... Далее же будет так: появится какое-то еще одно Сибирское общество с подставным правлением в Петербурге...

— А после экономического захвата русского северо-востока, — продолжил уже посл, — нашим дипломатам придется рассматривать реальное положение, подобное тому, которое привело к потере Аляски. Так? — поощрил он чиновника, понимая, что пафос его заранее подогрет. Конечно же, лица, давшие сведения о переговорах у Рокфеллера, — соперники «Нэшнл сити бэнк».

— Не обратить внимание на возможную потерю Чукотки — это значит подготовить для России в ближайшем будущем невыносимое положение между двух тисков — американского и японского...

Резко, так что Роман Романович вздрогнул, прозвучал телефонный звонок.

— Слушаю.

Сначала у посла поднялись, а затем сдвинулись брови, образуя над переносицей розовую складку гнева. Потом он глубоко вздохнул.

С другого конца провода приятным тенорком справились:

— Вы, кажется, не расслышали? Говорит Фрэнк Ван-



дерлип. Повторяю, я искренне рад открытию первого русского парламента. Прошу принять мои поздравления!

Розен наконец произнес «спасибо», в душе бесясь, что русские новости государственной важности узнает позже американских банкиров. Но главный сюрприз Вандерлип приберег:

— Одновременно мистер Витте подал в отставку...

— Э-э, да-а, — промямлил Розен, почувствовав себя вовсе скверно. Это была неожиданная и неприятная новость: в душе он рассчитывал со временем занять пост министра иностранных дел в кабинете Витте. И вот такого кабинета уже нет, а его председатель — блистательный политик — отправлен в расцвете сил на покой. Вандерлип, вероятно, ждет от посла каких-то разъяснений, ибо государственная голова Витте, его влияние были серьезными козырями в финансовых переговорах. Теперь выходит, и этот «туз» бит! — Розен показал секретарю жестом, что он свободен, сказал в телефонную трубку:

— Благодарю вас за внимание, за поздравление, хотя официальных подтверждений у меня еще нет, — ответил Розен, постепенно приходя в себя и спеша закончить разговор. — Прошу передать мои наилучшие пожелания вашей очаровательной супруге и кузену.

— О, Вашингтон снова направился в Сибирь будить белого медведя!

— Пусть будет осторожен: белые медведи и зимой не спят, не то что североамериканские гризли.

На другом конце провода раздался столь громкий смех, что посол был вынужден отдалить телефонный рожок от уха.

— Надеюсь, что первый русский парламент будет более заинтересован в переброске экономических мостов. Белый медведь и гризли смогут обменяться искренним, как бы это выразиться, лапопожатием. Х-ха-ха!.. Во всяком случае, и я и Нарцисса будем рады видеть вас снова в нашем доме.

Во фразе Вандерлипа посол обнаружил несколько намеков, в частности, что «Нэшнл сити бэнк» не прочь возобновить беседы о перспективах экономических взаимоотношений на новой основе.

«Возможно, вице-президент ведет двойную игру, этот «бедный фермерский мальчик из Чикаго». В самом деле, такой симпатичный, розовощекий, элегантный... Молод, вот и мил. Даже у гиены щенки выглядят милыми и трогательными.

ми. Кого этот Вандерлип напоминает?.. Да! Агента Николаева. И не только внешними чертами лица, но и собранностью, напористостью, здоровьем.

Итак, Роман Романович, — констатировал посол, — все получилось по Максиму Горькому: «сместить и покарать Витте» — раз, «не давать денег царскому правительству» — два. Остается послать в министерство что-то похожее на прошлогоднюю телеграмму царю об итогах портсмутских переговоров: «Мы приложили к исполнению ваших приказаний весь наш ум и русское сердце; просим милостиво простить, если не сумели сделать большего», — посол обращаясь к собственной тени, диагональю пересекавшей буковый паркет кабинета, подумал, что тень лишает человека пусто-го украшения, регалий.

Без мундирной мишуры и в самом деле Роман Романович ни единой чертой не обнаруживал своих высоких званий — ни служебного, ни придворного, более походил на квакерского проповедника. Длинный, до колен сюртук обтягивал сухощавую узкую фигуру, над которой возвышалась откиннутая назад небольшая голова с очень усталым, даже изможденным лицом, снизу заостренным седеющей бородкой клином, а сверху, наоборот, приплюснутым широкой гладкой прической. Совсем невыразительными были глаза — тусклые, в треугольниках припущенных век.

— Alter ego, — сказал своей тени Розен.

## ГЛАВА XIV

### 1. БРАВО, РУССКИЕ!

Джона Мартина оторвали от стола воющие звуки. Он обернулся к раскрытому окну. Из-за костела, расположенного на противоположной стороне перекрестка, показалась процессия, вышедшая будто из колониальных времен, — большой отряд людей, облаченных в красочные шотландские костюмы: клетчатые юбки — «килтс», безрукавки с позументами, круглые шапочки с лентами, башмаки с высокими каблуками и огромными металлическими пряжками.

Впереди шествовал оркестр волынщиков. Процессия, огибая угол Бэкон-стрит, направлялась в улочку, ведущую к портовой гавани, как в зеленый туннель, — так тесно над



ней срослись вершины вязов. Из-за садовых куш выступали старинные кирпичные дома, увитые плющом, со множеством окон разных форм, расположенных в самых неожиданных местах и не всегда симметрично, с фонарями мезонинов, балконами. Высокие крыльца вышербленными ступенями спускались прямо к мостовой из тесаного камня, отделяясь от проезжей части низкими чугунными решетками перед фасадом.

Эти дома, за минуту до того спящие, вдруг огласились звонкими голосами, из окон вынырнули наскоро покрытые платками женские головки. Взлетали занавески, жалюзи. Кое-где с балконов спешили свесить пестрые ковры, бросали цветы. Гремели двери, выпуская ребятишек, которые присоединялись к процессии или обгоняли ее, при этом вопя с радостными выражениями на лицах.

Возле отеля «Принц Уэльский» — в одном из его номеров и находился Джон Мартин — шотландцы остановились, задрали к небу, точнее к облепленным зрителями окнам, начищенные до золотого блеска трубы с пузырями-мехами и, надувая щеки, огласили окрестность дикой мелодией...

Бостон хотя и вскидывал вслед за Нью-Йорком небоскребы — триумфальные колонны в честь американского урбанизма, но делал это менее охотно, чем, например, Чикаго. В особняках — копиях строений британского Плимута или Колчестера, — дремавших под витиеватыми крышами, как под бабушкиными кружевными капорами, еще жили люди, отцы которых по этой вот самой Бэкон-стрит также бегали за отрядами «босоногой» армии Вашингтона, а раскидистые дубы и вязы, чьи ветви сейчас лезли в зарешеченные окна со старинными свинцовыми рамами, помнили теплоту рук тех, кто сажал их три века назад, — беженцев-пуритан. Бесчисленные «ню», которые переселенцы из-за океана второпях понаставили к названиям городов и местечек, свидетельствовали о тоскливых оглядках на оставленные навсегда берега Великобритании. И даже сама обетованная земля, ступив на которую «отцы-пилигримы» поклялись не притеснять друг друга, стала называться Новой Англией. Бостон желал подчеркнуть свою англосакскую ортодоксальность. Все эти Чикаго, Сан-Франциско, Буффало по сравнению с ним — разноразличные города-выскочки...

«Пошли сбрасывать заморский чай», — шутливо подумал Джон Мартин о шотландцах, представляя картину «Бостонское чаепитие», которая занимала полстены в ве-

стибюле гостиницы: дюжие парни разгружают прямо в воду английские парусники. Впрочем, этот сюжет, в живописи и в гравюрах, можно было увидеть где угодно — один из популярнейших у американских художников. В ночь на 16 декабря 1773 года бостонцы, протестуя против поборов королевской метрополии, тайно проникли на стоявшие в порту корабли Ост-Индской компании и, сломив сопротивление охраны, побросали в море основной груз — тюки с чаем. Этот эпизод послужил началом активной борьбы с английской короной...

Распорядитель оркестра волынщиков несколько раз взмахнул длинным жезлом — в такт движению его руки задиралась куца, расшитая серебряной канителью курточка и распахивался скрепленный на плече бронзовой застёжкой клетчатый плед, — грохнули барабаны, залились волынки, и процессия тронулась.

Джон Мартин, провожая шотландцев взглядом, вдруг среди уличных зрителей заметил высокую фигуру Максима Горького, догонявшего колонну. Вслед поспешали Буренин и Зиновий Пешков.

«Удивительны эти русские! До всего им дело», — подумал Джон, возвращаясь к столу, на котором лежала отпечатанная на машинке рукопись — «М. Горький. Царь, Дума и народ».

\*

Агитационная поездка Максима Горького после помех, чинимых властями и недоброжелателями, проволочек с предоставлением помещений для собраний все-таки состоялась.

Для начала было решено ограничиться публичными выступлениями в трех крупнейших культурных и промышленных центрах востока страны — Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне. И хотя в этих городах уже успел поораторствовать в качестве «отца» русской революции Николай Чайковский — еще одна помеха! — это не смутило Алексея Максимовича. Когда Буренин высказал сомнения, он ответил:

— Сейчас «отец» Чайковский, раньше «бабушка» Брешко-Брешковская. Такое обилие эсеровских родственников у революции!.. Я не собираюсь рекомендоваться столь ответственным родичам, а, подчиняясь партийной дисциплине, просто буду исполнять дело, в котором заинтересованы большевики.

Морису Хилквиту и Абраму Кагану хотелось, чтобы Мак-



сим Горький выступал от социалистов вообще, агитируя и за американских, а конкретно — за Хилквита, как кандидата в сенат от социалистической партии на предстоящих выборах. Любопытно, что ранее такую же политическую позицию «социалиста вообще» предлагал ему занять и Николай Чайковский. Отметив это родство душ, Алексей Максимович тем не менее не стал обострять отношения с американскими лидерами, отделался шуткой:

— Если я буду призывать ваших соотечественников к политической революции, то либеральные буржуа дадут мне деньги?

— Конечно, нет.

— Вот видите. Лучше уж мне появляться на трибуне только в звании русского писателя, социал-демократа жаждущего свержения царизма.

— А мы вас за такую узость будем ругать в газетах.

— Ну и что же?! — Алексей Максимович рассмеялся на эту угрозу Кагана, обиженного, что Горький так ничего и не написал для его «Форварст». — Тогда ваша буржуазия, наверное, даст мне денег. Ругань же перетерплю — привычен.

— О, мистер Горький, вы становитесь совсем американцем, — кисло отшутился Хилквит и пообещал: — Мы непременно встретимся в Бостоне. У меня там дело.

Никакого особого дела у Хилквита в Бостоне не предвиделось, но он понимал, что приезд Максима Горького в Соединенные Штаты поднял в общественных глазах значение социалистического движения. Лишний раз показаться вместе с русской знаменитостью — это способствовать росту и своего политического престижа.

Максим Горький вовсе не желал идти на поводу у американских социалистов, которые, на его взгляд, были заражены иллюзиями реформизма и американской исключительности. Подумать только — Уилшайр и Брисбен поздравили его с открытием Думы?!

Впрочем, чего и ждать от иностранцев, социалистов в смокингах, если Думу приветствовал сам Плеханов? Меньшевики увидели в ней орган народного представительства и даже общенациональный политический центр, с помощью которого социал-демократия будто бы сможет координировать свои действия с другими партиями — понимай, буржуазными, — чтобы влиять на царизм. А эсеры объявили, что по случаю открытия Думы они распускают свою боевую

организацию, словно откликнулись на слова Плеханова, высокомерно брошенные им герою Декабрьского восстания — московскому пролетариату: «Его сила оказалась недостаточной для победы. Это обстоятельство нетрудно было предвидеть. А поэтому не нужно было и браться за оружие».

Кадеты на своем первом съезде в январе 1906 года тоже показали мировой буржуазии политическую «респектабельность»: съезд отказался одобрить проект заявления, что он не признает контрреволюционные последние займы царя. Словом, позор и малодушие, отрицание революции!..

Конечно, не так-то просто объяснить американцам новую политическую ситуацию в России, убедить их, что Дума — всего лишь маневр насмерть перепуганной царской клики. Горький, как только прибыл в Нью-Йорк, настойчиво повторял, что именно сейчас, когда царизм отступил, надо помочь сбросить его. С призывом о моральной и материальной поддержке русского освободительного движения Алексей Максимович обращался ко всему народу Соединенных Штатов. «...Хочу сделать так, чтобы иностранцы давали деньги мне, а не правительству, обалдевшему от страха», — писал он. То есть писатель рассчитывал найти отклик на становление будущей Российской республики не только у рабочего класса, у простых людей, но и в среде сочувствующей интеллигенции и даже радикально настроенной буржуазии, в той ее части, которая уже поняла, что царская власть обанкротилась финансово и политически, хуже того — вызвала опасный взрыв народного возмущения, чья разрушительная волна могла бы докатиться и до Америки... Последнее имел в виду и редактор — издатель журнала «Аутлук» Лаймон Эббот, открывавший митинг Николая Чайковского в Карнеги-холл, когда в своей речи доказывал необходимость свержения изжившего себя царского режима, оттолкнувшего даже умеренные элементы. К мнению Эббота прислушивались и имущие: издатель-пацифист был близок к Теодору Рузвельту — президент печатался в его журнале.

Вот почему Алексей Максимович в своих письмах из Соединенных Штатов подчеркивал: «Сведущие в делах солидные люди говорят, что если в России сшибут царя, какое бы правительство ни встало на его место, — американцы дадут ему денег». Утверждение Горького перекликалось и с целым рядом минувших событий, отражавших недоверие зарубежных деловых кругов к прочности императорской власти.

В марте прошлого года французские финансисты, при-



ехавшие из «Лионского кредита» в Петербург, чтобы подписать документ о займе в триста миллионов рублей, услышав о разгроме царской армии под Мукденом, даже не явились 14 марта, то есть в день, согласованный для официального оформления контракта, в министерство финансов. Еще выразительнее получилась сцена, имевшая место уже после заключения Портсмутского мира. Тогда группа банкиров не только из Франции, но и из Германии, Соединенных Штатов и Англии, тоже прибывших в русскую столицу с целью предоставления займа, настолько перепугалась начавшейся Октябрьской стачки, что буквально сбежала из-за стола переговоров!

«...Американцы — Морган и К° — уехали из Питера, не дав ни копейки денег, — резюмировал это событие Максим Горький. — Сказали, что дадут лишь тогда, когда страна будет спокойна». Под «Морган и К°» подразумевались молодой Морган и Перкинс, тоже представитель моргановского банкирского дома, человек, с которым советовался сам Рузвельт.

Учитывая настроение и этих кругов, Алексей Максимович теперь пришел к выводу, что, возможно, он совершил тактическую ошибку, когда отказался принять в гостинице «Бельклер» Оскара Штрауса, тоже входившего в число влиятельных людей рузвельтовской администрации — возглавил недавно созданное по распоряжению президента министерство торговли и труда, кроме того, председательствовал в национальном комитете помощи пострадавшим от еврейских погромов. О необходимости поискать контакт с Оскаром Штраусом намекали Горькому не раз и Хилквит с Каганом.

Словом, проявляя дипломатию, Алексей Максимович отправил к этому либералу и филантропу в качестве своего представителя Николая Евгеньевича Буренина, чтобы договориться о встрече. Однако Штраус не принял уполномоченного, и, конечно, не из-за обиды, что его самого раньше не пожелали видеть, а прежде всего потому, что отчетливо уяснил суть политической миссии Горького и личное марксистское мировоззрение писателя...

Нет, вовсе не любому русскому правительству — противнику царского режима — готовы были раскрыть кошельки «солидные деловые люди», а только тому, которое бы их устраивало. Во всяком случае, посланец революционной России, доверенное лицо большевиков, вызвал у них пароксизм страха и ненависти: он оказался врагом не только цариз-

ма, но и вообще отрицал эксплуататорскую идеологию и капитализм — в масштабе всего мира! Вот так и утверждал в телеграмме Хейвуду и Мойеру: «День справедливости и освобождения угнетенных ВСЕГО МИРА близок». Как говорится, яснее ясного...

Открытие Государственной думы и предоставление крупного международного займа царскому правительству в Париже еще более осложнило положение первой большевистской миссии в Соединенных Штатах.

\*

...То, что Максим Горький перед поездкой в Филадельфию и Бостон почувствовал себя совершенно уверенно, благоприятно сказалось на настроении его спутников и хозяев дома на Гримс-хилл. Совет профессора Мартина — быть на митингах поосторожней в выражении своих революционных чувств, Алексей Максимович парировал шуткой: «Вот и поедемте со мной. Вы будете пропагандировать «осторожный» фабианский социализм, а я боевой марксистский. В таком случае, надеюсь, появится возможность перетянуть фабианцев на свою сторону, то есть пополнить ряды марксистов». Тем неожиданнее, когда встал вопрос, кому сопровождать Горького, сам писатель предложил:

— Мне будет очень приятно, если согласится Джон Мартин.

Профессор из своего углового кресла уставился на Горького: «Вы что, серьезно?!» — и встретил пристальный, ждущий взгляд. Такое же выражение профессор поймал в глазах Марии Федоровны, и, вовсе странно, так же просительно смотрела на него Пристония, то есть и она поддерживала идею русских.

Сдержанно, по-деловому обосновал просьбу Максима Горького Буренин. По мнению Николая Евгеньевича, если доклад «Царь, Дума и народ» будет не просто вольно переводиться кем-то из русских политэмигрантов, а зачитываться американцем, представителем комитета «Друзья русского народа», — так покажется солиднее. Этому же человеку можно и открывать митинг вступительным словом о Горьком. Что касается бытовых забот — их Буренин брал на себя.

— А я буду вашим толмачом, — предложил Зиновий.

Джон Мартин, поерзывая в кресле, еще не успел дать ответа, а в гостиной вроде бы опять все решили, распреде-



лили роли. Сказать «нет» теперь ему казалось уже неловко. Странно получалось! С той минуты, как Уэллс и Хантер попросили приютить Горького, Джон трудился на русскую революцию, причем совсем не на ту, какую он, фабианец, представлял. Раньше ему казалось, что она должна заменить тираническое правление царя конституцией, подобной американской или английской, а по Горькому — отдавала власть и экономическую жизнь страны в руки низов, в первую очередь рабочих. Такое развитие Джону казалось опасным. И все-таки он вошел в число активистов нового горьковского комитета и уважил просьбу Буренина — получать на себя всю почту из России и Германии без упоминания фамилии «Горький» на конвертах, то есть стал еще и посредником в конспиративной переписке русских революционеров, связным. Из-за них же перессорился с обществом этической культуры, с самим его главой Феликсом Адлером...

Первое выступление с докладом «Царь, Дума и народ» состоялось 19 мая в Нью-Йорке, в Карнеги-холл. Были заняты все три тысячи мест — партер, четыре овальных яруса и ложи бельэтажа. Пошла на пользу даже комическая путаница с Чайковскими, ранее вызвавшая гнев у Алексея Максимовича: Мартин во вступительном слове напомнил, что начало истории Карнеги-холл связано с приездом в Америку великолепного композитора Петра Чайковского, а с нынешнего дня — с еще одним великим русским, Максимом Горьким, писателем и борцом за свободу.

Через неделю, то есть 28 мая, Максим Горький прочитал свой доклад уже на митинге в Гранд-опера в Филадельфии, а 29-го был со своими товарищами в Бостоне.

Джона Мартина поразила массовость и радушие во время встречи русского писателя в этом чопорном, избалованном литературной славой городе, американских Афинах, как тут любили говорить. Несмотря на дождь, площадь перед Южным вокзалом была заполнена народом. Обилие красных флагов, приветственных табличек и огромный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не оставляли сомнений в политической направленности демонстрации.

Полицейские, выстроившиеся редкой цепью, ограждали своими серыми касками, как буйками, человеческое море. Они чувствовали, что им дело найдется, и ожидали сигнала начальства. Один, вероятно наиболее ревностный, устремился за рослым железнодорожником, одетым в комбинезон,—

парень пробивался к Максиму Горькому, садившемуся в автомобиль.

— Я хочу пожать вам руку, мистер Горький! — крикнул рабочий.

Алексей Максимович успел только обернуться, автомобиль сразу же тронулся. Видно, организаторов встречи заранее предупредили не задерживаться с писателем на площади. Полицейские, прокладывая в толпе путь машине, так усердствовали дубинками, словно нарочно хотели отравить людям радость.

Настроение Алексея Максимовича ухудшило еще и то, что номер ему был заказан в слишком дорогой гостинице «Принц Уэльский». Пока проходили обширный, с колоннадой вестибюль и два марша широченной, укрытой коврами лестницы, он успел услышать кроме опостылевшего «Америка — великая страна, сэр!» еще и сведения о том, что в гостинице в разное время останавливались президент Грант и король Великобритании Эдуард VII.

Буренин с помощью никелевой монеты прекратил поток рекламы, рассчитанной на то, чтобы убедить русских гостей, что они вступают в гостиничный Эдем...

— Мистер Мартин. Иван Иванович!

Профессор обернулся и увидел улыбающегося Зиновия Пешкова.

— Я стучал, стучал, а вы не отвечаете...

— Немного задумался, — пояснил Мартин. — Как ваша прогулка с шотландцами?

— Значит, вы видели?! А мы ведь хотели тайно, — начал было пояснять Зиновий, но в номер входил Максим Горький. — Алексей Максимович, профессору уже известно о нашем походе...

— На то он и профессор, — возразил Алексей Максимович. Поздоровавшись, спросил: — Одно не пойму, почему эти замечательные ребята задумали свой спектакль в будний день.

Зиновий передал вопрос Мартину и возвратил ответ:

— Воскресенье у пуритан — только для бога: молятся, читают библию, благочестиво беседуют. Все салуны закрываются с полуночи в субботу до шести утра понедельника. Так что, если хочешь напиток, посещай кабак с заднего хода, будь уверен — открыт! Верно, Иван Иванович? — последнее предложение Зиновий добавил от себя.

— Иес, да, — подтвердил Джон Мартин, твердо запом-



нивший три русских слова — «да», «нет», «пожалуйста», и укоризненно покачал головой: — В столице симфонической музыки вы предпочли уличную?!

— Народную, — поправил Алексей Максимович.

— Американской народной музыки еще нет. Если не считать ужасной «Янки дудль».

— Почему же? Мы слушали народную музыку на Конн-Айленд, а как пела ваша Лизи?..

— Это негритянские песни, переведенные к тому же очень вольно.

— Язык в данном случае — всего лишь струны, инструмент. А выражение чувств, мыслей — народное. То, что вынесли сегодня шотландцы на... — Алексей Максимович затруднился с названием улицы.

— На Бекон, — пришел на помощь Зиновий. — Вроде Нью-Йоркской 5-й авеню...

— Это шагал по главной улице города тот, кому надлежит и в искусстве занимать главную дорогу, — народ! Искусство только тогда истинное, когда вышвыривает человека с лежащего, инертного состояния, как примерно нас сегодня из постелей. Не позволяет спать!

— Значит, духовный разбой! — Джон Мартин начал улыбаться, попадая под настроение Максима Горького. — Они, эти уличные волынщики, и побить могут.

— Если не ту ноту возьмем, то есть антинародную, — возразил Максим Горький, тоже улыбаясь. — Так ведь и правильно, что побьют! Кому пожалуешься на народ?

— В Большой опере, где вам сегодня выступать, привыкли к классике, — продолжал тему «народности» профессор и двусмысленно добавил: — Придется учитывать это.

— Ничего, Джон. Английский язык тяжел, вроде утюга. Надеюсь, некоторые шероховатости нашего с вами доклада сгладятся при переводе.

\*

Максим Горький стоял на сцене бостонской Большой оперы с таким спокойным видом, будто и не выходил из стен филадельфийской Грэнд опера-хаус, где выступал накануне. Он терпеливо ждал, когда закончатся аплодисменты, возгласы, размахивание платочками. В зале собрались социалисты, либералы, сочувствующие русскому народу и просто любопытствующие.

Джона Мартина удивляли спокойные и внушительные ма-

неры писателя, умение держаться естественно в любой аудитории. Его выдержка, даже презрительное безразличие к проявлению вражды казались невероятными. Профессор, прислушиваясь к русской речи, подумал, что она стала ему знакомой, даже близкой, но было куда удивительней, что для него — фабианца — лестно прозвучала фраза Максима Горького: «нашего с вами доклада», хотя и невольно пристегивала к точке зрения марксиста, делала единомышленником. Для аудитории так оно и было. Читая английский перевод текста «Царь, Дума и народ», он вслед за Горьким клеймил Витте, хотя со времени портсмутских переговоров и особенно появления манифеста 17 октября чувствовал к нему симпатию, разоблачал Думу, в которой видел первый существенный шаг на пути демократизации России, осуждал партию русских либералов — конституционных демократов, хотя умеренность, стремление добиться социального прогресса в рамках законности были ближе фабианскому образу мышления, чем крайний радикализм большевиков, издевался над царем Николаем II, зная, что американская печать после открытия Думы именует его «славным малым», и, повторяя Горького, даже предлагал:

—Россия от всего сердца просит уважаемую семью Романовых избрать своей резиденцией Данию.

Мартин не очень понимал иронию фразы, так как не знал, что по женской линии российская императорская фамилия издавна пополнялась за счет германо-датских принцесс, но произносил фразу таким тоном, что публика одобрительным хохотом поддерживала это предложение. Очень жаль, что Максим Горький не знает английского. Дело даже не в точности толкования доклада «Царь, Дума и народ», а в том, что чувство ненависти, которое писатель вкладывал в слово «царизм», и, наоборот, светлый пафос — в «народ», «революция», в других устах как бы теряло свою мощь. Поэтому Джону Мартину казалось, что он все-таки очень приблизительно передает речь писателя, Горький временами уходит от согласованного текста. Так, на одном из первых митингов в Нью-Йорке он просил принимать его не только как писателя, но и как собрата по труду, бывшего рабочего и соратника по борьбе за свободу угнетенных.

По-другому, чем в официальных залах, Горький разговаривал и в цехах знаменитого паровозостроительного завода Болдуина в Филадельфии. Администратор провел его по про-



изводственным участкам, желая поразить новейшей техникой.

— Такие заводы и у нас есть, — заметил под конец экскурсии писатель. — Крутится у вас тут, пожалуй, все побыстрее... Но я не вижу особой разницы в главном: между тяжелой усталостью американского рабочего и нашего. Рабочий пот — он, вероятно, выжимается одинаково обильно и в Америке, и в России.

Говоря это, Алексей Максимович задержался возле парового молота, на котором кузнец с подручными ворочал, обжимал гигантскую, пышущую жаром красную болванку. Сосредоточенные лица рабочих были покрыты крупными каплями пота, освещаемые отблесками раскаленного металла и всполохами искр, казались воспаленными.

Обменявшись дружественным жестом с кузнецами, Алексей Максимович заметил:

— Вот они, герои моей будущей книги!

Джону Мартину, сопровождавшему писателя в обходе завода, показалось совершенно необходимым сгладить неловкость, и он взялся сравнивать американские локомотивы с английскими, находя первые более простыми по конструкции и дешевыми.

Экскурсовод-инженер, поняв маневр, подтвердил, что Пенсильванская железная дорога — ее главное управление располагалось как раз в Филадельфии — довольна болдуинскими локомотивами, их скоростями и выносливостью..

Не сдержал, как показалось Мартину, своих чувств Горький и на первом приеме в филадельфийском «Франклин Инклабе». Тут он сумел превратить в политический фактор даже франклинский громоотвод! На благожелательное напоминание, что Филадельфия, где писалась «Декларация независимости», традиционно симпатизирует свободолюбивым устремлениям и что в 1890 году ее граждане послали Александру III протест по поводу бесчеловечного обращения с заключенными на сибирской каторге, писатель ответил:

«Ловец молний», Бенджамин Франклин, научил нас отводить небесные стрелы, но сейчас в России сам народ творит грозу — революцию. Очистительную грозу! Так что молнии и громы стали его союзниками, карающими царя и опричников. В качестве же «громоотводов» ныне выступают люди, которые хотели бы свести революцию всего лишь к небольшим реформам; к платоническим думским дебатам».

Раздались одобрителльные хлопки, но одновременно — и

возражения на «жесткость горьковской идеологии». Один из журналистов привел в качестве довода слова того же Франклина: «Моральная наука научит людей перестать быть волками по отношению друг к другу». Но Горький ответил, что под волками, очевидно, Франклин подразумевал все-таки тех, кто не давал американскому народу дышать в полную грудь, жить людьми, а не рабами колонизаторов — английских и прочих.

После такой отповеди продолжать тему «Франклин и свобода» никто не решался. Общим молчанием воспользовался сидевший в отдалении здоровяк с благодушным выражением на красном лице. При первых его словах: «История любой страны кроится по особой колодке» — Горькому прошептали, словно поясняя своеобразный характер комментария: «Владелец обувной фабрики, горячий поклонник вашего Толстого». Оратор, наверное, рассчитывал более заинтересовать гостя в последнем своем качестве, так как заговорил о недавнем посещении Ясной Поляны.

Он был чрезвычайно удивлен, застав великого старца не за литературной работой, а... за чеботарной: Лев Николаевич заканчивал шить мужские сапоги!.. Естественно, между ними завязался профессиональный «сапожный» разговор. Американец, выразив восхищение личностью Толстого, тем не менее сказал откровенно, что рабочим к себе на фабрику его не взял бы. Почему? Слишком медленно работает: «И мне невыгодно, и свою семью не прокормите». На прощание, желая сделать для русского гения что-то хорошее и в данный момент наиболее целесообразное, он показал новейший метод затирки швов...

Лев Николаевич, надо полагать, оценил открытость души посетителя из Америки, так как подарил ему не книгу, а собственное сапожное изделие. Сейчас эта пара грубо, но надежно пошитых рабочих башмаков из телячьей кожи висела в дубовой рамке над каминным карнизом в кабинете владельца фабрики.

Рассказ много раз прерывался смехом, но Максим Горький слушал серьезно. Когда толстовец закончил, он заметил:

— Остается надеяться, что мистер фабрикант запомнил самое главное — сколь крепкими руками сработаны шедевры русской литературы...

— Конечно, конечно, им не будет износа, — грубо скалбмурил рассказчик, которому льстило внимание Максима



Горького. — Но я хотел сказать о другом, о том, что великан Толстой стоит за сотрудничество труда — рабочего и умственного, то есть руководящего в политике и в промышленности, он, значит, отрицает целесообразность кровавых столкновений...

— Думаю, есть смысл еще раз обратиться к урокам вашей истории, к временам Франклина, — резко оборвал тираду фабриканта-толстовца Горький. — Даже филладельфийские квакеры, идейные, как известно, противники кровопролитий, согласились дать денег на зерно, когда встал вопрос о свободе родного города. Вы все, не сомневаюсь, помните, что подразумевалось под зерном... Зернистый порох!

Раздались громкие аплодисменты. Теперь от них не удержались и те, кто только что обвинял Горького в «идеологической жестокости»...

Признаться откровенно, Джон Мартин не чаял закончить эту поездку: Максиму Горькому нужен человек, более близкий по своим политическим воззрениям. Кроме того, он тревожился за безопасность писателя. Ввязался вот сегодня в нелепое маскарадное шествие шотландцев. Хорошо, что рядом с ним надежный человек — Николай Буренин, которого, казалось, ничем нельзя вывести из себя.

«А кто меня охраняет?.. — подумал профессор с грустной усмешкой. — Пристения ничуть не испугалась отправить мужа в это путешествие. Считает, что ему-то никакие провокации не угрожают.

Джон Мартин встрепнулся: он услышал знакомое слово «Дума», сказанное Максимом Горьким, — значит, подошла к концу первая часть доклада. Сейчас предстоит вставить ему, чтобы произнести текст перевода. На чистый, очень молодой лоб профессора, на который скатывались мыском русые волосы, набежали тонкие морщинки.

И опять на трибуне с ним произошло странное превращение: чем далее углублялся в чтение текста, то и дело прерываемого аплодисментами напряженно слушавшего зала, тем более и сам заражался негодованием под воздействием страшных фактов, которые помимо воли подчеркивал жестами и выражением лица.

— ...Только в течение 1905 года царем было убито 14 654 человека и ранено 18 033. Каков для «славный малый»! Всего же за его царствование повешено и расстреляно больше людей, чем за время трех предыдущих царей. Человек по имени Николай Второй взшел на трон, ступая по трупам

тысяч верноподданных. Если бы можно было собрать всю кровь, пролитую им, мы бы увидели перед собой большое и глубокое красное озеро!

...22 губернии в настоящее время на краю голодной смерти; распространяются цинга и тиф; отряды солдат рыщут по стране, расстреливая виновных и невиновных. Ужас смерти, анархия царят по всей России. Народ, сцепивши зубы и сжимаемая кулаки, готовится к бою.

Джон Мартин, уже не по тексту, повторил громче, подняв кулаки:

— К бою!

Пока он сходил с трибуны, вновь уступая место Максиму Горькому, зал бушевал.

— Пусть сильнее грянет буря! — воскликнула девушка, поднимавшаяся в первом ряду, — в начале собрания она выступала с декламацией «Песни о буре́вестнике» в ее собственном, как сказала, переводе.

— Bravo, русские! — раздалось уже с другой стороны. И зал снова подтвердил этот возглас овацией.

Особенно трудно приходилось Джону Мартину при чтении третьей части доклада, так как аплодисменты возникали ежеминутно.

Вслед за Горьким он повторил:

— Россия стоит на пороге революции. За этим порогом — свобода!.. Нелепо было бы рассматривать революцию как мятеж голодной черни, вызванный отчаянием. Нет, это движение цивилизованных людей, руководимых сознанием необходимости свободы и труда на благо народное.

Русский народ несет в своей душе идеал справедливости и добра, и каждый, кто служит ему, кто хочет помочь ему добиться победы, содействует победе добра и справедливости!

В заключение Джон Мартин, как и в Филадельфии, прочитал обращение к гражданам города с просьбой оказать помощь развертыванию освободительного движения в России. Предлагалось вносить наличные деньги сейчас или слать почтой на Стейтен-Айленд на имя Максима Горького. Писатель направит эти средства далее по назначению. Мартину никак не хотелось говорить: «На закупку оружия», — слушатели, тронутые обаянием далекой угнетенной страны, по его мнению, проникнутся еще большим сочувствием к ней, если будут понимать Максима Горького как сторонника американского образца свободы. То есть Мартин считал, что он



всего лишь несколько американизирует идею Горького для его же пользы.

Пока профессор зачитывал обращение, Алексей Максимович, стоя рядом с ним, тревожно-ожидаяще вглядывался в зал. Он словно повторял вопрос из очерка «Сан-Франциско»: «Кто же поможет родине моей, которая хочет свободы, имеет право на свободу, не может жить без нее и все еще не может вступить в бой за свободу? Кто?!»

\*

Дипломатию Джона Мартина опрокинул ровно через час сам Максим Горький. Социалисты Бостона в честь русского собрата дали в одном из скромных ресторанов банкет. За столом, расположенным в виде каре, освещенным низко подвешенной двухъярусной люстрой, собралось около сотни мужчин и женщин. Присутствовал и председатель партии Хилквит, сдержавший обещание — приехать в Бостон.

Алексей Максимович сидел так, что его взгляд упирался в транспарант с надписью «Welcome Corgy!», приставленный наклонно к стене.

— ...Народ говорит: «Мы требуем контроля над финансами, требуем земли, требуем амнистии политзаключенным. Если Дума подчинится царю, то народ откажется от нее».

Джон Мартин взглянул в лицо Максиму Горькому и понял, что писатель не верит в способность Государственной думы решить хотя бы один из этих вопросов. И действительно, Горький сразу же продолжил:

— Россия станет республикой! Народ не примирится ни с чем другим. Земля будет национализирована, а церковь — отделена от государства. Как, впрочем, и в Соединенных Штатах.

Кто-то из присутствующих заметил:

— Пункт о церкви был вписан тактически, по предложению Джефферсона, чтобы избежать в то сложное время религиозной борьбы. Связь же общества с религией в Америке осталась, и самая тесная... Джон Браун во имя божеской справедливости добивался ликвидации рабства.

— Вот ему общество и подарило пулю, — ответил Горький. — Ему и его сыновьям. У нас с именем бога поп Гапон привел под царские пули тысячи христиан, женщин и детей... Религия — сила жестокая и реакционная, а бог — сторож при мешке с золотом.

— Но ваш Лев Толстой — великий христианин...

— Толстой — противник официальной церкви, — пришел на помощь Горькому сидевший с ним рядом Морис Хилквит. Он хотел отвлечь внимание от опасной темы: ответы Горького завтра же использует против него и против американских социалистов клерикальная печать. И без того газеты и журналы католиков и баптистов, методистов, пресвитерианцев и иудеев осуждали на разные лады русского, пренебрегшего неприкосновенностью семьи. Всех превзошел в оскорблениях трентонский епископ Макфол, который на собрании католических организаций поносил Горького как «негодяя», «подлеца» и даже «развратителя».

Алексей Максимович мог лишь догадываться о баталии, которая разгорелась в Бостоне при организации его выступления. Вначале городские власти вполне rispetабельно заявили, что прежде, чем дать разрешение на публичное выступление, следует позаботиться о помещении. В свою очередь владельцы залов возражали: подписать контракт можно только тогда, когда будет официальное разрешение на митинг. Таков порядок.

И снова представители комитета Горького отправились в муниципалитет. На их новое обращение последовал уже другой, но тоже резонный ответ: появилось ранее непредусмотренное осложнение — протесты против приезда Горького в Бостон. Их подали уважаемые граждане, как из числа гражданских лиц, так и духовенства. И, конечно, эти заявления необходимо рассмотреть с должным вниманием, а потом... Словом, затяжка за затяжкой, а правильнее — явный сговор.

Ведь все было продумано заранее, чтобы провести встречу с Максимом Горьким как должно. Существовала договоренность с общественной деятельницей из Бостона Алисой Стоун Блэквелл, которая согласилась предоставить Максиму Горькому огромный зал, вмещающий более трех тысяч человек, — Фэнил-холл. И вот теперь мисс Блэквелл, изучив, по ее словам, ужасные новости об аморальности русского писателя, вынуждена отменить свои прежние распоряжения.

Это создало прецедент. Подумать только, известная бостонская поборница равноправия женщин, член общества «Друзья русской свободы», председательница организационной комиссии прессы по пропаганде «русского вопроса», оказалась поставленной в двусмысленное положение!.. Не она ли всегда гостеприимно встречала русских радикалов из



числа бундовцев и эсеров? В начале прошлого года, например, в том же Фэнил-холл организовала выступление Екатерины Брешко-Брешковской, речь которой переводил на английский — у Брешко-Брешковской ужасный выговор — сам Абрам Каган...

И только в итоге долгих переговоров, когда уже поблекли углы скандала об «аморальности» русского писателя, активистам из горьковского комитета удалось снять зал старого оперного театра на Вашингтон-стрит.

Вот почему, опасаясь новой газетной бури, и осторожничал Морис Хилквит. Обращаясь ко всем сидящим за банкетным столом, он, смеясь, сообщил:

— У нашего общества появилась более увлекательная связь с потусторонним миром — спиритизм, оккультизм и тому подобное. На днях я сам случайно оказался в таком кружке самооглуляющихся и даже пытался объяснить по вопросу происхождения человека. С кем, думаете? Конечно, с самим Чарльзом Дарвином! При мне вызвали дух великого натуралиста с «Бигля». И этот дух, как заправский газетчик, принялся отстукивать свои ответы на пишущей машинке. Машинка стрекочет, а рядом никого. Просто уэллсовский человек-невидимка. Я даже пальцем воздух пытался...

— А следовало бы заглянуть в соседнюю комнату, — заметил Джон Мартин. — Вашей машинкой, думаю, управляли оттуда по электропроводу. Кстати, у Герберта Уэллса, моего старого друга, имеется роман о спирите-мошеннике.

— Да, и еще одно, — продолжил Морис Хилквит, делая предупреждающий знак корреспонденту из «Бостон транскрипт», который зашел сзади Горького. — В Соединенных Штатах самой деятельной пропагандисткой оккультизма стала — вот уж не догадаетесь, — обратился Хилквит к Горькому, — двоюродная сестра Сергея Вите!.. Сия голубоглазая дама виртуозно демонстрировала спиритические фокусы. Утверждали, что она познала много необыкновенного во время скитаний по странам Африки и в Индии. Вы должны знать ее, Алексей Максимович, по писательскому псевдониму — Радда Бай.

— Выходит, что дух политического и нравственного авантюризма в Сергее Вите неслучаен. Таково семейное качество! — подтвердил, смеясь, Горький, которого и в самом деле заинтересовала судьба Радды Бай в Америке. Что ка-

сается ее творчества, то он охарактеризовал его и ему подобное еще в 1899 году в статье «Ванькина литература» как писанину не только на потребу невзыскательного читателя, но и на угождение реакционным настроениям.

Репортер из «Бостон транскрипт» добрался наконец до Горького; спросил, как он смотрит на Гапона.

— Тоже авантюрист и демагог. Он случайно поднялся на волне народного негодования, так как по своим умственным данным не может быть вождем. В день Кровавого воскресенья Гапон вел себя как отъявленный трус. Я сам свидетель тому. Так что 9 января разрушило веру не только в царя, но и в служителей церкви.

Каждый ответ писателя вызывал экспансивные возгласы. Доброжелательство с примесью панибратства, улыбочность к месту и не к месту раздражали писателя. Журналисты явно спешили уточнить и обострить позицию Максима Горького наводящими вопросами:

— Америка всегда готова содействовать тем, кто разумно перестраивает общество. Роберт Оуэн-младший, сын славного английского утописта, избирался в Конгресс Соединенных Штатов. Француза маркиза Лафайета, деятеля французской революции, мы сделали своим национальным героем!..

— Лафайет даже сына назвал Джорджем в честь Вашингтона; а дочь — Вирджинией, — добавил Морис Хилквит.

— Вот видите, — подхватил Максим Горький, — разве не противоестественно, что сейчас банки Франции открыли кредиты русскому царю: республика Лафайета душит в колыбели русскую республику! На французские деньги покупаются веревки, чтобы вешать русских революционеров! Позорный заем показал цену свободомыслия Западной Европы. Только эти деньги, как говорят у нас на Руси, плакали — революционная власть их не возвратит.

Джон Мартин осторожно попытался увести разговор в более узкое русло:

— Крайне нужно просвещение. Образованный народ великодушнее извиняет ошибки исторического характера.

— Русскую революцию творят не безграмотные люди, как это пытаются представить вам царские агенты всех мастей, включая небезызвестного Витте. В России книжки о Джордже Вашингтоне и Франклине продаются по копейке. У вас столь дешевых народных изданий я не видел. Русский



народ даже более подготовлен к революции, чем был в свое время французский или американский. Эти знания добыты дорогой ценой.

— Франклина у нас достаточно почитают, — поправили Горького из зала.

— Почитают?! — Писатель повысил голос. — Лучшее — следования идеям. Русский революционный мыслитель Радищев, бичуя рабовладельцев — не только отечественных, но и ваших, американских, — так написал: «Порабощение есть преступление». Имя Франклина он приводит в числе самых решительных борцов с деспотией.

— Таковым его считал и великий Друг народа Марат, — снова подтвердили из зала.

— Это естественно. Решительность в борьбе за свободу всегда вдохновляла: народ — на атаку, а деспотов — на казнь!.. Поэтому логично, что голос Марата пресек нож наемной убийцы, а Радищева — смертный приговор, тоже полученный от палача в юбке — Екатерины II. Сия царственная дама ужаснулась, прочитав книгу Радищева. Она воскликнула: «Он хвалит Франклина и себя таким же представляет...» Как видите, с вашим великим гражданином Россия была действительно знакома еще в конце XVIII века!..

— Ну а в начале XX века, — подхватил Хилквит, — мы должны сравнить с Франклином вас: Франклин, направляясь в Европу, пересекал океан в качестве посла революционной Америки, а Горький — революционной России.

— Я из «Бостон геральд», — зашел с другого бока еще один репортер. — Когда вы вернетесь на родину, что вас там ожидает?

— Тюрьма, а может быть, что-то и похуже, — ответил Горький. — Но после того, как мое дело в Америке будет закончено, я поселюсь в Европе, поблизости от границы, где смогу быть полезен в подготовке борьбы.

— Позвольте еще один вопрос. Не может ли здесь, в Америке, грозить вам какая-либо опасность?

Алексей Максимович, перед этим смотревший мимо плеча журналиста в зал, обернулся всем телом, будто хотел лучше разглядеть спрашивавшего, — ему невольно припомнилось письмо, пришедшее на Стейтен-Айленд, с предупреждением: «Жди пулю в лоб»...

— Не знаю, что и сказать. Возможно, вы, газетчики, проведаете мне лучше меня.

Ответ писателя вызвал оживление — прозвучал в амери-

канском духе. Чувствовалось, что его поведение импонирует собравшимся: напористость, твердость, оптимизм.

— ...Книги Бичер-Стоу, Марка Твена, Уолта Уитмена, Брета Гарта — эту литературную Америку знает и любит прогрессивная Россия, — заговорил Горький, когда коснулись литературной темы. — Каждый русский студент знаком с утопией Эдуарда Беллами.

— А у нас — с Львом Толстым, — послышалась ответная любезность.

— И мне очень дорог Лев Толстой, тем не менее не могу принять его теорию непротивления, более того, считаю ее вредной. Я сторонник марксистской теории революционного обновления общества. То есть за активное сопротивление злу, за наступление на него!..

— Беллами желал строить Будущее так, как возводят завод, — заметил Джон Мартин. — Главное внимание он уделял техническим проблемам. Социальный подъем общества у него — вроде поездки на быстроходном лифте.

— Нельзя недооценивать Беллами, — возразил Хилквит. — Не случайно у нас полтораста клубов его имени. Беллами вынужденно потрафлял духу американского практицизма, этим убеждал в выгодности созидания такого общественного «завода», который ликвидирует голод, обеспечит каждого делом, комфортом. Суть его идеи — социалистическая: он за национализацию транспорта, угольной и рудодобывающей промышленности, телефона и телеграфа... Мы, выдвигая своих кандидатов в сенат, берем эти идеи на вооружение.

Нетрудно было понять, что Хилквит заступничеством за бостонского утописта постарался напомнить его землякам, что один из таких перспективных кандидатов в сенаторы — он, Морис Хилквит. Понял это и Мартин.

В зале все громче раздавался звон посуды, а разговор дробился на групповой — деловая часть встречи закончилась, начинался собственно обед.

Джон Мартин, торопливо насыщаясь (он так и не поел с утра, поджидая на завтрак Максима Горького, который, оказалось, зашел вслед за шотландцами в попутный кабачок, закусил там и запил портером), поискал глазами своих русских друзей.

Сейчас Зиновий и Буренин сидели в отдалении, так как перевод беседы с Максимом Горьким взял на себя Хилквит. Взгляд Мартина тем не менее они почувствовали. Буренин,



оторвавшись от тарелки, чуть заметно дружески кивнул. На душе у Мартина было хорошо: завтрашнее выступление в Кембридже, в Гарвардском университете, — заключительное, затем — домой.

## 2. СНОВА НА СТЕЙТЕН-АЙЛЕНД

Вот уж чего не ожидал Герберт Уэллс — его приезду на Стейтен-Айленд в доме на Гримс-хилл обрадовались все. Даже шотландская овчарка, выскользнув из рук Максима Горького, резко кинулась под ноги, и не кусать, как могло показаться, а увериться, что это знакомые остроносые ботинки и полосатые брюки. Радостно взвизгнув, подпрыгнула и возвратилась к тому, кто только что ласково трепал ее за уши, — она, вероятно, беспокоилась, чтобы в простом акте собачьей вежливости не заподозрили измену.

В гостиной находились одни мужчины. Кроме Джона Мартина и Максима Горького Уэллс поздоровался с человеком, которого ему представили секретарем писателя. С Бурениным было приятно обменяться рукопожатием: располагала внешность, и к тому же они оказались одинакового роста — не надо задирать голову, чтобы посмотреть в глаза, как приходится с Горьким и Джоном. О третьем — юноше — Мартин заметил, что это крестник Максима Горького, «годсан».

Едва успели перекинуться обязательными фразами, как в комнату, шурша юбками, вбежала Пристония Мартин. В одной руке она держала раскрытый зонт, а в другой — свернутую веревку. Не оставляя эти странные в своем сочетании предметы и не сбавляя скорости, она бросилась к прибывшему.

— О, сэр!

Уэллс, глядя с изумлением на веревку, оказался в затруднении, не зная, как поцеловать руку хозяйки, и поэтому ответил неопределенным приветственным жестом. В ту же минуту ему пришлось раскланяться еще с двумя вошедшими следом за Пристонией незнакомыми женщинами. Впрочем, не совсем незнакомыми: в одной из них — выше среднего роста, благородной осанки, с причесанными на косой пробор пышными темно-каштановыми волосами — он узнал миссис Горькую.

«О ней нельзя говорить, что красивая, она прекрасна, — подумал Уэллс, разглядывая актрису, пока его представля-

ли.— Такой просто сыграть Дездемону, Корделию да и любую патрицианку».

— Очень рада,— услышал он грудной певучий голос. Миссис Горькая улыбнулась. Улыбка сразу разбудила ее лицо, казавшееся перед тем мраморным, открылась полоска чуть выдвинутых ровных зубов.

Эта русская напомнила Уэллсу юную Кембл с ее гибкой фигурой и светлым голосом, когда та выступала в шекспировских трагических ролях. Хотя он не решился бы утверждать так вслух — не считал себя знатоком-театралом: театр стал посещать с 1895 года, когда смог сшить первый вечерний костюм, а до этого бывал изредка.

«Да не стой таким несчастным, утонувшим в думах», — посмеялся Уэллс словами леди Макбет над своей остолбенелостью и, еще раз поклонившись, обратился к смуглой, похожей на креолку молодой женщине. Ее звали Гарриет Брукс.

Пристония Мартин сказала о ней:

— Мисс Брукс — профессор физики Колумбийского университета, занимается явлением радиоактивности... Еще неделя — и вы бы не застали нас, — продолжала миссис Мартин. Ее круглое лицо выражало искреннюю радость от встречи с писателем. — Мы собираемся в горы, в Адирондак, на все лето. С нами — русские друзья и мисс Брукс.

— И если бы вчера утром приехали, тоже бы не свиделись, то есть с мужчинами, — дополнил Джон. — Мы с мистером Горьким только после полудня вернулись из Бостона.

Уэллса удивило это «мы», как и то, что Мартини берут с собой на дачу Максима Горького. Неожиданностью для него было вообще застать русских на Стейтен-Айленд: договаривались о гостеприимстве на несколько суток! Значит, увидели что-то взаимно привлекательное.

— В Адирондаке летом открываем философскую школу. Будут лекторы разных направлений. Из социалистов — Морис Хилквит и Роберт Хантер...

— И Хантер? — спросил Алексей Максимович, вспоминая с двойственным чувством общежитие молодых писателей: первая и последняя встреча с Марком Твенем, тайный приют для них с Марией и начало разочарования в американских социалистах. — Хантера я не видел со времени переселения к вам, также и темпераментного Лероя Скотта.

— О, Лерой! — воскликнула Пристония. — Он со своей Мариам уже на даче на острове Милосердия, вблизи Лонг-



Айленд. У них там целая колония из социалистов, и Хантеры тоже...

— В нашей философской школе обещали читать лекции профессора Дьюи и Симкович,— сумел наконец закончить фразу Джон Мартин.

— Почему бы не попробовать пригласить и Марка Твена? — посоветовала мужу Пристония и пояснила, обращаясь уже к Горькому: — Это его ничуть не затруднит: у него дача тоже в Адирондаке, на берегу озера Саранака. Напрямую от нас — не более двух десятков миль.

— Напрямую — означает по тропе, через горы,— возразил Джон.

— Там есть и дорога...

Пока супруги препирались, Алексей Максимович вспомнил о газетной буре, вызвавшей у Марка Твена пессимистический вывод — «личному авторитету Горького нанесен непоправимый ущерб». Нет, поспешил Марк Твен с заключением. Вместо почитателей-снобов, которые собирались осчастливить русского писателя пышным банкетом в Литературном клубе, возглавляемом Оскаром Штраусом, у него в Америке вскоре же нашлись другие, более надежные друзья!

Конечно, американской и русской реакционной прессе нестерпимо хотелось превратить знаменитого американца в противника не только Максима Горького, но и русской революции. Да нет, автор «Монолога царя» остался другом трудового народа России. Об этом свидетельствовало то, что он публично в адрес Горького и его товарищей, а также по поводу их политической миссии не высказал даже косвенного осуждения, тем самым ясно показал, что не желает присоединяться к газетной кампании, а значит, и не одобряет ее. В свою очередь, сам Горький здесь, в Америке, и в своих письмах в Европу и на родину тоже не обмолвился о Марке Твене каким-либо неуважительным словом. Как будто оба писателя стечением обстоятельств обоюдно несколько отделились — и только. Что ж, это, возможно, позволит им лучше присмотреться друг к другу.

— ...Нет, зови — не зови, а Марк Твен на наше предложение вряд ли откликнется,— донесся до Алексея Максимовича голос Джона Мартина.— Тем более, что он обязался этим летом, как объявил «Норт Америкэн ревью», подготовить к печати начальные главы автобиографии.

— Да?! — заинтересовался Горький.— Я ведь тоже собираюсь приступить к повести о своем детстве.

— А если попросить мистера Джемса написать Марку Твену? — продолжала Пристония. — Тем более, что Джемс обещал прочитать несколько лекций.

— И Джемс? — Уэллс повторил фамилию маститого философа, одного из отцов прагматизма.

— Да, Уильям Джемс, — подтвердил Джон Мартин. — Мы вместе с Горьким посетили его в Гарварде.

— Вот как?! — Уэллс снова отметил «мы» и «вместе». — Мне вот не удалось. Джемс из-за землетрясения задержался в Сан-Франциско.

— За грохотом калифорнийской катастрофы Америка не заметила большого горя Франции, — грустно сказала Брукс. Выжидающее внимание присутствующих заставило ее продолжить: — Надо же, в то самое ужасное 19 апреля, когда разрушение города довершал пожар, в Париже, на мостовой улицы Дофина телега ломовика наехала на Пьера Кюри, раздавила голову гения... И чем, думаете, была гружена эта проклятая телега? — Голос Брукс сорвался на крик: — Военными мундирами! Такое можно назвать мстью: года не прошло, как Кюри, выступая с нобелевским докладом, предупреждал, что радий в преступных руках опасен. Аналогия тому — изобретение самим Нобелем динамита, немедленно взятого на службу военщиной.

Уэллс невольно вспомнил, что он и сам писал подобное о Нобеле и других чудо-изобретениях, служащих цели массового убийства людей.

Алексей Максимович, слушая в переводе Пристонии и Марии Федоровны сообщение о гибели ученого, представлял свое, совсем недавнее, посещение лабораторий лауреатов Нобелевской премии супругов Кюри в Париже, на улице Ламон, и самих их, стоявших возле длинного деревянного стола, уставленного штативами: Мария — хрупкая белокурая женщина с очень усталыми глазами, в темном рабочем платье, напоминавшем капот, и Пьер — угловатый, с квадратными плечами, со срезанным боксерским затылком и коротким ёжиком волос, похожий больше на спортсмена, чем на физика, — и одежда соответственная: короткий пиджачок и узкие брюки, заправленные в гольфы. Да и сама лаборатория по своей непрезентабельности напоминала красивую мастерскую деда Каширина в Нижнем. Ученый вид ей придавали только отделанные белым кафелем стены, электрорубильник и множество реторт.

Мария пробовала говорить по-русски, вкрапляя в речь



польские слова. Она сказала, что пламенно желает победы русской революции, которая освободит и ее родину — Польшу.

О явлении радиоактивности, о работах Резерфорда и Кюри Алексей Максимович услышал от Саввы Морозова еще в 1900 году, то есть вскоре после их знакомства в Художественном театре.

В том же году Морозов приезжал по своим делам в Нижний, зашел к нему на Канатную и открылся еще одной неожиданной стороной: он мечтал о профессуре, увлекался химией и надеялся когда-то устроить исследовательский институт. Он рассказывал, что после окончания университета специально занимался химией красителей в английском Кембридже. Этот сложный человек сам определил свой смертный час, тоже во Франции...

— Бедная Мари,— повторила мисс Брукс.— Я собиралась к ней в Париж. Даже предупредила Резерфорда, которому недавно ассистировала.

— Проникновение в тайны природы, конечно, благо,— заметил Джон Мартин, возражая с некоторым опозданием мисс Брукс.

— Надеюсь, что колесование человечества с помощью атома не состоится,— сказал Уэллс и скаламбурил: — Резерфорду ли не понимать эту опасность — он ведь сын колёсного мастера... И все-таки исключительно символично, что в канун XX века женщина нашла лучистый металл. Женщина и свет — это так естественно!

— Как и то, что когда-то мужчина Шварц придумал парох. «Черный» сделал черное дело,— вклинилась в разговор миссис Мартин. Ей явно не хотелось, чтобы прощальный визит англичанина с самого начала превратился в научный или политический диспут. Нетерпеливо поглядывая на мужчин, она демонстративно принялась развязывать веревку, которую, как и зонтик, так и не выпускала из рук.

Подскочил Зиновий, и они вдвоем, дурачась, прикидывая и так, и этак, уложили веревку на полу диагональю — из угла в угол комнаты.

— Прошу,— обратилась Пристония к Буренину и, наступив на «диагональ», распустила над головой зонтик.

Николай Евгеньевич сел за рояль, а Зиновий, нарочито торжественно вытянувшись, объявил:

— Дамы и господа! Перед вами чудо нью-йоркских островов, несравненная исполнительница смертельного номера

в воздухе — «Жизнь канатоходки», а если угодно публике, то просто «Жизнь!». Музыка, прошу.

Миссис Мартин, запахнув юбки, грациозно изгибаясь и с невероятной быстротой кружа зонтиком, заскользила по веревке.

Буренин, поймав момент, заиграл «Весенний дождь» Грига. Клавиши выбивали поющие капли дождя — первого! — прыгающие по камням ручьи, хрупкий звон разбивающихся сосулек. Рождалось ощущение света, солнца, кувыврающихся в восходящих потоках воздуха розовых чаек, а внизу, на распухшей от влаги ромашке, под аркой радуги, босиком, на цыпочках резвящейся юности...

Пристания то останавливалась, балансируя на одной ноге, то делала несколько быстрых и мелких шагов и вдруг начинала раскачиваться, будто едва удерживаясь на канате. Создавалась полная иллюзия, что сцена происходит в воздухе, на опасной высоте. Женщина ничего не боялась, была уверена в себе — расточала зрителям улыбки, посылая воздушные поцелуи, искрились ее глаза! А над головой беспрерывно кружился оранжево-голубой диск...

— Перед вами, уважаемые зрители, была сама молодость, — пояснил в прежнем дурашливом тоне показанную сценку Зиновий. — Теперь прошу полюбоваться на то, что именуется зрелостью.

...По веревке уверенно скользила, глядя поверх голов и избегая рискованных положений, солидная дама. Зонтом она уже не играла, а придерживала его под мышкой — теперь это только предусмотрительно взятое прикрытие от возможного дождя; заодно обеими руками дама массировала лицо — то расправляла возле уголков глаз «гусиные лапки», то поглаживала кругами подбородок, лоб, то начинала щелкать ладонями по щекам с такой силой, что в комнате стоял непрерывный треск. В заключение женщина, вытянув шею, приняла позу, словно перед ней висело зеркало, и, порывшись в волосах, принялась выдергивать — ясно что! — сединки...

Николай Евгеньевич, который иллюстрировал «Зрелость» собственной музыкальной композицией, чуть задержался — и снова полился Григ, его «Рождественский снег»: медленно кружащиеся хлопья — это же застывший тот, первый дождь! Но он как слезы — от такой влаги ничто не зацветает. Сумерки короткого дня, сожаление, неудовлетворенность и неизбежность холода вечности...



Канатоходка сгорбилась, втянула голову в плечи и, подслеповато всматриваясь, тыкала наугад перед собой острием небрежно сложенного зонтика. Ноги передвигались по веревке едва-едва, расслабленно, спотыкаясь, юбки волочились. На середине пути она остановилась, покачнувшись...

Джон вскочил, торопливо протянул длинные руки, подхватил падающую канатоходку в свои объятия.

— Итак, вы наблюдали заключительную сцену — «Старость», — перекрывая рукоплескания, выкрикнул Зиновий, хотя и без того всем была понятна суть танца.

Уэллс, подойдя к пианисту, сказал ему несколько слов об оригинальной игре, о хорошем звучании инструмента.

— Миссис Шоу, видно, не случайно советовала мне купить в Бостоне рояль, — заметил он, рассматривая марку фирмы.

— Не знаю о Бостоне, — возразила Пристония. — Наш инструмент работы Кнаббе из Балтимора. Сам Чайковский, когда приезжал в Америку, высоко отозвался о балтиморских мастерах, он даже принял Кнаббе. Должна, однако, сказать, что этот рояль зазвучал так, как ему следовало, лишь тогда, когда за него сел большой музыкант. — Пристония показала на Буренина, вынудив его поклониться в ответ на новые аплодисменты.

В воображении Марии Федоровны музыка норвежца вызвала ибсеновские образы, его трудную Эдду Габлер, которой она навек обязана началом личного знакомства с Максимом Горьким. Станиславский взял у Горького жест для ибсеновского, тоже «трудного», доктора Штокмана — в споре рассекать воздух рукой сверху вниз, держа пальцы растопыренными по два, на манер ножниц...

В ту минуту, когда в адрес танцовщицы и музыканта расточались комплименты, в гостиную вошла Лизи. На вытянутых руках она несла огромный пирог, уставленный свечами. Девушка, раскрыв в улыбке белозубый рот, сказала:

— Мастер Джон, примите поздравление.

— Да?! — ответил Мартин, ничего не понимая.

Пристония, мисс Брукс и Мария Федоровна, Лизи с Зиновием, взявшись за руки, заговорщически посмеиваясь, цепочкой окружили его.

Как на Джоновы именины  
испекли мы каравай, —

запела Мария Федоровна, наклоняясь к профессору.

Вот такой вы-ы-шины!  
Вот такой ши-и-рины!

Американки тоже по-русски, ломано, но старательно подпевали и, следуя мотиву и смыслу песенки, притоптывали, приседали, поднимали или опускали сцепленные руки.

Джон Мартин вынул изо рта сигару и, задрав голову, изумленно тарашил глаза, затем заулыбался и, поднявшись из кресла, тоже принялся кружиться.

Мария Федоровна, выскользнув из хоровода, тут же вернулась со свертком и по счету Зиновия — «раз, два, три!» — развернула его. В ее руках мягко переливалась голубизна атласа. С торжественным выражением на лице, поясно кланяясь, она подала Джону Мартину рубашку-косоворотку, расшитую по вороту, рукавам и подолу колокольчиками и незабудками.

\*

Пристония никогда прежде не отмечала день рождения супруга, не собиралась и теперь. Но Мария Федоровна, случайно узнав дату — 13 мая, посоветовала, хотя бы и с недельным опозданием, устроить в честь Джона маленькое торжество. Подъехавшая мисс Брукс тоже сочла предложение удачным.

Загорелась и Пристония, начала готовить концерт — сочинила танец с зонтиком, подходящий, как считала, к случаю, и одобрила «каравай». У самой же Марии Федоровны возникло еще желание — подарить профессору русскую нарядную рубашку, расшитую шелком. На что-то особенное не оставалось времени, поэтому она решила украсить ее простым цветочным орнаментом. Кроили и шили рубашку вместе с Лизи, у которой имелась швейная машинка.

Мужчины были поставлены в известность о предстоящем празднике накануне, кроме, конечно, Джона. Герберт Уэллс, явившись на Гримс-хилл, как раз застал приготовление к началу.

...Пристония, судя по ее сияющим глазам, была очень довольна именинами, общим веселым настроением. Событие оказалось уместным еще и потому, что Джон, как и Максим Горький, был огорчен финансовыми итогами поездки: удалось собрать всего около десяти тысяч долларов, значительно меньше, чем ожидали.

— Десять тысяч долларов по нынешнему курсу — это двадцать тысяч рублей, — утешал Буренин. — Я бы закупил



на них в Льеже браунингов на десяток боевых дружин.

Горький заметил:

— Я прошу о помощи на революцию, а американские доброхоты предлагают подаяние — «заморить червячка». Это как после первой постановки «На дне»: увидел меня на Тверской пузатый купчина, растрогался и сунул в руки трешницу. На, говорит, на твоих «бывших».

Алексей Максимович сердито посопел и вдруг рассмеялся.

— Купчина три таки рубля отвалил, а вот Шаляпину... Приехал он в Нижний на гастролы. В воскресенье зашел ко мне и так хорошо распелся. Вся улица под окнами собралась! После «Дубинушки» — бах! — в раскрытое окно влетает бумажный сверток, а в нем — серебряный рубль. О, как Шаляпин обиделся, концерт оборвал... Может быть, и зряшная обида: рубль-то вдруг трудовой, а не купеческий. Такой дорожке сотни! Так что ты прав, Евгений, — обратился Горький к Буренину. — Будем считать, что этот десяток тысяч долларов дан от души и настоящими людьми.

### 3. «МЫ НА ЭТОМ НЕ ОСТАНОВИМСЯ!»

Из-за стола с именинным пирогом, в который был запечен уголёк «на счастье», — попал он мисс Брукс, — все вышли на веранду. Смеркалось. На заливе пульсировали телеграфной азбукой движущиеся огни кораблей, далее они густели, а на горизонте растекались белой зарей — это сиял Нью-Йорк. Слева мерцала под лучами прожекторов статуя Свободы.

На Стейтен-Айленд ощущалась провинциальная умиротворенность. Холмы, покрытые молодой зеленью, постепенно понижались к югу и юго-западу, возле силуэтов домов светлели цветущие сады.

Уэллс, Мартин и Горький растянулись в плетеных, очень низких креслах с полого откинутыми спинками, похожих на шезлонги. Женщины, подобрав юбки, присели рядом на китайской циновке.

Мисс Брукс, правда, быстро покинула общество, так как, по ее словам, требовалось кое-что собрать к отъезду в Адирондак. Вместе с ней ушли и Буренин с Зиновием, хотя она просила не провожать.

— Боится, чтобы кто-нибудь из администрации Бернардаколледжа не увидел ее поздно с мужчинами, — заметила Пристония. — У Гарриет уже был грустный случай: влюби-

лась в своего коллегу по Колумбии. Когда об этом стало известно, начальница предупредила, чтобы она сразу после посещения мэрии не забыла подыскать место для работы.

— И что же? — насторожился Алексей Максимович. — Товарищи запротестовали?..

— Первым испугался жених. Как же, про его жену начнут говорить: «Это та самая Брукс, о которой писали в газетах...» Так что ваш уголёк, — Пристония посмотрела на Марию Федоровну, — надеюсь, принесет Гарриет счастье, она в нем так нуждается.

— Любовь даже в союзе с наукой оказывается бессильной перед негодьями от морали и газетными кликушами, — после общего раздумья заключил Алексей Максимович. — Как, впрочем, и кулаки. В одном из своих странствий в причерноморской степи я забрел в село. Представьте себе: середина июля, жаркий полдень, а перед глазами зеленые сады, уютные белёные хаты, журавли колодцев. Оазис! Спешу туда, предвкушаю глоток холодной воды, ломоть свежего пшеничного хлеба...

И вот навстречу мне и этому лучезарному настроению из зеленой улицы, будто из конуры, выползает, как кудлатая дворняга, пьяная толпа. Перед ней — зловонно матерящейся, гогочущей, краснорожей — бредет, спотыкаясь, нагая юная женщина. Она привязана за руки к телеге, на которой стоит с кнутом в руках рыжебородый детина...

И Алексей Максимович рассказал историю публичного избиения крестьянки, свидетелем которого он случайно оказался в селе Кандыбовка, Херсонской губернии, в тридцати верстах от Николаева, черноморского хлебного порта, куда и направлялся.

— ...Я глядел на телегу, этот движущийся эшафот, на палача-мужа, на кнут, обвивавшийся после каждого взмаха вокруг тела жертвы наподобие постылых рук, на ее рассеченные груди, посиневший живот и на орущих, похотливо взвизгивавших людей, глядел — и тут внезапно какая-то сила бросила меня навстречу этой безмозглой, бездумной толпе-собаке!.. Я расшвыривал налево-направо всё, что попадалось под руку, тыча кулаком в усы, в рожи, в разинутые глотки! Тогда мне было чуть за двадцать, я мог легко вскинуть на плечи и пронести по сходням на баржу два пятипудовых мешка с зерном...

Мария Федоровна, устроившаяся в ногах мужа, сделала ему знак: Пристония споткнулась при переводе на слове



«пуды». Не помогло и разъяснение, что пуд равен сорока фунтам, — американский фунт почти на пятьдесят граммов тяжелее русского. Уэллс и Мартин желали точно знать, какой вес мог взвалить на себя Максим Горький, и наконец, разобравшись, удовлетворенно воскликнули: «О!»

— ...До телеги, до человекообразной скотины с кнутом я так и не добрался... Как меня разделили тогда! Какую новую радость представил я для этих темных, оцепевших от животной жизни людей. Я покусился на то, что одобряло их сельское «опчество», на порядок, любезный самой власти!.. Меня, до полусмерти избитого, со сломанными ребрами, выкинули далеко за селом на обочину дороги. Подобрал какой-то сердобольный странствующий шарманщик, довез на своей повозке до ближайшего города и передал в больницу. Только через месяц я встал на ноги, смог продолжить свое путешествие.

Мария Федоровна и Пристония непрерывным трехязычным потоком — русский, немецкий, английский — передавали рассказ Горького. Пристония говорила громче и эмоциональнее. Ей представлялось, что в руки упала готовая глава для ее книги. История, случившаяся с Горьким в России, по жестокости мало чем отличается от той, которую он и Мария пережили в Америке. Чем лучше деревенской темной толпы отряд репортеров, примчавшийся на Гримс-хилл следом за русскими? И чем легче истязание, которому подвергла «желтая» пресса Марию?..

Подобные мысли проносились и в голове Уэллса и — даже целая картина из византийских времен: прекрасную Ипатию — философа, астронома, математика — правоверные христианские гориллы влекут, обнаженную, по людным улицам Александрии, и терзают ее, мечтавшую о царстве разума, и забивают до смерти!.. Но он промолчал об этой аналогии: миссис Горькую надо щадить. Хотя тут же возразил себе: «Да нет, не то слово — «щадить»: эта благородная леди заслуживает иного, то есть более мужественного и деятельного чувства. Никогда не следует торопиться с оценкой тех, кто идет по жизненной тропе рядом с гениями, обрекая себя в таком странствовании порой на подвиг, физический и моральный... Вот и эта женщина — ясно, что она преданная жена Горького и в то же время его мать и нянька и, хотя живет в постоянном страхе, что мужа могут убить, не делает и движения рукой, чтобы удержать его от опасной работы...»

Уэллс, оборвав раздумья, прислушался к тому, что говорил Горький:

— Мир эксплуатации сознательно стремится превратить человека в животное, и порой такое изуверство ему удается. Этот мир так мало хочет от женщины — прародительницы всего сущего. Все религии считают ее источником бед, «сосудом греховным» — и библия, и талмуд, и коран дружно пляшут вокруг костра, на котором испокон веков жгут женщину. Женофобством в духе «ищите женщину!» пропитана и литература. Писатели с пристрастием «ищут», обращаясь при этом и с литературой как с женщиной, переходя от женоненавистничества к человеконенавистничеству. Не случайно такая метаморфоза у модного ныне Ницше.

— Но Ницше принадлежит крылатая фраза, что над страницей прозы надо работать, как над статуей Венеры Милосской, или что-то подобное, — несколько игриво возразила Пристония.

— Вероятно, он имел в виду, что Венере следовало отбить не только руки.

— Браво, браво! — воскликнула Пристония.

— Искусство, в особенности писательство, превращается в нечистоплотных или неразборчивых руках в форму авантюризма, — поддержал Уэллс Горького. — Воспевать взаимноисключающую ненависть, кошмары империй, войн, конкуренций — значит становиться солистами в хоре правительственных олигархий... Вы говорили о женщине. Я начинал как раз с проблемы ассоциации между мужчиной и женщиной и уж затем пошел далее — к общественным ассоциациям. Но в моих рассуждениях о взаимоотношении полов газеты увидели проповедь свободной любви, чуть ли не планируемую общность жен. Ну а пока силы могучего пола, которого по традиции именуют «слабым», идут на суровую борьбу за то, чтобы всего лишь выжить и продолжить человеческий род.

— Даже ваш уважаемый Томас Мор отказал нам в равноправии, — вставила Пристония.

— Мораль жителей Утопии этого и не требовала, — ответил Уэллс. — Она была совершенна.

— Зато великий Платон в своей идеальной республике вопросы брака и деторождаемости в государственном масштабе препоручил специальной коллегии, состоящей из одних женщин! — парировала Пристония. — Но мы в тех прекрасных гречанках видим не образцы для себя, а экспонаты: садим их в камеры музеев — благо, мраморные, выдержат и



последующее тысячелетнее заключение... Они — исторический упрек нашей плетущейся морали. Не так ли?

— Не совсем так в смысле положения, в котором находилась античная женщина, — возразил Уэллс. — Даже Гера, царица Олимпа, подверглась бичеванию, когда ослушалась своего супруга — Зевса!

— Это произошло, наверное, после того, как Гефест вышиб из его головы Афины, то есть мудрость, — с досадой ответила Пристония, вызвав улыбки. — Хочу возразить, мистер Горький, и вам касательно женофобства литературы. Разве Толстой, Тургенев, Достоевский да и вы сами — не примите это за лесть — не провозгласили: «Любите, уважайте женщину!»?..

— Своей репликой я не претендовал на обобщение. Я только указал на тенденцию, на которую толкает искусство эксплуататорская идеология. Что касается ваших слов о высоком гуманизме русской литературы, то за них — спасибо, спасибо... Удивительно, вы почти повторили профессора Уильяма Джемса.

С Джемсом Алексей Максимович познакомился позавчера, при посещении Гарвардского университета. Президент Элиот после короткого, но благожелательного приема («Гарвард всегда рад видеть у себя в гостях представителей мыслящей интеллигенции любой страны: не замыкаться в рамки сугубо американского образа мышления — наша традиция»), передал Горькому заботам профессора Уильямса Джемса. Занятный сухопарый старикашка с седым суворовским хохлом на лысом лбу и крупным носом как-то не отождествляется с известным в России ученым, видным деятелем прагматизма, чьи капитальные труды — «Научные основы психологии», «Зависимость веры от воли» — вышли в Петербурге один за другим.

Джемс промчал его по всем трем этажам Эммерсон-холла (на третьем святая святых — лаборатория экспериментальной психологии) и предложил пройти в библиотеку: ему хотелось удивить писателя богатым собранием русских книг. Тут-то профессор и заговорил о литературе русских, призывавшись, что не может уразуметь, откуда у социально забытого народа, живущего в невыносимых материальных условиях, могло проявиться столь тонкое понимание художественности, лиричности и гуманизма. И такое благородное самопожертвование в борьбе за свободу. «Бешено талантлив ваш народ, исключительно одаренный!...»

— Однако затем мэтр понес мистическую околесицу о «русском духе», — продолжил Алексей Максимович свои размышления уже вслух, — связывая этот «дух» с какой-то волевой психологической активностью и еще — особой религиозностью русских. В виде возражения я привел несколько наших народных пословиц, вроде: «На бога надейся, да сам не плошай», «бог-то бог, да сам не будь плох». Мой дед по матери, цеховой старшина красильщиков города, в этом отношении являлся типичным прагматиком, рассматривал бога как небесного чиновника-доку по сугубо земным делам. Молясь, он обращался к нему как умный человек к еще более умному: чтобы помог выгоднее продать дом, подыскать дочери-вдове жениха, а после того как сгорела красивая мастерская — избежать нищеты... Молился он истово. Была у него молитва со словами: «И соблюди нас, господь, от всякого мечтания». Мне эти слова — дед их произносил уже в заключение, когда вставал с коленей, — казались особо многозначительными и даже зловещими.

— А разве не страшно, — фальцетом воскликнул Уэллс, — когда мечта, воображение толкутся всего лишь в передних так называемого «чистого разума», «здорового смысла», «чистой науки»?! Культ эксперимента, инструмента, голого эмпиризма!..

Алексей Максимович, внимательно следя за переводом, вставил:

— ...«Когда я экспериментирую, у меня есть только глаза и уши и вовсе нет мозга». Так когда-то заявил ваш коллега, физиолог Мажанди, видно боготворя в деянии безмозглость.

— Да, этот француз всякий факт объявлял святостью, — подтвердил Уэллс, удивленный, что русский писатель привел цитату из столь специальной области знания. — Позвольте закончить о мечте. В самом начале 1902 года я выступил с лекцией в Ройял-колледже в Лондоне, назвал ее достаточно громко — «Открытие будущего». И вот мои размышления о необходимости привнесения в научные исследования, в социологические в частности, творческой фантазии посчитали атакой на науку вообще. Шторм в стакане воды вызвала и идея о реорганизации фабианского общества, освобождении его прежде всего от снобизма и догм.

Уэллсу тут бы впору сказать, что последнее его предложение не одобрили даже друзья, но, взглянув на насупившего Джона Мартина, подавил уже готовую насмешливую



фразу. Не сказал и о том, что перед самым отъездом в Америку был вынужден ответить своим критикам публицистическим дублетом — «Так называемая социологическая наука» и «Ошибки фабианства». Эти статьи фактически поставили его вне фабианской партии. Ну и что же, он больше не собирался мостить шоссе, ведущее в прекрасное никуда. В Соединенных Штатах он еще раз убедился, что взгляды фабианцев нежизненны. За десять лет это движение не приобрело здесь ни малейшего влияния в обществе. Джон ведет свою работу более по инерции.

Центрами интеллектуальной подготовки нового мира должны стать школы, университеты. Пропаганда прежде всего нужна среди молодежи, чтобы поощрять ее любознательность, освобождать от рутины отживших традиций, от осторожности и боязни социального опыта. Еще великий Аристотель утверждал, что знание происходит из чувств...

Уэллс остановился — почудилось, будто сзади него зашевелился павлиний хвост. Дома потерю контроля и запальчивость всегда пресекала Джейн. Как-то в шутку он изобразил себя, заговорившегося, в виде карикатурного павлина. С тех пор Джейн, когда желала ему напомнить об излишнем красноречии, незаметно для других показывала ладонь с широко разведенными пальцами — сигнал о приближении к степени «распущенного павлиньего хвоста».

Подумав о Джейн, Уэллс представил уютный Спейд-хаус под красной крышей и мысленно нырнул в дверь своего кабинета: по трем стенам, до половины их высоты, — книги, а над стеллажами его юмористические рисунки, среди которых и «Павлин». Четвертую стену занимал большой камин из черного изразца... Ему так захотелось быть дома, что он даже почувствовал под ногами ворс зеленого бобрика, которым был обтянут пол.

— ...Сократ был учителем Алкивиада, в бою прикрыл его, раненного, своим телом, но этот многообещающий отрок вырос в предателя Афин, — словно издали донесся голос Максима Горького и возвратил к действительности. — Сенека, наставлявший юного Нерона рассматривать мир как разумное целое, и Аристотель, учивший логике Александра Македонского, — тот и другой надеялись создать мыслящие совершенства, а вытесали всего лишь вешалки для мечей, своих же убийц.

— Можете добавить, что и сам Аристотель отказался от идей учителя Платона. А что может быть страшнее убийства

мысли? — вынужден был ответить Уэллс. — Но я о другом, о системе знаний, о методе обучения молодых. У нас историю, например, превратили в уголовную хронику королей и иных подобных, которые якобы всегда водили и водят человечество за ручку. Америка со своей двухпартийной системой тоже созрела для современного цезаризма: стоит Рузвельту раскрыть рот, публику охватывает безумный восторг!.. Обыватель-мещанин не может без поклонов. Он горд верблюдскими мозолями на коленях — это его медали..

— Да, да, — вмешался Джон Мартин, — в 1904 году я видел карикатуру на Тэдди — он примерял корону и заявлял: «Государство — это я, Теодор I, король Америки!» Его книгу «Лихие всадники» юмористы сразу после выхода переименовали в «Я и Куба!».

— Когда я плыл сюда, — продолжал Уэллс, — то думал: «Америка делает кое-что для будущего», теперь же скажу так: «...Кое-что может». Страна нуждается не только в большей демократизации, но и в скачке морали, который сбил бы рога у общественных слоев, свел бы их в одну упряжку. На это понадобится, возможно, целиком двадцатый век.

Максим Горький попросил Марию Федоровну повторить для него последнюю фразу. И все вновь услышали его глуховатый голос:

— Отодвигать на целое столетие приход справедливого общества — это своего рода обещание царства небесного?! Такая абстрактность хороша только на сытый желудок.

— Пятьдесят тысяч нью-йоркских детей сегодня сидели в школе с подведенными животами, — Пристония вспомнила статистику, которую намеревалась использовать в своей книге.

— Но голод-то из-за анархического хозяйствования, из-за расточительного образа жизни современного человечества, — пояснил Уэллс.

— Опять абстрактное умозаключение, — резюмировал Алексей Максимович. — На этот счет есть ясная народная поговорка: «Один с сошкой, а семеро с ложкой». Так вот, такому положению революция в России сразу же положит конец. И не в отдаленном просвещенном будущем, а в самом ближайшем, на глазах нынешнего поколения... Говорить только о человечестве и забывать о ближнем — глупо, даже подло, — так сказал наш большой правдолюбец Салтыков-Щедрин. Это развращать себя праведностью полупьяной фантазии. Русские либералы-мечтатели без конца клянутся в люб-



ви к простому человеку, изъявляют благое желание в любое время его образовать и воспитать, постепенно готовить для разумной жизни. Странная и неверная любовь в сочетании с барской снисходительностью. Секут человека на конюшне и приговаривают: «Ты уж пойми, братец. Это — от любви к тебе, неразумному. Для плохого человека я пожалел бы такую прекрасную розгу»...

Максим Горький говорил о русском мужике, а Уэллс представлял под розгами Букера Вашингтона, который после каждого удара оборачивался к секущему белому и приговаривал: «Спасибо».

— В Бостоне я познакомился с любопытным негром, Букером Вашингтоном, — решил он высказать свое впечатление, но Горький, поймав фамилию, не дожидаясь перевода, как будто бы продолжил его мысль:

— Этот из числа тех, кто даже с удовольствием подставляет спину под кнут хозяев и советует то же самое своим соплеменникам: хорошо обслужи хозяев — и бить будут меньше, отрекись от высоких идей, научись делать деньги — и тебя станут уважать... Книжка Букера Вашингтона «Из рабства к благам жизни» уже дважды переиздавалась в Петербурге. Это программа активного самоуничтожения, послушная кулаку, и призыв не верить социалистам. Для врагов революции самая что ни на есть актуальная программа! В этом и секрет популярности Букера среди сильных мира сего — и в России и в Америке...

Уэллс, глядя на большую фигуру Максима Горького, сделал вывод, что предшествующие рассуждения с социальными прогнозами на столетие выслушивались русским писателем всего лишь из вежливости — он весь в заботах сегодняшнего тревожного дня. Даже по костюму Горький кажется пришельцем из незнакомого мира — синяя рубашка навывпуск, перехваченная узким, отделанным металлом поясом, брюки из грубой лоснящейся материи, сапоги с высокими каблуками и стоячими голенищами... В салоне Уилшайра, в пиджачной паре, он казался не только ординарнее, но и как-то ближе. Впрочем, и Льва Толстого тоже изображают на фотографиях в рабочей блузе, которая более подходит скульптору, чем писателю. Эти русские и пишут так, как будто в их руках не перо, а скальное долото, — высекают искры!..

В сгустившихся сумерках лицо Горького выглядело изможденным, тени подчеркивали худобу. По кашлю Уэллс уже догадался — у русского товарища туберкулез. Как не

догадаться? У него самого в 1893 году горлом пошла кровь. Спасибо матери, забрала его к себе в Ап-Парк. И то ли целебный сельский воздух, то ли сытный стол с барской кухни, а может быть, еще и повышенное настроение: писалось удачно, — но болезнь отступила... У Горького состояние явно неважное. К тому же крупные люди обычно труднее переносят недомогание.

Уэллсу хотелось приободрить коллегу, но как это сделать? Непрошеное сочувствие чаще травмирует. Да и трудно судить об истинном душевном состоянии собеседника: фразы, пройдя через тройной языковой фильтр перевода, словно процеживались, избавляясь от чувств. Они не касались сердца, улавливалась одна суть.

— ...Думаю, что мы в России, достигнув американской степени демократии, не остановимся на этом, — старательно, следом за Марией Федоровной, переводила горьковскую фразу с немецкого на английский Пристония Мартин. — Рассмотрев вблизи американскую свободу, я стал более сознательным социалистом, поэтому захотелось пойти в наступлении несколько дальше. Мистер Уэллс, я разделяю ваше мнение об американском обывателе. Государственная система Соединенных Штатов ежеминутно творит самонадеянного мещанина, отличающегося от российского лишь тем, что тут лампаду зажигают не перед иконой, а перед долларом и кланяются в первую очередь опять-таки ему. Этот мещанин активнее русского и просвещеннее. Он даже готов принять социализм при условии, что такое будущее свалится на него откуда-то сверху, например, из верхней палаты парламента, то есть по всем правилам, по закону... — Алексей Максимович говорил, сдерживая гнев, и оттого устал. Отдышавшись, продолжил: — У нас в Петербурге выходит газета «Новое время», столь реакционная, что самого Витте обвиняет в ослаблении революционерам, чуть ли не в потачке им. Так вот эта газета горячо хвалит западноевропейских социалистов именно за почитание законов и миролюбие. Словом, да здравствует мир с вооруженным до зубов самодержавием?! Оставить революцию без оружия — значит обречь ее на расстрел. А ей нужен не мученический венец, не сочувствие, а победа! И русский пролетариат, морально сильный, сознательный и верящий в свое близкое социалистическое будущее, решительно продвигается к этой победе.

Нет, подумал Уэллс, он не может прогнозировать по социальной формуле Горького, не может разделить понимание



революции в виде взрыва в самой гуще людей: слишком много жертв. В любом строительстве, в социальном тоже, должна быть своя техника безопасности, общественная аккуратность... «Аккуратная революция», — поймал себя на слове Уэллс, и ему стало не по себе от такого сочетания.

— Я никогда не был социалистом по Марксу, — сказал он после небольшого раздумья, чтобы поставить точку над «i». — Но социалистические идеи работают во мне как фермент еще со студенчества. Согласен, что Маркс в своей критике убедительнее многих доказал, что нынешнее общество — входящее.

Уэллс произнес все это меланхолическим тоном, поэтому его голос прозвучал ниже обычного. Такой спад настроения встревожил Джона Мартина.

— Кстати, о Витте, раз уж мы заговорили о нем! — воскликнул профессор, хотя это никому не показалось «кстати». — После открытия Думы мне уже несколько раз приходилось слышать, что Америка не понимает, почему столь умного и энергичного политика царь отстранил от государственной деятельности.

Горький пожал плечами.

— Уверяю, что с его отставкой ничего не изменится. Теперь на председательском месте в совете министров столь же преданный антинародному режиму Горемыкин, бывший министр внутренних дел, то есть шеф жандармов и полиции. Уж куда как надежно!.. Да и Витте у дел: он назначен царем членом Государственного совета, то есть высшего законодательного органа. И еще у него одна должность — главный редактор журнала «Тюремный вестник»! Глядишь, начнет пропагандировать охранную службу, ее прогрессивные стороны.

— Русский посол, барон Розен, пишут газеты, отправляется, то есть уже отбыл, в Петербург, — снова «кстати» заметил Джон Мартин. — Возможно, тоже за отставкой: он ведь был у Витте правой рукой в Портсмуте.

— Скорее, поехал для дипломатической накачки. Царское правительство ищет пути пополнения отошавшего казначейства. Романовы, витте, горемыкины готовы хоть завтра расцеловаться с вашими республиканскими шейлоками — штраусами, морганами, шиффами...

Герберт Уэллс разгадал нехитрую тактику предохранительного клапана, предпринятую хозяином дома, очевидно, для того, чтобы сбить накал полемики. Ему захотелось по-

мочь Джону найти отвлеченную тему, сделать разговор общим.

Выражение лица англичанина беспрестанно менялось, черты обострялись или расплывались, как бывает у неумелого художника, рисующего портрет акварелью. Уэллс и не умел скрывать своих чувств, а сейчас вот недовольства собой: нахмурился, усы — редкие, мягко обрамляющие пухлую верхнюю губу — взъерошились, большие уши покраснели.

— В поисках виновных мы всегда хотим выйти из своего дома, — продолжал Уэллс. — Такова относительность многих обвинительных заключений. Пока людей, к сожалению, чаще объединяет общая опасность, общий страх. Что же, и в самом деле ждать нашествия на земной шар разумных амёб, вроде моих марсиан?! Или еще каких чудовищ, биологически несовместимых с человеком? А я вижу это чудовище несколько ближе — это национализм! Поэтому я просто жажду скорейшего смещения рас, общего языка. И уверен, что так случится. В тех же Соединенных Штатах и в Южной Америке быстро растет число мулатов, креолов и метисов. Процесс, прямо пропорциональный распространению культуры среди остальных народностей.

— С одновременным распространением расизма среди так называемых культурных, — вставил Максим Горький.

Шумно завозился в кресле Джон Мартин, которому замечание показалось резковатым.

— Я вас, по-видимому, замучил историческими экскурсами, — начал он.

«Да, замучил», — подтвердил быстрый взгляд жены. В отличие от Марии Федоровны, которая спокойно и методично переводила фразу за фразой, Пристония стремилась проявить еще и собственное отношение к сказанному — восклицанием, взглядом, жестом, при этом, опять-таки в отличие от русской подруги, вовсе не выражая обязательного союзничества со своим супругом, как и с гостями. Когда Уэллс заговорил о мулатах, миссис Мартин так посмотрела на него, а затем на Лизи, принесшую на веранду кофе, как будто прикинула, какой бы мог получиться сын, родись он от этой пары — высокой, классически сложенной темнокожей девушки и невзрачного англичанина.

Джон Мартин, перехватив лукавую смешинку, игравшую в глазах жены, заторопился:

— Я все-таки позволю себе привести примечательный



факт из новейшей истории Японии. В этой стране, считавшейся в военном отношении ничтожной, но явно националистического духа, вот уже три десятка лет действует положение о всеобщем обучении. Думаю, что победу Японии в последней войне можно считать еще и созревшим плодом курса просвещения, прогресса.

— Какое же это просвещение, прогресс?! — с досадой возразил Горький. — Чтобы управлять скорострельными пушками или планировать количество трупов на квадратную версту?.. Может быть, с порт-артурских или мукденовских высот после того, как они были политы кровью русских и японских рабочих и крестьян, стало виднее будущее, о котором мы столько говорим сегодня?..

— Между обедом и кофе, — заметила на немецком, то есть для одной только Марии Федоровны, Пристония и скривила губы.

— ...Милитаризм — это не прогресс, — продолжал Горький. — И дикаря нетрудно научить элегантно владеть шпагой — вспомните робинзоновского Пятницу, — или английским боксом, стрелять из крупновской пушки или из пулемета американца Хайрема Максима. Но разве от этого он станет цивилизованнее, культурнее? Скорее, впадет в еще большую степень варварства. А гунны!.. Националистическая слепота, оснащенная техникой и объединенная жестокой дисциплиной, страшна. Вопрос о войнах, мистер Мартин, — обратился Горький к профессору, — надо ставить по-другому: кому выгодно натравливать народы друг на друга, то есть не просвещать в высоком смысле слова, а, наоборот, затемнять сознание, целенаправленно учить человекоубийству, готовить к международной бойне, внедрять в головы людоедскую мораль?

— Нынешние Пятницы с острова Мас-а-Тьерра — это и есть настоящее название прибежища Робинзона Крузо — тренируются уже не на шпагах: там испанцами возведен форт. — Профессор глотнул кофе, поднял к глазам опорожненную чашечку, напоминавшую по форме и по бледно-розовому цвету фарфора раковину теплых морей, посмотрел через ее тонкий выгнутый край и закончил: — Положение в мире таково, что прогресс и невежество, проходя мимо друг друга, вежливо приподнимают шляпы, поглядывая на бицепсы.

— Война далее превратится в строго рассчитанное по всем правилам науки массовое убийство, — сказал Уэллс. —

Нравится это нам или не нравится — так диктует стихия общественной морали.

— Но война — не стихия, — снова не согласился Горький, — это организованное бедствие. В особенности сейчас, когда у господствующего класса, у буржуазии, более нет идеалов, которые могли бы стать привлекательными для всего народа. Почему бы не перекроить мир по праву сильного?.. Отвлечь народ от внутренних проблем кровопусканием, ослабить его и вместе с тем развратить шовинизмом, уничтожением себе подобных... Дело освобождения от таких «просветителей» стало задачей века. Подчеркиваю — освобождения, а не утопического примиренчества.

— Никоним образом! — воскликнул Уэллс и закатил глаза так, что светлые редкие брови полезли у него на лоб. — «Современная утопия» вовсе не за пасхальное всепримирение, а за справедливое положение каждого человека в обществе в соответствии с его интеллектом, моралью, конкретными знаниями. — Англичанин явно обрадовался возможности хоть как-то пояснить основную идею своего нового произведения. — Люди «Современной утопии» по материальному положению равноправны, каждый из них будет участвовать в утверждении законов, голосовать за них. Но формулировать их и следить за исполнением должны специальные законодатели, имеющие выдающиеся достижения в общественно полезном труде — инженерном, врачебном, агрономическом, в искусстве и так далее. К тому же от этих людей будут требовать еще и высочайших нравственных качеств.

— Вы их даже запланировали вегетарианцами, наверное для того, чтобы привлечь Бернарда Шоу, — заметил Джон Мартин, довольный, что Максим Горький не разделяет точку зрения Уэллса.

— Нет, я прежде учел, что вегетарианцами были и Франклин и Кант, — шутливо ответил Уэллс. — Вспомните Канта: «Самый главный предмет в мире — это человек, ибо он для себя — своя последняя цель».

— Простите, я плохо представляю ваших «законодателей», так как не читал «Современную утопию», — признался Максим Горький. — Но они, как-то невольно, напоминают секту святош не то собрание сверхчеловеков... Уверен, что справедливо править может только сам трудовой народ, обыкновенные земные грешники, обыкновенные люди, массы и никак не одиночки. Народ мудрее любого гения и справедливее. Наконец, гений смертен, народ — нет.



Воцарилось молчание, которое нарушил Джон Мартин:  
— «Боги ревнуют, когда видят очень уж строгое подвижничество».

И так как молчание продолжалось, то Пристония, воспользовавшись паузой в переводе, прокомментировала на немецком, то есть снова для одной Марии Федоровны:

— Знаешь, Мэри, Джон цитатой из калидасовской «Сакунталы», хотя и туманно, но взял сторону мистера Горького. Мне тоже не по душе беспольные пуритане — законхранители «самоуправляющегося общества земного шара», как называет утопическое государство Уэллс.

— Мы, кажется, не понимаем друг друга, — с сожалением молвил Уэллс. — Я сам против любых цезарей. Речь идет о целом слое общества, выдвинутом народом на вершину управления. Законов будет немного. И прежде всего должно быть ликвидировано нелепое положение, при котором, вопреки здравому смыслу, класс, несущий главную тяжесть труда, поставлен в самые худшие условия.

Максим Горький отрицательно покачал головой.

— Дело не в здравом смысле. Только из-за классовой несправедливости человек труда поставлен в скотские условия.

— Дорогой Герберт, — несколько напыщенно начал Джон Мартин. — И в самом деле, как утверждает мистер Горький, ваши законодатели — типичные сверхчеловеки. А ведь даже Шопенгауэр был готов признать утопическую республику Платона при условии, что власть в ней будет отдана знати мудрых и благородных интеллектуалов.

— И назвал благородными людьми душевателей революции 1848 года, — дополнил Максим Горький. — Шопенгауэр, который даже свой немецкий народ назвал нацией глупцов, был убежден, что революционные порывы — это всего лишь выражение звериной природы человека. У нас в недавнюю пору политического безвременья он стал апостолом тех, кто хотел бы разделить общество на героев и толпу.

— Шопенгауэр вам интересен и профессионально, — слукавил Джон Мартин, заметив, как сузились глаза Уэллса, все же не желая ссориться с ним перед самым отъездом. — Он ведь искал биологическое начало в искусстве.

— ...И пришел к выводу о бесполезности прекрасного в человеческой практике, — продолжал спор Максим Горький, — тем самым лишив искусство социальных функций. Вместо противостояния злу у него надуманная формула со-

страдания — склеп, в который человек обязан посадить себя сам, страшая солнца, наслаждения, деятельности.

Уэллс, озадаченный такой двухсторонней бомбардировкой, решил спрятаться за одним из своих давно продуманных положений:

— Утопический человек не будет знать зла. Поэтому и такой эмоциональный компонент, как шопенгауэровская теория сострадания, никчемна. Исчезнут и угнетенные, и несчастные. Место жалости займет чувство справедливости. Вместе с тем я не претендую ни на что особенное — просто предлагаю точку отсчета начала социальной справедливости.

— Подобно нелюбимому вами Цезарю, приказавшему установить в римском форуме столб, чтобы вести от него отсчет любых расстояний. Скромное желание, — поддел Мартин.

— Конечно, самое удобное начинать от «своей печки» или «мерить на свой аршин», как говорят в России, — высказался и Максим Горький. — Но вехи нужны. Почему бы, в самом деле, не начать отсчитывать от колонны Свободы, установленной на месте снесенной народом Бастилии, эру революций?

— Утопии как раз и являлись теми дрожжами, на которых поднялась Великая французская. За нее с оружием в руках сражались и Сен-Симон и Фурье. Сен-Симон успел еще и за Великую американскую, — горячо подхватил Уэллс и тут же осекся, будто запнулся о порог, переступить который не мог.

Все явно заинтересованно ждали продолжения. Даже шотландская овчарка с недоумением уставилась желтыми глазами на внезапно умолкнувшего гостя, встала с циновки, подошла к нему и полезла мордой под устало опущенную с подлокотника кресла руку, лизнула ее.

«Эх ты, человек!» Уэллс вспомнил Шопенгауэра, который вот такими словами обращался к своему псу, когда хотел упрекнуть его в непонимании настроения хозяина.

\*

Три пронзительных гудка предупредили провожающих, что им пора покидать «Умбрию». Сразу же были подняты боковые трапы, а по главному — центральному — покатился вниз, к пристани, людской поток.

— Отдать носовые! — приказали через рупор с капитанского мостика.



Курносый, с округлыми бортами буксир, взбаламучивая за собой воду, пыхтя, надавил сбоку на острый и крутой форштевень «Умбрии» — и зазор между нею и пристанью начал расширяться.

«Умбрия» не входила в число новейших трансатлантиков, уступала им в размерах и скорости, но зато превосходила комфортом, не было на ней и трюмного иммигрантского класса.

Судно принадлежало английской компании «Кунард-лайн» и строилось на отечественных Клайдских верфях. Однако Уэллс взял билет на «Умбрию» вовсе не из патристических чувств, а просто потому, что пароход отправлялся в Европу раньше других.

Писатель, опершись на поручни, глядел с палубы на густо покрытую мусором воду, на беспорядочные крутые уступы небоскребов — и словно видел перед собой неряшливую, незавершенную стройку, которая лезла вверх без плана, с одного и другого края, без заботы о симметрии, не говоря уж об эстетических пропорциях. Вот-вот это хаотическое нагромождение железобетона, камня и кирпича потеряет равновесие и свалится в Гудзон. А может быть, Нью-Йорк — это пока лишь груда наспех сгруженных на берег ящиков, из которых через какое-то время начнут появляться прекрасные вещи?

— Левые машины, малый назад! — прервала раздумья Уэллса новая команда.

Судно задрожало, заворочались винты — оно медленно тронулось по Гудзону вниз, к выходу в залив.

«Почему, собственно, названо «Умбрией»? — спросил себя Уэллс. — Провинция Италии в центре Апеннинского полуострова?..» Во время своей первой поездки на материк они с Джейн побывали там в городе Тодди — огромный храм на холме, городская стена из резного камня, несколько уличных ярусов, — издали Тодди выглядел белым кораблем посреди зеленого моря полей и рощ.

И опять с мостика, сверху, громогласно объявили, что пароход завершит рейс за семь суток, прибудет в 20 часов 55 минут гринвичского времени.

«Точность расписания игнорирует прихоти морской стихии, — подумал Уэллс. — Фенимор Купер в 1806 году плыл из Америки в Европу сорок суток; бедного Чарльза Диккенса носило по штормовому январскому океану восемнадцать дней и ночей! Этот же многоэтажный пароход с палубой в

Трафальгарскую площадь, с толпами гуляющих — более город, чем корабль. Машинная упряжка в пятнадцать тысяч лошадиных сил влечет его с точно выдержанной скоростью в девятнадцать с половиной узлов. Утлый диккенсовский пакетбот можно было бы засунуть внутрь «Умбри», в один из ее трюмов, как в бельевую корзину, — вместимость чрева корабля почти восемь тысяч тонн».

Да и каюты! Чарльз Диккенс-эсквайр с супругой устроились в своей как курицы на насесте, а на «Умбри» — это номер первоклассного отеля...

Именно с анализа эволюции путей сообщения и транспорта, с определения их значимости в совершенствовании человеческого общества Уэллс и начал свою книгу о связи социальной реконструкции с техническим прогрессом, пообещав к двухтысячному году возрастание скоростей до трехсот, а возможно, и более миль в час.

Уэллс поймал себя на мысли, что в нем закрепилась привычка — любой разговор, даже внутренний, сводить к положениям «Современной утопии». Это как у влюбленного мужа, который каждую вторую фразу заканчивает: «А вот моя Мэри»...

Так оно получилось и вчера в доме Мартина. Его явно занесло, когда он вдруг охарактеризовал утопию в качестве идейной силы народного брожения, вылившегося во Францию в революцию, а самих создателей утопических идей представил баррикадными бойцами... Спасибо женской деликатности. Пристония, а за ней и миссис Горькая явно для того, чтобы помочь ему справиться с растерянностью, попросили дать им возможность отдохнуть от перевода и, болтая между собой на немецком, взялись убирать посуду после кофе.

Получилось невольно так, показалось Уэллсу, что он заговорил в унисон с Максимом Горьким, хотя ясно понимал, что русский писатель — твердокаменный марксист, трибун революционной социал-демократии. Себя же Уэллс причислял к сторонникам эволюционной системы социального обновления и, если угодно, видел педагогом, для которого весь мир пока представлялся довольно-таки ленивым, хотя и многообещающим подготовительным классом. Нет, он не собирался становиться в позу великого или любимого, совсем не желал, чтобы ему заглядывали в раскрытый рот. Просто хотел, чтобы его гипотезы развивали в людях чувство критического отношения к действительности, то есть и к его



утопии, которую он назвал, в отличие от существующих, «современной».

Уэллс подумал, что он рад новой, второй, встрече с Максимом Горьким, более близкому знакомству с ним, уже прошедшим через американское чистилище, на вратах которого стояло: «Вы не анархист?..» Можно даже сказать, он впервые встретился вот так близко, глаза в глаза, с современной Россией, чья литература своей философской напряженностью потрясает сейчас Европу и Америку, со страной, которая творит революцию, идущую в своих целях значительно дальше, как ему стало ясно, чем ее великая предшественница в стране «Марсельезы» и, увы, гильотины... Более того, он сейчас, после знакомства с Горьким, может даже сказать, что не знал России, хотя двери в нее ему раскрыли книги русских же корифеев слова, в особенности Льва Толстого, а уровень научной мысли которой он смог оценить еще в студенческие годы по работам биологов Мечникова и Ковалевского.

Чепуху, оказывается, нес автор двухтомника «Россия», ученый баронет Дональд Мэкензи Уоллес, когда утверждал о якобы состоявшемся примирении русского общества с царским правительством и о полной бесперспективности там социалистической пропаганды. Максим Горький убедительно продемонстрировал всей Америке обратное.

Вроде бы из первых рук были получены сведения о русских нравах, обычаях. Среди его знакомых имелись авторитетные знатоки России — корреспондент «Таймс» Роберт Вильтон, выросший, как утверждал, на Волге, вхожий в русские аристократические дома, и директор лондонской библиотеки Хагберг Райт, и ученый филолог Гарольд Уильямс, который два года назад поехал в Россию да остался там корреспондентом «Манчестер гардиан», даже женился на русской писательнице. Все трое превосходно знают русский язык. А Уильямс вообще полиглот: когда посетил Льва Толстого — это было сразу после 9 января, — то помог ему прочитать скопившиеся письма на испанском, португальском, скандинавских языках. Русскому Уильямсу учился по Толстому — по «Анне Карениной». Однако все эти авторитеты смотрят на «страну снегов», пожалуй, излишне сентиментально, затуманенным взором. И мыслима ли для сознания англичанина-джентльмена картина, нарисованная вчера Максимом Горьким, — варварское публичное истязание беспомощной женщины?!

«А почему бы и немислима? — перебил себя Уэллс. — Европа с благословения государства и церкви целое тысячелетие жгла факелы из «ведьм». По сравнению с такой жестокостью сцена в глухом русском селе — всего лишь домашняя ссора. Даже матушку Иоганна Кеплера инквизиция объявила ведьмой. Видно, за то, что родила гениального сына, позволившего себе заниматься небесной механикой — монополией церковников.

И Райт, и Вильтон, и Уильямс выглядят со своими рассуждениями наивно, наподобие Джона Мартина, надевшего вчера цветастую рубашку — подарок артистки Московского Художественного театра, то есть русофилами на час. Зато она сама, подруга Горького, продемонстрировала в Соединенных Штатах выдержку и мужество героинь Шекспира, но во имя цели безмерно более высокой.

Ничего, получается, не поняла лондонская критика — газетная и академическая — и в Максиме Горьком, хотя пишет о нем без перерыва с 1901 года, то есть с начала публикации его книг на английском. А возможно, сознательно хочет оставить одного из самых популярных писателей Европы в живописных лохмотьях «великого босяка», «искусного импрессиониста», «поэта порочных натур», презирающих государственную мораль и отрицающих христианство? В Горьком даже обнаруживают родственное сходство с Кипплингом, так как и он, по мнению критики, вывел из джунглей глубинной народной жизни босяков, бродяг, открыв им двери в большую литературу пинком ноги...

Какая чушь! Кипплинг, великодержавный англосакс, готовый вести наемные армии из бродяг и любых негодяев через пустыни и болота во имя процветания империализма «владычицы морей», и интернационалист Максим Горький — да нет более различных по идеологии людей! Кипплинг в своем застывшем надутым высокомерии пишет, что русский пленяет нас тогда, когда остается человеком восточным, а не тогда, когда хочет быть цивилизованным человеком западного мира, то есть поёт старо и назойливо: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда». Да нет, обязательно встретятся, уже встретились! И он, Уэллс, рад этой встрече, потому что в Максиме Горьком увидел союзника в главном, в стратегическом — в стремлении перестроить весь мир на социалистический лад. Вчера, как только женщины вернулись на веранду, снова вступив в роль переводчиц, он пытался объяснить Горькому, что они



оба — в одной упряжке и что нынешняя литература вообще живет большими общественными интересами.

— Настоящей литературе это всегда было свойственно, — ответил ему Максим Горький. — И все-таки пока в ней еще недостает мускулов. Длань ее несколько пухла: не мозоли, а румяные бугорки-подушечки, более пригодные для поглаживания голов разным социальным шалунишкам. — Максим Горький сказал это так, что Уэллсу тут же захотелось пощупать свою ладонь. — «Все уступает дорогу душам, идущим вперед, все религии, устои, искусства, правительства!..»

— Уитмен! — воскликнула Пристония, схватив за руку Марию Федоровну.

Джон Мартин, конечно, не преминул напомнить исторический казус:

— Когда папа Павел III пожелал, чтобы Микеланджело внес некоторые приятные глазу изменения в свою картину «Страшный суд», художник ответил: «Пусть папа изменит сначала мир, и тогда изменится живопись».

— Все верно, — подтвердил Горький, — кроме одного — мир переделывать все-таки не папам.

— Мы можем завтра вместе послушать в Обществе этической культуры воскресное чтение доктора Адлера, — предложил Джон Мартин, — о высших нравственных идеалах в творчестве.

— Уверен, что мы не пойдем друг друга. Кроме того, завтра я отбываю в Англию, — вынужден был сообщить Уэллс и, предупреждая возможные проводы, добавил, что больше им, к сожалению, уже не удастся свидеться в Нью-Йорке.

Присутствующие поняли его желание. Пристония, обняв спинку кресла, дурашливо пожалела:

— О, мистер Уэллс, напрасно так торопитесь. Ваш друг Генри Уилшайр объявил конкурс на лучшего пропагандиста — распространителя журнала «Уилшайрс мэгэзин». Премия — кругосветное путешествие! Вы теряете отличный шанс поддержать миллионера-социалиста и иметь бесплатный проезд.

— Возможно, Генри снова рассчитывает на Джека Лондона, — вмешался Джон Мартин, подделываясь под тон супруги. — Писали, что он вместо сгоревшей при землетрясении яхты заложил в Сан-Франциско новую и объявил, что непременно в нынешнем же году отправится в плаванье.

Тугой гудок «Умбрии» окончательно отвлек Уэллса от вчерашнего. Пароход, сделав еще один разворот, обогнув плавающий маяк «Амброз», готовился взять курс в открытое море. Когда застопорили ход, чтобы ссадить на катер речного лоцмана, из тумана выплыла громада встречного судна. Уэллс узнал «Дойчланд», на котором он прибыл в Соединенные Штаты. Корабли, приветственно прогудев, разошлись. Уэллс пробежал глазами по самой нижней палубе — иммигрантскому этажу, по плотному ряду пассажиров, — очередному пополнению, спешившему в пасть города-монстра.

Страна и сама напоминала ему пароход-трансатлантик, громаду, до предела насыщенную механизмами, со случайным разноязычным населением. Творческого духа, необходимого для создания разумного гуманного общества, тут он не обнаружил.

Американской прагматической науке не свойственна философская дальновидность, без чего невозможно планировать социальное будущее, продолжал раздумывать Уэллс. Здесь не станут завидовать уму писателя, мыслителя — нет, ни в коем случае! А вот спиюминутной ловкости удачливого нувориша — будут. Слеп и бог Америки — бизнес. Бронзовая леди с факелом в Нью-Йоркском порту — она всего лишь маяк свободы анархического предпринимательства, ориентир для бегунов по кругу: каждый шаг вперед в действительности же — назад, к исходной точке.

Конечно, Америка благоденствующих — это страна киппсов, которые по утрам, едва продрав глаза, молитвенно повторяют десять заповедей доктора Паркера, — и с особенным жаром: «Тебе не следует водить дружбу с бесполезным человеком», понимая под «пользой» только долларовые возможности.

«Видел ли я здесь большой ум и благородное сердце Америки? — спросил себя Диккенс после посещения Вашингтона и ответил так: — Кое-где адели капли живой крови, но они тонули в общем потоке лихого авантюризма людей, пришедших сюда в погоне за прибылью и наживой».

«Американские заметки» Диккенса в Соединенных Штатах сочли клеветой на страну. Как же?! Писатель высмеял тщеславие молодой столицы, осудил рабство негров, продажное судопроизводство и, что уж вовсе бестактно, выска-



зал мнение, что американское общество духовно нищее.

Ну а сейчас газеты столь же злобно обвиняют русского писателя Максима Горького, который выступил не только против американских порядков, но своей перепиской с упрямными в тюрьму забастовщиками послал вызов Фемиде, по существу — самому президенту, назвавшему их «нежелательными гражданами».

Уэллс, продолжая ощущать присутствие знаменитого соотечественника и Максима Горького, в которых нашел общее, опять достал свой блокнот и к ранее написанному добавил: «Факт заключается в том, что в сегодняшней Америке никто не знает, что делать для будущего, исключая счастливейших индивидуумов».

Перечитал, исправил в слове «будущее» первую букву со строчной на заглавную и встал, чтобы пройтись.

На «Умбри» даже на прогулочной палубе-галерее некуда деться от зеркал. Уэллс невольно оглядел себя, отметив, что руки у него непропорционально коротки относительно туловища. Засунув левую в карман, а правую — за борт пиджака, он встретился с собой в очередном зеркале уже с проницательным доброжелательством: «Голову при таком атлетическом торсе следовало бы иметь несколько больше».

Писатель оглянулся на размытые туманом силуэты тесно сбившихся небоскребов, на расширившееся серое полотно Гудзона и, поймав удаляющуюся корму «Дойчланд», как будто бы попрощался и с самим собой, то есть с тем Гербертом Уэллсом, который два месяца назад прибыл сюда, на американский берег, со столь большими ожиданиями.

#### **4. «ВСЕХ МЕНЕЕ ВОЗВЫШЕННЫЙ ИЗ ДУХОВ»**

Вскоре начал готовиться к отъезду из Нью-Йорка и Максим Горький. Его решение, удивившее Уэллса своей неожиданно-

стью — задержаться в столь негостеприимных Соединенных Штатах и отправиться на все лето с четой Мартин в Адирондакские горы, — возникло не случайно и далеко не просто, не вдруг.

Сроки пребывания в Америке Алексей Максимович изменял уже несколько раз. То, что родину оставлял надолго, — это было ясно с самого начала. Он так и писал Екатерине Павловне: «Раньше конституции не вернусь, ибо еду с определенной целью, коя воспретит мне въезд в Россию до

лучших времен. ...Еду в Германию, Францию, Англию и Америку». При этом не уточнял, где сколько пробудет, кроме Соединенных Штатов: здесь — до двух месяцев.

Поправки в планах начались уже в Европе. А по прибытии в Соединенные Штаты, на борту «Кайзер Вильгельм дер Гроссе», Алексей Максимович на вопрос корреспондента «Нью-Йорк таймс» — сколько времени он намерен гостить в Штатах? — ответил осторожно: «Я не знаю, как долго или коротко буду находиться в вашей стране. Однако постараюсь за это время выполнить все намеченное в интересах моей родины».

Указанные два месяца прошли. И хотя с началом шабаша «желтой» прессы друзья предупреждали Горького, что работать ему для революции в Америке не дадут, он непрерывно работал, только сделал меньше, чем полагал, и главным образом в решении финансовой части программы: денег было собрано мало.

Не оправдалась надежда и на получение займа в пятьдесят тысяч долларов через новый горьковский комитет «сочувствующих». Генри Уилшайр оказался прав, когда усомнился в реальности такой операции, видно, хорошо знал душу американских либералов-толстосумов: никто из них, как, впрочем, и он сам, не предложил Горькому ни копейки. Хуже того, после завершения агитационной поездки в Филадельфию и Бостон члены центрального комитета общества «Друзья русской свободы», среди них и профессор Феликс Адлер, и Алиса Блэквелл из Бостона, потребовали внести ясность, на какие цели и по каким каналам ушли в Россию ранее собранные пожертвования. При этом давалось понять, что горьковский «канал» им не подходит. «Друзей» ужаснуло открытие, что в российском социал-демократическом движении появилась чрезвычайно радикальная коммунистическая ветвь!

Словом, на американцев с толстыми бумажниками Алексей Максимович уже не возлагал надежд. И тем дороже ему и его товарищам становились трудовые центы, которые безымянно стекались в фонд солидарности русской революции, учрежденный на первомайском митинге в Купер-юнион. Сводки о пожертвованиях понедельно появлялись в нью-йоркской «Уикли пипл». За май и июнь эти скромные дары принесли около десяти тысяч долларов. Но новых поступлений ждать было неоткуда. Деньги же для партии требовались крайне.



Алексей Максимович это понял по последнему письму Красина. Казначей большевиков и руководитель Боевой технической группы ставил в известность, что те суммы, которые будут приходить из Америки, имеют «специальное назначение» (следовало понимать — на организацию боевых сил партии). Красин просил Алексея Максимовича обсудить его письмо вместе со Стрелой — такой конспиративной кличкой наделил Марию Федоровну. Своей припиской он не только выражал доверие к ее деловитости, но и хотел ободрить, призывал держаться, невзирая на поток клеветы, который продолжал литься со страниц американской и русской черносотенной прессы.

Большевики рассчитывали на своих посланцев, хотя и понимали, что тем за океаном нелегко. И действительно, в сложившейся ситуации у Максима Горького оставался единственный финансовый резерв — литературные заработки. Нужна была крупная вещь, которая своей актуальностью заинтересовала бы издательства в Америке и в Европе, могла бы принести значительный гонорар.

Гадать над темой писатель не собирался — это будет начатый им в России роман «Мать»! И хотя у него с собой не было собранных материалов, то есть писать придется по памяти, он считал, что с задачей справится к осени. Своему новому произведению Алексей Максимович придавал особое пропагандистское значение. Так прямо и писал Морису Хилквиту:

«Это хроника роста революционного социализма среди рабочих фабрики.

Вот пускай американцы купят и поучатся у русских рабочих — понимать социализм...»

Но где же укрыться, в какое уйти символическое подполье для выполнения не только литературной, но и срочной партийной задачи? Над этим вопросом думали все. У Марии Федоровны лежала на душе еще одна постоянная забота — беречь здоровье Алексея Максимовича. Когда Морис Хилквит, которого посвятили в суть нового решения, прозрачно намекнул ей, почему-де Горькому для пополнения кассы не продолжить поездку по городам Соединенных Штатов, она ответила категорично:

— Новая поездка мне не кажется целесообразной. И в первую очередь потому, что она может плохо отразиться на здоровье Алексея Максимовича. Не говоря о самых элементарных чувствах человечности, это вряд ли можно считать

продуктивным для самой партии: попросту означает резать курицу, несущую, пока она жива, золотые яйца.

Излишняя жесткость ответа объяснялась тем, что Мария Федоровна разгадала, что нью-йоркские социалисты в данном случае пекутся не столько о русской революции, сколько о своих парламентских делах, — хотят использовать имя Горького в начавшейся кампании по выборам в сенат.

И вот тут-то, как нельзя кстати, подоспело предложение супругов Мартин — поехать вместе с ними в Адирондак, на границу с Канадой, пробыть все лето в горах среди хвойного леса. Таким образом, сроки визита Горького в Соединенные Штаты снова менялись. Отправив Красину денежный перевод, он ему написал, что вынужден задержаться в Америке, так как дела продвигаются несколько медленнее, чем думал. В заключение заверил: «Деньги будут, как бы ни мешало мне посольство, буржуа, с-ры, бунд и прочие штуки». Новый срок пребывания за океаном определил — до осени, до октября.

Пришлось менять и самые ближайшие творческие планы. Вместо полутора десятков материалов о России, обещанных в клубе «А» Артуру Брисбену, Алексей Максимович наметил столько же... о самих Соединенных Штатах и Европе — два цикла, памфлеты «Мои интервью» и очерки «В Америке». Эти произведения он начал набрасывать еще в апреле по первым впечатлениям и теперь, войдя в работу с ними, так спешил, что после возвращения из Бостона почти не покидал Стейтен-Айленд. И газеты вроде бы поутихли, «совсем не интересуются нами», отмечал Алексей Максимович в письме в Берлин, Ладыжникову, которому чуть ли не каждую неделю отправлял по готовому очерку. Однако затишье окончилось самым неожиданным образом.

\*

После дневного чаепития, то есть после семнадцати, когда все в доме на Гримс-хилл, как правило, занимались своими делами, в гостиной раздалось — «Deuce take it!», сказанное с чувством огромного удивления и столь громко, что головы любопытствующих показались сразу из двух дверей: из одной — Марии Федоровны, из другой — Пристони. Восклицание принадлежало хозяину, Джону Мартину.

— Черт возьми! — повторил он уже по-русски и, потря-



зая свежим номером «Америкэн», попросил жену: — Приста, объясни Мэри, что ее супруга надо немедленно вызывать с Манхаттана. Если он окажется на Уолл-стрит, его могут линчевать!

Веселость, с которой профессор произнес эту фразу, не соответствовала серьезности предположения. Алексей Максимович еще с утра отправился к Морису Хилквиту, однако не как к председателю социалистической партии, а как к главе юридической конторы — Бродвей, 320. Требовалось выполнить некоторые формальности по доверенности: Хилквит получал от него право на ведение переговоров с американскими издательствами. Предложение взять адвоката-посредника принадлежало Марии Федоровне. Она считала, что солидный юрист-американец поведет денежные дела целесообразнее и освободит от них Алексея Максимовича.

Пристония, отложив уэллсовскую «Современную утопию», которую собиралась перечитать, начала переводить сказанное супругом, но тут же сама себя прервала:

— Да он жив-здоров! Оглянитесь и посмотрите в окно...

За изгородью, возле кованной и низенькой, в английском стиле калитки, стоял Алексей Максимович. Пригнувшись к перекладине, он рассматривал прикрепленный к ней бумажный листок...

— Алексей, что там на воротах? — встретила его вопросом Мария Федоровна.

— Кажется, подметное письмо! Адресовано мне — это я понял, а вот что далее... — Алексей Максимович пожал плечами и подал лист Пристонии.

Женщина взглянула на три размашисто и крупно написанные строчки и покраснела.

— Мне стыдно за соотечественников!.. Этот пасквиль звучит примерно так: «Американский Желтый дьявол — бредни русского Красного черта!»

— Вот видите, ваши ворота мазнули дегтем. Совсем пороссийски, — сказал Алексей Максимович. — Только не пойму, откуда сему марателю стало известно о моем «Желтом дьяволе»!

Джон Мартин, который внимательно прислушивался к разговору, опять потряс газетой и вмешался:

— С вашего позволения, готов объяснить. Сегодня опубликован очерк Максима Горького «Один из королей республики». Этого короля вы именуете слугой «Желтого дьявола», — профессор говорил почти торжественно, но в кон-

це не выдержал тона. — Поздравляю, вы вновь крепко встряхнули наше пропыленное общество!

Алексей Максимович живо заглянул в газету.

— Странно, — недоумевающе протянул он. — Я не передавал очерка, не давал разрешения печатать!..

— Однако, — возразил Джон Мартин, — ниже сказано, что публикация произведений Горького будет продолжена. Как же это понимать?

— Скорее всего так: меня обокрал мистер Херст, кандидат в президенты Штатов и социалист!..

И в самом деле, как мог попасть в нью-йоркскую редакцию очерк, если его отправили в Европу? Правда, в известиях агентств сообщалось, что в Париже на одном из последних вечеров русской колонии состоялось чтение новых американских произведений Горького, вызвавших среди политэмигрантов неудержимый хохот. Вполне возможно, что в том же зале находился и херстовский корреспондент...

Алексей Максимович подошел к зазвонившему телефону.

— ...Мистер Хилквит? А, вы тоже меня поздравляете. Значит, читали. Вам не кажется, что появился законный повод начать процесс против мистера Херста?.. Предъявить обвинение в мошенничестве. Крадет миллионер!.. Конечно, это честь для русского мастера. Как у Беранже: «В сравнении с ним, с лицом таким!» Вы считаете, я проиграю?!

Далее Алексей Максимович слушал хмуро и без комментариев. Положив трубку, пояснил:

— Мистер Хилквит растолковал: если я начну процесс, то этим всего лишь помогу создать новую сенсацию. Пресса подхватит тяжбу и доведет ее до гомерических размеров... Возбужу ли я уголовное дело против Херста или предъявлю гражданский иск — то и другое все равно пойдет ему на пользу, на увеличение тиражей. Поэтому мистер Хилквит советует сделать наоборот: поблагодарить редактора Брисбена за столь оперативную и приятную публикацию и предложить ему напечатать что-то еще и подороже. Брисбен должен пойти на такую компенсацию за исполненное хамство. Словом, мне предлагается учиться ставить подножки, становиться понемногу похожим на американского жулика...

— Прошу прощения, но Хилквит прав, — подтвердил и Джон Мартин. — Политический выигрыш от публикации стоит утерянной суммы. Можно понять и Брисбена. По правилам американской прессы ни один издатель не простил



бы своему сотруднику сокрытие попавшего в руки сенсационного материала, будь он даже украденным... Помните, Херст следом за вашим очерком о сан-францисской катастрофе поместил фотографию разрушенного и горящего города? Первым из газетчиков Нью-Йорка! И что же выяснилось потом? Оказалось, была подретуширована старая фотография пожара в Балтиморе! Но «потом», когда снимок уже сделал свое дело... И правда, мистер Горький, поблагодарите редактора. Медом больше словишь мух, чем уксусом.

— Мух надо не ловить, а прихлопывать.

— Вашей сатирой — можно и слона...

— Предпочитаю королей, европейских или американских, все равно.

— Да, они «все лишние» — так обобщенно вы сказали о них в очерке, — подтвердил Джон Мартин. — Но в данном случае у вас идет речь о конкретной личности, о Джоне Рокфеллере. Не так ли?

Алексей Максимович, закашлявшись, отрицательно покачал головой.

Тогда профессор раскрыл газету, стал торопливо выбирать строчки:

— «...Длинный сухой старик... Дряблая кожа лица... Верхняя губа — бритая, бескровная и тонкая». Должен заметить, — Мартин оторвался от очерка, — безгубый рот, похожий на щель, — семейная черта Рокфеллеров. Этот рот и придает лицу, как вы правильно пишете, «выражение жестокой злобы». Пойдем далее: «Одет как простой смертный», его завтрак — «ломтик апельсина, яйцо, маленькая чашка чая». Да, Рокфеллер постоянно подчеркивает свою ограниченность в пище и безразличие к дорогой одежде.

Продолжим. Ваш король, как и старый Джон, ничего не читает, кроме библии и главной бухгалтерской книги. Он откровенно признается, что мало понимает в искусстве: «Я ничего не думаю о нем, я просто покупаю его». Наука? Это «нанимать за небольшую плату разных философов». Правительство? «Добрые ребята из Вашингтона», сенаторы, которых тоже приходится покупать. Правда, подлинный Рокфеллер в своих мемуарах (он, представьте себе, как и ваш король, пишет книгу) выражается тоньше: «Необходимо тесное сплочение духовных сил с людьми бизнеса...»

— Достаточно, достаточно, Джон! — взмолилась Пристония, забыв, что она выступает всего лишь переводчицей.

— ...Ваш король, как помните, выразил недовольство

учителем своей дочери, сообщившим ей о социальных науках, о социалистах. Но в «интервью» вы могли бы написать и точнее: Рокфеллер не просто «выразил недовольство», а потребовал убрать из Чикагского университета, где училась его единственная дочь Эдит, всех свободомыслящих профессоров!.. И попробуй откажи: пожертвования-то на постройку женского колледжа предоставил Рокфеллер. Он, можно сказать, главный попечитель этого храма науки, а ректор, доктор Уильям Гарпер, выступает в роли постоянного просителя, хотя газеты изображают его в обличье волка, преследующего керосинового короля. Представляете, Рокфеллер — Красная шапочка?! Ха-ха!

— Мистер Горький, да оставьте же Джона!..

— Сейчас попробуем, — весело согласился Алексей Максимович. — Что вы, герр-профессор, изволите сообщить на такое возражение? Мой король говорит: «У меня железные дороги», у Рокфеллера же — нефть.

Реакция Джона Мартина была мгновенной:

— И мало кому известно, что Рокфеллер — это еще и грандиозный синдикат по строительству транскитайской магистрали с выходом на Сибирскую. Не находите, что похоже написано и у вас? — Профессор поискал нужную строчку. — «Если он, сидя в Нью-Йорке (могли бы сказать точнее — Бродвей, 26), почувствует, что где-то в Сибири вырос доллар, — он протягивает руку через Берингов пролив...»

— Отдаю должное вашим познаниям и внимательному чтению моего «интервью», но, право, я создавал коллективный портрет. Все короли — мясные, нефтяные, железные — взращены Желтым дьяволом, золотом, отсюда их такое братское сходство в главном — в энергичном грабеже нации, в нищете духа. Правда, до Америки мое представление о желтом отце лжи и разврата не имело столь законченной формы. Здесь у вас все обнажено, начиная от архитектуры до идеологии, — голого бога посадили даже на макушку нью-йоркской биржи. И Желтый дьявол шествует без малейшей гуманистической маскировки, пренебрегая богатым европейским опытом. Он самодоволен, нет — самовлюблен и откровенен до цинизма!

— Как быть? Пока что миром правит жадность. Способности людей разумно судить и разумно поступать ограничены. Это заложено в самой человеческой природе, — Джон Мартин уклонился от комментариев, уйдя в общее.

— В природе?! Вместо того чтобы сваливать наши со-



циальные болезни на Адама и Еву, что глупо и неблагодарно, не лучше ли поискать источники заразы поближе, как говорят у нас в России, «на себя, кума, оборотиться»?

Обращением к крыловской басне Алексей Максимович чуть задержал перевод. И все равно в интерпретации Пристони фразы получила адресное направление: Джону Мартину надо оглянуться в первую очередь на себя.

«Станный этот Горький, протягивает руку за помощью, а вместо благодарности дает пинок. — Мартин невольно вернулся ко времени поездки в Бостон, которая поставила его в двусмысленное положение: фабианец, а ратовал с трибуны по марксистской схеме. — Полезнее было бы, конечно, проехаться с Уэллсом... И почему так: английский писатель, тоже известный всему миру, прибыл в Нью-Йорк как рядовой пассажир и уехал, не вызвав ни прессы, ни собраний? У Горького же каждый шаг, каждое слово — событие для Америки. Вероятно, дело не только в уровне таланта, а еще и в представительстве: Уэллс — теория эфемерная, поиск отдаленного будущего, а Горький — это дело, бурлящее сегодня! Тем и определяется четкость симпатий и антипатий. Уэллс и сам эту злободневность подчеркнул — уже из Лондона!»

Джон Мартин подумал о статье Уэллса в «Харперс уикли». Вместе со словами большого уважения к русскому писателю-революционеру его коллега по фабианскому обществу бросил официальной Америке обвинение: «...В течение нескольких дней нация была сосредоточена на одной великой и благородной идее, на русской свободе и на Горьком как на воплощении этой идеи. Затем внезапно все было забыто в ужасающей атаке спущенной с цепи прессы. Горький уже оказался не «воплощением духа справедливого протеста», а радикалом с извращенным умом и свободой морали, который, объединяясь с красными Европы и Америки, распространяет дух ниспровержения, то есть является анархистом и адвокатом террористов».

«Совершенно ясно, «адвокатом террористов» — это Герберт Уэллс вспомнил о защите Горьким Хейвуда и Мойера...»

Джона Мартина от раздумий оторвал голос жены:

— Джон, ты где-то витаешь. Мистер Горький утверждает, что фабианцы и другие социалисты-реформаторы предлагают обществу «щадающую интеллектуальную и политическую диету».

— Пожалуй, и так, — согласился профессор. — Оно ведь больное...

— А в качестве врачей пускаются в ход солдаты, — дополнил Горький. — Американская, столь высокотехническая цивилизация, как я убедился, прекрасно умеет стрелять в недовольных.

— Что же делать? Техника становится все разумнее, а мораль топчется на одном месте, — пожаловался профессор, уходя от темы расстрелов. — Вы верите в классовую борьбу, а мы, фабианцы, — в науку, в разум.

— Вот вы и подошли близко к точке зрения моего «короля»: «Хорошая наука не может быть сделана социалистом», — заметил Горький. — Учение о классовой борьбе как движущей силе есть новейшее в общественной науке. «Капитал» стал популярнейшей книгой конца века и начала нынешнего. Это признают Шоу, Дьюн и ваш друг Уэллс.

«Он стал более вашим другом», — хотел возразить Джон Мартин, но сказал другое:

— Уэллс как-то высказался, что если человек и далее будет вести себя столь же неразумно, то техника сама посадит его в зверинец.

— Вот она, теория неверия, «диеты». — Алексей Максимович явно испытывал желание закончить разговор, похожий на топтание на одном месте, и все-таки не удержался: — Можно ли уважать науку, которая работает на закрепощение многих немногими, науку, которая не хочет бороться, а умеет только подлаживаться, выжидать или бесильно разводить руками, не желает выглянуть из своей белокаменной лаборатории, под окнами которой — голод, море крови, гниющей мерзости и — сухие, протянутые к солнцу, к свету руки жаждущих, голодных, обреченных на тупой труд только ради живота своего? Наука, которая семенит за золотым мешком, позволяет превращать себя в нечто выморочное, во что можно тыкать палкой на манер чеховского Ионыча: «Это продается?.. И сколько?»

И опять Марии Федоровне по ходу перевода пришлось знакомить собеседников-американцев с русской литературой. Но если о Крылове она сказала просто: «Русский Лафонтен», то для сравнительной характеристики судьбы и творчества Чехова, которого она лично хорошо знала, не могла подыскать европейскую знаменитость.

Мысль Алексея Максимовича шла в другом направлении: «О эти любезные, разумные американские «дети солн-



ца», — и Мартини, и Уилшайр, и Гиддингс, Дьюи и Адлер, — готовые под воздействием эмоционального момента воскликнуть: «Да здравствует свобода!», а протрезвев, добавить: «В пределах законности...» Да, да, всего лишь новая встреча с «воробьями-либералами», о которых когда-то писал в «Весенних мелодиях»...

— Я прекрасно поняла писателя Чехова, — ответила Марии Федоровне Пристония. — Он чем-то похож на нашего Стивена Крейна — тоже умер молодым от туберкулеза и вдали от родины. Он был столь же нежен к страдающим, в особенности к женщинам, и непримирим к ионычам — большим и малым рокфеллерам.

Такой поворот показался Марии Федоровне несколько боковым и утрированным: «Ионыч — Рокфеллер?!», но Джон Мартин продолжил мысль жены, как бы дал пояснения:

— И тот и другой смотрят на мир глазами Маммоны — этого «всех менее возвышенного из духов». Хотя Джон Рокфеллер, по утверждению нашего общего друга Уилшайра, — Джон Мартин вспомнил разговор в клубе «Х», — являл саму откровенность и простоту. А разве мистер Горький, — уже подзадоривал профессор, — не выразил в своем очерке удивление, что «король», которого он раньше представлял как существо с полутора сотнями зубов во рту и с желудком величиной в трюм парохода, оказался нормальным человеком? И даже с ребяческим выражением в глазах.

Хмурое лицо Алексея Максимовича свидетельствовало, что ему не по душе шуточный тон собеседника.

— У осьминога, говорят моряки, глаза тоже имеют человеческое выражение, — заметил он, не желая более сдерживаться и передав дипломатию на усмотрение переводчиц. — Но сей головоногий моллюск от этого не кажется гуманнее: в минуту лишает свою жертву крови — высасывает. Для него легко найти аналогию среди тех, кто гонит кровь людей по нью-йоркским авеню и стритам, как по щупальцам, в банковские подвалы — желудки Маммоны, где эта кровь будет переварена в золото. Символично: золото традиционно связано с подземными ямами, а убежище осьминога — с темными расщелинами подводного царства.

— Вот и еще одна, общая для вашего «старого джентльмена» и Рокфеллера деталь! — воскликнул Джон Мартин. — «Стандарт ойл» газетчики, как известно, прозвали «Спрутом».

Алексей Максимович глубоко вздохнул, успокаиваясь, и рассмеялся.

— Я поражен диалектикой профессора, — сказал он. — Если юристы Рокфеллера столь же дотошно будут анализировать аналогии с моим литературным «королем», то мне пора думать уже не о суде над Херстом, а самому готовиться к защите от иска...

Несмотря на финт, который выкинула «Америкэн», у Алексея Максимовича оставалось приподнятое настроение: на Стейтен-Айленд он вернулся с хорошими новостями. Во-первых, американские очерки и интервью Хилквит запродаж журналам по шестнадцати центов за слово, — первая выплата составила пять тысяч долларов! Во-вторых, договорились с компанией «Апплетон» о публикации «Матери» — сначала в журнале, затем — отдельной книжкой. В-третьих, составлен проект договора с американским Центральным бюро прессы и новостей. Это бюро взяло на себя издание и распространение произведений Максима Горького за рубежом, в странах, говорящих на английском, то есть в Австралии, Индии, Новой Зеландии... Наконец, снова выходит «Фома Гордеев».

Алексей Максимович, рассказав все это Марии Федоровне, добавил:

— Хилквит, вероятно желая польстить мне, сообщил, что Максим Горький в настоящее время самый читаемый писатель в Америке. Даже сенсационные «Джунгли» Эптона Синклера вышли первым изданием в трех тысячах экземпляров, а мой «Фома» печатается вдвое большим тиражом, хотя издание семнадцатое! Так что с августа, Маша, деньги пойдут. Я уже написал Ладыжникову, чтобы половину сумм от гонораров передавать партии. Для удобства попрошу его быть моим главным представителем за границей — рукописи, расчеты пойдут только через него. Ну так как, товарищ Стрела, одобряете мои организационные мероприятия?..

— Конечно, конечно! — Мария Федоровна искренне радовалась, что с Хилквитом началось так удачно, и что у Алексея Максимовича отличное настроение, и что теперь он может спокойно работать над «Матерью», над произведением, которое «пишет кровью сердца», как она уверяла Мориса Хилквита.

«Спокойно работать» — конечно, не те слова, и Мария Федоровна это ясно понимала. Алексей Максимович будет



гореть в работе, по-другому и не мог. Он готов был ради революции, скажет о Горьком позже один из зарубежных исследователей, «перечеканить в монеты свою собственную кровь».

— А я все утро составляла конспект фабулы «Матери». По просьбе Хилквита. Ты рассчитал, что в книге примерно будет семьдесят тысяч слов, мне же пришлось изложить суть в пятистах. Вышло голо и сухо — один скелет!

— Изложила?! Вот и отлично, а то он меня спрашивал. Таково здешнее правило. Издателю и нужен только скелет для рекламы, кровь же получит читатель — тот, для кого пишем.

Уж так случилось, что к вопросу о реальности выведенного Максимом Горьким «короля республики» пришлось вернуться еще раз, в самый день отъезда в Адирондак.

Алексей Максимович, закончив сборы, устроился вместе с Николаем Евгеньевичем на веранде, оба занялись просмотром последней почты.

— Змею, что ли, нашел? — Алексей Максимович обратил внимание на брезгливое выражение лица Буренина.

— Точнее, гадюку, — ответил Буренин и протянул петербургские «Биржевые ведомости».

Алексей Максимович вначале глянул на витиевато набранный заголовок «Бедняки-богачи», затем вниз, на подпись, — «А. К.», стал читать:

*«В своем новом произведении, навеянном наблюдениями в Америке, М. Горький отмечает любопытный тип миллионеров и миллиардеров Нового Света, жизнь которых поражает своею простотою. Единственное золотое украшение у этого обладателя многих миллионов, это, по словам Горького, — золотая пластинка в зубах. У нас и немиллионщики не жалеют денег своих и даже чужих, когда дело идет о доставлении себе всяких удовольствий, о чревоугодий и разных прихотях и капризах...»*

Алексей Максимович прервал чтение.

— Послушай, Евгенийч. Это же немыслимый курьез! Да и сказано у меня в очерке, что челюсти короля «усажены золотыми зубами»...

— Нет, Алексей Максимович, это не курьез. Бери выше — чистейшая провокация! Ты читай дальше.

— Далее тут все про наших, — Алексей Максимович пробежал глазами абзацы, — как они бьют зеркала в ресторанах, покупают певичек и заказывают фонтаны из шампанского. Словом, русский миллионер — он дурак. А вот какие в Америке, которых сам Горький лицеизрел, — Алексей Максимович далее прочитал вслух:

— *«Если американский богач и живет широко, то разрешает себе самые разумные удовольствия. Но многие янки-миллионеры отказывают себе часто не только в предметах роскоши, но порой даже в самом примитивном комфорте.*

*Известный нью-йоркский железнодорожный деятель Рассел Седж никогда не носил галстука дороже 17 центов. Обладательница 10 миллионов долларов Хэтти Грин из Нью-Йорка носит исключительно ситцевые платья...»* Нет, я более не могу: такой шедевр — без публики?! — Алексей Максимович направился с газетой внутрь дома. Буренин, прихватив пакет с вырезками, — следом.

В гостиной царил обычный перед отъездом беспорядок. Пристония вместе с Марней Федоровной покрывала мягкую мебель клеенчатыми чехлами; Джон Мартин глубокомысленно устоялся на ряд обтянутых ремнями чемоданов, видно, что-то вспоминал. В центре комнаты вертелся Зиновий. Он был в бриджах, в тяжелых горных ботинках, в длинных, до колен носках и в свитере. На поясе у него болтался нож, а из-за плеча торчали вертикально сдвоенные стволы старого «бокфлинта»...

Зиновий, видя, что на него обращено внимание, пояснил:

— Готов хоть в Скалистые горы, хоть в Адирондак. Ружье мне дал отец Лизи, сказал, что с ним охотился сам доктор Пристон! Так что будете с дичью.

— Да, у тебя вид настоящего путешественника, — раздумчиво подтвердил Алексей Максимович. — Не хватает, правда, пустяка к костюму — живота мистера Пиквика.

Замечание вызвало улыбки. Зиновий продефилировал через столовую на кухню — отправился похвастаться бравым видом перед Лизи.

— Дорогой профессор, — голос Горького отвлек Джона Мартина от размышлений над чемоданами. — Мы тут с вами спорили, на кого походит «король республики», а за тысячи миль, в Петербурге, уже совершенно точно установлено, — на Хетти Грин из Нью-Йорка...

Пристония, приняв перевод от Марии Федоровны, поперх-



нулась, в ее небольших глазах замелькали искорки смеха, и она громче обычного передала мужу «новость».

Профессор поднял руку к переносице, будто хотел поправить несуществующие очки.

Алексей Максимович, выждав, прочитал начало заметки о «разумных» американских миллионерах и затем, усилив выразительность, продолжил:

— «...Хетти Грин из Нью-Йорка носит исключительно ситцевые платья, уверяя, что они исполняют ту же службу, что и дорогостоящие.

Варрес, самый богатый человек в Сан-Мигульском графстве, в Новой Мексике, скотовладелец, из своих огромных доходов тратит на свои потребности всего 400 долларов в год. Он живет в бедной лачуге и спит где случится. Однажды Варрес, получив в Сантафе из банка за проданных овец полмиллиона долларов, отказался заплатить 75 центов за гостиницу и переночевал в конюшне...»

Я что-то не замечаю слез умиления, — прервался на мгновение Алексей Максимович. — С вашего позволения, пропущу столь же рождественские истории о других «бедняках-богачах» и перейду к существу, ради чего, думаю, и писалась статья:

«...Такой же жизнью живут многие американские миллионеры. Но, отказывая себе в предметах роскоши и даже порою в самом необходимом, они не скупятся на своих рабочих. Надо ли называть знаменитого Эндрю Карнеги и других! В этом отношении нашим миллионщикам есть чему поучиться у американских».

Черт бы побрал «Биржевку» и ее безымянного «А. К.», называется, поняли Максима Горького, — не выдержал шутивого тона Алексей Максимович. — Это же прямой последователь Херста: один украл очерк, а другой все переврал и свои подлые мыслишки приписал мне: восхваляю «разумных» американских заводчиков и фабрикантов! Точь-в-точь, как русская черносотенная пресса, вроде «Нового времени», хвалит западноевропейских и американских социалистов за их «склонность к реформизму», за «умение ждать», «энциклопедичность», «уважение к законности»...

— Я могу сказать только о Хетти Грин, — вступила в разговор Пристония. — Она действительно одна из самых богатых женщин, но и самая популярная скряга: держит в

черном теле не только прислугу, но даже великовозрастного сына, не доверяет кухарке — сама ходит на рынок и торгуется за каждый кусок мяса, за пучок зелени...

— Эндрю Карнеги торгуется ничуть не хуже Хетти Грин, — возразил жене Джон Мартин. — Не уступит и цента за квадратный фут броневых плит и ничего не прибавит за час при оплате труда. Десять долларов в неделю за ка торгу возле конверторов и прокатных станков — не больше, а в неделе установил семьдесят два рабочих часа!.. Ну а если не согласны? Тогда Эндрю нанимает батальон агентов Пинкертона с винчестерами и высаживает этот десант у ворот своего сталелитейного завода в Гамстеде, как во вражеском стане. И этим грязным воинам платит тоже по десять долларов — только уже не в неделю, а в день! Ценит кровавую работу.

— Вот, оказывается, каков по сути «поклонник русской музыки», — вспомнил Алексей Максимович о концерте в Карнеги-холл. — Любимая-то нота — звон доллара!

Пристония, желая быть объективной, заметила от себя, что Карнеги практически уже удалился от дел и известен как щедрый меценат, вместе с тем он и пацифист: пожертвовал миллион долларов на строительство в Гааге международного Дворца мира...

— И, не задумываясь, пускает оружие внутри страны против сограждан, как было в Питсбурге, — добавил Джон Мартин. — Как, впрочем, и другой «миролюбец» — Рокфеллер: на его рудниках и шахтах в южном Колорадо во время последних забастовок убито и ранено более ста шахтеров-стачечников... Так что, мистер Горький, вы правы, — обратился профессор прямо к Алексею Максимовичу. — Кого бы из этих ковбоев большого бизнеса ни взять за образец — каждый окажется схож в главном с вашим «королем республики». Да, подтверждаю, у вас получился коллективный портрет слуги Желтого дьявола!

Николай Евгеньевич, не вмешиваясь в разговор, спешил досмотреть заметки из свежих американских газет, поступивших из нью-йоркского бюро вырезок, — как-то незаметно он стал еще и архивариусом горьковской миссии, ее историком, — собирал и систематизировал все, касающееся пребывания Горького в Америке. Набралась большая папка. Постоянно занимаясь прессой, он уже легко читал корреспонденции на английском. Сегодня более других его внимание привлек «Индепендент». И вот почему. Этот либераль-



ный орган, опубликовавший месяц назад статью профессора Гиддингса «Социальное линчевание Максима Горького и Марии Андреевой», теперь изменил свое мнение буквально на сто восемьдесят градусов. В заметке «Что такое толпа?» в адрес того же Гиддингса бросалось обвинение:

*«Маститый социолог из Колумбии ставит в вину американскому народу то, что «толпа» не выражает Максиму Горькому горячих чувств симпатии. Но это личное дело профессора — любить Максима Горького и Марию Андрееву, считать их «мучениками», американский же народ думает иначе...»*

В другом номере «Индепендент» обвинял русского писателя в склонности «ревизовать американские институты». Совершенно ясно, издание, претендующее, как следовало из его названия, на независимость, явно глядело в рот «королей» и их устами откликнулось на горьковский памфлет о хозяевах Америки, о ее Желтом дьяволе.

...Алексей Максимович, присмотрись он к Буренину, вновь бы имел основание спросить: «Не гадюку ли обнаружил?» — выражение лица у Николая Евгеньевича было полно гадливости. Ему попала на глаза информация «Отъезд Николая Чайковского». В ней сообщалось о том, что эсеровский лидер покидает Америку. На прощание он обратился к обществу «Друзья русской свободы» с письмом, в котором заявил о вынужденности своего досрочного отъезда, так как прерывает агитационную работу и сбор на революцию денег в Соединенных Штатах «в связи с непредвиденным горьковским случаем»!..

«Опять двусмысленность и двуличие, похожее на предательство», — подумал Николай Евгеньевич, невольно вспомнив о неудачном сотрудничестве с Чайковским.

...Разговор по поводу заметки в «Биржевых ведомостях» и о созвучии высказываний американской и русской реакционной прессы Алексей Максимович закончил кратким обобщением:

— Дружный хор платных вралей: басы на берегах Гудзона, теноры — на Неве.

Буренин, захлопнув папку с газетами, подтвердил:

— «Норт Америкэн ревью» даже советует подумать над вопросом: «А не больше ли родственного американцам по духу в царизме, чем в этом поэте бродяг?», имея в виду, конечно, Максима Горького.

Пристония Мартин, переведа цитату, дополнила:

— Разве это ново? Так слуги Желтого дьявола называли и Уолта Уитмена, мечтавшего о «городах друзей»:

Приснился мне город, который нельзя одолеть, хотя бы напали  
на него все страны Вселенной,  
Мне снилось, что это был город Друзей, какого еще никогда  
не бывало...

— Уитмена, мечтавшего, — подхватил Горький, — о том времени, когда поэты и поэмы будут интернациональны, будут объединять все страны на земле крепче, чем профессиональные дипломаты. С такими словами он обратился четверть века назад к русским читателям «Листьев травы». И тогда же выразил уверенность, что Америку и Россию ожидает неизмеримо более великое будущее и что эта черта сближает наши народы.

Джону Мартину, по-видимому, тоже пришлось по душе слова и поэта, и Максима Горького, так как он часто-часто закивал головой и, выжидая продолжения, взглядом торопил переводчиц, Марию Федоровну и Пристонию.

— Во имя социалистической будущности человека, во имя свободной революционной России я и приехал добиваться взаимопонимания, — заканчивал мысль Алексей Максимович. — И сам отсюда, издалека, как-то по-особенному ясно увидел, что духовно мы, русские, при всех наших несчастьях, в этом стремлении к социальному обновлению далеко впереди и активнее вас, и что наша революция великолепна, и что теперь потащит мир вперед — Россия.

*Конец первой книги*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

От научного редактора . . . . .	3
Глава I	
1. Во имя грядущего . . . . .	5
2. Встреча в море . . . . .	11
Глава II	
1. Крестник . . . . .	21
2. «Гапонада» «Джона Графтона» . . . . .	26
3. Первый визит . . . . .	35
Глава III	
1. Герберт Джордж Уэллс . . . . .	46
2. Рукопожатие и настороженность... . . . .	49
3. Долгий вечер . . . . .	59
Глава IV	
1. Шпику приятнее, когда его называют «агент» . . . . .	69
2. Роман Романович Розен . . . . .	76
3. Справка о поднадзорном . . . . .	84
Глава V	
1. Генри Гейлорд Уилшайр . . . . .	89
2. Узник с Изумрудного острова . . . . .	96
3. Для собственного назидания . . . . .	108
Глава VI	
1. В поиске . . . . .	113
2. Начало . . . . .	120
3. Инженер фон Гартинг . . . . .	133
Глава VII	
1. Первое апреля по старому стилю . . . . .	140
2. В дружеском заточении . . . . .	149
3. «Необдуманный шаг» . . . . .	159
Глава VIII	
1. От «А» до «Х» . . . . .	167
2. В крепости прагматизма . . . . .	181
3. Расовый коэффициент . . . . .	192

## Глава IX

1. На острове . . . . .	201
2. Мартин Пристония . . . . .	206
3. Железное веселье . . . . .	213

## Глава X

1. Самый молодой вице-президент с Уолл-стрита	221
2. Розен и Розин . . . . .	230
3. Неожиданное обстоятельство . . . . .	243

## Глава XI

1. Чикагский Луп . . . . .	251
2. В «городе разговоров» . . . . .	257
3. Киплинг из Белого дома . . . . .	267

## Глава XII

1. Встреча в Бернارد-колледже . . . . .	274
2. Ошибка . . . . .	297
3. Снова Уилшайр . . . . .	309

## Глава XIII

1. Когда реки сливаются . . . . .	327
2. Полет моли . . . . .	340
3. Обстоятельства . . . . .	353

## Глава XIV

1. Bravo, русские! . . . . .	360
2. Снова на Стейтен-Айленд . . . . .	381
3. «Мы на этом не остановимся!» . . . . .	389
4. «Всех менее возвышенный из духов...» . . . . .	411



Рецензенты: Шацилло К. Ф., доктор исторических наук, ст. научный сотрудник Института истории СССР АН СССР; Жегалов Н., кандидат филологических наук, ст. научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

ИБ № 288

**Александр Александрович Харитановский**

**СТУПЕНИ**

Политический роман

Редактор И. А. Сафонова. Художник В. К. Лассон. Художественный редактор Л. Р. Карюков. Технический редактор Е. А. Парамонова. Корректор М. Г. Пожидаева.

Сдано в набор 03.04.81. Подписано в печать 08.07.81. ЛЕ10980. Формат 60x84<sup>1/16</sup>. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 25,11. Уч.-изд. л. 25,83. Тираж 30 000 экз. Заказ № 810. Цена 1 р. 70 к.

Центрально-Черноземное книжное издательство, 394088, г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2. Типография издательства «Коммуна». 394746, г. Воронеж, проспект Революции, 39.

**Харитановский А. А.**  
X20 . Ступени. Политический роман. Под научной ред. и со вступ. статьей К. Шацилло. — Воронеж, Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1981. — 430 с.

ИСБН

Политический роман А. Харитановского «Ступени» посвящен поездке пролетарского писателя А. М. Горького с группой большевиков по поручению ЦК РСДРП в США — для разъяснения американскому народу целей первой русской революции, сбора средств для революционной борьбы, укрепления солидарности рабочих и для развертывания агитации против предоставления займа царскому правительству.

X 47212—076  
М161(03)—81 38—81

P2  
ББК 84p7









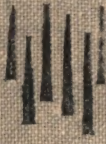
482919/10  
54620038  
HOB  
P 1-50 K.



1 p. 70 к.



**А. ХАРЫТАНОВСКИЙ**



**СТУДЕНТ**

